ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №1 | 2019

Наталья Корнет
(Забайкальский край)
Прибайкалье
90 × 100 | 2014

Любовь Пономарёва
(Иркутская область)
Ещё раз об Аршане
80 × 100 | 2018

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения №1 | 2019

В номере

ДиН публицистика

Нина Ягодинцева
3 Земля и Слово: о месте и роли писателя в России

ДиН стихи

Елена Брянцева
11 Земные звёзды

Алексей Козловский
23 Богатыри растворились в степи

Геннадий Васильев
27 Календарь

Евгений Степанов
30 Я иду по земле

Татьяна Парсанова
34 Полонез ночного дождя

Елена Костандис
149 Время четвёртой стражи

Алёна Бабанская
151 Рыбный четверг

Дарья Стаханова
152 Моя смель

Дарья Верясова
155 Зверь человечий

ДиН память

Сергей Кузнечихин
12 С добытым волком на плече

Сергей Лузан
15 Льдина в луне

Алексей Бондаренко
17 Я слышу голос его

ДиН ревю

Марина Перова
35 Небо над Тоболом

Наталья Сафронова
40 Детские секреты

Валерия Литвиненко
49 Лёгкие

Геннадий Калашников
67 В центре циклона

Светлана Тульчинская
74 Качели

Екатерина Юркова
88 Пробуждение Венеры

Ольга Фомичёва
92 Звёздный Спас
180 Направление мысли

ДиН диалог

Юрий Беликов, Борис Черных
36 Грёза о Византии, или Крест на пепелище

ДиН краеведение

Марат Валеев
41 Три очерка

ДиН юбилей

Александр Щербаков
50 Из дневника писателя

Александр Щербаков
54 Правда любви

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА
Эдуард Русаков
57 Не все дома
Василий Зозуля
68 Милосердие
Зинаида Кузнецова
75 Сахар-рафинад
Олег Лузин
89 Как появился мир?

Д*и*Н ПРОЗА
Наталия Слюсарева
93 На Киселёвке
Екатерина Блынская
130 Пуга

Д*и*Н РОМАН
Анатолий Янжула
157 И жили они долго и счастливо…

Д*и*Н АРТЕФАКТ
Альбина Мамаева
181 Двенадцатая палата

Д*и*Н СИММЕТРИЯ
Михаил Кульчицкий
191 Бессмертие

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Миясат Муслимова
192 «Про чёрствый хлеб и про вишнёвый сад…»

195 Д*и*Н АВТОРЫ

Д*и*Н ГАЛЕРЕЯ

Родина—Сибирь

Межрегиональная художественная выставка сибирского пейзажа

В октябре 2018 года в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь» (Красноярск) ценители современного изобразительного искусства могли увидеть выставку сибирского пейзажа «Родина—Сибирь».

В экспозиции представлены 150 художественных произведений живописи и графики академиков и членов-корреспондентов Российской академии художеств и представителей сибирских региональных отделений Союза художников России. В выставке приняли участие такие сибирские художники, как Герман Паштов, Константин Войнов, Валерий Кудринский, Валерьян Сергин, Николай Ротко и другие.

В одном выставочном пространстве—разные школы сибирского пейзажа, по-своему отразившие красоту, богатство и величие природы, используя различные методы и техники.

В дополнение к выставке в зале Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств прошли XI Сибирские искусствоведческие чтения «Сибирский пейзаж: от топа к типу, от мотива к художественному образу».

Организаторы выставки: Региональное отделение Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств, Красноярская региональная организация Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», МВДЦ «Сибирь», при поддержке министерства культуры Красноярского края.

Нина Ягодинцева

Земля и Слово:

о месте и роли писателя в России

Часть 1. Когда кончается искусство

(Литература и социальная инженерия)

Практически искусство в нашем привычном понимании уже давно закончилось. При всём внешнем благополучии, пышном расцвете полиграфии, безграничном расширении интернет-коммуникаций и обилии ярких, масштабных литературных событий содержательная часть этого вида человеческой деятельности постоянно сжимается, как шагреневая кожа. Мало что сжимается — так ещё и рвётся, и в дырах зияет пустота, катастрофическое отсутствие смысла.

То, что сегодня в разных видах обслуживает так называемую «либеральную» идеологию и разрушает человека, потакая самым низким инстинктам, давно и справедливо обозначено как антиискусство. Самодеятельно-досуговое творчество, вооружённое современными средствами тиражирования и трансляции, даже при полном отсутствии эстетических и этических критериев назвать искусством невозможно. Но если понимать, сколь высоки ставки в глобальной игре, становится ясно, что и подлинное воспитание, сбережение, умножение человеческого в человеке — теперь уже не совсем искусство, точнее, не только искусство, а нечто гораздо большее.

Основная коллизия современности состоит в том, останется ли человек, личность целью и смыслом истории — или он станет средством и даже просто биологическим материалом, сырьём для некоего качественно иного этапа, заявленного как трансгуманистический. Судя по тому, что конец истории объявлен довольно давно, предпочтение уже отдано второму. Решение по логике современной технократической цивилизации вполне прагматичное, ведь при помощи технологий можно довольно легко устранять несовершенства разных уровней жизни — от физиологии конкретного человека до устройства общественного организма.

Вот тут-то и начинается — да, собственно, уже началось — самое интересное: в ответ на технологический рывок последнего столетия человечество стремительно архаизируется, а личность очевидно деградирует. Хотя, казалось бы, — вот они, почти безграничные возможности: твори, выдумывай, пробуй, — ан нет, не в коня корм. Да, несомненно, что-то творится, выдумывается и пробуется — но в общее поле зрения попадают в основном вещи странные, мало пригодные для той реальности, которая бросает нам сегодня вызов за вызовом. Мало того, процессы деградации инициируются и запускаются уже целым рядом социальных институтов — особенно это заметно по кардинальным изменениям в образовании и медицине. То есть, говоря иным языком, один за другим последовательно включаются механизмы самоуничтожения системы. Граница любых технологических возможностей неизбежно оказывается внутри человека, в космическом пространстве его личности.

На снятие внутренних ограничений направлены совокупные усилия массовой культуры, манипулятивных техник типа «окон Овертона», политических решений в отношении традиционных и нетрадиционных семей, педагогических технологий и много чего ещё, но по странной закономерности ограничения снимаются базовые, нравственные — именно те, которые обеспечивают выживание и развитие.

При всех возможностях широкого доступа в сокровищницы искусства всех времён и народов путь к вершинам человеческого духа становится всё более трудным. Ещё раз отметим, что препятствия множатся и громоздятся не вне человека, а внутри него. Внешние преграды напрягают и умножают волю, внутренние её ослабляют и рассеивают. Проблемы накапливаются подспудно, пока всё идёт как идёт — надлом, ослабление, распад почти незаметны. Беда становится очевидной только в сложных, кризисных ситуациях, требующих максимальной мобилизации сил. И вот тогда уже понятно, насколько мы жизнеспособны. Не только как отдельные личности, но и как народ, общество, человечество.

Картина современности вполне могла бы стать предапокалиптической, если бы в центре её не было человека, личности. Ибо в нём заключено всё — и распад, и возрождение, и сама вечность. Главный вопрос нашего времени — человек. А это в первую очередь вопрос художественной литературы — цельной и целостной науки о человеке. Литература образует и воспитывает личность,

даёт ей нравственные ориентиры, связывает её с прошлым, расширяет границы настоящего и позволяет заглянуть в будущее.

В своём социальном итоге литература, оставляя человека свободным в выборе решений, мягко, ненасильственно упорядочивает жизнь. С её помощью мы обретаем духовный опыт и, оставаясь свободными в своих поступках, руководствуемся уже не только личными эгоистическими интересами, но и более высокими соображениями совокупного опыта, общего блага, высшей справедливости. Надо ли говорить, что эти начала и создают народ как уникальную национально-культурную общность, а разрушение основ влечёт за собой угасание и гибель.

Сетуя на последовательное (уже почти три десятка лет в России продолжающееся) ослабление роли литературы в общественной жизни, а уж тем более вырабатывая стратегию элементарного выживания и сохранения литературного дела, нужно понимать, что происходящее отнюдь не случайно. Литература последовательно и настойчиво отодвигается на обочину общественной жизни вовсе не потому, что её способны заместить информационные технологии, цифровые носители, роботы-поэты или что-нибудь подобное. Ничем её замещать не собираются. Просто инструмент мягкого, ненасильственного упорядочивания общественной жизни меняют на более грубый, примитивный и жёсткий—прямую социальную инженерию.

Социальная инженерия позволяет управлять действиями человека, используя его слабости. Проще говоря, мы имеем дело с откровенной (а к чему уже маскироваться?) манипуляцией. Главная опасность и разрушительная сила её в том, что манипуляция лишает человека внутренней свободы, свободы воли. В результате общество, народ испытывает критический недостаток и воли совокупной—воли к жизни, к развитию, продолжению себя в истории. И остаётся только легонько подтолкнуть его в небытие.

Всем знакомо и выражение советских ещё времён: «писатели—инженеры человеческих душ». Далеко не всем оно нравилось—и вопросы были именно к технической постановке тонкого гуманитарного вопроса, к предполагаемому ограничению свободы воли. Но общественная задача литературы в этой формулировке выражена довольно точно.

Чем же отличается современная социальная инженерия от той, советской попытки создать в обществе ненасильственные принципы управления? Есть три основных различия. Первое—литература обращается к личности, социальная инженерия управляет толпой, массой, массовым сознанием. Второй момент—литература стремится воспитывать высокие чувства, социальная инженерия формирует и эксплуатирует чувства низкие.

И наконец, самый спекулятивный вопрос современности—вопрос свободы. Литература ведёт диалог, в процессе которого свободно формируются выводы, возникают те или иные ориентиры, мотивирующие поступки читателя в реальной повседневной жизни. Социальная инженерия проникает в сознание и подсознание, программируя ориентиры, выбор, поступок. Это не просто несвобода—тотальная диктатура. Поначалу она скрытна, неочевидна, подспудна—но как только массовое сознание оказывается относительно сформировано, при любом отклонении от заданного стандарта включается жёсткий репрессивный аппарат, и теперь уже его действия будут поддержаны управляемым общественным мнением.

Выдержит ли литература в этом противостоянии? Есть ли у неё шансы на серьёзную поддержку со стороны государства? Будут ли нужны писатели своему народу? Эти и очень многие другие тревожные вопросы пока остаются без ответов. Но несомненно одно—мы оказались на глобальном цивилизационном распутье, в напряжённом до предела мире, где человек перестал быть центром и ценностью, а уж тем более мерой вещей. И что может поделать с этим литература, если она всего лишь искусство слова—и не более того?

Начинать ответ на этот вопрос, видимо, следует с того, что сам человек, при всём накопленном о нём знании, продолжает оставаться terra incognita. Можно прочесть и переписать генóм, разработать технологии управления низкими инстинктами по типу пресловутой собаки Павлова—но всегда, всегда остаётся что-то ещё, и чем больше мы узнаём о себе, тем больше ощущаем неизведанного.

Отчего это происходит? Оттого, что человек, даже упакованный всеми современными флешками и симками, оснащённый подкожными чипами, растворённый в управляемой манипуляторами массе,—остаётся проектом, строящимся зданием, материалом в великом и непостижимом процессе творения. Мы не конечная ступень эволюции, и образцом, «моделью» для нас является внеположный источник. Как только мы об этом забываем, замыкаемся в собственном несовершенстве, внутри и вокруг нас начинается ад. Да, тут более чем уместна та самая формула: ад—это мы сами, замкнутые в собственном несовершенстве.

Пожалуй, самое универсальное понятие о внеположном источнике—это понятие Бога. Замещая его более «толерантным» понятием «Универсум», философия и культура словно избегают глубокого и очень личного диалога Творца с творением, а именно в свете этого диалога и рождаются главные смыслы нашего бытия—и высочайшая ответственность за него. Находясь в процессе творения, человек переживает разные состояния, в том числе и глубоко кризисные, но, будучи только образом и подобием, в пределах доступной нам реальности

никогда не станет окончательным результатом. И в этом—наша великая надежда.

Так что же может литература? Она может многое. Начнём хотя бы с того, что литература личностна, и чтение—это всегда диалог двоих: писателя и читателя. А где двое—там всегда возникает третье, иное, новое качество. Да, масса—страшная сила, но человек находится в ней не всегда, и вызывать его на разговор по душам книга способна именно в тот момент, когда он один. Взывая к лучшим чувствам и высоким инстинктам, литература воспитывает и поддерживает их, постепенно, подспудно меняя качество сознания, выводя личность из предсказуемой в своих реакциях и прямо управляемой массы в осознанную жизнь.

Вместе с тем трудно не заметить, что социальное поле для общения писателя с читателем катастрофически сужается, критически уменьшается возможность остаться с ним наедине. Неестественное ускорение обыденной жизни, новостные потоки (иногда похлеще селевых), необычайная лёгкость общения в соцсетях—и даже библиотеки сегодня в своей работе с читателем ориентируются не на содержание книг, а на массовость и зрелищность мероприятий…

Занимаясь литературным делом, мы напрямую занимаемся человеком. Человек—всегда надежда. Он отвечает на том уровне, на котором к нему обращаются. Он нуждается в смыслах, а не в готовых решениях, потому что дорожит своей свободой воли. Он находится в процессе творения, точнее, мы все находимся в со-творении и со-творчестве. Выход из кризиса—здесь.

Какой должна быть литература сегодня, что́ реально мы—каждый—можем сделать, чтобы выйти из сгущающегося вокруг нас нашего собственного несовершенства? Собственно, литературное дело по своей сути не меняется, меняются атмосфера, предлагаемые обстоятельства, актуальные риски.

Если вести речь об общей атмосфере—понятно, что она, внешне вроде бы относительно благоприятная, внутренне предельно напряжена. И при дальнейшем развитии манипулятивного управления обществом литература не может рассчитывать на системную поддержку—только на ситуативную, личностную. Но и это немало, особенно если стараться вовлекать в литературное общение как можно больше самых разных людей, из всех слоёв общества. Везде есть те, кто понимает ситуацию и осознаёт свою ответственность перед будущим. Их должно становиться в литературном диалоге всё больше и больше.

Говоря об обстоятельствах, динамических факторах, нельзя не принимать во внимание, что литературу сегодня теснят со всех сторон. Экономические, идеологические, политические (именно в таком порядке!) решения идут вразрез с гуманитарными—это естественно, поскольку у них разные горизонты планирования. Реализация долгосрочной программы действий в условиях диктата сиюминутных решений—та ещё задача, но других обстоятельств у нас для нас пока нет.

И наконец, актуальные риски. Наиболее актуальный—утрата общественного смысла самой литературой. Здесь возможны самые разные модификации. Базовая подмена—вместо осмысления сегодня вполне нормально заниматься самовыражением. Это особенно ярко проявляется в молодой литературе, поскольку молодёжи уже успели всё объяснить про актуальное искусство.

Ещё один риск—место литературы активно стремится занять антилитература. То, что она античеловечна, рядовому читателю становится заметно не сразу, а иногда и вовсе остаётся неочевидно. О ней нужно говорить конкретно, доказательно и постоянно.

И наконец, третий момент—массовая профанация литературного труда. Обилие пустых текстов, вхолостую прокручивающих огромную массу привычной словесной жвачки. Тотальное счастье оттого, что удалось срифмовать две-четыре строчки,—и в принципе неважно, что там получилось. Может показаться, что графоманские забавы, несмотря на их грандиозные масштабы, абсолютно невинны,—но это не так.

Часть 2. До полной гибели всерьёз

(Диагноз: ризома. Прогноз: рандом)

Вернёмся к центральному тезису предыдущей части. В процессе творения человек может развиваться только тогда, когда в его системе понятий есть внеположный образец, идеал, Источник, общепринятое обозначение которого—Бог. Как только внеположный Источник по какой-либо причине исчезает из поля зрения и системы понятий, строительство прекращается, недостройка стремительно ветшает и обрушивается. Начинается ад, который есть мы сами, замкнутые в собственном несовершенстве.

Но ведь и для адской реальности можно находить вполне себе «научные» оправдания! В лексикон нынешних интеллектуалов уже давно вошли два приметных словечка—термины, сопровождающие обоснование, представление и пропаганду произведений «актуального» искусства: «рандом» и «ризома». Произносить их следует иронично-снисходительно по отношению к собеседнику: «Да ведь это же ризома, рандомный принцип!» Конечно, само собой разумеется. Но если говорить на русском языке, не занимая чужого без крайней надобности, язык сам нам всё покажет и объяснит.

Ризома—rhizome, в переводе с французского—корневище, термин, широко применяемый к так называемому «актуальному» искусству.

В «Новейшем философском словаре» толкуется как понятие постмодернистское, означающее принципиально нелинейный способ организации материала творчества (текста) как целого. Такому тексту изначально присуща внутренняя подвижность, соответственно, допускается и бесчисленное количество возможных толкований — «интерпретационный плюрализм» (извините за выражение). «Энциклопедия культурологии» добавляет: «Ризома — воплощение нового типа эстетических связей — нелинейных, хаотичных». А *рандом* (random) в переводе с английского — «случайный», «произвольный».

Переведя термины на русский язык, мы получаем картину совершенно апокалиптическую: вместо целенаправленного развития в сторону идеала нам предлагается «научно обоснованно» *срезанная до корневища ценностно-смысловая иерархия и чисто случайная возможность прорастания здоровых побегов*, которым — внимание! — не дадут подняться выше запланированно-усреднённого, потому что тут у нас ризома, а вы куда намылились? При этом развитие внутри иерархии называется линейным (хотя оно напрямую связано с изменением качества состояния и таковым называться не может в принципе), а развитие в одной плоскости — нелинейным, то есть в самом начале происходит очевидная подмена понятий.

Ризома и рандом — не только аргумент и «научное» оправдание равноправного существования искусства, антиискусства и неискусства (безграмотной самодеятельности). Это ещё и инструмент господства рынка на территории искусства, возможность назначать шедеврами произведения, которые в здравом уме таковыми назвать иногда сложно.

Рандомно-рыночный принцип начал работать ещё в конце девятнадцатого века, когда «молодые» американские деньги стали утекать в Европу и тратиться на покупку европейских шедевров живописи. Тогда ситуацию решили просто: шедевры лучше назначать. А совсем скоро дело дошло и до литературы, однако тут цели были уже иными.

Но ризома и рандом с литературой несовместимы не только потому, что слово — инструмент формирования сознания, а речь — формула действия. Они несовместимы по сути. Ни одна нравственно-эстетическая задача произведения не может быть решена «случайно» и истолкована «произвольно»: «интерпретационный плюрализм» — это не просто отсутствие решения, но намеренный отказ от него.

Такой подход полностью уничтожает писательство как профессию и литературу как науку о жизни, внушая читателю иллюзию абсолютной свободы и нравственной безответственности, за что, в общем-то, всегда, неизбежно расплачиваются жизнью — и, что самое страшное, расплачиваются последовательно в течение нескольких поколений. То есть это уже не срезание «под корень», а буквально выкорчёвывание. И в этом смысле литература — последний бастион глобальной битвы за человека. Поиски смысла жизни в интернет-постах — не более чем духовное бомжевание в чистом виде, в самом прямом значении.

Если кратко в архетипе семеричной структурной матрицы сформулировать «ступеньки» ценностно-смысловой иерархии, то всё становится более чем очевидным. Первый, начальный уровень смыслов обеспечивает чисто физическое выживание, второй — освоение пространства жизни, третий — самоорганизацию, четвёртый — осознание себя, самоосмысление, пятый — осмысленное, гармоничное включение в общее со-бытие, шестой представляет собой набор нравственных максим, регулирующих всеобъемлющее со-бытие, и, наконец, седьмой — сама идея существования человека, главный вопрос бытия.

Этот культурный архетип отражён во множестве культурных концепций, светских и религиозных, но мы сознательно упрощаем описание до схематичного, выявляющего принципиальную основу явления.

Освоение и воплощение смыслов происходит нелинейно и напрямую связано с изменением качества бытия. Одно дело выживать, балансируя на грани жизни и смерти, и совсем другое — осмысленно со-участвовать в со-бытии. Движение по смысловым ступенькам вверх — развитие, вниз — деградация, а уничтожением иерархии обеспечивается бессмысленное прозябание.

Ну и стоит, видимо, напомнить, что ценностно-смысловая иерархия либо является основой внутренней культуры общества, придавая ему высокую степень свободы, либо становится принуждающей — жёсткой внешней формой. А её отсутствие всегда — без исключения! — гибель, в личном и историческом аспектах. Вся большая литература — именно об этом. И если ценностно-смысловая иерархия «срезается» до «корневища», то это намеренно производится в отношении именно тех, кто не должен развиваться и расти, кто должен после непродолжительного бессмысленного прозябания уйти в историческое небытие.

Многослойная глобальная битва по большому счёту происходит не столько в политике и экономике, сколько в ценностно-смысловом поле — просто потому, что здесь результат долгосрочный и устойчивый. Это сегодня и стратегия мировой «элиты» по отношению к человечеству, и инструмент межгосударственной борьбы, и способ манипуляции массами при олигархическом капитализме.

Можно сказать, на современного человека навалилась тройная тяжесть, утроенная агрессия, и потому сегодня её остро, болезненно ощущает практически каждый. Но, возможно, именно

в тотальности этой агрессии и заключается шанс победить угрозу исторического суицида—ведь каждый нормальный человек изначально стремится жить и в той или иной степени обладает инстинктом истины, ведущим его через перипетии жизни.

Важно понять, что ризома в искусстве в целом и в литературе в частности—это принципиальная невозможность построения и удержания ценностно-смысловой иерархии. В ризоме всё равнозначно—надпись на заборе и многотомное литературное произведение, графоманский лепет и бессмертный литературный шедевр, а в плане наглядности—«Джоконда», например, и пресловутый «Чёрный квадрат». Ризома позволяет выбирать эталоны, образцы, смыслы, не сообразуясь с их действительной ценностью.

На первый взгляд такой выбор—чистый рандом, но если посмотреть внимательно, ни одна из «случайностей» не случайна: предпочтения диктуют идеология, рынок, наличие связей во властных структурах или выдающиеся способности к самопиару… В каждом конкретном случае выбор вполне себе целенаправленный А вот по отношению к литературе—гибельный. Именно так и порождается хаос. Причём (ну это уже общее место, просто напоминаем) для русской культуры, цементирующей огромные географические пространства и широкое национальное разнообразие, этот хаос гораздо опаснее, чем для культур компактных и мононациональных.

Русская литература (как и любая другая национальная литература) никогда не была ризомой—она всегда была могучим древом жизни, корни которого уходили в былинный эпос, к образам богатырей, пахарей и воинов, а крона восходила к смыслам вселенского бытия. Русское древо жизни взращивалось веками и стало одним из исполинов мировой культуры.

Идея человека, путь к Богу как магистральный смысл существования на земле—вот могучий ствол, который питают корни и крона. Как на месте могучего древа может остаться корневище с тоненькими случайными побегами, у которых все шансы вымерзнуть грядущей зимой? Да очень просто.

Мы уже упоминали в предыдущей статье о профанации литературного труда. Она стала очевидной, к сожалению, ещё в советский период, когда литература была мобилизована для выполнения конкретно сформулированных целей культурного строительства. С одной стороны, прошло неизбежное при подобной мобилизации упрощение литературных задач, усилилась прагматическая сторона литературной деятельности в ущерб духовному поиску, появились литфункционеры в статусе писателей. С другой стороны, был создан привлекательно высокий социальный престиж писательской профессии.

В постсоветскую эпоху всё это аукнулись тем, что в писатели ринулись многие, просто знающие буквы и умеющие их более-менее грамотно складывать. Подсуетился рынок с неограниченными возможностями издания и рекламы (были бы деньги), активизировались пропагандисты новой идеологии, возрадовались паразитирующие на смысловом поле постмодернисты, неизбежно возникла антилитература, растерялись библиотекари и педагоги: ах, сколько писателей, и что—все настоящие?.. Общие места про отсутствие квалифицированной объективной критики и тщетные попытки восстановить жизнеспособную литературную иерархию повторять здесь уже не будем, и так всё понятно: будет вам ризома—будет и рандом.

Проблема усугубляется год от года несколькими серьёзными внутренними факторами. Первый из них—давнее теперь уже разделение профессионального Союза писателей на две организации: Союз писателей России и Союз российских писателей, и постоянное искусственное подогревание раздора между ними. Если истинной подоплёкой идеологического раскола 1990-х был пошлый имущественный вопрос, то сегодня цели уже иные. И профессионалов, разбирающихся между собой, активно вытесняют «любители», вытесняют массой и полным соответствием рыночным принципам сегодняшнего дня.

Вот, например, две новые крупные организации—Российский союз писателей (обратите внимание на сходство аббревиатур—СПР, СРП, РСП, и ведь не случайно принятые в РСП долго блуждают в трёх буквах, пытаясь встать на учёт на местах!), www.rossp.ru, более 5000 авторов, и Интернациональный союз писателей, inwriter.ru, существующий, по их собственной информации, с 1954 года, но в России появившийся недавно. В первых опциях на главной странице сайта: «Выдвинуться на международную премию в области литературы», «Выдвинуться на международный орден в области литературы», «Выдвинуться на международную медаль в области литературы». Заводная движуха, как тут устоять?

Не будем огульно охаивать авторов—членов данных организаций, а также перечислять другие подобные сообщества, которых уже немало,—ограничимся констатацией: это ризома на организационно-государственном уровне, в юридическом смысле все организации равноправны, и выбор той или иной для чего бы то ни было—поддержки, сотрудничества—будет рандомным по отношению к литературе, то есть продиктованным совершенно иными соображениями—политическими, экономическими или даже родственными (бывает и такое).

Заявлять о своей легитимности и исключительном праве наследования единому Союзу писателей

советской эпохи смысла уже никакого нет. Юридическую правоту, возможно, доказать и получится, однако проблемы современного общественного статуса это не решит. Смысл остаётся только в мастерстве и профессионализме, объединении (или ассоциировании, если объединение представляется проблематичным) профессионалов, наследовании русской культурной традиции и отстаивании её всеми доступными средствами. Всё остальное—иллюзии и повод для раздора, а значит, и для дальнейшего ослабления позиций. Повторим: точно такой же статус общественных писательских объединений имеют и рыночно адаптированные сочинители.

Второй фактор, способствующий разрастанию ризомы,—массовое вступление литературной самодеятельности в ряды профессионалов: просто литактивом быть они уже не согласны. Как мы уже не раз писали, опасность получения литературной самодеятельностью профессионального статуса не в том даже, что размываются критерии литературы и вся она приобретает значение не большее, чем «домашняя радость», а в том, что самодеятельные авторы (в основном окончательно застрявшие в самом начале творческого пути) видят не дальше собственного текста, растиражированного типографским способом (желательно с картинками). Даже сочувствуя издалека делу общему, они заняты исключительно собой.

Решать эту проблему невероятно сложно, за каждым прямо поставленным вопросом—судьба человека, единомышленника в конечном итоге, но ризома внутри организации—ситуация нисколько не проще, потому что само существование профессионального сообщества легко подпадает под действие рандомного принципа.

И третий фактор—общее снижение качества культурного поля. Вот очередной характерный анекдот: на наше Совещание молодых были приглашены два начинающих автора из другого города. Накануне Совещания, в организационной суматохе,—звонок из библиотеки: приходите, приглашайте своих молодых авторов, к нам приехали писатели, будут творческая встреча и мастер-класс. Вам и вашим ребятам есть чему поучиться. Открываем афишу—надо же, наши гости! Очень славные ребята, поднаторевшие в пиаре, но буксующие пока в поэтических размерах и рифмах.

Мы хорошо побеседовали с ними на семинаре, помогли чем могли в работе над стихами, но в этом случае и на ряде других примеров поняли довольно горькую вещь: а ведь сегодня и библиотеки, хранилища и (по сути) экспертные центры литературы и книжной культуры, дезориентированы настолько, что выбор делают, исходя не из художественной ценности произведений, а рандомно: кто заявляется, тот и выступает, кто приходит со своей программой, того и принимают, кто хэдлайнер (а это уже новое слово в литературном деле)—того и тапки.

Констатировать подобные моменты, смеяться или ахать можно бесконечно. Но в итоге всё оказывается слишком серьёзно. Философия ризомы в применении к практике—это философия злокачественной опухоли, а рандомный выбор в сфере нравственных задач—полный синоним обречённости, поскольку победа добра в принципе не может быть случайной.

Есть, правда, один нюанс, внушающий надежду и даже уверенность в том, что мы пройдём через это испытание и станем только сильнее. Литература иерархична по своей природе, это её сущностное свойство. И особенно глубоко оно проявлено в поэзии, затрагивающей глубинные слои психики, восстанавливающей структурную матрицу сознания.

Литература вполне способна противостоять уже добравшейся до неё ризоме. Важно, чтобы она не выпускала из поля зрения свою наивысшую цель. Сегодня писателю нельзя замыкаться в пределах собственной рукописи, библиотекарям и педагогам—довольствоваться поверхностным выбором, диктуемым рекламой, читателям—искать одних лишь только развлечений. Могучее древо нашей культуры—это древо жизни, и позволить спилить его до корневища—значит совершить преступление перед собой и потомками.

Часть 3. Но «дышат почва и судьба»!

(Литература и национальная идея)

Тройственная общественная задача литературы—сохранение культурной памяти, осмысление дня сегодняшнего и моделирование будущего—актуализируется буквально с каждым днём. Русская литература остаётся основой для взаимопонимания и объединения усилий в направлении будущего, инструментом свободного, ненасильственного упорядочивания общественных отношений. Но сегодня на смену этому инструменту приходит другой—более грубый и примитивный, опирающийся не на развитие самосознания личности, а на манипуляцию массовым и индивидуальным сознанием при помощи специальных информационных технологий. Самое страшное последствие происходящего—даже не социальная стагнация, а деградация личности и всей системы общественных отношений.

Происходит агрессивная подмена и самой сущности литературы «Актуальное» искусство стремится спилить древо культуры до пня и уравнять в общественном значении истинную литературу—науку о человеке и жизни—с антилитературой, растлевающей человека, и с нелитературой—самодеятельными самовыражением. Инструмент

созидания личности заменяется инструментом её искоренения.

Есть ли у нас возможность противостоять этим угрожающим глобальным процессам, ставящим под вопрос само бытие человека как личности, творца, самосознающей сущности? Да, есть — и именно у русской литературы, объединяющей собой множество литератур национальных и образующей литературу российскую.

Русская литература уникальна в том смысле, что исторические особенности её формирования на фоне живой словесности породили феномен целостного эмоционального осмысления жизненных явлений. В то время как в западной культуре проходили процессы отделения науки от искусства и специализация наук о человеке и обществе, усложнялись коммуникации между ними, для каждой вырабатывалась своя система терминов, в России именно художественная литература объединила в себе конкретную проблематику насущного бытования человека со знанием социальным и общефилософским. Русская литература являет в себе всю смысловую вертикаль — от идеи человека до бытийной практики — и доносит это до читателя в самой доступной форме, не ограничивая круг знания узкими специалистами.

Конференция, для которой подготовлена данная статья, проходит на благодатной земле Алтая. В самом её названии есть монгольский корень — алт, золото. Природное богатство края, осваиваемого русскими со второй половины семнадцатого века, не могло не породить и необычайного художественного богатства, ведь человек не только обрабатывает землю, добывая свой хлеб насущный, — он и осмысливает её, взращивая высшее значение своего бытия. И в полной мере это относится к литературе.

Россия знает имена алтайских писателей двадцатого века — самоучки Арсения Жилякова, Степана Исакова — певца революции на Алтае, Владимира Зазубрина — летописца Гражданской войны, поэта, педагога и общественного деятеля Порфирия Казанского, поэтов Вильяма Озолина и Леонида Мерзликина, поэта и драматурга Марка Юдалевича и многих, многих других… Сегодня, в веке двадцать первом, здесь работают известные прозаики Анатолий Кирилин, Александр Пешков, Юлия Нифонтова, поэты Елена Безрукова, Сергей Клюшников, Валерий Котеленец, Валерий Тихонов, Сергей Филатов, Галина Колесникова, издатель и философ Виктор Буланичев…

Всероссийскими литературными праздниками стали Шукшинские дни в Сростках и фестиваль Роберта Рождественского в Косихе, они собирают тысячи людей. О народных литературных праздниках нужно сказать особо. Ведь именно в творчестве Василия Шукшина наиболее отчётливо отобразилось, как «дышат почва и судьба». Его герои, современники, работают на земле, и, казалось бы, хлеба насущного им должно быть довольно, но нет — они не помещаются в быт, они взыскуют чего-то ещё, какой-то собственной истины, которую чувствуют в себе, но не могут пока реализовать…

Это очень русское ощущение жизни, трагическое и спасительное одновременно, ибо оно мучает, но и не даёт успокоиться зыбким благополучием, постоянно напоминая о душе, о её высоком предназначении, о круге истин, выходящих за пределы материально-насущного. Не случайно имя Шукшина стало таким притягательным для современников и потомков.

В центре патриотического воспитания молодёжи в селе Косиха, где родился советский поэт Роберт Рождественский, есть великолепная подборка песен на его стихи. На резком контрасте с современной демонстративно бездумной и часто прямо бессмысленной эстрадой эти песни, воодушевляющие, осмысливающие время, напоминают нам, что человек раскрывает свой личный потенциал только в большом деле, реализуя себя в общем — народном историческом порыве.

Две черты, так ярко выраженные в творчестве этих писателей, точно характеризуют русский народ, национальные особенности русской литературы. И к ним хотелось бы добавить ещё одну — для того, чтобы ответить на поставленный в начале доклада вопрос: сможет ли литература противостоять тотальной и тоталитарной социальной инженерии, позволит ли она оставить от могучего древа культуры ризому — пень со множеством случайных тонких побегов, под силу ли ей противостоять лавине расчеловечивания, обрушившейся на нас?

Третья русская черта, в полной мере отражённая литературой, — особая слитность с природой, ощущение двойственное — себя в пространстве и пространства как неотчуждаемой части личности. То самое чувство дышащей почвы, матери-земли. Не зря ведь даже в одном из славянских мифов говорится, что у человека два тела, разграниченные кожей, — малое (внутри) и большое (снаружи). И едва ли скоропалительная урбанизация двадцатого века способна искоренить в русском человеке ощущение простора и природных стихий как части внутреннего космоса. А ведь это особенная жизнь — в особом природном темпоритме, в стихийной смене состояний… Жизнь, сложно постигаемая извне, но таинственно притягательная для культур, выросших на иных основаниях, на иной почве или утративших этот опыт в эпоху индустриальной урбанизации.

Да, сегодня крестьянская культура бытия, гармонично и устойчиво вписанная в русский Космос, почти разрушена, многократно оболгана, образ жизни резко изменился, но благодатный опыт наш

никуда не делся, он стал частью литературы, частью нашего культурного кода и в благоприятных условиях способен развернуться в полную силу. Вот они, три основы русской жизни: её невместимость в сугубый быт, её природная естественность (а следовательно, и природная целесообразность) и потребность в максимально общем деле для наиболее полной реализации личных сил.

Мы не изобрели ничего нового: по сути, это очень краткий конспект русской художественно-философской мысли. Для чего он сейчас? Для того, чтобы сказать: наша литература уже сформулировала и явила нашу национальную идею, способную противостоять агрессии расчеловечивания. И эта идея притягательна для всего мира, потому что в центре её—человек: личность, укоренённая памятью и традициями в своей земле, ощущающая внешнее пространство своей жизни как неотъемлемую часть себя, личность, разворачивающая свой потенциал в общем совокупном усилии с Природой и Высшим основанием (Богом) обустраивать мир по законам добра и красоты и принимающая на себя прямую ответственность за это обустройство. Утопия, скажете вы? Нет—стратегия.

Агрессии невозможно противостоять, не имея крепости, бастиона, собственного проекта бытия. И сейчас, когда пульс времени участился до горячечного, самое время понять, чего же хотим мы. Иначе будет просто поздно. Национальную идею нельзя фокусировать на прогрессе, технологиях, соревнованиях экономических, промышленных или военных. Она должна быть абсолютно самостоятельной, самодостаточной, обнимающей все стороны жизни и нацеленной на решение центрального вопроса—вопроса о человеке. Кто мы, зачем мы здесь, на этой земле, в этой истории? Что передавать дальше, будущим поколениям, новым звеньям в цепи жизни? И ведь важно, чтобы было кому передать.

Проект человека-потребителя потерпел сокрушительный крах: оказалось, он породил загрязнителя и уничтожителя природы, беспощадного агрессора (надо же отвоёвывать ресурсы для потребления!) по отношению к внешнему миру и к себе подобным. Агрессия всё нарастает, и уже более чем очевидно, что проект потребления ведёт к «полной гибели всерьёз» всех, ибо начинает прямо противоречить законам природы, психики, жизнеспособного человеческого сообщества.

Мы видим, как обостряются проблемы экологические, как нарастают технологические сбои, как совсем молодые люди в самом начале пути выбирают не жизнь, а смерть—и не только для себя, но и для тех, кого считают виновными или просто оказываются рядом. От этих проблем нельзя спрятаться. Их нельзя утопить в новостном потоке. Их всё равно придётся решать. И чем раньше, тем меньше страданий и жертв.

Все «чёрные» мифы о вопиющей бессмысленности русской жизни, вечном русском рабстве и патологической лени—это инструменты идеологической войны, и они постоянно настороже только потому, что русская идея человека уже сформулирована, отточена, утверждена в системе доказательств—как прямых, так и по принципу от противного—в великой русской литературе, которая набрала свой золотой (в девятнадцатом веке), серебряный (в начале двадцатого века), стальной (советский) опыт и продолжается сегодня.

Русская идея человека—со-творца Природы и со-трудника Бога—произрастает из культуры крестьянской, то есть от самой почвы, земли, питающей нас хлебом, и обладает колоссальным потенциалом подлинной внутренней свободы. Но она же требует и внутренней организации, высокой культуры и мощной современной литературы, ведущей разговор по душам с каждым собеседником, реальным и потенциальным. Эта идея человека понятна и привлекательна в мировом масштабе, потому что её основа есть в матрице каждой культуры. По горизонтали бытия она может обеспечить взаимопонимание национальных культур, а по вертикали—определить формат культуры промышленной, научной, философской и согласовать, соразмерить с идеей человека все стороны жизни.

Антиподом идеи человека сегодня является трансгуманизм, черты которого туманны, но детали, проявляющиеся в разных аспектах деятельности, угрожающи. Трансгуманизм отталкивается от того, что идея человека себя исчерпала—он несовершенен, хрупок, смертен и, видимо, в конечном представлении просто ничтожен и жалок. Его нужно совершенствовать при помощи технологий или заменять вообще. Но такое возможно, только если исключить Божий замысел о человеке, о его месте в Универсуме, в Природе, на земле. Это прямой путь к катастрофе.

Что нужно современной литературе, чтобы донести идею человека до каждого человека? Во-первых, следует понимать, что деятельность писателя сегодня намного шире, чем работа над произведениями,—сами произведения являются лишь кратким художественным конспектом нравственного поиска. Нужно широкое пространство прямого диалога с читателем, личного общения—площадки не для литературных тусовок, где свои почитывают для своих, как происходит сплошь и рядом, а для глубоких разговоров о жизни и её смыслах. Это библиотеки, учебные заведения, учреждения культуры.

Во-вторых, нужны целевые программы книгоиздания—в том числе лучших произведений, адресных произведений—детям, подросткам, молодёжи. Им сегодня труднее всего, они дезориентированы, но у них и больше молодой воли

к жизни, и она не должна становиться волей к смерти, как только что произошло в Керчи и в Архангельске. Нужно признание писательства профессией, а литературы — государственным делом, и об этом мы говорим постоянно. Но пока этого нет, нужно объединять все заинтересованные здоровые силы, всё, что служит строительству личности, а не её развращению и растлению.

Земля и Слово — две важнейшие координаты этой деятельности. Взращивание хлеба материального и хлеба духовного — общий труд созидания человека. Это его согревают своим дыханием почва, мать-земля и судьба, за выполнение предначертаний которой мы в конечном итоге оказываемся ответственны сами.

Вызов, брошенный человеку, глобален — ответ должен быть соразмерным. Вся деятельность Ассоциации писателей Урала являет собой пример успешной самоорганизации писателей в поисках ответа на этот вызов. Результатом усилий стало сохранение литературного потенциала огромного региона Урала, Сибири и Поволжья в самые трудные для русской литературы годы, когда писатели были разобщены и поставлены буквально на грань выживания. Сегодня накоплен драгоценный опыт ассоциативной работы организаций Союза писателей России и Союза российских писателей в осмыслении острейших проблем современности, ведь происходящее напрямую касается всех, а тезис «разделяй и властвуй» легко превращается в «уничтожай поодиночке».

Национальная идея, выстраданная русской литературой и пронесённая через испытания двадцатого века, должна быть реализована в веке двадцать первом, иначе она будет подменена, вытеснена, уничтожена идеей трансгуманоидов — существ без земли, без памяти, без Бога и смысла бытия.

ДиН стихи

Елена Брянцева

Земные звёзды

Земные звёзды

Земные звёзды — моё начало…
В тесовой люльке меня качала
Прабабка Дарья под «люли-люли»,
Под ту берёзу, что ветры гнули,
Под ту берёзу, что заломили…
Ох, заломили, но не сломили.
Была та бабка в мужицкой силе.
И это было моим началом.

В глухом ущелье под «Ой-уарира»
Меня качала прабабка Зира.
Она не знала, что сын Сослана
Когда-то встретит свою Светлану,
Свой свет-славянку, с косой льняною,
С точёным станом, с живой душою.
Была та бабка с простой мечтою.
И это было моим началом.

Земные звёзды! Поклон вам низкий!
За свет неяркий, за путь неблизкий,
За то, что были, меня любили,
В сундук с приданым мне положили
Поля и горы, земное счастье,
Небес просторы, небес ненастье,
Косынку вдовью — гуляй, безвластье!
И это было моим началом.

* * *

Диме

Как страшно потерять любовь свою!
Любовь, что в счастье нас запеленала,
В раю проснуться утром позволяла
И ночью, обнявшись, уснуть в раю.

Тебя призвали рано в мир иной,
И за тобой любовь мою призвали.
Лишь губы мёртвые меня поцеловали,
Мне захотелось следом за тобой.

Как прост и лёгок неимущих груз!
Не прикуёт навек к земле цепями…
Умри — и поплывёшь меж облаками,
С попутным ветром заключив союз!

Сергей Кузнечихин

С добытым волком на плече

Памяти Сергея Лузана

Осенью семьдесят седьмого года в Дивногорске проводилось краевое совещание молодых писателей. В подобных официальных мероприятиях я ни разу не участвовал. С красноярскими поэтами к тому времени был более-менее знаком, но предстояло увидеть пишущую братию со всего края. Уже на пристани обратил внимание на коренастого бородача, который густым весёлым баритоном просил кассиршу продать ему детский билет, поскольку является детским поэтом. Это был Эдуард Нонин. Вечером в гостинице, когда семинаристы, позванивая бутылками, кучковались по компаниям, бородач остановил меня в коридоре, представился, абсолютно уверенный, что я обязан о нём слышать, а я действительно знал: «К насекомке-незнакомке подкатился насеком…» Он ответил любезностью, сказав, что давно слышал обо мне, но, скорее всего, соврал; полагаю, заинтересовала его моя дремучая бородатость. Номер, в который он меня привёл, был забит до отказа и уже прокурен. Из красноярцев помню Третьякова, который на семинарах давно не обсуждался, но приехал, как теперь принято говорить, потусоваться. За столом и на кроватях сидели в основном норильчане. Помню, как мрачноватый Бариев, брезгливо отодвинув полстакана портвейна, проворчал, что на половинки не разменивается, и потребовал долить. Молодое и симпатичное лицо Люды Знаевой затушевалось временем, но на всю жизнь поселилась в памяти её строка: «Самая сладкая мука — голос твой выставить вон».

Когда мы пришли в номер, компания обсуждала недавнюю подборку Евтушенко. Разумеется, поругивали — как же не поглумиться над знаменитостью? Лузан был азартнее других. Конъюнктура всегда выводила его из себя. Потом мне приходилось видеть, как он взрывается на какого-нибудь пошляка или хама, но к тем, кого любил, он относился с удивительной нежностью. Дошла очередь и до ритуального чтения стихов по кругу, и он выбрал:

Загул норильских поэтов

Опять вино несёшь не нам!
Официант, постой!
Ты что, не знаешь Нонина?!
Так это новый Ной.
Ты что, не знаешь Знаеву?
Как смеешь?! Бога в мать!
А классика Бариева
Ты просто должен знать!
Когда прекрасно-сумрачный
Передо мной стакан,
Нет смысла пить из рюмочек, —
Так думает Лузан.
Извольте, Рим Ивановна…
Сядь ближе, Натали…
Уже доел Бариев
Стих в соусе зари.
И белый город Нонина
Сейчас начнёт свежеть.
Готовятся поклонницы
Осмыслить неглиже.
Дым оседает сгустками.
Одна на шестерых,
Сквозит беспечность грустная,
Похожая на стих.
Потом, по снежным улицам,
Плечом к плечу — в загул…
Но каждый знал, что он уже
В Историю шагнул.

Полагаю, что именно это стихотворение прочитано было не случайно. Оно звучало призывом к дружбе и скрытым объяснением в любви к своим товарищам. Но в поэтических застольях всегда можно наткнуться на кривую ухмылку. Пафос последней строки явно не устраивал Третьякова. Не верил Анатолий Иванович, что кто-то из той компании (кроме него) шагнёт в историю. Намного скромнее были запросы и у Нонина. Его устраивало, что именем его назовут даже не улицу, а какой-нибудь подъезд. Старшие товарищи уже научились не допускать в тексты честолюбивые амбиции. В тексты, но не в общение. А Лузан был распахнут во всём — и в стихах, и в быту.

С Нониным у него был затянувшийся спор. Мне казалось, что это подсознательная борьба за место вожака. Но, с другой стороны, подобного не замечалось в его отношениях с Бариевым. И только много лет спустя Люда Знаева, о которой Лузан говорил: «Она для меня не сестра,

а брат»,—рассказала, что при знакомстве Лузана с норильским литобъединением Нонин засомневался в авторстве прочитанных гостем стихов и пристыдил молоденького поэта. Чуть до драки не дошло. Чтобы опровергнуть обвинение, Лузану пришлось писать стихи на заданную тему. Но Серёжа злопамятным не был. Да и «травоядным» его не назовёшь. Их долгую распрю определяло не отношение к стихам друг друга, а отношение к жизни. Нонин вёл себя всего лишь как поэт, а Лузан—как мужик.

Семинар отшумел. Приехавшие из Москвы мастера с удивлением открыли для себя обилие талантов, произрастающее на сибирской земле, запротоколировали в отчёте, кого надо срочно издать отдельными книжками, кого включить в состав «кассеты», кого поощрить публикацией в альманахе «Енисей». Отдали протокол устроителям семинара и улетели. Однако работникам местного издательства показалось, что авансы излишне щедры, и они ограничились выпуском поэтической «кассеты» из десяти брошюрок. Самая объёмная насчитывала сорок восемь страниц, автором которой оказался директор местного издательства. Самая тоненькая (шестнадцать страниц) досталась Людмиле Мазуровой, которая в процессе обсуждения получила изрядную долю комплиментов и от руководителей семинара, и от слушателей.

Норильские поэты были приняты очень тепло, но в кассету попал единственный норильчанин—Юрий Бариев. Очередь до Лузана дошла через пять лет. И даже не в «кассете», а в тесном коллективном сборничке, которые принято называть «братской могилой».

После семинара мы долго не виделись. Когда я прилетал в Норильск, Лузан шлялся по своей тундре, а его визиты в Красноярск досадно совпадали с моими командировками. Встретились в середине девяностых, но это был уже не тот молоденький поэт с кудрявой чёрной шевелюрой, а матёрый седой мужик, не растолстевший, но раздавшийся в плечах, излучающий мощную физическую силу, хотя и не отличался могучими габаритами. В Норильске к этому времени его стали звать Лузанище (и не только «за глаза»).

Повзрослел, но характером не изменился. По-прежнему шумный, по-прежнему категоричный. Казалось бы, не самые приятные человеческие качества, но Лузану они совсем не мешали, не отдаляли его от людей, а, наоборот, притягивали к нему, потому как его категоричность была всего лишь естественным проявлением страстной натуры. В ней полностью отсутствовало высокомерие. Полагаю, что взрывной характер принёс ему много неудобств, но нормальные люди быстро прощали ему обиды, понимая, что в горячности его напрочь отсутствует подлость. В каком-то затяжном визите в Красноярск он проживал у земляка-норильчанина. Собралась поэтическая компания. Дошло до чтения стихов. Когда настала очередь хозяина квартиры, он уверенным голосом, даже с артистизмом, прочитал пару стихотворений из любовной лирики и собирался продолжить, но поднялся хмельной Лузанище и гаркнул:

— И ты смеешь при мне читать эту пошлую графоманию? Вон отсюда!

Он даже забыл, в чьей квартире сидит и где ему предстоит ночевать. Хозяин вышел на кухню и ждал, когда разойдутся гости. Лузан не уехал. Извинился. Помирились. А мужчина был серьёзным специалистом, и Лузан всегда с восторгом отзывался о нём, потому что уважал профессионалов. К сожалению, очень много хороших и даже умных людей пишут плохие стихи, не понимая этого.

В тот наезд на Красноярск он привёз «Гнездовье вьюг», книгу, которую без натяжки можно назвать антологией заполярной поэзии. В неё вошла большая подборка (на полторы тысячи строк) его стихов. И это была первая крупная публикация. А поэту подкатывало под пятьдесят.

Залежавшиеся в столе стихи подталкивают к прозе. И она появилась. При насыщенности его жизни она обязана была появиться. В неё хлынуло всё то, что не умещалось в стихи. Он и в стихах-то не испытывал особого уважения к канонам, а в прозе освобождённая страсть хлынула через все запруды. Без влюблённости в свою тундру, своих собак и своих волков подобную прозу не напишешь. У него даже пейзаж переполнен страстью, и уникальные подробности этого пейзажа—тоже продукт страсти в первую очередь, а уже во вторую—опыта бывалого промысловика.

В 2002 году вышло главное прозаическое детище Лузана—книга «Стая», которую тоже можно назвать антологией заполярной прозы. При его авторитете в Норильске он мог бы хлопотать только за себя и благополучно выпустить авторскую книгу. Мог бы, но не стал, потому что, в отличие от многих собратьев по перу, никогда не был эгоистом. А в результате норильчане узнали о прекрасных прозаиках: Татьяне Беглецовой, Викторе Самуйлове, Владимире Эйснере… Книга получилась солидная, с прекрасными иллюстрациями коренных северян: нганасанина Мотюмяку Турдагина и долганина Бориса Молчанова. Хочется заметить, что с коренными жителями Севера у Лузана были особо тёплые отношения. Большинство русских писателей изучало их как младших братьев, а Лузан нежно любил и считал их мудрее нас.

«Стая» пока остаётся наиболее полным изданием его рассказов. Но его проза достойна не меньшего внимания, нежели стихи.

Когда Юрий Беликов уломал-таки московскую газету «Трибуна» выделить страницу под рубрику

«Приют неизвестных поэтов» и спросил меня, кого из сибиряков не только можно, но и нужно напечатать, первый, о ком я подумал, был Лузан. Я позвонил в Норильск и передал адрес, по которому надо переслать стихи. Дисциплиной в этих делах безалаберный северянин не отличался, и я был внутренне настроен недельки через две напомнить ему. Но напоминать не пришлось. Рукопись дошла до Беликова. А в те годы электронной почты ни у кого из нас не было. Лузан словно почувствовал, что отсылает стихи туда, где их действительно ждут, где готовы их понять и принять. Предчувствие не обмануло. Беликову они очень даже глянулись, и он заявил, что теперь поэзию надо измерять в «лузанах». Его притягивали не только тексты, но и судьба поэта. В предисловии к «Дикороссам» он писал: «…Парадокс в том, что, предложи в своё время таймырскому охотнику Лузану махнуться судьбами с „фрахтующими парижанами" (те-то, понятно, с Лузаном ни проживанием, ни планидой ни за что бы не махнулись!), а ведь, почесав в затылке да похмыкав, таймырский охотник-поэт отказался бы от этого соблазна. Да ещё бы прибавил: „Незавидная у них участь! На том-то свете что они делать будут?!"»

Кстати, задолго до того, как сам Лузан прочитал эту статью, он говорил мне, что его сын живёт на озере Балатон, зовёт к себе, а у него ни малейшего желания, он даже представить не может, чем там будет заниматься. Юра Беликов словно подслушал наш разговор. И неудивительно, точно так же он подслушал потаённые ноты в музыке стихов Лузана «Бегло прорифмованные, красные от мороза (есть белый стих, а есть красный стих), наполненные брёхом собачьих упряжек и дрожью полиэтилена вместо раздавленного медведем стекла творения Сергея Лузана (вот тут я спотыкаюсь, ища прижизненных уподоблений, и не нахожу) разве что сопоставимы с поэтическим примером Велимира Хлебникова».

Откройте классика и сравните с лузановскими строками.

…Идёт пурга.
Во мгле сияет шкура
От Нянгуто до солнечной Карги.
Хей во! Пора спешить.
Мы на ходу прикурим
От голубого пламени пурги.
Ремень дарю. Нож оставляю. Надо.
Всё может быть… Дорога далека.
По февралю гуляют волчьи свадьбы.
Пусть рукоятку чувствует рука.
В дорогу, Йрембо!
Пурга зовёт в дорогу…

Есть, конечно, что-то от Хлебникова. Стихия, не поддающаяся ни шлифовке, ни правке. Она захватывает читателя (а слушателя тем более) помимо его воли. Здесь уже не до того, чтобы оценивать точность рифм и выверенность размера. Но для меня Лузан ассоциируется больше с Юрием Белашом, автором лучших стихов о войне, к сожалению, малоизвестным. Их объединяют жёсткий реализм и полное отсутствие необязательных стихов, ну и, к сожалению, некоторая корявость. Но Лузан всё-таки темпераментнее Белаша.

Помнится, Анатолий Кобенков в 2000 году устроил в «Иркутском времени» анкетирование, в котором был вопрос о термине «сибирская поэзия». Понятие, на мой взгляд, расплывчатое, но, тем не менее, самым органичным сибирским поэтом я назвал Сергея Лузана. Дело вовсе не в прописке, не в обилии сибирских реалий, а в духе, которым насквозь пропитаны стихи Лузана.

В 2014 году Нвард Авагян перевела на армянский и смогла издать антологию «Дикороссов». Акция по нашим временам, не побоюсь пафосного слова, героическая. Но не обошлось и без казуса. Беликов, когда скликал «дикоросскую» ватагу, попросил нас, чтобы фото были по возможности не казёнными. Лузанище прислал снимок с добытым волком на плече. У переводчицы не было книги под рукой, тексты брала из Интернета. Оттуда же и фотографии авторов. И в результате перед именем «Сергей Лузан» оказался не матёрый мужик с волком на плече, а ухоженный господин в галстуке. Самое парадоксальное, что переводчицу нельзя обвинить в невнимательности. Оказывается, что на «Стихире» задолго до настоящего Лузана обосновался и процветает его однофамилец и тёзка, выложил там более тысячи (!) стишков сатирического содержания и собрал около 150 000 (!!!) читателей. Статистика настоящего поэта выглядит совсем сиротской. На то и Лузанище, чтобы кто-то обязательно мешал его стихам пробиться к людям. Он так и не освоил компьютера. Руки его, привыкшие к карабину (или стакану), боялись клавиатуры. Пробьётся ли его поэзия к новому электронному читателю? Боюсь прогнозировать. Впрочем, эти сомнения относятся ко всей настоящей поэзии.

В наше время прожить на пенсию в Норильске практически невозможно. Пришлось откочёвывать на «материк». Отработав почти всю жизнь в Заполярье, никаких золотых запасов он, естественно, не создал, а если бы и накопил, Гайдар со товарищи превратили бы их в пригоршню медяков. Благодаря заботам жены Маргариты они купили всё-таки жильё в псковской провинции. Я предупреждал его, что люди в маленьких городишках центральной России добрые, но осторожные, и его северные замашки могут перепугать их. Позволит пару «выступлений», покроет матом какого-нибудь чиновного дурака — и останется в глубокой изоляции, потому что, в отличие от Севера, улицы в этих городишках слабо проветриваются.

Напрасно пугал. Судя по телефонным разговорам, прижился без особых напрягов. Даже работу нашёл. Устроился егерем. Хотя всю жизнь, как большинство северных охотников и рыбаков, называл себя браконьером (или бракушником). Догадываюсь, что его опыт промысловика был более чем авторитетен для псковских мужиков. Я даже вижу его в окружении псковарей, травящего байки у вечернего костерка со стаканом в руке. Должность обязывала. Доходило до стычек и угроз, только пугать Лузана—себе дороже.

Вроде прижился, но последние три-четыре года перестал выходить на связь. Мы с Задереевым решили, что потерял телефон, а электронкой пользоваться так и не научился. И вдруг звонок из Калужской области от Серёжи Смирнова (тоже норильчанина): умер в больнице от рака.

Мне уже доводилось хоронить друзей после этой болезни. Видел их муки, но никак не могу представить немощного Лузана на больничной койке.

Не могу и не хочу.

ДиН память

Сергей Лузан

Льдина в луне

Баллада об идолах

Овалы лет в стволе веков почувствовав рукой,
На холм крутой втащил с трудом
И стал тесать лесину.
И, с каждым взмахом топора теряя свой покой,
Я божество освобождал из тёмной древесины.
Так лешие на звон луны выходят из трясины.
Освобождался идол мой из плена хвойных смол.
Сгустился профиль.
Ожила улыбка в ломких линиях.
Не так добра, как я хотел, но это идол мой.

Я помню, ночь была с тобой, распутной и святой.
И шорох глаз, и шорох губ, и шорох голубиный.
И мрак, из олова литой, слегка подсвеченный
Свечой,
Мерцал над площадью старинной.
Но исчезал в пространстве иней,
Ты поглощалась влажной тьмой.
Была любовь слепой и сильной.
Не так добра, как я хотел, но это идол мой.

Из пыли пройденных дорог не вылепишь покой.
Я знаю, осень. Кровь моя окрашена рябинами.
На перепутьях остывал, как старец у икон,
Но снова шёл и травы мял, от заморозков синие.
С ветрами шёл, холмами шёл и долгими долинами.
Я знаю, как цветут снега, и знаю жажду в зной.
Дорога на лице моём написана морщинами.
Не так добра, как я хотел, но это идол мой.

Иду один и никому не говорю: «Веди меня!»
Пусть разум не всегда в ладах с неистовой душой,
И жизнь, которая в ладонь легла тяжёлой линией,
Не так добра, как я хочу, но это идол мой.

Нганасанскому художнику Мотюмяку Турдагину

Вымывает тебя из созвездий.
Пахнет снегом и сном Орион.
Митя, мы наклонились над бездной,
И года превращаются в стон.
Ничего…
Будет Пайтурма льдами,
Как цепями, под утро звенеть.
Седина и глаза наши тают,
Не давая душе догореть.
Май промаялся.
Все наши беды
Отойдут по движению солнц.
Я когда-нибудь в гости приеду
Разделить пополам хлеб и соль.
Сяду рядом на хрупкий лишайник,
Буду долго смотреть на мольберт.
Костерок дымом сердце затянет.
Рядом мудрость, улыбка и смерть.
Я когда-нибудь, Митя, приеду.
Будет Боря Молчанов молчать,
И Огдо, и Ненянг наше небо
Тихим шёпотом ветра листать.
Так похожие корни на вены
Станут землю свою обнимать,
А луна, или даже Елена,
Будет эту весну вышивать.
Митя, друг мой родной, Мотюмяку,
Род Турдагиных:
Тундра и кисть!..
Даже слава приходит, однако,
Но проходит хреновая жизнь.

Баллада о печали

Я ждал, когда рассвет одолжит
Свой цвет у листьев сентября.
И в это утро мрак тревожный
Вливался медленно в меня,
Когда едва свеченье дня
Мотивом осени звучало
И красный свет мерцал со дна
Немого озера печали.

На птицу старую похожий,
Рассвет в кварталах крик терял,
И веки под прозрачной кожей
Таили мудрость янтаря.
И дума, что живу я зря.
Душа опору потеряла.
Лицо лишь отсвет озарял
Немого озера печали.

В тумане мира осторожно
Скользила помыслов ладья.
Я чувствовал со странной дрожью,
Как дни над пропастью парят.
И проникал в рассудок яд.
Любовь его не растворяла.
Вставала медленно заря
Немого озера печали.

В чужие всматриваясь лица,
Я знаю, что и вы видали,
Как по утрам седая птица
Парит над озером печали.

Бариеву

Видишь, Юра!
Мир тупой.
Мир тупой, как обух.
Мы поэты оба.
А на кой?
Юра, нет учителей.
Не было и нету.
Нет тебя,
Нет меня
На планете.
Расскажи — я промолчу.
Сам скажу не больше.
Время — только чучело,
Но из нашей кожи.

Брошенный вахтовый посёлок

Грохочет ночь, и стол, и крыша,
И сердце, и луна.
Там, в Нижнем Мире, громко дышит,
Не спит Она.
Не нравится в пурге посёлок
И трактора…
Всё мёртвое, и в тундре голой
Скрипит зола.
Вон там чернеет из-под снега
Семь лет сапог.
Пурга. Луна на мутном небе
Мотает срок.
Обломки арматуры, бочки,
И прах, и тлен.
Журнал, изорванный на клочья
Великих перемен.
Из Мира Нижнего всё время
Глядит Она.
Утихнет скоро всё, и будет
Покой и тьма.

Льдина в луне

Подлунное пятно в морозном киселе.
Сам полный диск луны сейчас почти в зените.
Лёд гулко рвётся в пойме на реке,
И звук хранится в сопках,
Словно в свитках.
Всё это — тишина и княжество снегов.
Осипший волчий вой
Клубится в лунной зыби.
Небрежно нанесён
Носатый профиль мой
Резцом уверенным на ледяную глыбу.
Где раньше видел я?
Где раньше видел я?..
В далёкой юности
Я видел сны скитанья:
Россия голая,
Холодная земля
И глыба…
Нет!
Плита
И лунное сиянье.

Алексей Бондаренко

Я слышу голос его

Время неумолимо быстротечно. Нынче, 29 ноября, вот уже почти два десятка лет как не стало с нами Виктора Петровича Астафьева. Но, как ни парадоксально, для меня не существует границ времени. Всё, что связано было десятилетней дружбой с Виктором Петровичем, было как будто вчера. И живу я в реалиях сегодняшнего дня. С нетерпением жду весну, когда снова сломя голову на целый месяц помчусь в Овсянку, где меня с нетерпением ждёт мой друг и наставник Виктор Петрович: и по утрам немудрящую кашу будем вместе варить, и он будет с усмешкой подтрунивать надо мной, над моей деревенской неловкостью, и, затаившись под кустом кудрявой калины, с нетерпением будем ждать очередную разорительницу-ворону, которая поджидает прилетевшего с тёплых краёв и обихаживающего свой «дом» скворца, и на вечерней заре пойдём на Енисей, к бабе Ане (Потылициной А. К.) зайдём на сдобные пироги, и в библиотеку заглянем. А уж вечером, в тишине и покое, займёмся каждый своим делом. И уже ближе к полуночи Виктор Петрович включит свой старенький телевизор, чтобы посмотреть очередной футбольный матч. А я, намаявшись за день, к стыду своему, буду рядом сидеть на диване, посапывая, дремать. И уже далеко за полночь толкнёт меня осторожно Виктор Петрович и просто скажет:

— Укладывайся.

Спросонья, не понимая, где я, заморгаю глазами, и уж когда соображу, то спрошу, кивнув на телевизор:

— Ну что там?

Виктор Петрович, отмахнувшись, зашаркает мягкими тапочками по половикам, на ходу разочарованно бросив:

— Продули… Опять продули…

А утром чуть свет я поднимусь и займусь в усадьбе писателя хозяйственными делами. Только ближе к полудню он вывалится из «избушки», так называл он свой домик в Овсянке, улыбнётся и удивлённо воскликнет:

— Ого! Герой Труда дрыхнет, а желанный гость уж пол-огорода вспахал. Да на тебя земли не напасёшься,— и довольно засмеётся.

И всё это у меня перед глазами, наяву. Нет, не вчера это происходило, а вновь будет этой весной там, в Овсянке. Но только в памяти. А придёт она, долгожданная весна эта,—разочарование за пустое ожидание и рухнувшие надежды постигнут меня. И вновь к сердцу подступит та неисцелимая боль, когда в Енисейске я услышал о страшной беде и мчался на машине в Академгородок.

И вот, живя в Енисейске, я слышу голос его. Нет, не в Красноярске, не в других городах нашей необъятной Родины, а здесь, в Енисейске. Этот город, и даже не город, а городок, дорог мне с детства. Ещё Сергей Залыгин в своё время писал о Енисейске так: «О Енисейске нельзя сказать, что он похож на большую деревню,—это город, нельзя даже сказать „городок“. Нет, это небольшой, но город. И школа в нём каменная, красивая, городская».

Вот и великий писатель современности Виктор Петрович Астафьев полюбил его с детства. С тех пор, когда его мальчишкой везли на барже на суровый Север, в Игарку. С тех пор он ему запомнился на всю жизнь. Он всегда тосковал о нём. В Енисейске начинали снимать фильм по его произведению «Где-то гремит война». А после переезда из Вологды в Красноярск он был частым гостем у нас в Енисейске. А мне дорогá здесь первая встреча в моём родном городе с Виктором Петровичем. Хорошо мне помнится тот день, когда почти случайно я познакомился с ним в своём родном городе. Конечно, в первые минуты общения я чувствовал себя неловко. Стыдился поддерживать разговор о литературе, подбирая с трудом слова, нелепо отвечал на задаваемые мне конкретные вопросы. Я знал, что передо мной сидит человек особенный, необыкновенный, не такой, как я, как другие. До встречи с ним я представлял, что Астафьев высокомерен, обременённый мировой славой, и смотрит на всех свысока, говорит высокопарными словами, что ему неинтересны наши мирские житейские дела.

И, несмотря на народный характер его книг, в которых он раскрывает красоту простого человека, я был убеждён, что именно таким должен быть Астафьев, потому что слава кружит людям голову. Но каково было моё удивление, когда перед собой увидел обыкновенного человека, в обыкновенной простой рубашке, без галстука, говорившего не наставительно-витиеватыми фразами, а просто и понятно, нашим «деревенским»

языком. Он со свойственной ему простотой расспрашивал меня о житье-бытье, рыбалке, охоте, урожае грибов и ягод в тайге.

Уже позже я узнал, что Виктор Петрович был и охотником, и мастером рыбной ловли, и подлинным природолюбом. Его повесть «Царь-рыба» и многие рассказы вошли в хрестоматию по экологии и охране природы. Писатель давно был верным другом альманаха «Охотничьи просторы», где публиковались такие известные его произведения, как «Улыбка волчицы», «Лес Аденауэра» и ряд других, а в 1996 году он специально для альманаха написал проникновенно-лирические воспоминания «Разговор со старым ружьём», вызвавшие особый интерес читателей.

Писатель на протяжении многих лет сотрудничал с детским журналом о природе для семейного чтения «Муравейник».

Бывая в Енисейске, он делился с друзьями сокровенными мыслями, строил планы на будущее, ездил на рыбалку, в тайгу. Он шесть раз бывал на реке Сым, которую воспел в своих произведениях. Летом летали мы с ним на вертолёте на реку Сочур, а затем и на Кию.

В одной из последних «затесей» «На сон грядущий» Виктор Петрович признаётся:

«Что же самое хорошее было в моей жизни? Лес, тайга, бесчисленные хождения по ней. Конечно же, с ружьём. Я был плохой стрелок, и меня „кормили“ ноги. Чтобы что-то добыть, я должен был много, много бродить по тайге. После войны я „боялся“ большой крови, и самым сподручным зверем был для меня рябчик, редко тетеря и ещё реже утка.

Я стеснялся неуклюжести в стрельбе с левого плеча (зренье правого глаза я потерял на войне) и потому предпочитал бродить по тайге один. Там, в тайге, и сочинительствовать начал. Уж очень много видел и пережил в тайге такого, о чём хотелось поведать другим людям, раз они этого видеть и пережить не могут».

Или в этой же «затеси». «Я люблю весну с босоногого детства, с игр в бабки, в лапту на поляне, но вспоминается чаще и щемливей в сердце всё же осень с её пёстрым праздноством и грустным расставанием с летом и теплом».

Известно, что Виктор Петрович всегда был душой любой компании. Но, очутившись в тайге, он уединение любил. В такие минуты он расслаблялся и, будто сбросив с натруженных плеч непосильный груз мирской суеты, с головой уходил в мир природы, внимая её неповторимую потаённую жизнь. Здесь у великого писателя рождались новые замыслы рассказов, «затесей», повестей. В тайге же, на реке Сым, с удочкой в руке, он радостно воскликнул:

— Есть роман!

Здесь же он и поделился с В. Н. Сидоркиным замыслом книги о войне «Прокляты и убиты».

Одним из замечательных качеств Виктора Петровича Астафьева было то, что он высоко ценил настоящую мужскую дружбу, которая держалась на полном доверии и уважении друг к другу. Мне он как-то печально признался:

— Видишь, Алёша, сколько ко мне народа ходит, а настоящих друзей у меня мало. Один из них ты.

Для меня такое признание, конечно, было неожиданностью. Я и теперь горжусь, что в своё время писатель поставил меня в один ряд со своими надёжными друзьями.

К тому же Виктор Петрович уважал и ценил труд таёжника и людей этой древней профессии, считая их чистыми душой и добрыми сердцем. Ведь в то время и я был просто промысловым охотником. И Виктор Петрович своим друзьям и знакомым поначалу с гордостью представлял меня так: «Алёша из Енисейска. Охотник…»

А чуть позже Виктор Петрович напишет предисловие к моей первой книжке «Мужская трава», в которой достоверно расскажет о нелёгком труде таёжника:

«Почти во всех охотничьих избушках находил я то небрежно брошенную на стол, то тщательно спрятанную тетрадь — что-то вроде календаря, который часто переступает свои скупые страницы и превращается в дневник, собеседником охотника становится ученическая тетрадка — собеседник нужен всякому человеку, необходим он и охотнику. Много ли с собаками наговоришь?

Ах, сколько наблюдений, одиноких дум, иной раз неуклюжими, но искренними стихами или в виде песни изложенных, в тетрадках одинокого промысловика!

„Россыпью зёрен“ называю я эти нехитрые творения, занесённые в тетради, из которых проросло не одно стихотворение в мировой и прежде всего в русской литературе.

Алексей Бондаренко эти „россыпи зёрен“ проращивает в виде коротких этюдов, рассказов, зарисовок. Я давно их читаю и вижу, что год от года слух и глаз охотника становятся приметливей и острей, перо — тоньше. Впрочем, я не хочу навязывать вам, дорогой читатель, своих оценок — я ведь не продаю и не покупаю товар, я всего лишь предлагаю побыть вместе с охотником в приенисейской дивной тайге, подышать лесным воздухом, порадоваться, иногда погрустить, поучиться таёжному умению; опыту, которые никогда не лишни, но особенно нужны, когда оказываешься один в тайге, да ещё в беду попадёшь».

Осталась незабываемой для меня одна из поездок с Виктором Петровичем на реку Сочур.

Зимовье на реке Сочур некорыстное, обветшалое, потолок из жердей, земляной пол и полуслепое оконце на восток. Нары вдоль противоположных стен сколочены тоже из сухих жердей, меж ними небольшой столик и в углу железная

печурка. Брёвна без паза, и кое-где через стены зимовья проникает дневной свет—птицы и мыши постарались. Зимовье когда-то было построено лесоустроителями на высоком берегу реки. Лесоустроители сделали своё дело, отработали положенный срок и удалились восвояси с диких берегов. Многие годы так и стояло зимовье без пригляда, обветшало, покосилось. Со временем оно бы сгнило и рассыпалось. Благо его случайно нашли охотники—на перепутье стоит, подлатали, подладили, крышу заменили, ещё одно оконце втиснули в прогнившую стену. Светло и уютно стало в зимовье.

Не думал я, не гадал, что в этом зимовье придётся мне несколько дней прожить и пообщаться с Виктором Петровичем. Наша поездка на Сочур вышла экспромтом. Этой весной я не собирался в тайгу. Когда природа оживает, тогда человек лишний в лесах. Не надо мешать таёжной живности гнездиться, плодиться, наслаждаться жизнью. В тайге в это время жизнь кипит, суета сует…

Дома, занимаясь повседневными делами, часто вспоминал Овсянку, откуда я только что вернулся в свою деревню. И как-то вечером у меня в доме объявился Виктор Петрович, будто с поднебесья спустился, упал как снег на голову. Рядом с ним—Василий Нестерович Сидоркин, возглавлявший в ту пору компанию «Эко-Сым». Оба стоят у порога, мнутся, что-то важное выложить хотят. На Виктора Петровича не похоже: в его ли возрасте, как мальчишке, смущаться и помалкивать?

— Ну что вы у порога-то? Проходите в избу,— спохватился я, не пришедший ещё в себя после такого сюрприза.

А Виктор Петрович тотчас же прямой вопрос влепил:

— Со временем как?

— Его всю жизнь нехватка.

— Тогда чай давай, Люда,—обратился Виктор Петрович к моей жене.

За чаем и пряниками дело не стало. Скоро мы сидели за столом и перебирали по памяти подходящие глухие места, куда нам забраться на рыбалку. Не помню почему, но единодушно выбрали реку Сочур, где затишье и Божья благодать.

Река Сочур, тихая, спокойная, без капризов, встретила нас покоем и умиротворением. На её глинистых берегах кое-где стояла ещё вода, оставленная половодьем. Русло обретало свою форму. Озёра, перемкнутые ещё тонкими перемычками берега, прятались в глубине тайги, с каждым днём всё более удаляясь в глушь от успокаивавшейся реки. На Сочуре движение воды почти не приметно глазу, и река больше напоминает застоявшееся болото с вязкой тиной на отмелях. Только редкие песчаные обмыски говорят о том, что здесь, как и на всей земле, продолжается жизнь. Таких рек на левобережье Енисея множество, скрытых и тихих. В них не водится благородная рыба, но уж «сорной» вволю. Пудовые щуки вечерами будоражат воду, поджидая зазевавшуюся мелочь, краснобрюхие язи лениво шевелят плавниками, собираясь у приярий. Окуня и сороги и вовсе не счесть.

Не знаю, почему согласился Виктор Петрович побывать на реке Сочур. Избалованный приглашениями рыбаков, он мог без труда побывать в любом, даже не доступном для простых смертных уголке нашего края. Рыбацкая удача всегда сопутствовала ему. В былые времена он умеючи ловил на спиннинг и тайменя, и хариуса, и ленка, да и чего ему только не попадалось. И вдруг ни с того ни с сего—река Сочур с застоялой водой, с не привлекательной для любого ханжи рыбой. Уже позже я понял, что промысловый улов никогда не интересовал Виктора Петровича. Ему бы посидеть с удочкой на берегу тихой реки, побыть с природой наедине, подумать, помечтать, поговорить с птицами. Потому-то большие компании он не любил, особенно сторонился любителей повыпячиваться, повыпендриваться, повыкобениваться. Сам же всегда поддерживал разговор у костра ли, в избушке ли, на реке ли, и каждый раз в его речи не было местоимения «я»—для него это словно не существовало. Восхвалителей «подвигов» он сторонился, а при случае осуждал их за бездуховность, легкомыслие и беспечность.

Я же выбрал реку Сочур для поездки лишь по одной причине: давно обещал показать писателю свою малую родину—древнее село Маковское. Такой случай представился, и я, конечно, воспользовался им. Направляясь к Сочуру, вертолёт обязательно пролетит над моим селом. К месту было и то, что я попросил пилотов покружиться над Маковским.

Вертолёт то зависал, то делал круги над селом. И в эти минуты сильно было моё желание ступить на родную землю, повидаться с мамой—тогда она жила там, но лётное время было весьма ограничено, экипаж торопился.

Мы, уставившись в иллюминаторы, смотрели вниз. Река Кеть входила в берега. Разорённые и большей частью заколоченные дома, поваленные заборы словно взывали о помощи. Заваленные хламом и мусором улицы стали узкими, жалкими. Чего бы ни касался взор—всюду запустение, беспечность людская. Лишь уцелевшие редкие телевизионные антенны на длинных шестах вещали, что в селе ещё теплится жизнь.

Когда в последний раз вертолёт завис над селом, писатель воскликнул, качая головой:

— Какое село загубили!!!

После зрелища разрушенного древнего сибирского села, форпоста Восточной Сибири семнадцатого века, Виктор Петрович каждый раз при наших встречах будет задавать мне один и тот же вопрос: «Мать-то перевёз к себе?» И снова через год мне

напомнит: «Переправил мать-то с отчимом? Ещё одно деревенское русское гнездо опустеет. О-о-о Господи, когда же наоборот-то будет?»

Растроганный Виктор Петрович ещё раз уныло глянул в иллюминатор и, достав из «энцефалитки» вчетверо сложенный листок бумаги, подал мне.
— Нам бы сей день пережить,— кисло улыбнулся он.

На листке его почерком было написано одно слово: «Крепись».

Сочур встретил нас хмарью и дождём. Но вскоре выглянуло солнце, защебетали птахи, лёгкий ветерок принёс тепло с южной стороны. Вокруг избушки буйно росла черемша. Её было так много, что некуда было поставить ногу. Она росла даже у самого порога избушки. Мы стояли в растерянности, поглядывая друг на друга. Не хотелось топтать нежные листочки, а дверь открывать надо. Я первым решился и вошёл в избушку. Порадовало то, что в зимовье было сухо. Как раз то, что нужно для больных лёгких Виктора Петровича.

Чай вскипел быстро, и на столе появилась гора городской снеди. Виктор Петрович привезённые яства небрежно отодвинул в сторону и, вооружившись ножом, не выходя из зимовья, напластал у порога груду сочной черемши. В эти минуты мы с благодарностью вспомнили мою жену Люду, которая не забыла впопыхах всунуть в рюкзак литровую банку сметаны. Уже на третий день сметаны и картошки не осталось, и черемша отступила от избушки — собирал я её уже в дальнем берёзовом колке. А городская провизия почти вся вернулась домой.

Рыбалка на Сочуре у нас не получилась. Рыбы здесь будто никогда не бывало: она не хотела идти ни в сеть, ни на крючок. Мы понимали, что наступило то «мёртвое» время, затишье на реке, когда полая вода ушла, а река ещё не вошла в берега, не обрела своего первозданного русла. Но, несмотря на затишье, писатель всё же сумел удочкой натаскать сорожек. Из них получилась превосходная уха, заправленная черемшой.

Всё это было будто вчера. Приходило свежее утро, и мы, отдохнувшие,— с удочками на реке. Ещё труднодоступны и слишком мягки глинистые берега Сочура после паводка. Прошлогодняя осока бабьими нечёсаными волосьями обвисла на острых кочках. Но природа ожила. Во всю глотку горланят птицы. Ранним утром, ещё в сумерках, на тихом плёсе по глади воды бьёт широким хвостом бобр. А вокруг нас — белизна уже отцветающей душистой черёмухи. Лучезарное небо — без единого облачка, и нам, незадачливым рыбакам, вовсе не грустно на диких, скрытых от цивилизации и разгрома, тихих берегах реки.

Трудяга-лодка с подвесным мотором неустанно мчит нас то на один, то на другой мысок. Но и там, к сожалению, нам не сопутствует удача. Лодка снова летит в верховья Сочура. И вот на мыске, как на великолепной картине, стоит и удивлённо смотрит в нашу сторону изящная лосиха. Ещё рыжие неокрепшие лосята жмутся к матери, лезут ей под брюхо. И я слышу рядом крик, душераздирающий, требовательный:
— Беги, дура!!! Пристрелит ведь, изверг.

Я удивлённо гляжу на Виктора Петровича. Что это?! В шутку или всерьёз? Исподтишка наблюдаю за его лицом. Мне хочется взвыть: «Неужто у меня, охотника, природолюба с детства, может подняться рука в такую пору, да ещё на дитя?» Но тут же сконфуженно поджимаю губы и молчу. Видно, на моей кислой физиономии было столько страдания и боли, что Виктор Петрович понял: тронул меня за живое. Он захохотал:
— Самолюбие задел! Терпи, казак, атаманом будешь. Не то в жизни терпел, знаю. А как я тебя? Под самое дыхло, а?

Конечно, я бы никогда не простил себе «самоубийства». В такую пору не зверя стрелять — сердце своё рвать.

Лосиха не торопилась. Постояв ещё немного, она, видно, без всякой охоты побрела в прибрежные кустарники, уводя за собой нескладных малышей.

Мы встречались с лосихой каждый день, а Виктор Петрович всё подтрунивал надо мной:
— Ах, Алёша, нам ли жить в печали? А мясо-то какое ушло!!!

Это он хотел разжечь во мне неуёмную страсть охотника, пытая меня, чего же больше во мне накопилось — страсти или разума.

А вечерами у костра — рассказы писателя о его интересных и многочисленных путешествиях по нашей стране и по загранице.

Кажется, костёр уже устал разбрасывать искры, и пора укладываться спать. Но я не уставал слушать всё новые и новые рассказы писателя. Он часто прерывался, вслушиваясь в ночь, определял щебечущую птицу. Посматривая на яркие звёзды, вдруг восхищался весной. И я тогда понял, что этот человек, громада мыслей, не может писать о своей земле иначе, как это он умеет делать. Весна светилась и отражалась в каждой морщинке его лица, в движениях, в дыхании, в связных словах, не случайных, а продуманных, точных. И ещё я понял, что, овладевая мастерством сочинительства, надо в первую очередь тонко чувствовать Природу, её дыхание, понимать её, чтобы потом незаметным штрихом ненавязчиво нарисовать это великолепие, точным словом, такой, какая она есть на самом деле, без прикрас, не выдумывая «цветистые шлейфы» зари. Потому-то проза Виктора Петровича понятна любому человеку, читаема всеми.

Оба влюблённые в тайгу, мы могли часами говорить о её тайнах, современном состоянии, бережении, прочих премудростях лесной жизни.

Наученный ею тропить зверя, ловить рыбу, выживать в экстремальных ситуациях, я люблю тайгу всем сердцем, стремлюсь туда при случае и, конечно, восхищаюсь её могуществом, мудростью и тайнами.

Я ещё раньше в своём сказании-романе «Государева вотчина» рискнул сконцентрировать в небольшом абзаце её прелесть. Этим я поделился с Виктором Петровичем на Сочуре, когда было непогодье и мы, пережидая дождь, уединились в избушке.

— Почитай...— сказал он просто и приготовился слушать, задумавшись.

Монолог я старался читать выразительно, но от волнения не получалось так, как бы хотелось. И я с дрожью в голосе читал:

— «Тихие вечера на Кети необычайно завораживающи. Спрячется за лесом до утра сильное солнце, на землю медленно опустится ночь. Поначалу сумерками прикроет леса, как лёгким воздушным одеялом, а затем соберёт воедино весь просматриваемый простор и скоро встанет сплошной непроницаемой стеной. Ни огонька вдали, ни костерка на отмелях. Только яркие, сочные звёзды беспорядочно рассыплются по небу, разбредутся от края и до края по тёмному пространству и вспархивают, как жёлтые цыпушки подле клуши. В густой хвое игриво прошуршит шаловливый ветер, да неохотно шевельнётся в кустах запоздалая птица, укладываясь на покой, и всё стихнет, замрёт до рассвета. Только всю ночь слышно, как играет шальная волна у крутого берега да звонко шумит вдали стремительный перекат».

Когда я с трудом выдавил последнее слово абзаца, писатель с любопытством посмотрел на меня и выдохнул:

— Ну и ну...

Он меня попросил ещё прочитать монолог. И я уже смело начал своё повествование.

Когда я умолк, писатель вдруг нахмурился:

— На болячку наступил ты мне, Алёша. Смогу ли ещё побыть с тобой в зимовье, побродить по тайге, порыбалить? Нет. Знаю, что не бывать мне уже здесь. Хоть ты когда вспоминай меня в избушке. Ей, тайге-то, поклонись и попроси ещё раз прощения у неё за урон. За меня попроси. А написал ты от души, глубоко. Одним словом, получился образ тайги.

— Ну что вы!—замер я.

— Я знаю. Уже твёрдо знаю. Нутром чувствую, что скоро... Не утешай... Не надо. А о природе писать нужно больше, лучше и глубже, чем теперь пишут. Сегодня человек и природа—это проблема. В тебе я не ошибся.

Зимовье на реке Сочур стоит до сих пор. Под надёжной крышей ему не страшна мокрота. И каждый раз, остановившись на перепутье ли, обогреться и выпить кружку чая, переночевать ли в случае заметённой таёжной тропы, я вспоминаю те дни, когда мы общались здесь с Виктором Петровичем. Никогда не ложусь я отдыхать на нары, на которых отдыхал и увлекательно рассказывал незабываемые бесконечные истории любимый писатель. И кружка, и ложка, и закопчённый чайник, вещи, которыми пользовался он, святы для меня. Каждый раз, когда в одиночестве я коротаю долгие бессонные ночи в зимовье, мне кажется, что напротив меня сидит Виктор Петрович. Я в тайге уже не один. Он неназидательно учит меня и здесь: как быть, что делать. И каждый раз я слышу и внимаю его неторопливую речь. А когда работаю за столом или читаю, часто задумываюсь о том, а как бы это делал Виктор Петрович. Необъяснимая сила тянет меня к нему, в Овсянку или в одинокое таёжное зимовье на реке Сочур. Когда мне плохо, то я еду туда.

И, бывая в тайге, каждый раз повторяю слова Виктора Петровича, написанные в его завещании: «О тайга, о вечный русский лес и все времена года, на земле русской происходящие, что может быть и есть прекрасней вас? Спасибо Господу, что пылинкой высеял меня на эту землю, спасибо судьбе за то, что она сделала меня лесным бродягой и подарила въяве столь чудес, которые краше всякой сказки».

Весну провели мы вместе в Овсянке. А вот осенью писатель со съёмочной группой из Санкт-Петербурга отправился по Енисею за «Царь-рыбой». Они прилетели из Красноярска в Енисейск поздно вечером и, конечно, застали нас с женой врасплох. Но непринуждённость, шутки, хорошее настроение Виктора Петровича всё поставили на свои места. В нашей квартире места хватило всем. Так и не заснули мы тогда до утра. Из-за отсутствия катера нашим гостям пришлось задержаться в Озёрном ещё два дня. Они понапрасну времени не теряли. Виктор Петрович, пожалев Люду, изъявил желание копать нашу картошку. На старом «уазике» мы с трудом весёлой компанией добрались до общественного поля, где наш участок притулился с краю. На заброшенном колхозниками поле когда-то сеяли для силосования рапс, с которым справиться было трудно, он сорняком пёр не по дням, а по часам. Не помогали даже частые пропалывания. Весь участок был затянут этой ярко цветущей культурой, так что и плетей картошки не видно было. К тому же на моём и всех соседних участках свирепствовал осот, который чем больше пропалываешь, тем его больше вырастает. Удручающую картину безысходности довершала мокрица.

— О-го-го!—удивлённо воскликнул Виктор Петрович, оказавшись на поле.—Да ты, я вижу, Алёша, полевод отменный.

Мне ничего не оставалось делать, как молча развести руками. Но как бы то ни было, несмотря на поломку машины, густотравье на поле

и начавшийся не ко времени дождь, Виктор Петрович вечером торжественно доложил жене:
— Люда! Мужики ужин заработали. Нарыли картохи по мешку на рыло.

И без конца беззлобно насмехался надо мной, обращаясь к Людмиле, что муж её никчёмный, такой же, как и он, Астафьев, у Марии Семёновны. Люда, как могла, защищала меня, но тут и ей досталось за переваренную картошку.

А уж зимой, как свидетельство бесхозяйственности, он отправил нам фотографии с обличительным юмором: «Командарм Бондаренко посылает гоп-команду в бой осенью 1994 года на картофельное поле».

Осенью 2000 года в Красноярске и Овсянке состоялись очередные Астафьевские литературные встречи.

В конце их в Овсянке Виктор Петрович просто ошарашил меня:
— Наметил я поездку в Енисейск. Подобрал подходящих литературных монстров. Вон одна Нинка Краснова чего стоит! Одна запоёт народ матерными частушками.

Для меня такое решение писателя было полной неожиданностью. Слов для ответа просто не нашлось лишь по одной причине, что я был просто шокирован. И конечно, для моих земляков-енисейцев визит высоких гостей — большая честь.

Виктор Петрович ещё сказал, что он долго думал и, несмотря на своё аховское здоровье, всё же решился сделать перелёт Красноярск — Енисейск в такое слякотное осеннее время. И это случилось ещё по настоятельной просьбе главы Енисейского района. И придётся ли ещё когда побывать Виктору Петровичу в Енисейске, который он любил? Енисейск напоминал ему и детство.

Встреча писателя с читателями в культурном центре села Озёрное была впечатляющей. Писатели по очереди говорили о литературе, искусстве, а благодарные слушатели в буквальном смысле этого слова засыпали гостей вопросами. Виктор Петрович уважительно представлял гостей: музыковеда А. А. Золотова, писателя А. Варламова из Москвы, поэтессу Н. Краснову из Рязани, критика В. Курбатова из Пскова.

Другой день гости посвятили городу Енисейску, где побывали в православной гимназии, Спасском монастыре, краеведческом музее, библиотеке. На этом «Литературные встречи в русской провинции» закончились. А в моём сердце была радость и в то же время грусть, что всё так быстро прошло. Но в душе буйствовала весна. И с тревогой я думал: когда теперь поведут меня пути-дороги в Овсянку? Ведь Мастер глубокой осенью оставит её. А сердце моё там, под нарядной калиной, которая охотно привечает желанных гостей писателя. И буду ждать я её, новую весну, с нетерпением, чтобы вновь услышать мудрые слова, пообщаться, подумать. Какой она будет для меня, эта новая весна?

И она пришла. Но в Овсянку поехал я уже один. Виктор Петрович лежал в больнице. Для него и поездка в любимый его город Енисейск тогда, осенью 2000 года, была последней.

Алексей Козловский

Богатыри растворились в степи

Дождь в степи

Над Аскизом-улусом (степной ли столицей?)
Наклонились дожди, словно мать над дитём.
Над Аскизом ненастье листает страницы
Славных дней и бесславья: день за днём, день за днём…

Мы из этих же мест, но из мира другого.
Понимаем… и всё же не можем понять
Их уклада (ни сельского, ни городского)
И дожди, словно боль головную, унять.

Врачеватели душ человечьих, не можем
Отпустить им, как в церкви, мирские грехи.
Как сказал бы поэт: «Мы прохожие тоже»,—
И всего лишь похожи на наши стихи.

Праздник

Шумит в райцентре праздник улицы,
Бурлит людской водоворот,
И в зеркалах дождей красуется
Весёлый сельский хоровод.

Прельщает песнями и танцами
(Толпа до зрелищ—напролом),
Но поэтессы абаканские
Грустят о времени былом:

Об Иренеке—храбром воине,
Герое и богатыре,
О вековой беспечной вольнице…
А праздник—вот он, на дворе.

Авось денёчек разгуляется,
Как дробный русский перепляс
Частушечный… и улыбается
В рубашке новенькой хакас.

Ему б чатхан достать, но сеется
Из тучи бусая вода,
И остаётся лишь надеяться
На милость Божьего суда.

Зря поэтессы наши дуются,
Коль жизнь сполна своё берёт…
Плывёт, как лодочка, по улице
Девчат задорный хоровод.

Концерт

Мы выступали в тёмных клубах,
В холодных школах деревень,
Но про любовь шептали губы
И в первый, и в последний день.

Не впопыхах и между делом
Клялись им верностью своей,
Хотя заполнились пробелы
В блокнотах строчками дождей.

Уютней становилось в зале,
Виднее, чем от фонарей…
И осветители роптали
Из-за никчёмности своей.

И все мы становились лучше
На злом смещении веков.
Тянулись родственные души
К волшебной зауми стихов.

Забыв про быт, простой и грубый,
Отодвигающийся в тень,
Мы выступали в тёплых клубах
И светлых школах деревень.

Хакасия

● ● ●

Древних памятников не счесть—
То воинам, то правителям.
А где простые люди?

«Улуг Хуртуях тас»

«Большая каменная старуха»,
Покровительница материнства,
О чём думаешь, когда остаёшься одна?

● ● ●

Скрывают ковыли
Могилы воинов,
Хакасия, твоих.

● ● ●

О славных битвах
Рассказали нам
На стелах письмена.

● ● ●

Впитала много крови
Защитников своих
Хакасская земля…

● ● ●

Не потому ли
Так красна земля,
Что кровь алыпов в ней?

● ● ●

Смотрю на горы.
Не через них ли
В рабство угоняли
Твоих детей, родная сторона?

● ● ●

О прадеды жены,
Ваш род был знаменит.
В болотах их могил не отыскать.

● ● ●

Салбык—как усыпальница царя
Доселе неизвестного народа,
Чей след истаял в глубине времён.

● ● ●

Бескрайних нет степей
На родине моей.
На горизонте горы и увалы.

● ● ●

Как страшен путь войны:
Зубцы могильных плит
Торчат по сторонам от автострады.

● ● ●

О богородская трава,
Ты снадобьем
Считаешься не зря.

● ● ●

Земля лежит,
Как мёртвый богатырь,
И только хищных вранов привлекает.

● ● ●

Грузовик с домашним скарбом
Опять покидает село—
Рыба ищет где глубже.

● ● ●

Моя земля, желанная для всех,
Вельми богата недрами своими.
В том и беда её…

● ● ●

Отвалы, опустыненный ландшафт,
Так хищники терзают жертвы тело.
Что внукам скажешь ты?

● ● ●

Тайга горит, пылают степь, дома…
С кем мы воюем?
Кто нам враг сегодня?

● ● ●

Татарник по обочинам дорог—
Как след от иноземного набега.
Чуть имена свои не потеряли.

● ● ●

Сто раз солги—
И всё тебе простят,
Лишь патриотом назовёшься.

● ● ●

Забыты письменность,
Культура земледельцев.
Зато мы Чингизидов чтим.

● ● ●

Безымянные камни в степи—
Редкий с петроглифом…
И за каждым—судьба.

● ● ●

Как крошки со стола,
Так от народа крохи,
Великий хан, ты свет в окне.

● ● ●

Под снег ушли
Пшеничные поля.
Полёвкам голод не грозит.

● ● ●

Пустеют в сёлах
Крепкие дома.
Так птицы покидают свои гнёзда.

● ● ●

Каменная старуха,
Дай второе дитя бедняку—
Получит материнский капитал.

● ● ●

Богатыри растворились в степи,
Баи в прошлое канули,
Оставив своих данников.

● ● ●

О юрте скучает кочевник,
Вспоминая кизячный дым,
Но живёт в современном доме.

● ● ●

«Моя Хакасия»,—
Как легковесно звучат слова
В устах случайного человека.

● ● ●

Борус седой, пятиглавый,
Сколько легенд о тебе!
Может, поделишься славой?

● ● ●

Пучок черемши у старушки
Сторгую за тридцать целковых.
Лекарство от всех болезней.

● ● ●

Жарки́—цветы тайги.
Вас нужно видеть,
Невозможно описать.

● ● ●

Жарки́—цветы предгорий.
Как будто угли кто
Рассыпал на полянах.

● ● ●

Малина, голубика
И черника—названья в цвет,
На вкус ещё приятней.

● ● ●

Чудесный ананас
Сибиряку с успехом
Заменит облепиха.

● ● ●

Что сделал ты,
Чтоб край сей расцветал,
И что не сделал?

● ● ●

С могилы древней
Камни за ограду
Скидали. Огород важней.

● ● ●

Стоят надгробья
Древние вдоль тракта,
Но ковыли, пожалуй, старше их.

У менгира

Корнями в землю
Намертво вцепились
Степные ковыли.

● ● ●

Свернули с трассы
К древнему Салбыку,
И время потекло назад.

● ● ●

Холодный ветер с гор
Последнее тепло
С долины Енисея выметает.

● ● ●

Стою перед менгиром,
Каменеет голова
От мыслей и гипотез.

● ● ●

Скакуны снятся тем,
Кто никогда не владел
Даже доброй собакой.

● ● ●

«Забываем язык»,—
Сетует горько хакас,
С детьми говоря по-русски.

● ● ●

Изенер, аным жох, алгыс—
Перенял лишь четыре слова
Я у тех, с кем живу полвека.

● ● ●

Сидя рядом с шофёром,
Всё время беседую с ним—
Иначе он заснёт за рулём.

В парке

На детской площадке
Изредка меняют
Деревянных истуканов.

● ● ●

Детская железная дорога—
Какой от неё доход,
Если по два-три пассажира?

Одиночество

На крыше скворечника
Озирается, не поёт,
Потерял подругу.

● ● ●

Одинокий бродяга
(Бродяга всегда одинок,
Даже когда в толпе).

● ● ●

Неухоженный, пожилой.
Где твоя жена, дети,
Где твои молодые годы?

● ● ●

Работы много,
Но в далёких городах,
А «шмурою» торгуют рядом.

● ● ●

Он, кажется, даже тёщу
Готов носить на закорках—
Такой услужливый.

● ● ●

Жена—гуляка:
Пьёт и сквернословит,
А всё ж любовь сильней.

● ● ●

Сосед при деле—
Лечится и пьёт.
Одно другому вовсе не мешает.

● ● ●

«Бесценна книга»,—думал я,
Пока не перевернул
Последнюю страницу.

● ● ●

В глазницах окон
Брошенных домов
Хозяева застыли как живые.

● ● ●

В моём селе
За домом дом
Ворует время.

● ● ●

Здесь жили те,
Кто хлебом нас кормил,
Теперь одни фундаменты чернеют.

● ● ●

Железный наконечник
Принёс мне агроном,
Нашёл на бывшем поле брани.

Геннадий Васильев

Календарь

Январь

Отдам я и вере, и верности дань.
В Крещенский сочельник парит иордань.

Морозно. Над прорубью плавится пар.
Шлёт колокол в ночь за ударом удар.

В небесной пыли растворятся шумы.
Мирское застынет на кромке зимы.

И станет светло на душе и в ночи.
И звёзды сведут перекрестьем лучи.

Февраль

1.

Февраль. Достать чернил—и плакать!
Б. Пастернак

Февраль. Чернил уж не достать, и плакать не о чем.
Снега скрипят. Ветра воюют за своё.
Метель хлопочет за окном косматым неучем,
вслепую рыщет, ищет вход в моё жильё.

Февраль. Снега. Ветра гуляют. Тьма над крышами.
Щепотка чая. Кипяток. И наплевать!
Покуда пишется ещё, покуда слышится—
пойду гулять.
Пойду чернила доставать.

2.

Писать о феврале навзрыд…
Б. Пастернак

Ты будешь рыдать, и пурга за окошком подвоет,
и серое небо совьётся в соломенный жгут,
авто завопят, собираясь в колонну по двое…
А ты не спеши. Если надо—тебя подождут.

Тебя подождут, если надо. Пусть небо побесится,
грома насылая и молнии в гневе меча.
Рыдай, если хочешь.
Зелёное зеркало месяца
ещё не тускнеет.
И не догорает свеча.

Март

Ленится дворник: лёд не колот.
Конечно, март. Так что же—март?
В Сибири этот месяц долог.
Уже весна—ещё зима.

И снег хрустящ, и ветер резок,
и на реке вода—паркет.
Гоня ногой снежка огрызок,
пацан смеётся. Счастлив, шкет!

И я предчувствием взволнован.
Ну что же, дворник, ты заснул?
Взмахни в сердцах мятежным ломом!
Ломай паркет! Твори весну!

Апрель

Куда ты идёшь? Для чего ты на землю ложишься?
В зените апрель, и пора уж на май уповать.
Ты скоро растаешь, тебя не оценят, дружище.
И в грязь тебя втопчут. И слёз не дадут проливать.

Зачем этот снег? Для чего этот ветер колючий?
К чему эти серые тучи над тёмной горой?
В зените весна, и снежок запоздалый летучий
напрасно летит.
Он умрёт, как последний герой.

Май

Ещё не август, дорогая. Только май.
Ещё не хлопают дожди по серым крышам.
И хлопот листьев на берёзе ясно слышен.
Весна.
И в небе—то звезда, то каравай.

Уже скребёт скворец затылок коготком,
стремясь ремонта дать родимому жилищу.
Всего-то—май.
Но сердцу—радостней и чище.
Весна идёт.
Зачем печалиться?
О ком?

Июнь

Ну что ты нос повесил?
Зачем ты сам не свой?
Июнь. Округлый месяц,
оплаканный росой.

Взлелеян и взъерошен,
он—лета бахрома.
Весна—так это в прошлом.
А в будущем—зима?

Кого ещё настигнет,
когда ещё придёт.
Стремителен, как «стингер»,
нечётный чётный год.

Заглядываю в завтра—
печали нет как нет:
яичница на завтрак,
рассольник на обед.

И я—угрюм и весел,
и нос, и хвост—трубой!..
Июнь. Округлый месяц,
назначенный судьбой.

…Поют часы на башне
мелодию без слов.
Заглянешь в день вчерашний:
какое там число?

Июль

Июль. То жарит, то полощет,
то не даёт покоя гнус.
Казалось бы, чего уж проще—
сказать: «Уеду—не вернусь!»

Сказать: «Прощай, угрюмый север,
прощай, печальная страна!»
…Вот к берегу по Енисею
бредёт тяжёлая волна.

Как пёс, стелясь перед тобою,
лизнёт подошвы: «Ну, плыви…»
И, заражён её любовью,
ты задохнёшься от любви.

Август

В Сибири август есть синоним осени.
Меняют цвет косматые леса.
Темнеют небеса. И паруса
дождей раздуты ветром.
Гнёзда бросили
пернатые певцы и весело
перед отлётом пробуют крыло.

Забиты погреба цветными банками,
и печи прочищают дымоход,
сердито кашляя.
Кричит подранком и
спешит в сентябрь последний теплоход.
И важно, посреди погоды всей,
на север катит воды Енисей.

Сентябрь

Зачем нам лучшие дома, в которых делать нечего?
Не перекинуться словцом, винцом не чокнуться.
Зачем нам странные дома, в которых вечером
печалью светится лицо и можно чокнуться?

Приходят поздние друзья—осенние оборвыши.
Ни горя с ними не хлебнуть, ни трубки выкурить.
Сентябрь мешает колера, заботой морщит лоб.
И уж теперь до октября его не выкурить.

Зачем нам новые дома? Нам в старых делать нечего.
Пойдём с тобой туда, где осень в пламень сложена.
Пойдём пораньше, а вернёмся поздно вечером.
Сентябрь пылает, как куплет, удачно сложенный.

Октябрь

Раннее утро. Серое небо. Дождь со снегом.
Не было прежде такой печали: октябрь—в самом начале.
Что же тут нового? Что тут печалиться? Невидаль эка!
Это распутство меня почему-то не огорчает.

Сыплет летучий снежок анонсом зимы колючей.
Ловит пацан снежинки ртом, разбойник: мокрое дело!
Снова влезть в сапоги и калоши—это ль не случай?
Осень на голое тело дырявый халат надела.

Ноябрь

Ноябрьский сплин. Серебряная осень.
Халва небес—хоть мажь её на кус.
И, медный звон в сердцах швыряя оземь,
звонарь зашёлся. Гнев его—кургуз.

Короткий день сменяет заступ ночи.
Пора уснуть—поди, сочти до ста.
…Поёт ли кто? Не то: река лопочет
и обещает скорый ледостав.

Декабрь

1.

В почерневших ветвях не заблудится солнечный луч.
Он чуть-чуть поплутает—и выйдет опять на свободу.
Надо ж так исхитриться: и в ступе воды потолочь—
и из ступы извлечь не только толчёную воду.

Слово—тот воробей, что склюёт из кормушки зерно,
прочирикает: «Чур меня!», крылышком чиркнет—и ходу.
Я—из племени меченых, коему право дано
бить по ветру крылом и слова отпускать на свободу.

Пусть сбиваются в стаи. Пусть ходят под рифмой и без,
не беду накликая—из бездны звезду извлекая.
В почерневших ветвях не споткнётся осколок небес,
он чуть-чуть поплутает—и в небо вернётся, сверкая.

Календарь декабрём выпадает. Вот-вот Рождество.
И подарки доспеют, и звёздами небо заплачет.
С нами вот что случится: ещё не увидев волхвов,
мы поймём: что-то будет.
Кто-то грядёт, не иначе.

2.

Декабрём календарь не кончается, нет.
Прокрадётся сквозь шторы простуженный свет.
Пробирается свет. Распускается звон.
Длинноносая птица спешит на поклон.

Забинтовано небо аптечным бинтом.
Ртутный столбик с утра говорит не о том.
И стоит на своём, и упасть не спешит.
Ветер птице атласные перья пушит.

Робко прячется солнечный заяц в углу.
Пробирается луч сквозь молочную мглу.
В чёрных ветках, как в строчках, запутался день.
Распускается звон. Уменьшается тень.

Ты проснёшься, стряхнёшь с покрывала перо.
Удивишься—как вымахал за ночь сугроб,
как напуганный заяц глядит из угла…
И протянешь ладонь.
И расправишь крыла.

Евгений Степанов

Я иду по земле

Я надеюсь

Бывший друг—так частенько случается—враг.
И не кончилась глупая свара меж наций.
Говоришь: Карабах,—а в ответ: Карадаг.
И не веришь потоку рулад и реляций.

Излечи́м ли сознанья людского недуг?
Избежим ли беды? Или песенка спета?
Бывший враг—так частенько случается—друг.
Я молюсь и всё время надеюсь на это.

Главное

Я живу и знаю: есть подмога,
Есть подмога каждому из нас.
Ибо монополия на Бога
На земле отсутствует сейчас.
Банда захватила наши недра,
Банда захватила нефть и газ.
Лишь Господь заботливо и щедро
Помогает каждому из нас.
Банда нас терзает пропагандой,
Банда хочет нас перемолоть.
Я живу и знаю: с этой бандой
Разберётся в нужный час Господь.
А потом придёт другая банда—
Так уже бывало, и не раз.
Будет на обед тогда баланда.
И заплачет омрачённый Спас.

На кудыкину гору

Я живу, я куда-то иду,
Вижу небо и разные страны.
И жую эту yandex-еду,
И кручу эти dating-романы.
А плечистые страны ОПЕК
Делят рынок, как волки добычу.
Я иду, небольшой человек,—
Я под нос тихо песню мурлычу.
Я куда-то иду, я живу,
Я пишу, как любой неврастеник.
И стихи посылаю в «Неву»,
«День и ночь» или «Наш современник»…
Я иду, обогнув магистраль,
Удивляясь земному простору.
Я иду в неизвестную даль,
Я иду на кудыкину гору.

• • •

Покуда сердце—тук-тук-тук,
Покуда времечко—тик-так,
Скучать и хныкать недосуг,
А неприятности—пустяк.
Пускай не всё ещё—тип-топ,
Пускай я строю жизнь—тяп-ляп,
Пускай не счесть тревог-хвороб,
Я всё же духом не ослаб.
И даже если я ку-ку,
Я знаю: жизни не каюк,
Покуда ноги волоку,
Покуда сердце—тук-тук-тук.

Сны

Эти сны и просты, и невинны.
Снится—море, и вёсла, и плот,
И на скрипках играют дельфины,
И поёт о любви кашалот.

Снится—Волга, подросток-белуга
Пишет нежный трилистник в тетрадь.
…Снится—хмурые люди друг друга
Стали лучше чуть-чуть понимать.

Я был всегда солдатом

В лесу прифронтовом…
М. Исаковский

Прости—я был всегда солдатом
Любви, похожей на фантом;
И там, в райцентре франтоватом,
И там, в лесу прифронтовом.

Прости—я правнук Маты Хари,
Но я шпионил за собой
И там, в рождественской Сахаре,
И там, в манхэттенской хибаре,
И там, где шёл неравный бой.

Прости—не становясь капризней
Самой себя и не казня
Меня, я прожил много жизней.
Пойми, пожалуйста, меня!

Я иду по земле

А чего мне таить? Я счастливый болван.
Сам себе господин, я не выбился в боссы.
Если мне позвонит хитрый пранкер Вован,
Я отвечу на все—без утайки—вопросы.

Сколько всякой написано галиматьи
Обо мне (да и мной, стихоплётом)—до чёрта!
А чего мне таить? Вот ладони мои,
Вот лицо, вот мой дом возле Аэропорта.

Я иду по земле, и тихонько пою,
И сажаю не граждан, а сосны и розы.
А чего-то таить, жизнь шифруя свою,—
Нет такой для меня несерьёзной угрозы.

Артём

Мне часто снится Тёма Боровик,
Он был моим начальником в «Совсеке»,
Он был бесстрашен, совестлив, велик.
Я думаю об этом человеке.
Шёл перестроечный девятый вал,
Артёма эти волны захлестнули.
Он никогда, по-моему, не врал
И не боялся ни врагов, ни пули.
Он был надёжный друг, как брат—
На помощь был безудержным и скорым;
Устраивал меня во «Взгляд»—
Работать, по контракту, репортёром.
Сейчас я знаю: жизнь—как вспышка, миг,
Путь не кончается дорогою земною.
Мне часто снится Тёма Боровик.
А значит, он по-прежнему со мною.

Зимний Несебр

Жизнь бежит, полосатая зебра,
Огибая поля и моря.
Я иду вдоль родного Несебра,
На декабрьские волны смотря.

Здесь зима—не зима, просто слякоть,
Просто на сердце грустно чуть-чуть.
И не хочется много балакать
О годах, что уже не вернуть.

Как-то горестно заверещали
Чайки, белая чаячья рать.
Это время писать завещанье,
А стихи—в чёрной печке сжигать.

Это время прощать и прощаться,
Становясь хоть немного мудрей,
И нисколечко не обольщаться
Относительно жизни своей.

Клеть

Я годы несу, как чугунные гири,
И вижу, что мир—это, в принципе, клеть.
А Чёрное море всё глубже и шире,
А Белое море не прочь обмелеть.
Цветёт пышным цветом шафран ахинеи,
Цветку здравых мыслей так не расцвести.
А чёрная кость всё сильней и сильнее,
А белая кость на земле не в чести.
Ну ладно. А всё ж небеса благосклонны,
И звон колокольный я слышу окрест.
Ну ладно. Трындят на деревьях вороны,
А всё ж их прогонят с насиженных мест.

Знахарь

Жизнь—стометровочка, выдох-и-вдох,
Финиш ликующий редок.
Олух небесный и лузерный лох,
Что я скажу напоследок?
Вспомню кино, как по совести жил
Знахарь Антоний Косиба.
Что я скажу, старый славянофил?
Тихое слово «спасибо».

Между там и не-там

Всё бессмысленней, всё бесполезней
жизнь моя на промокшей земле.
Это время дождей и болезней,
это полое время после́—
дней опальной, нахальной надежды
между там и московским не-там.
На душе—ведь она без одежды—
отпечатались благость и хлам.
Смерть сурова—не будет дисконта.
Жизнь плетётся, как бабка, ворча.
В поликлинике старой Литфонда
Я сижу, ожидая врача.

Теперь

Кишащий офисный планктон
Ко мне относится по-братски.
Но я не буду поплавком—
Смешно ценить земные цацки.
Я был тогда и глуп, и мал,
Когда прочёл в библиотеке:
«Что взял—чужое; что отдал—
Тебе принадлежит навеки».
Теперь я знаю: это так.
Теперь осмыслены задачи.
Теперь я не такой бедняк,
Теперь я становлюсь богаче.

● ● ●

И будто я смотрю на этот мир впервые,
И будто позабыл психушку и барак,
И будто смерти нет, и будто нет России.
Лишь море и песок, Несебр и Слынчев бряг.

Тут—за волной волна, и гларусы, и чайки.
Там—за войной война, какой-то вечный бой.
…Но как же я хочу, замечу без утайки,
Из этой красоты—домой, домой, домой.

Другие планы

Позвонить больше некому, только жене,
Которая за кордоном и, собственно, не
Жена моя, а жена имярека другого.
Впрочем, я не печалюсь, даю слово.

Попросить больше некого, только Его,
Который на небе всевидящее Божество.
Но у него таковских, как я, навалом.
Впрочем, я не печалюсь, я стал бывалым.

Умотать больше некуда, только туда,
Откуда назад не желают идти поезда,
И суда не желают идти, и лететь ероплана.
Впрочем, я не печалюсь—другие планы.

Одинокий старик

Речь нарушается, рушится сон,
Тик отпускает непрочные вожжи.
Это покудова не Паркинсон.
Но, к сожаленью, довольно похоже.

Старость не радость, навряд ли соврёт
Точная, как приговор, поговорка.
Смотрит старик одинокий вперёд—
Нету в глазах стариковских восторга.

Ты и я

Не видно согласья меж нами,
Нам очень непросто вдвоём.
Как «Наш современник» и «Знамя»,
Мы вряд ли друг друга поймём.

Ты—нежная, хрупкая нимфа,
Я груб и суров, как Жеглов.
А всё-таки неотменима
Взаимная тяга полов.

А всё-таки соединила
Нас вряд ли случайно судьба.
Хоть я и красив, как горилла,
А ты лучезарна, слаба.

Ты стала моей половиной.
Я верую, как в коммунизм,
Что мы однозначно единый,
Как жизнь и как смерть, организм.

Эмигрант

(Из старой тетради)

Тараканов красных полчище
Наступает, входит в раж.
Бар внизу гудит грохочуще,
Наверху—араб-алкаш.
А на улице—фекалии,
Запах мощно в ноздри бьёт.
Возле площади Италии,
Может, ходит бегемот?
Грусть—моя однофамилица.
Думку думаю одну:
Бог ты мой, куда б намылиться?
Лишь осталось на Луну.

Один мой знакомый

Подранок века-костолома,
Я сам был в чём-то костолом.
И чувствовал себя как дома
В глухом дурдоме областном.

Когда я вышел на свободу,
Я был и опытен, и груб.
И мог двурушную сволóту
Распознавать по складкам губ.

И вот я много лет на воле,
И вот мне стукнуло полста.
…В столичной приторной юдоли
Не понимаю ни черта.

Диалог

Смерть сказала: «Застегни
Душу, как рубаху!»
Жизнь сказала: «За стихи
Можно и на плаху».

Смерть сказала: «Упекли
Вьюношу за дело».
Санитары-упыри
Мучили умело.

Жизнь сказала: «Не грусти,
Бог нашёл подмогу,
Сердце чуткое в груди
Живо, слава Богу!»

Сказочка

Это земли бандерлогов,
Травка и бамбук растут.
Это земли некрологов—
Тяжело мартышкам тут.
Будни бандерлогов горьки—
Слышится протяжный стон.
И лежит на тёплой горке
Сытый, радостный питон.

Между там и не там

Гибельно-глобальной фирмы винтики.
Бизнес под прикрытием политики.
Лозунги красивые, как фантики.
Фюреров истошные фанатики.
Гении, забытые литаврами.
Бездари, увенчанные лаврами.
Как-то по-другому здесь не принято.
Страшно здесь, в четвёртом нашем Риме-то.

Обычное дело

И враг—бывает—пособит.
И друг—бывает—не заложит.
Стихотворение бандит—
Бывает—неплохое сложит.

Но чаще так: и враг горазд
Оскалить хищные зубищи,
И друг за тыщу грин продаст,
А может, даже за полтыщи.

Памяти Эдуарда

Старичок, печальный лузер,
Странствовал по городам.
Старичок внезапно умер,
Старичок не прогадал.

Он увидел белый город
Там, над небом голубым,
И забыл зубастый голод,
Вспомнил, что Отцом любим.

Старичок увидел маму,
Маму обнял старичок.
И забыл земную драму,
Ямы пройденных дорог.

А потом пошёл куда-то,
А точнее—полетел,
Лёгкий-лёгкий, точно вата,
Белый-белый, точно мел.

Опыт

Покуда меня поливают помоями
Чернушной, поточной, беспочвенной лжи—
Я что-то да значу и вправе, по-моему,
Сказать сам себе: «Старичок, не тужи!»

Покуда враги, холя нравы пещерные,
Капканы плодят у меня на пути—
Я что-то да значу и вправе, наверное,
Сказать сам себе: «Старичок, не грусти!»

Я жив и люблю. Я в работе не мешкаю—
Возможно, поэтому многим не мил.
А подлость и ложь я встречаю усмешкою—
Так жизненный опыт меня научил.

Всё хорошо

Сойдут на нет страдания,
Людская злая желчь,
И рана стародавняя
Не будет больше жечь.

Душа моя пригожая,
Счастливая взлетит.
Так будет. Отчего же я
Встревожен и сердит?

Разрыв

…Я смирю раздражение,
Афоризм не забыв:
Чем теснее сближение,
Тем больнее разрыв.

Я уйду в направлении
Трав, цветов и дерев,
В благодарном смирении
Руки к небу воздев.

Татьяна Парсанова

Полонез ночного дождя

Мать

1.

Кто она и как тогда всё было—
Старожилам вспомнится с трудом.
Вроде б говорили, что купила
На краю деревни старый дом.

Спряталась за каменным забором.
Равнодушна к мнению молвы,
К новостям соседским, сплетням, спорам…
Вечно в чёрном. С ног до головы.

За спиной о ней ходили слухи—
Ведьма то ль, то ль тронулась слегка.
Кто б подумал, что тогда старухе
Было лет чуть больше сорока.

Вёсны, зимы чередой ходили.
Календарь листал за годом год.
Про старуху все чуть-чуть забыли.
Ну, живёт, и ладно. Пусть живёт.

2.

В старый дом в морозный тёмный вечер
Гостьей долгожданной Смерть вошла.
Тридцать зим ждала старуха встречи.
Тридцать безнадёжных лет ждала.

Потеплел старухин взгляд колючий,
Разглядев безносую в дверях.
«Слава Тебе, Господи. Отмучил»,—
Губы шелестнули второпях.

Удивилась: так легко, аж странно,
Память пролистнула на бегу
Страшный день, когда домой с Афгана
Сын вернулся в цинковом гробу.

И, дойдя уже до грани зыбкой,
Рассмотрев вдали зовущий свет—
Расцвела счастливою улыбкой,
Понимая: боли больше нет…

3.

Проводить безумную старуху
Собралось привычно полсела.
Обсуждали равнодушно, сухо:
Кто, откуда, кем она была,

Всё, что память выдала навскидку…
И вовнутрь благоговейный страх
Спрятали, счастливую улыбку
У старухи видя на губах…

● ● ●

Солнце за хмарь тумана
Прячет своё тепло.
Прошлое—мрачно, рвано—
В мысли опять легло.

По изумруду поля
Луж расплескалась ртуть.
Ржавые гвозди боли
Вбиты по шляпку в грудь.

Ввысь—череда проклятий.
В горсти—мостов зола.
Как-то опять некстати
Хочется мне тепла.

● ● ●

Разбивается… Как знакомо…
Затемнение солнц и лун—
Несуразно-округлым комом
В тайниках треугольных рун.

И, уже здравый смысл не слыша,
Перепутав, где тьма, где свет,—
Мы бесстрашно шагаем с крыши,
Забывая, что крыльев нет.

● ● ●

Поглубже спрятать в память, про запас,
под мерный полонез дождя ночного,—
серебряную россыпь наших фраз
и золото молчанья ледяного.

Собрав клубки колючей тишины—
вязать тепло стихов на лунных спицах.
По беззаботным ручейкам весны
корабликом бумажным уноситься.

И—одинокий выбирая путь—
до станции конечной не доехать.
И крылья запылённые встряхнуть,
оставив боль полузабытой вехой.

И снова, снова—жажда высоты,
и поцелуем стёртая помада…
Всё будет хорошо. Но только ты
не верь мне. Я прошу тебя. Не надо.

● ● ●

Не цветами—лебедой
Зарастает поле.
Стала я твоей бедой,
Милый, поневоле.

Неба ситец голубой
Насурьмился грозно.
Ах, зачем же мы с тобой
Встретились так поздно?!

Мыслей горьких остриё—
Никуда не деться.
Спрячу имя я твоё
В тайничок, под сердце.

Сыплет густо на лицо
Мне слезинки лето.
А на пальчик мой кольцо…
Не тобой надето.

Марина Перова

Небо над Тоболом

Челябинск: ЧГИК, 2017

Деревянные боги

Зовут колокола. Тяжёлым гулом
Встаёт их весть от неба до земли,
Наотмашь бьёт по деревянным чурам,
Чтоб удержать господства не могли.

Бьёт по богам—по старым, деревянным,
Расколотым на щепы, безымянным…
Бредёт народ на похороны их,
От звона призывающего тих.

Огонь дрожит, облизывая лики
Богов в костре—и тех, что у костра,
Уравнивая малых и великих.
И стынет прах под знаменьем креста.

Растерзанное небо громом рвётся.
Последний чур над Русью дымом вьётся.
Несётся звон. Свершилось наконец!
Единому—единственный Венец.

Старый дом

С похорон—хвоя на пороге.
Оборвались у окон ставни—
Не сомкнуть тебе старых вежд,
От тоски пустых и стеклянных.
Под забором твоим—полынь,
На задворках твоих—сороки.

Небеса над тобою выше—
Так глубоко ты в землю врос,
Что крапива достанет крыши.
Ты кряхтишь, как старик. Но дышишь,
Как великий земной покой,—
Издалёка тебя услышала.

Над тобой—высота бездонная.
Над хозяйкой твоею—крест.
Под крестом трава неуёмная—
До любых дотянется мест.

Юрий Беликов, Борис Черных

Грёза о Византии, или Крест на пепелище

Ловлю Черныха на слове. «Я переговорил с начальницей нашего лагеря»,—обмолвился Борис Иванович, имея в виду администраторшу переделкинского Дома творчества, где впервые когда-то пересеклись наши пути.

Вот это—«с начальницей лагеря»—всё-таки не вытравилось из сознания старого политзэка, отбывшего пять лет в бараке строгого режима зоны «Пермь-36». Несмотря на географическое обозначение губернского центра в этом названии, политзона на самом деле была сдвинута далеко вглубь—под Чусовой, на мою малую родину. На этом мы с Черныхом и сошлись. Вроде как из одного барака.

Что касается этого «вроде», то даже в новейшие времена, когда Борис Иванович, выдержав пятидневную болтанку в плацкартном вагоне, прибудет по моему приглашению из Благовещенска к Леонарду Постникову, чтобы принять участие в юбилейном вечере, посвящённом двадцатилетию этнопарка истории реки Чусовой, слух мой опять зафиксирует, что, говоря о тамошних музейных строениях, мой знакомый снова выдаст: «В соседнем бараке…»

А что вы хотели, если будущий писатель, родившийся в городе Белогорске Амурской области в семье расказаченных (по аналогии с раскулаченными) Ивана Дмитриевича и Августы Васильевны Черных, явился на свет в том же месяце (июле) и в том же году (1937-м), когда был подписан секретный приказ, мрачной тенью ложащийся на каждую область, край и республику Советского Союза? Приказ о своеобразной «разнарядке» на масштабные репрессии.

В Перми есть сад Декабристов (между прочим, проходили оные этапом по Сибирскому тракту и, само собой, Пермь не миновали). И здесь, в этом саду, ежегодно вспоминают жертв политических репрессий. Любопытно, что один из томов избранной своей прозы Борис Иванович наречёт «Есаулов сад». Все думают, что этот сад—вымысел. Ну-ну…

Мы были с ним на «ты», невзирая на двадцатилетнюю разницу в возрасте. Так повелел сам Черных. «Погоди,—упреждали меня люди сведущие,—он ещё будет давать тебе разные задания-поручения!»

Собственно, когда автор «Есаулова сада» сел в поджидавшую его на пермском вокзале автомашину, салон которой, с его точки зрения, был чрезмерно насыщен музыкой, он сразу же распорядился: «Музыку приглушить!» Войдя же в мою квартиру и угнездившись в кресле, потребовал: «Оставь нижний свет!»

Наше дальнейшее эпистолярное общение (не электронное, а каракулями на бумаге) сохранило несколько посланий от Черныха, где он предлагал то выслать план бывшей политзоны, впоследствии ставшей Музеем политических репрессий, то создать в Перми Союз русских писателей.

Думаю, Бориса побаивались. В том числе и в Союзе российских писателей, в котором он состоял. Возможно, и в «Литературной газете», где одно время Черных работал собкором. Помню, как он хохотнул, выудив из моего давнего, напечатанного в «Юности» эссе ироничное звание, коим автор этих строк жаловал его тогдашнего шефа Юрия Полякова: «Поручик цк влксм». Борис кивнул: «Так я теперь и буду к нему обращаться!» Да что поручики, когда мой поперёшный друг мог ослушаться фельдмаршала Солженицына?!

Впрочем, самого себя он считал замыкающим. Где-то после Астафьева, Распутина, Белова, Крупина… Хотя, например, я до сих пор нахожусь под обаянием черныховского рассказа «Звёздный час Венки Хованского» из книги «Гибель Титаника», что случается со мной весьма редко даже по отношению к творениям классиков. О чём это говорит? Может, о том, что Борис себя недооценивал?..

Однажды я во всеуслышание поставил его как прозаика в первый ряд! Черных ничего не ответил, но я почувствовал: внутренне Борис был доволен…

Разумеется, эти записи—прошлого дня, сплетённые из нескольких встреч и разговоров, перемежаемые вставками и комментариями. Я включал диктофон, спрашивал, Черных отвечал, вспоминал, сопоставлял. Прочтите их и решите сами: уходит ли с орбиты жизни писатель после своего физического исчезновения—в данном случае, как Борис, в 2012-м? Или, напротив, продолжает действенно в ней присутствовать, наблюдать, спорить, упираться и прокладывать свой путь?

— Борис, ты входил в плеяду советских диссидентов последнего призыва. Насколько, по твоему мнению, соответствует модель нынешнего российского бытия тем представлениям, с которыми ты пришёл в политзону?

— Хочу тебе сразу сообщить, что я никогда диссидентом не был! Потому что, смешно сказать, я всегда был легальным марксистом. Идея социализма с человеческим лицом — то, что пытались воплотить у себя чехи до трагедии тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года, была очень близка и мне. Я думал: «Мы живём в тяжёлых обстоятельствах, но эти обстоятельства можно изменить к лучшему в условиях социализма».

А посему, будучи в зоне, крайних воззрений моих соузников я не разделял. Там было немало выходцев из ныне уже бывших наших республик. «Россия, — говорили они, — это враждебная нам страна! Поэтому надо разойтись по своим квартирам». — «Разойдёмся, — усмехался я, — но потом, ребята, будете сами жалеть».

Черных — потомственный казак. Когда-то его предки пришли на Амур, а посему Борис впитал и продлил в собственных поступках психологию вольного отношения к жизни. Эта психология посверкивала своей естественной избирательностью и в условиях зоны. Я полагал, что мой собеседник, касаясь давно минувших дней, начнёт нанизывать на чётки воспоминаний всем известные имена — от Натана Щаранского до Сергея Ковалёва, в дальнейшем частого гостя Музея политических репрессий. Ан нет. Даже не вспомнил. Зато…

— Знаешь ли, какие блистательные, мудрые старики-крестьяне из Белоруссии и Украины сидели в лагере? Причём дважды сидели. Сначала — при Сталине. А потом, когда на Западе поднялся крик, что в Советском Союзе преследуют диссидентов, Брежнев ответил: «Ну да. А у вас гитлеровцы по земле ходят, и вы — ничего?» Тогда Запад отпарировал: «А у вас, что ли, не ходят?» И под это «А у вас?» взяли тех же крестьян, уже прошедших лагеря за то, что они крестьяне. А как всё получилось?

Когда наши войска стали наступать, немцы (сами уже не справлялись) заставили крестьян угонять в Германию скот. И, чтобы они не сбежали, одели их в гитлеровскую форму. Это было всё «преступление» стариков. При первой же бомбёжке они удрали и пришли к нашим. Там переодели их в форму советских бойцов, и они отправились на фронт — сражаться, получать награды и ранения.

Закончилась война, крестьяне вернулись к своим полям, а их — хоп! Измена Родине. Очутившись в политзоне, они никаких забастовок не устраивали. Просто не знали, что такое политическая забастовка или голодовка. Ах, вы нас сюда забрали? Ну, мы и здесь будем работать! Они всю жизнь работали. Вот такие руки! Как лопаты — у каждого. Отчего-то наши диссиденты и их клевреты забывают об этой страшной трагедии…

Число лагерных сидельцев Борис пополнил, что называется, прямо из кабинета завсектором творческой молодёжи Иркутского обкома комсомола. Ещё при жизни и непосредственном участии драматурга Александра Вампилова друживший с ним Черных создал объединение молодых творцов, впоследствии переросшее в «Вампиловское книжное товарищество». И прикрывал его, сколько мог, от идеологического догляда, пользуясь своим обкомовским статусом.

При этом сам прикрывался не сильно. Взял да и написал съезду комсомола письмо со смешным названием «Что делать?». Вскоре Черныха исключили из партии. С той поры кем только он не был — грузчиком, поваром кормокухни, учителем, хроникёром по найму, записывающим историю одного колхоза. Наконец, в том же 1982-м Черныха арестовали за антисоветскую агитацию и пропаганду — распространял произведения Ахматовой, Платонова, Булгакова и Солженицына… Борис Иванович вышел из барака строгого режима в 1987 году, когда уже вовсю пыхтела перестройка…

— Что вынес ты из лет, проведённых в неволе?

— Вынес стихотворение, которое легло на душу, когда сидел в одной камере с уголовниками и надо было как-то заслоняться от нависшей угрозы ножей…

Вот и июль на ущербе.
Дождь закусил удила.
Тихо сочится вода
в эти бетонные щели.

Светлого дня на Руси
понадломилась походка.
Господи! Тихо и кротко
ниц припадаю. Спаси

сердце от праздных сует
этой кромешной эпохи.
Милый! Останутся крохи
мною не отжитых лет…

Когда я пришёл в тридцать шестую зону, там у нас был такой забавный, с моей точки зрения, капитан Рак. Приходил дежурить через сутки. Я его спросил: «Как у вас имя-отчество?» Он: «А зачем вам?»

Я — ему: «Вот меня зовут Борис Иванович. Я не могу говорить „гражданин начальник“ или „товарищ капитан“, Василий Фёдорович!..» Он: «Это не позволено!!!» Я: «Василий Фёдорович, позволено! Вы не относитесь к нам плохо — мы уже всё плохое сделали, если вы считаете, что это плохое.

Мы теперь — здесь. А вы должны быть учителями добра, если уж на то пошло. Не надо обозлять людей. Они же вернутся и будут помнить зло. А если вы не будете по пустяку прессовать их, они будут вспоминать вас хорошо. А ведь вы знаете, куда жизнь-то идёт…»

«Это не ваше дело! Мы знаем, куда она идёт!» — «Нет, — говорю, — это не от вас зависит. Когда это всё закончится, вы потом прятаться будете! Но вам можно и не прятаться. Вы потом скажете: „Мы держали себя с заключёнными милосердно“…» Этого милосердия не было, к сожалению.

Вот прапорщик Кукушкин был лично со мной добр. Такой огромный русский богатырь. Однажды мы вышли с промзоны. Кукушкин нас построил и сам стоит насупленный. Может, у него дома какая-то печаль была… Я подошёл, поднял его руку и положил себе на плечо. Он не знает, что делать, как реагировать. «Да ты не печалься, — стал утешать я его, — мы же люди-то хорошие!..» Кукушкин заулыбался. И весь строй расхохотался.

Но были и другие начальники. Например, лейтенант Волков. Каждый раз во время его дежурства, когда я возвращался с работы в штрафной изолятор, в моей тумбочке лежала… дохлая крыса. А там у меня полотенешко…

Для чего это делалось? Наверняка было спущено задание. Чтобы я взвинтился и пошёл на какой-нибудь экстремальный поступок. Только ведь я уже был старый, опытный, может быть, даже мудрый. Но изощрённость лейтенанта Волкова!..

Мне даже казалось, что он больной, потому что здоровый человек не должен был этого делать. Ну ладно, крыса, ладно… Ты же домой приходишь после этой крысы, в семью. Как ты живёшь с детьми-то? Я думаю, что он спивался. Вот эта нерелигиозность, отсутствие Бога производили страшное впечатление.

И что я узнал позднее, когда уже пришли иные времена? Волков продолжал служить там же, под Чусовым, на соседней уголовной зоне. Он ведь мог прессовать зэков и тех же самых крыс подбрасывать в тумбочки! Там же не все закоренелые преступники. И Волков, если он продолжает этим заниматься, он же людей губит!..

Прошлое, как ты видишь, переползло в настоящее. Причём если раньше оно таилось в тёмных углах, то сегодня преспокойно живёт на свету. Раздолье для нечисти.

Прозаик Михаил Кураев как-то дал мне журнал «Континент», где он опубликовал отповедь Василию Аксёнову. Отповедь вот такая! Аксёнов, бывая здесь наездами из Нью-Йорка, поживёт в Москве, посмотрит на эти тусовки, потанцует и, уезжая, обронит: дескать, в России не так уж и плохо. Всё ол райт! Иногда стреляют. И Миша Кураев правильно ему говорит: «Посмотрите, что происходит! Одного моего знакомого убили, второго, третьего… В подъездах, в Петербурге!»

Так зона это или не зона? Мы попали в зону ещё более худшую! Вот и вся модель, о которой ты спрашивал. Колоссальный разрыв между моими представлениями, с которыми я пришёл в лагерь, и тем, что мы наблюдаем нынче.

«У него лицо старовера, раскольника», — глянув на фото Бориса Черныха в книге его прозы «Гибель Титаника», сказал мне пермский скульптор Радик Мустафин. Скульпторы умеют «читать» лица.

После выхода на волю Черных организовал в Ярославле выпуск газеты русской литературной провинции «Очарованный странник». Направленность «Очарованного странника» высоко оценил Виктор Петрович Астафьев.

Но надо знать неугомонного Черныха, чтобы понять: публикациями шедевров «натуральной» поэзии и прозы он не ограничился. Критиковал губернатора Лисицына. В том числе писал о той печально известной губернаторской охоте на медвежат, когда под Рыбинском была расчищена накануне заваленная снегом территория…

Затем у Бориса убили друга, который поддерживал газету деньгами. «Очарованный странник» в лице Черныха отправился путешествовать по России дальше. Губернатор Амурской области Анатолий Белоногов пригласил прозаика в качестве советника по культуре в родные места, с щемящей блистательностью описанные в черныховских книгах.

Однажды губернатор его спросил: «Почему вы каждый раз приносите свои советы в письменном виде?» Прозаик пояснил: «А потом как я докажу, что я всё-таки давал эти советы?» — «Ах, вот так, Борис Иванович?..» — «Так».

Когда Черныху стукнуло шестьдесят, у чиновников открылась возможность уволить его по сокращению. Чем занялся Борис? Основал ещё одну газету — «Русский берег», где вынашивал новую «раскольничью» идею создания на Тихом океане российской Византии.

— Как пришёл ты к этой мысли?

— Мои предки-казаки обосновались в здешних местах ещё во времена генерал-губернатора Муравьёва-Амурского. Замечательная была личность! К его доводам даже царь Николай Первый прислушивался. Тридцативосьмилетний Муравьёв управлял всей Сибирью и Дальним Востоком, имея штат в пятнадцать чиновников! Сколько их нынче в администрации Благовещенска?! Протирают штаны, спокойно наблюдая, как через пограничный с Китаем Амур идёт ничем не прикрытая экспансия…

— Экспансия? И как же она осуществляется?

— А вот как. Зимой, когда замерзает река, границу с Китаем вообще можно считать открытой. Китайцы в наших краях захватили практически всё торговое пространство. Мы уже не едим собственных овощей. Но есть «овощи» пострашнее. Через границу тащится такое количество наркотиков, что пора осознать: это не просто криминальный бизнес, а едва ли не геополитическая цель!

— Говорят, через наших учёных, побывавших в Китае, прошла утечка информации, что якобы к две тысячи пятидесятому году Китай наметил полностью подчинить Сибирь и Дальний Восток?

— Собственно, это видно уже невооружённым глазом. В Благовещенске произошёл казус. Прибывшая сюда группа китайцев при посещении местного музея отказалась от гида: у нас, мол, свои провожатые есть. И вдруг наши заметили, что китайцы идут по музею, а лица у них враждебные. Оказывается, их гид, переходя от экспозиции к экспозиции, «забивал колышки»: «Вот эта земля — наша. Эта — тоже наша...» Пустячки?

Китайцы высыпают мусор с этажей, не удосуживаясь пройти к мусорным бакам. Кричу: «Парень! Ты чего творишь?!» Отвечает на чистом русском языке: «Это не твоя земля. Иди отсюда!»

— Может, у государства не хватает сил держать границу? Но ведь Амур с давних пор был казачьей рекою!

— Ты совершенно прав. Так придайте и нынче ему статус казачьей реки — и мы будем держать Амур спокойно. Этого не делается по одной простой причине. «Казаки? Это же реакционная сила!» — кричат наши либералы.

Вот и посетила меня в одночасье мысль уйти на Тихий океан. Слава Богу, мы ещё сильны в военном смысле. Византия, когда ушла из Рима, не случайно осталась в памяти мира как империя, просуществовавшая триста лет.

Если мы уйдём на Тихий с нашим ядерным оружием, нам ничто не помешает заново стать великой страной. На западных границах у нас практически не осталось морей, к Северному Ледовитому мы уйти не можем. Выбор один — Тихий океан. Это совершенно грандиозное явление! И живут здесь, кстати, интереснейшие, породистые люди.

— А у меня ощущение, что в результате какой-то дьявольской селекции породистых людей на Руси, напротив, всё меньше и меньше...

— Знаешь что... Я встречался с губернатором Хабаровского края Виктором Ишаевым. (В этой должности он проработал до 2009 года, а затем, до 2013-го, — полномочным представителем Президента России в Дальневосточном федеральном округе. — *Ю. Б.*) Потрясающий мужик! Я на него смотрел и думал: «Что же мешает нам выбрать такого президента?» Работник. Могучий деятель. При нынешних условиях строит автострады, улицу Маркса переименовал в улицу Муравьёва-Амурского. Без шума, без всяких там идеологических крикливых фраз.

На островке между Уссури и Амуром, на который все время претендовали китайцы, втихомолку, по ночам, в течение месяца построил православную церковь. В один прекрасный день глянули: нá тебе! Открывается храм. Всё! Русская земля. Батюшки ходят... Чем не Византия?

По сути, свою Византию Борис Черных уже описал. Все герои его рассказов живут в некоем городе Урийске. «Уссурийск?» — спросил я Черныха. «Нет, — мотнул он категорично головой. — Это город Цесаревич Алексей. Так он был назван в честь родившегося наследника, сына Николая Второго. Во время Февральской революции его переименовали в Алексеевск, а при большевиках — страшно сказать — уже в город Свободный. При этом сделали столицей восемнадцати лагерей Бамлага! Как я могу в своих рассказах называть мой родной город Свободным?!»

Зато именно в этом построенном в сознании писателя Черныха городе, среди его полумифических персонажей, растёт та полупотайная грёза о Византии, так ностальгически переданная в книге «Гибель Титаника»: «Вы скажете: невозможно, чтобы человек вообразил себя пароходом. Да, где-нибудь в России невозможно, а в Урийске вольному воля; и не один майор жил в диковинном мире диковинных грёз. Полубезумный Андрей Губский, доморощенный летописец, вообразил себя — ни много ни мало — князем Андреем Курбским, подобрал на свалке старинную пишущую машинку „Ундервуд“, отремонтировал и наводнил город посланиями Ивану Грозному».

— Борис, но ведь ты дашь фору любому из своих чудаковатых героев-правдоискателей! Вспоминаю, как ты обратился к основателю уральского града Китежа Леонарду Постникову, увидев, как тот сидит в вырезанном зэками кресле, напоминающем трон: «Ваше Величество!» А как ты осадил Солженицына?!

— Александр Исаевич, с которым я состоял в переписке и который, оказывается, читал мою прозу ещё в Вермонте и помогал мне материально как политзэк политзэку, однажды сказал, что в сегодняшней России монархия невозможна. Потому что нужен помазанник Божий. Где он? Мы не готовы к монархии.

И вот я ему ответил — с Амура: «А иудейский народ был готов к приходу Христа?» Получается,

не был готов. Второй вопрос: «А надо ли ему было приходить?» История ответила? Да.

Точно так же — и для нас: надобно, чтобы монарх пришёл к России. Нам не нужны эти княжеские кровно выродившиеся династии. Мне говорят: «Вы знаете, очень хороший внук вырос у Георгия Константиновича Жукова!» Династия Жуковых? Ради Бога! Тогда прекратятся эти либеральные игры. Начнётся упорядоченная жизнь. Тогда уж действительно можно будет уйти на Тихий океан. И столицу туда перенести. А может быть, и на Урал уйти. У вас же — стык между Европой и Азией. Представляешь, Екатеринбург — столица России?

— А почему не Пермь?

— Отчего бы и нет? Там у вас зима мягкая, хорошая. И лето тёплое…

— А что будем делать с твоей родной музеефицированной политзоной «Пермь-36»?

— Спалить — и крест поставить!

ДиН ревю

Наталья Сафронова

Детские секреты

Красноярск: «Город», 2017

Давно хотела выразить в стихах воспоминания о своём раннем детстве. Но как будто что-то мешало или словно кто-то не пускал меня в прошлое.

А потом вдруг в какой-то момент вроде маленькое оконце передо мной открылось, как пятнышко чистой проталинки в толще льда, и я увидела через него своё детство. Смотрела и записывала, просто, как виделось. Получилось не в стихах.

Когда писала, поняла, что детство никуда не делось и что на свете есть счастье.

Счастье — это наше детство…

Оставайтесь детьми, друзья!

Наталья Сафронова

● ● ●

Мы из детства уходим спеша.
Возвратиться б назад, но не скоро
Наше прошлое с тихим укором
В душу глянет — и дрогнет душа.

И до боли захочется вдруг
Ощутить себя в прежних желаньях,
Променяв долгий опыт познанья
На забавный ребячий испуг.

Но под ветром судьбы, как песок,
Мы шуршим, забывая утраты,
С мудрой радостью круглые даты
Отмечая в положенный срок.

Память детства… Ты, словно неуловимый солнечный зайчик от невидимого крохотного зеркальца, появляешься в самых затаённых уголках моего сознания, озаряя и выхватывая из темноты неожиданные и забытые впечатления. Они появляются на мгновенье, сверкая и переливаясь в солнечном луче весёлыми цветными стёклышками детского калейдоскопа, отражаются в призрачных гранях подсознания — и вдруг причудливо складываются в чёткий узор. Секунда — и картинка меняется, а я всё кручу калейдоскоп времени, стараясь найти и сохранить неповторимую игру воображения.

Марат Валеев

Три очерка

1. Жил такой романтик

За восемьдесят с лишком лет существования газеты «Эвенкийская жизнь» (прежде называвшейся «Эвенкийская новая жизнь» и «Советская Эвенкия»), что на севере Красноярского края, в ней трудились десятки талантливых и просто способных журналистов. В их числе был и Анатолий Мичурин.

По зову сердца

Начинающий журналист, он приехал в столицу северной национальной автономии — посёлок Тура по комсомольскому набору и по зову молодого горячего сердца из Горьковской области перед самой войной, в 1940 году. Проработал в «Эвенкийской новой жизни» ответственным секретарём совсем немного и был переведён на комсомольскую работу. Оттуда добровольцем ушёл на фронт, хотя по зрению считался негодным к военной службе.

Молодой газетчик и поэт жил и работал в Эвенкии всего год, но и за этот краткий срок он оставил в маленькой северной газете заметный след — своими стихами, корреспонденциями и статьями из командировок на фактории. К сожалению, об Анатолии Мичурине в наши дни из эвенкийцев почти никто помнит, его мало кто знает.

А ведь он всем сердцем полюбил Эвенкию, её природу, людей, а когда началась война, в числе тысяч северян ушёл на фронт и незадолго до Победы сложил свою голову на далёкой чужбине.

Впрочем, я и сам узнал о Мичурине случайно: в редакцию «Эвенкийской жизни» пришло письмо от дочери Анатолия Мичурина (он успел жениться в Эвенкии) Ольги, в котором она к очередной годовщине Победы немного написала о своём отце.

Я, как редактор, тогда решил не ограничиваться рядовой заметкой на основе этого письма и тех немногих сведений об Анатолии Мичурине, которые нам удалось обнаружить в редакции из книги приказов и разрозненных, к сожалению, подшивок газеты предвоенной поры, а попросил его дочь написать нам всё, что она знает об отце.

Ольга Анатольевна сообщила, что об отце ей известно по рассказам мамы, его односельчан, родных и из его писем к маме и бабушке с Севера, а затем и с фронта.

«У меня сложился образ отца — человека мужественного и целеустремлённого, искреннего, заботливого по отношению к близким, преданного любимому делу и истинного патриота своей Родины», — писала Ольга Анатольевна из Томска, где она проживала с матерью.

Детство Мичурина

Родился Анатолий Мичурин в 1922 году в крестьянской семье, в маленькой, сказочно красивой деревушке Анциферово Горьковской области. Его мать, Ольга Алексеевна, хотя и проучилась всего один год в церковно-приходской школе, была кладезем народной мудрости, знала множество стихов, песен, пословиц и поговорок.

Отец Анатолия Мичурина, видимо, был образованным человеком, так как после ранней смерти от туберкулёза — ему было всего двадцать семь лет! — оставил семье большую библиотеку произведений классиков русской литературы и известных зарубежных авторов.

«Я помню два огромных сундука в сенях у бабушки с толстыми томами книг, красочно изданные сказки Пушкина. До настоящего времени сохранились лишь произведения Шекспира», — писала нам Ольга Анатольевна.

В страшные, голодные тридцатые годы мама Анатолия, Ольга Алексеевна, осталась вдовой с тремя детьми от года до восьми лет, и старшим был Толя. Поднимать детей Ольге Алексеевне помогала сестра мужа — Василиса Николаевна, также оставшаяся вдовой после гибели мужа в Русско-японской войне. Ей самой приходилось пахать и сеять, лес валить и сено косить, вести хозяйство, и первым её помощником в семье был старший сын Анатолий.

Начальное образование он получил в соседней деревне, куда ежедневно ходил за два километра от дома. А семилетку окончил в посёлке Навашино, почти ударником, так как в свидетельство всё же вкралась одна тройка («удовлетворительно») — за немецкий язык.

Юный газетчик

Его таланты проявились ещё с мальчишеских лет — он начал писать стихи, и первое стихотворение было напечатано в муромской районной газете, когда Анатолию было тринадцать лет. Это невероятно,

но в пятнадцать лет (в 1938 году) его пригласили на штатную работу в редакцию «Муромского рабочего». А в восемнадцать лет он уезжает, по призыву комсомола, осваивать Сибирь.

В Красноярске Анатолию Мичурину предложили на выбор — работать в Хакасии или в Эвенкии. Анатолий, как подлинный романтик, выбрал Крайний Север. В окружном центре Эвенкии Туре издавалась газета «Эвенкийская новая жизнь», редакция которой нуждалась в способных, грамотных журналистах. А у Анатолия, несмотря на юный возраст, за плечами уже было три года газетной практики. И его, как опытного (!) журналиста, определили на должность ответственного секретаря. Было это в 1940 году.

Обязанности секретаря — макетирование будущих газетных полос, вычитка рукописей и гранок, работа с типографией, то есть он фактически прикован к столу. Но Анатолий Мичурин не мог мириться с таким положением и старался при любой возможности отправиться в командировку, туда, где жили и трудились истинные таёжники — оленеводы, охотники, рыбаки, откуда привозил достоверные, очень живые и красочные очерки, зарисовки, корреспонденции о труде и быте коренных северян.

«Отец практически с первых дней своего пребывания в Эвенкии вёл дневник, часть которого сохранилась, из него я почерпнула сведения о моей малой родине», — писала нам дочь Анатолия Мичурина Ольга.

Знакомство с Эвенкией

В то время в Туре было выстроено уже девяносто два дома, и лишь несколько из них — двухэтажные. Анатолий Мичурин делился своими впечатлениями о жизни в Эвенкии в дневнике и в письмах домой:

«На огромной территории население очень редко. Проедешь по тайге 200–300 км и не встретишь жилья. К факториям прокладываются дороги на оленях. На дорогах на сотни километров друг от друга станки (2–3 чума). На станках закусишь, попьёшь чаю, переменишь оленей и опять мчишься».

«Эвенку построили хорошую тёплую избу. Но, верный своему обычаю, он на ночь уходил в чум, который стоял сзади избы, а в избе принимал гостей».

«Фактория Виви на крутом каменистом берегу. С трёх сторон лес. Стройные, высокие и гибкие лиственницы, пихты. Изредка попадается кедр. Вокруг фактории лес изрублен, и торчат голые островерхие пни. Четыре бревенчатых крепко сколоченных дома, и все окнами на Тунгуску.

На мощный, басовитый гудок теплохода за какие-нибудь полторы-две минуты берег покрылся людьми. С лёгкостью серны, прыгая с камня на камень, бежали девушки-эвенки. Два эвенка, возбуждённо размахивая руками, что-то кричали нам.

С грохотом разбросав сверкающие брызги, упали с баржей якоря. Караван остановился. Мы вышли на берег.

Эвенки и русские, охотники и рыбаки, женщины и дети кольцом окружили каждого сошедшего на берег. Искали своих знакомых, друзей, может быть, ехавших с караваном, просто из любопытства.

Такое событие в жизни фактории случается нечасто. Это первый караван за лето, но он в то же время и последний. После него могут быть только катера и илимки (крытые лодки).

Мы познакомились с факторией: магазин, радиостанция, поссовет, красный уголок. В красном уголке в строгом порядке разложены по полочкам и по столам книги, учебники для неграмотных на русском и эвенкийском языках.

Молодёжь и даже пожилые эвенки играют в бильярд. И неплохо. На моих глазах пожилой эвенк обыграл русского с каравана, и очень крепко!»

«17 августа я возвратился из командировки. Ездил на глиссере за 80 км вниз по Н. Тунгуске в геологическую экспедицию».

В дневнике отца Ольга Анатольевна нашла карандашные строчки, написанные, возможно, под впечатлением этой поездки:

Встречный ветер, сильный ветер
Брызжет пылью водяной.
За кормой вода вскипает,
Поднимает вал седой.
Справа скалы — дух захватит,
Сосны, пихты между скал.
И, горбясь и извиваясь,
Меж камней дробится вал.

Летописец северной жизни

Невозможно без волнения и глубочайшего интереса вчитываться в эти строки, оставленные очевидцем событий почти восьмидесятилетней давности, происходивших в далекой и малоизвестной тогда Эвенкии:

«В экспедиции пробыл 3 дня. Смотрел, как добывают исландский шпат, идущий в оборонную промышленность. Здесь самые богатые месторождения по Союзу. Шпат похож на стекло белого и желтоватого цвета. Колется правильными ромбами. Самородки шпата бывают до 1–5 кг. Он очень дорог. Один кг шпата стоит 12 300 руб.

Часть экспедиции — инженер-геолог, рабочие — останется на зимовку. Цель — выяснить, возможны ли горные работы на Севере в зимних условиях. Если можно, то с будущего года работы будут проходить круглый год. Исландский шпат находится в вечной мерзлоте».

«Сейчас наблюдается массовый переход белок с одного места на другое. Часто можно видеть прямо в Туре этих маленьких зверушек. Белки

прыгают по крышам, по телеграфным столбам. Но бить их ещё не разрешается. Можно будет только с 15 октября. Пойду на охоту с малокалиберной винтовкой. Из неё уже стрелял много раз. Стрелял в тире из пистолета и револьвера».

В письме к матери:

«Брат Николай хвалится, что очень много грибов. Это всё пустяки по сравнению как здесь! Стоит лишь зайти на километр-полтора в тайгу, как наберёшь столько грибов, что не унесёшь. Очень много голубицы. А брусники (уже поспевает) множество!»

«Рыбы много. Наловили мы однажды с Петром Степановичем—самым заядлым рыбаком Туры (нашим директором типографии), развели в тайге у ручья костёр, вскипятили чай с ягодами, сделали опалишку. Наелись замечательно!

Опалишку делают так: вычищенную и вымытую рыбу завёртывают в газету и кладут в горячую золу. Жарится быстро и хорошо. Попробуй сделать так, только не забудь посолить».

«Рыбы в здешних реках—Н. Тунгуске и Кочечуме—полно. Рыбачил уже несколько раз. Беру одну удочку, ловлю пауков или кузнечиков и на них забрасываю удочку без поплавка и грузила. Попадается хариус, сиг и другая рыба».

19.07.1940 г.:

«13 июля ездил за 25 км в командировку в пионерский лагерь. Обратно в Туру я вместе с товарищами шёл по тайге. Какая красота и дикость природы! Перебродил через 5 горных речек. Там вода холодная, стремительная. Поймал насморк».

«Проходил приписку. Признали негодным к строевой службе по зрению».

Из письма к матери от 26.06.1940 г.:

«Я тосковал, я ждал известий из моей премилой деревушки. Сколько раз, прервав работу, я мысленно уносился на нашу широкую зелёную улицу, вдыхал её ароматный, настоянный запахами садов воздух, играл с друзьями в городки, пел и гулял с ними, шутил с девушками. Но это была лишь одна иллюзия. На самом деле я так далёк от вас, что трудно представить,—7000 км!»

«Начинаю всё больше и больше привыкать к северной жизни. Друзей завёл уже много—всю Туру знаю, всех ребят и девчат наперечёт. Ребята есть неплохие. Двое работают вместе со мной в редакции. Один—Миша Толоконников—инструктор, другой—Володя Мешков—художник. Володе только 20 лет, но он рисует замечательно. Гравирует на линолеуме рисунки для газеты.

Квартиру дали вместе с директором типографии. Он хороший, словоохотливый человек».

«Работы у меня сейчас „по горло“, как говорится. С 1 сентября работаю ответственным секретарём редакции. Ничего, справляюсь. Работу осваиваю быстро. Комсомол поручил мне ответственное и почётное дело—меня избрали председателем комиссии по агитации и пропаганде при РК ВЛКСМ, секретарём комсомольской организации редакции. Вчера в Туре (3 дня) проходила 4-я конференция ВЛКСМ Илимпийского района. Я на ней был делегатом. Конференция тайным голосованием выбрала меня кандидатом в члены пленума РК ВЛКСМ и делегатом на окружную комсомольскую конференцию.

Зря, мама, ты беспокоилась, что я пропаду на чужой стороне, что „глуп“, ещё молод. В том, что я молод,—правда, но, как видишь, не пропадаю, а пользуюсь авторитетом».

Его любили эвенки

Ольга Анатольевна писала нам в редакцию, что, со слов её матери и односельчан, то есть туринцев, она сделала заключение о том, что отец её был прекрасным человеком, замечательным семьянином, неутомимым работником, общительным, располагал к себе окружающих и имел много друзей. Он не боялся контактировать с «высланными элементами», хотя подобное тогда не одобрялось. Его любили эвенки, и, похоже, любовь была взаимной. Анатолий Мичурин в своих стихах отмечал искренность, гостеприимство эвенков и их единение с природой:

Лишь пробежит лисицей рыжей
Заря раненько кедрачом,
А Долича уже на лыжах,
Винтовку вскинул на плечо.
Идёт по снегу. Снег нехожен,
Переплетён звериный след.
Тайга в снегу. И кедр, похоже,
В пушнину мягкую одет.
И меж дерев дрожат в ознобе
Не тени робкие ветвей,
А кажется—лежат в сугробе
Меха бесценных соболей.

О полярной ночи он писал так:

«Более 2-х месяцев мы не видели солнца. Оно скрылось за горами в ноябре, а вновь показалось только в январе.

Два месяца солнце скрывалось,
Уйдя за хребет далеко,
Светило лишь самую малость,
И нам непривычно казалось.
Согнать темноту нелегко!

День был не более 3-х часов. Работали с лампами почти круглые сутки. Пол-одиннадцатого тушили, а в 2 часа лампы опять зажигали. Сейчас солнце поднимается уже высоко. Работаем без лампы.

Почтовая связь между Турой и магистралью была на длительное время прервана. 22 сентября мы проводили последний самолёт. Были почти оторваны от мира. Единственной ниточкой, связывающей нас с остальным миром, было радио. Лишь после 3-месячного перерыва, 22 декабря, из Красноярска пришла почта».

Толя плюс Валя…

Жена Анатолия Мичурина вспоминала: «Он, кроме работы в редакции, был диктором на местном радио, хотя никак не мог расстаться со своеобразным горьковским произношением — „оканьем“».

Анатолий умел зажечь молодёжь, устраивал соревнования в Туре и сам неплохо бегал.

Не страшны ни пурга и ни ветры,
Мне сердитый мороз нипочём.
Я на лыжах бегу километры
Так, что даже спине горячо.
Как большая подбитая птица,
Вьётся шарф у меня за спиной,
Даже ветер и тот не решится
Состязаться на скорость со мной.

Именно в Туре к Анатолию Мичурину пришла большая любовь — он встретил здесь свою будущую спутницу жизни Галину Александровну Строкину, и 7 июля 1941 года, когда уже вовсю шла Великая Отечественная война, они расписались.

Из письма Анатолия к матери:

«Галя работает в поселковом совете секретарём. У обоих много общественных и комсомольских поручений, времени свободного мало.

Мама, как у вас жизнь в военное время? Дядю Васю, Николая Александровича, наверное, взяли на фронт. Здесь, на Севере, никого не мобилизуют (Анатолий, видимо, имел в виду оставленных по „брони“ специалистов и занятых в традиционных промыслах мужчин из числа коренных малочисленных народов Севера — они очень нужны были пока в тылу. — *М. В.*). Но мы помогаем нашей доблестной Красной Армии своим честным трудом. Досрочно погашаем подписку на заём. Наш коллектив редакции решил ежемесячно в фонд обороны страны перечислять 3% от месячного заработка».

Обращаясь в газете к рыбакам, Анатолий Мичурин писал так:

Рыбак, ты тоже фронтовик,
Ты — славный воин тыла,
Тебе оружие — не штык,
А сеть страна вручила.

Ну вот, на фронт!

Анатолий тоже стремился попасть на фронт, особенно после того, как узнал, что его младший брат Николай, прибавив себе возраст, ушёл добровольцем и был тяжело ранен в голову под Ленинградом. Из его письма к брату:

«Ты знаешь, Коля, как я рвался на фронт. Я горел стыдом, видя, как уезжают мои товарищи, и читая в письмах сообщения о боевых делах моих друзей. Чем я хуже других?! Почему у меня отнимают святое право бить кровожадного врага, мстить ему за все злодеяния, причинённые нашему отечеству и нашему народу?

Сейчас я твёрдо уверен, что попаду на фронт, хотя крайком ВЛКСМ пытается что-то сделать, чтобы оставить меня. Но зачем мне это надо?

Только бы попасть в Красноярск и зачислиться в часть, и нет такой силы, которая вырвала бы меня из рядов славной нашей армии. Я отомщу тогда за твою рану, дорогой брат, за смерть моих друзей, Николая Петровича, дяди Василия Ивановича, за бесценные муки и страдания, причинённые моему народу.

Прошу тебя, Коля, успокой маму. Пусть мама не плачет. Кончится война, раздавим гадину, и снова соберёмся мы в родном доме, и с новой силой возьмёмся за мирный труд.

…Береги мои книги, приеду домой — они мне ещё пригодятся. А домой я приеду обязательно!»

Анатолий Мичурин ушёл на фронт в 1942 году, оставив в Туре молодую жену с крохотной дочуркой Олей. К сожалению, у меня нет подробностей пребывания его на войне: на каких фронтах, в каких войсках, в качестве кого Анатолий Алексеевич Мичурин принимал участие в сражениях с гитлеровцами. Достоверно лишь известно, что он немного не дожил до Победы и погиб в марте 1945 года в Венгрии, у реки Раба, подорвавшись на мине…

Но сохранились его письма с фронта — матери, жене, которые дают представление, каким он был солдатом, что чувствовал и переживал, что его больше всего волновало. Привожу их полностью в том виде, в каком их, уже перепечатанные, прислала нам дочь Анатолия Мичурина — Ольга Анатольевна Солдаткина, проживающая в Томске.

Письма с войны

«Галочка, родная!

Привет тебе с-под Будапешта!

Только позавчера отправил тебе письмо. Надеюсь, ты его получила. Живу хорошо, только очень скучно. Кругом чужие люди, пялящие на тебя глаза, как баран на новые ворота. Говорить с ними — что резину жевать.

Работы очень много, крутишься целый день: учёба, партработа, и ещё прибавилась какая-то хозяйственная работа…

Галочка, радуется душа, и сердце наполняется русской гордостью — наши войска бьют немца,

гонят его дальше в проклятое логово. До Берлина — 70 км. Мы, русские, неумолимые в своей ненависти и гневе, стучим бронированным кулаком в сердце Германии — Берлин. Сломлено сопротивление в Будапеште, и крошат фрицев русские „катюши“ за Одером. Через горечь страданий, через дым сражений пробиваются лучи солнца нашей победы.

Милая, очень странно, но этой зимой я не видел зимы. В Белоруссии только начал крепчать мороз — мы уехали. И чем дальше, тем теплее становилось.

Здесь, в Венгрии, снега почти нет. Тепло, грязь непролазная, настоящая весна. В начале марта здесь уже пашут и сеют.

Родная моя жёнушка, ненаглядная моя! На чужой земле я особенно остро чувствую разлуку с тобой. Любовь моя как будто родилась снова, так она горяча и неподкупна. Галочка, что бы со мной ни случилось, я люблю тебя до безумия. А дочка? Разве можно о ней не думать? Ведь она моя от пальчиков ног до кудряшек. В тяжёлое только время родилась она. Говорит: „Папка, папка“, — а что такое „папка“, не знает. И когда мы встретимся, при каких обстоятельствах?

Милая Галочка, обнимаю тебя, маму, няню, братьев, жду от вас писем. Целую много-много раз. Твой всегда Анатолий.

15 февраля 1945 года».

«Мама, милая моя, любимая!

Сегодня получил твоё письмо, датированное 19 января. Как я рад, дорогая, что ты хоть изредка, но пишешь мне тёплые, хорошие письма. Я знаю, ты любишь меня, думаешь обо мне, беспокоишься обо мне. И твоя любовь, мама, даёт мне новые силы, вселяет уверенность в нашей грядущей встрече.

Я много, мама, передумал о будущем. Только бы закончить быстрее войну, и русская жизнь, прекрасная русская жизнь расцветёт снова. После войны мы будем жить вместе, обязательно вместе. Ты будешь отдыхать, я не позволю тебе работать. Ты уже довольно выстрадала, воспитывая нас, надорвала свои силы в тяжёлом труде. У меня хватит сил создать тебе покой и благополучие.

Мама, неужели ничего нельзя сделать, чтобы скорее поправить здоровье брата? Обратитесь в райком партии, или пусть Галя походатайствует о направлении Коли на лечение через райком комсомола. Ведь Николай — комсомолец.

Мамуля, как я рад, когда читаю в письмах про мою ненаглядную Олюсик! Да её теперь не узнать! Ты пишешь, что Оля растёт бойкой, озорной девчонкой. Это хорошо. Мы тоже такими росли. Помнишь, как я куролесил в молодости? Но стал ли я от этого хуже? Оля у нас будет хорошенькой, смелой.

И ещё мама, ты знаешь, как дорога мне Галя, как горяча моя любовь к ней, любовь, которую я пронёс от Сибири до заграницы. Ты убедишься в этом, когда мы встретимся и будем жить вместе.

Ну, немного о себе. Живу хорошо. Работаю и служу с усердием и любовью. Бойцы меня уважают, моё слово для них — авторитет.

В Венгрии тепло, снегу нет, только в оврагах да в лесу. Вчера был дождь. Утром заморозки, а днём дождь, слякоть. В следующих письмах постараюсь описать мадьяр, их обычаи и нравы. Но скажу одно: лучше матушки России нет и не будет!

Ну, будь здорова, мамочка. Горячо целую Олю и Галю. Любящий тебя сын Анатолий.

25 февраля 1945 года».

Спустя несколько дней жизнь Анатолия Мичурина оборвалась…

2. Народный писатель

Много ли вы знаете писателей, на издание книг которых сбрасываются сами читатели? А я знаю такого. Это красноярский прозаик и публицист, ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Ефимович Зябрев.

«И чем же он дослужился до такой почести, что книги его выходят на народные деньги?» — спросите вы. Сейчас попробую рассказать.

Родился Анатолий Зябрев 26 октября 1926 года в посёлке Никольск Новосибирской области. Когда его отца, председателя колхоза, в 1937 году посадили по печально знаменитой пятьдесят восьмой статье, Анатолий, совсем ещё пацан, вынужден был начать зарабатывать на пропитание семьи, так как у матери на попечении, вместе с ним, оставались пятеро детей. Но на одном месте парнишка долго не задерживался: как только узнавали, что он сын репрессированного, его тут же увольняли, и так неоднократно.

Когда началась война и на фронт ушёл старший из братьев, Анатолий припрятал его продуктовую карточку и обменял на хлеб, за что потом жестоко поплатился. Вот как он сам рассказывает об этом в одном из интервью: «На фронт в начале 1942-го, под Сталинград, ушёл брат Вася, у него ещё не росла борода. Оттуда он не вернулся. А я в то же время по недоумию, по слабости характера и воли совершил тяжкое преступление — не сдал Васину хлебную карточку в отдел кадров, а выкупил на неё пайку хлеба и съел. Месяцы в тюремной камере, а потом — лагерь под городком Бердском (Новосибирская область) и… знаменитая Томская колония для малолетних преступников».

И далее: «В 17 лет я из колонии был взят в действующую армию. Это было в 1944-м. После соответствующей подготовки на учебном полигоне под Омском в товарных вагонах направился наш батальон на передовую линию фронта, в окопы. По дороге поезд подвергался бомбёжке, долго стоял на разбитых полустанках. Удивляюсь, как

вчерашние колонисты, ходившие на рабочий объект, на кожевенную фабрику, под строжайшим конвоем с овчарками, теперь не разбегались. Кто-то отставал, но потом догонял. Бегали на привокзальный рынок, успевали что-то стащить у нерасторопных старух. Было сознание, что скоро жизнь может закончиться. Доходили сводки, что потери на фронте огромные: наступать-то сложнее, чем обороняться. Красная Армия в те месяцы наступала. Пока нас везли, командование где-то в высоких штабах передумало: не на передовую линию колонистский батальон, не в окопы, а… срочно переодеть в красные погоны и в фуражки синие с красным верхом, что значило… мы попали в самые презираемые войска—нквд».

Оказывается, ещё в апреле 1942 года гко учредил специальное управление, отвечающее за операции по обеспечению безопасности в тылу действующих фронтов Красной Армии. Оно было названо Управлением войск нквд по обеспечению безопасности действующей армии и в мае 1943 года повышено в статусе, получив независимость от Главного управления. В то же самое время гко поручил этому новому управлению новую и расширенную задачу: «В тесном сотрудничестве с войсками полевых армий войска нквд должны поддерживать порядок в прифронтовой полосе, бороться с неприятельскими разведывательными и диверсионными группами, участвовать в строительстве оборонительных рубежей, эвакуировать промышленные предприятия, охранять и защищать важные коммуникации и объекты, конвоировать и охранять военнопленных, а также лиц, осуждённых военными судами за тяжкие преступления».

Так или иначе, Анатолий Зябрев честно отслужил положенные годы в этих «самых презираемых» войсках, прошёл в составе патрульно-постовой службы войск нквд через Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Чехословакию, Австрию, Германию. Не раз, кстати, мог быть убит (много было желающих на только что освобождённых, вассальных по отношению к гитлеровскому режиму, территориях пострелять исподтишка в поддерживающих законный порядок «краснопогонников») или просто загнуться от какой-либо хвори—слабые были солдатики, очень плохо кормили их,—и демобилизовался только в 1949 году.

«Я был списан по болезни,—рассказывал Анатолий Ефремович.—С массой ущербностей, но бодрый и воодушевлённый. С ощущением беспредельной свободы. Голова кружилась от счастья. Теперь мне было куда вернуться: у мамы была своя комната на улице Кропоткина, которую ей дал завод за погибшего под Сталинградом Васю. Не съёмный угол у чужих людей, а своя собственная комната в бараке, целых почти 9 квадратных метров! Верно, почти половину комнаты занимала кирпичная печь, отапливаемая дровами и углём, но всё равно—здорово. Никогда я ещё не живал в таком просторе. В армии—койки впритык одна к другой. В колонии—двухъярусные нары. В тюремной камере—на полу, спина к спине, ноги к ногам».

Отдохнув всего ничего, бывший солдат отправился на заработки в Иркутскую область—нашёл хорошее объявление, сулившее высокие заработки. И на станции Тайшет, ну прямо как в кино, нашёл своего отца, обитавшего здесь после отбытия срока,—в другие места дорога ему, как бывшему политзаключённому, была заказана. Анатолий устроился здесь на строительство железной дороги. Но в неприкаянной его жизни уже отчётливо наметились кардинальные перемены.

«Пробовать» своё перо Анатолий начал ещё в армии—пытался сочинять романы. А после демобилизации он написал очерк про знакомого рабочего, который был не только напечатан, но и замечен, и Зябреву предложили работать в многотиражке, а затем он приглашался в штат городских газет Новосибирска. Так началась его журналистская и писательская карьера. Первый рассказ, напечатанный в журнале «Сибирские огни», назывался «Когда бабушка спит», после было написано ещё более десятка рассказов, из которых получилась первая книга писателя—сборник рассказов для детей «Толька-охотник» (1957).

Тогда же Анатолий Зябрев обзавёлся очень полезной для писателя манерой вести что-то вроде дневников: он исписывал тетрадки своими наблюдениями—намётками будущих очерков, рассказов.

Поворотный момент, как принято говорить, в его творчестве и биографии наступил, когда Зябрев в 1960 году был откомандирован по рекомендации журнала «Сибирские огни» в Дивногорск, на строительство грандиозной Красноярской гэс. И Анатолий на этом объекте был не сторонним наблюдателем, а полноправным гидростроителем, освоившим несколько профессий.

Наблюдения стройки изнутри, полученные впечатления тут же трансформировались в очерки, которые Зябрев писал, что называется, «на коленке», в свободное от работы время. Они публиковались тогда во многих толстых журналах, сибирских и московских, и принесли Зябреву популярность публициста, а в 1972 году вышли в Красноярском книжном издательстве отдельной книгой «Енисейские тетради».

Ему предложили должность собственного корреспондента журнала «Сельская новь» по Восточной Сибири, и эта работа принесла Зябреву большую пользу в плане сбора материалов для новых книг. «Пожар над сибирскими кедрами», «Путь героя», «Бог ты мой!», «Строители», «В степи, под Абаканом», «Сам себе король», «Мальчишка с большим сердцем»—вот далеко не полный перечень изданных им книг в краевых и московских издательствах.

Членом Союза писателей СССР Анатолий Ефимович Зябрев стал ещё в 1964 году, и тогда отбор кандидатур в творческий союз был очень строг. Достаточно сказать, что в советское время в Красноярском крае насчитывалось не более двух десятков авторов с членскими билетами (для сравнения: сегодня их только в двух отделениях Союзов—«писателей России» и «российских писателей»—свыше 60 человек!).

По произведениями Зябрева даже снят художественный фильм «Вот моя деревня» и поставлен спектакль (в московском театре имени Е. Вахтангова) «Енисейские встречи».

И всё же наибольшую читательскую любовь и популярность Анатолию Ефимовичу Зябреву принесли не они, а регулярно появляющиеся в течение уже дюжины лет публицистические заметки на злобу дня в старейшей краевой газете «Красноярский рабочий», которые так и называются: «Заметки каждого дня».

Это остроумные, порой ехидные, а порой кажущиеся совсем бесхитростными, но всё равно задевающими за живое, отклики писателя на текущие события, происходящие во многих сферах жизни края, а то и страны, мира. Зябрев в этих заметках иронизирует, недоумевает, задаётся вопросами по поводу животрепещущих тем и предлагает найти на них ответы как самим читателям, так и облечённым властными полномочиями чиновникам.

Я сам «живьём» видел Зябрева всего пару раз, мы никогда не общались, и о моём существовании он, возможно, и не подозревает (хотя допускаю, что какие-то мои публикации на глаза мэтру попадались). Тем не менее Анатолий Ефимович со мной беседует чуть ли не еженедельно посредством этих вот своих «Заметок»: раскрывая очередной номер «Красноярского рабочего» в Интернете или на бумаге, я ищу в первую очередь именно их. Ну задевает глубокоуважаемый автор мои душевные струны, созвучны его острые, глубокие мысли моим умонастроениям.

Очевидно, нечто подобно ощущают и многие другие читатели. И когда, по истечении определённого времени, возникла мысль (если не ошибаюсь, с подачи одного из читателей) издать накопившиеся «Заметки» отдельной книжкой, но денег на это, увы, не оказалось даже у всесильного когда-то «Красноярского рабочего», наиболее преданные читатели Зябрева взяли да и пустили шапку по кругу.

Конечно, их старания не могли покрыть всю требующуюся сумму, но что-то добавил и «Красноярский рабочий», и таким образом в 2011 году в издательстве «Красноярский писатель» вышел первый сборник «Заметок каждого дня», в 2013 году—второй, затем третий… И вот вышла из печати уже пятая книга публицистических заметок писателя, ставших своеобразной летописью гигантского края.

О такой популярности, когда на читательские средства раз за разом издаются твои книги, можно только мечтать! И это даёт Анатолию Ефимовичу Зябреву право, как, наверное, никому другому, называться народным писателем.

Что ещё можно сказать о неугомонном Зябреве, самом настоящем патриархе сибирской литературы? Несмотря на преклонный возраст (уже за девяносто!), он чувствует себя вполне сносно, живо интересуется всем происходящим вокруг и продолжает писать свои очень востребованные «Заметки каждого дня». Вот и вчерашний выпуск «Красноярского рабочего» не обошёлся без отведённой для них полосы. А значит, не исключено издание и шестой книги «Заметок».

Пожелаем же замечательному писателю, участнику Великой Отечественной войны и просто хорошему человеку, истинному гражданину своей страны, покрепче здоровья, подольше жизни и свершения всех творческих замыслов. А они у него, несомненно, есть!

3. Сибирский характер

Как люди становятся писателями? По-разному. Конечно же, одного желания здесь мало. Надо ещё иметь определённые способности, так называемую «Божью искру», без которой писательскому делу ну никак не разогреться и не разгореться в полную силу. Правда, у кого-то эта Божья искра обнаруживается едва ли не с рождения, а для другого требуется какой-то толчок, стечение определённых обстоятельств, чтобы заложенный в нём талант смог высвободиться наружу.

Простой сибирский парень из далёкого таёжного посёлка Чибижек юга Красноярского края Владимир Топилин работал на местной золоторудной шахте и, как многие потомственные сибиряки, увлекался охотой. Однажды он отправился в очередной раз в тайгу. И здесь с ним произошло несчастье: упал на землю вместе с лабазом (деревянный сруб на манер избушки на высоких «курьих ножках»).

Володя оказался погребён под тяжёлыми горбылями и плахами. От боли он потерял сознание. Когда пришёл в себя, попытался освободиться, но ничего не получилось. Снова потерял сознание. И так Топилин провёл, между реальностью и небытием, несколько суток. Благо, что было лето, июнь 1995 года. А случись это зимой—трагедии было бы не избежать.

Нашли его и высвободили от придавивших горбылей родственники с другими охотниками. У Володи уже были пролежни на спине, мошка изъела ему открытые участки кожи. С большими предосторожностями пострадавшего доставили в посёлок, а оттуда—в больницу.

Оказалось, что у Топилина в трёх местах сломан позвоночник. Ему сделали несколько операций,

которые фактически спасли ему жизнь. Но, увы, не смогли вернуть мобильность. Топилин оказался прикован к инвалидной коляске.

Инвалидность—это всегда не только физическая, но и в первую очередь душевная травма. Человек осознаёт, что судьба его круто меняется, ему приходится менять образ жизни, он волей-неволей тяготится своим состоянием и начинает чувствовать себя ущербным. В общем, это испытание ещё то, и далеко не все, неожиданно угодившие в такую жизненную ситуацию, выходят из него с честью.

Владимир, несмотря на свой тяжелейший недуг, полностью подчиняться его власти не пожелал—не захотел, как говорят жители Поднебесной, терять своего лица. К счастью, рядом с ним всё это время была и есть святая женщина—его мама Людмила Матвеевна. Это она залечила ему пролежни, возила его по санаториям и больницам, искала ему лучших врачей. Это она ворочала в постели его непослушное тело, чтобы поменять положение и не дать образоваться новым пролежням. Она не давала ему падать духом и всегда находила нужные слова, которые заставляли её искалеченного сына поверить в свои силы.

И во многом благодаря ей Володя не ушёл в себя, не погрузился с головой в своё несчастье. Чтобы держать себя в постоянном тонусе, он регулярно упражнялся и упражняется на построенных им же самим тренажёрах.

И во-вторых, хотя этот пункт надо было бы, наверное, поставить на первое место, он извлёк выгоду—если это можно так назвать—из своего постоянного пребывания в инвалидной коляске. Она стала для Топилина рабочим креслом.

Владимир Степанович (будем уж дальше называть его так, и никак иначе) ещё до произошедшей с ним трагедии пробовал писать стихи, правда, пока только «в стол». А тут решил попробовать себя и в прозе, донести до читателей те переживания и чувства, что пришлось ему перенести во время выпавшего на его долю испытания.

Он также хотел рассказать всему миру, ну или, по крайней мере, своим землякам, в каком чудесном месте они живут, что земли лучше сибирской и людей лучше сибиряков нет во всём мире. Он писал днями и ночами, читал написанное матери, навещавшим его друзьям. И они единодушно отмечали: получается!

А теперь предоставлю слово первому издателю (кстати, и моему тоже!) Владимира Степановича Топилина—директору красноярского издательства «Буква С» Анатолию Статейнову. Вот что он пишет в своём очерке «Тяжёлая лыжня Топилина»:

«С Володей Топилиным мы познакомились в 2000 году. Где-то в середине лета он приехал в издательство с первой своей повестью. Она называлась „Когда цветут эдельвейсы“.

„Приехал“—слово малоприменимое к его положению. Володю привезли в издательство родственники вместе с инвалидной коляской. В ней он и выкатил из лифта на восьмом этаже, ловко подвернул к моему 804-му кабинету. И так же без помех (научился общаться с техникой) подкатил к столу… Мы с ним не только поговорили, но и выпили по стопочке. Я пообещал прочитать „Когда цветут эдельвейсы“.

В конечном итоге уже в том же 2000 году эта, во многом автобиографичная, повесть была опубликована в коллективном сборнике красноярских писателей „Спаси и сохрани“. На эту книгу пришло немало отзывов. (Это в наше-то беспутное время люди наконец взяли в руки настоящую книгу!) Чаще других в отзывах читателей упоминалось имя Володи. Сибиряки без подсказок разглядели, кто из пишущих чего стоит».

Так Владимир Степанович шагнул в настоящую литературу. Затем в том же издательстве «Буква» вышли сборники рассказов и повестей Топилина «Таёжная кровь», «Тропой бабьих слёз». «Дочь седых белогорий», «Семь забытых перевалов», «Страна Соболинка»…

Тиражи их были небольшими—в среднем тысяча экземпляров. Но нового писателя заметили, о нём заговорили. Потому что пишет Топилин о том, что близко и понятно сибирякам, его землякам. «…Глубинка, старожилы, золотоискатели, первопроходцы, охотники, старообрядцы, многие написаны на реальных событиях»,—так обозначил сам писатель тематику своего творчества.

Некоторое время спустя Владимира Топилина приметили и в столице: на него вышло московское издательство «Вече» и предложило контракт на опубликование его книг в серии «Сибириада». И вскоре одна за одной в книжные магазины и библиотеки трёх-четырёхтысячными (пока!) тиражами пошли такие его книги, как уже известная «Тропой бабьих слёз», «Тайна острова Кучум», «Дочь седых белогорий», «Остров Тайна»…

Можно с уверенностью сказать, что сегодня бывший горняк и промысловик перешёл со своей охотничьей тропы на писательскую стезю, приведшую его к известности. В социальных сетях уже создаются клубы поклонников его таланта, одна за одной на родине Топилина в Чибижике и в Минусинске, где он сейчас живёт, проводятся встречи с читателями.

Конечно же, это легко и быстро пишется о том, чего Владимир Степанович достиг за прошедшие годы. На самом же деле всё это стоило ему огромных усилий, терпения и настойчивости. Он сам искал спонсоров для издания своих первых книг, сам договаривался с книжными магазинами о реализации своих изданных сочинений, для чего ездил по адресатам на своей «Оке» с ручным управлением.

И, конечно же, он упорно работает над усовершенствованием своего слога, своего писательского мастерства. Сам же ездит, пересаживаясь из инвалидного кресла за руль машины, в места, где происходили события его книг с историческим и легендарным содержанием, чтобы собрать достоверный материал для них. И в таких поездках его нередко сопровождает верная спутница и помощница — жена Елена.

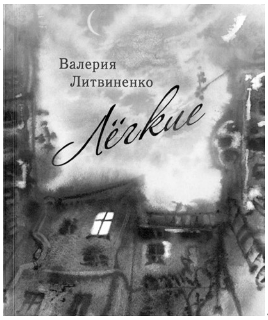
Терпение и труд — да ещё и при наличии таланта и целеустремлённости, — как известно, всё перетрут. К Топилину пришла известность как к писателю. Теперь уже о нём самом пишут, создаются радио- и телепередачи как о человеке яркой и необычной судьбы.

И это вполне ожидаемая и заслуженная слава человека, сильного духом, не давшего сломить себя невзгодам и уверенно продолжающего шагать по жизни (пусть по-прежнему в инвалидной коляске, но, как и многие, верю: однажды он встанет с неё!) и вдохновлять своим примером многих других людей, оказавшихся в похожей жизненной ситуации.

Вот лишь один читательский отзыв из многих о Топилине-писателе, который я нашёл в социальных сетях: «До вчерашнего дня я ничего не слышал о таком писателе — Владимире Топилине. А уже после обеда — успел не только увидеть его книги на книжной ярмарке возле ДК Чкалова (Новосибирск), но и понять, что не уйду, пока не приобрету одну из них. Теперь являюсь счастливым обладателем сборника „Таёжная кровь“ с автографом писателя! Счастью нет предела: во-первых, редко в наше время встретишь настоящий, „живой“ язык, а во-вторых (спасибо случаю!) — удалось даже поговорить по телефону с Владимиром Степановичем!»

Всем, кто хочет ближе познакомиться с сибирским писателем Владимиром Степановичем Топилиным, человеком — не побоюсь этого слова — героической судьбы, и найти его книги, это несложно сделать: наберите в любом поисковике Интернета его имя или название вышеперечисленных книг, и вы без труда получите искомое. Ведь сегодня Владимир Степанович Топилин — один из известных людей не только в Сибири, но и в России.

ДиН ревю



Валерия Литвиненко
Лёгкие

Челябинск: ЧГИК, 2017

• • •

Ближе ближнего, дальше дальнего
Стынут реки многострадальные.
Чуть дыша ходит темень острожная,
Прячет руки и смотрит встревоженно.

А вокруг — сторожа-иноверцы лишь,
Ближе к разуму, дальше от сердца — тишь,
Ближе к сущности, дальше от сути — глушь.
Ближе к тверди — раскинула лапы сушь.

Рассекаются земли дорогами,
Мелом чертятся улицы строгие,
Горло стянуто серым воротом.
И дымит тишина над городом.

• • •

В гуще яблонь забыт самокат,
Угасает беспечное лето…
Обнимаю на память закат —
Он уйдёт вместе с горьким рассветом.

Прячу в тайный кармашек росток
Терпкой памяти с привкусом мяты,
Со стихами забытый листок,
Пожелтевший и ветром измятый.

Новых дней полыхает пожар,
Но мой август не ими согрет был.
И глядит солнца огненный шар
На моё повзрослевшее лето.

к 80-летию

Александр Щербаков

Из дневника писателя

Эмоциональная тупость

Кажется, мне уже доводилось где-то упоминать в своих писаниях этот странноватый диагноз — «эмоциональная тупость». Его поставили когда-то одному моему приятелю и земляку из присаянской глубинки. Прежде я не замечал за ним никаких странностей, кроме разве того, что он никогда не знал и не чувствовал… похмелья, чреватого, как известно, головными болями и сердечными томлениями. Даже, помнится, с неподдельным любопытством выспрашивал у всех нас, страдавших «после вчерашнего», подробности ощущений при этой самохотной хворобе, не ведомой ему.

Но с годами у него стали проявляться и более тревожные «отклонения».

К примеру, время от времени он погружался в состояние некой ипохондрии. Становился неразговорчивым, задумчивым, уходил в себя и даже худел, ибо терял интерес не только к своим делам, но и к пище. А потом, в довершение ко всему, у него почему-то начали сечься и выпадать целыми островами волосы на голове, так что ему пришлось остричься под ноль.

И вот наконец местные районные эскулапы, расписавшись в бессилии перед таинственными проявлениями его нездоровья, дали ему направление в одну из краевых больниц. А именно в ту, «на Ломоносова», о которой пациенты обычно говорят неохотно и шёпотом. Оттуда-то, после приёма у остепенённого светила в области неврологии-психопатологии, и принёс он, зайдя ко мне, теперешнему горожанину, в гости, этот загадочный не то симптом, не то диагноз. Естественно, я пристал к нему с расспросами о деталях и подробностях, как он приставал, бывало, к нам по другому поводу. И в первую очередь меня, как и его когда-то, интересовало, что же он, собственно, чувствует при своей малопонятной болезни. Приятель грустно отвёл глаза в сторону и повторил ту же фразу: «Эмоциональную тупость…»

Признаться, я воспринял эти слова с долей иронии или, по крайней мере, некоторого скепсиса и поспешил перевести разговор на другие темы, посчитав медицинскую исчерпанной. И потом забыл о ней на многие годы.

Но вот в последнее время, на моём восьмом (страшно подумать!) десятке, она стала исподволь напоминать о себе. Пожалуй, особенно явственно это проявилось годика три назад, когда я, собравшись в очередной раз навестить родное село, на исходе лета подъезжал к нему и вдруг поймал себя на том, что его панорама, открывшаяся взгляду с Петуховской горы, почему-то не особо волнует меня, не вызывает обычных эмоций. Мне живо вспомнилось, как, бывало, в пору студенческой юности, да и в последующие времена, у меня при виде нашенских самых близких душе березняков, косогоров, бревенчатых изб и особенно встречных лиц невольно перехватывало горло и туманились глаза, хотя я не считал себя сентиментальным человеком. Теперь же я довольно равнодушно и даже вроде бы сторонним взглядом смотрел на эти взгорки и берёзки, на извивы тоненькой речки с мостом, на убегающие вдаль шеренги домов под тесовыми и шиферными крышами…

Грешно признаться, но моё сердце не защемило даже в ту минуту, когда за окном неспешного автобуса проплыл отчий дом, наше родовое гнездо, вернее сказать, то, что сохранилось от него при нынешних хозяевах усадьбы.

С подобным хладнокровием, похожим на отчуждение, взирал я и на встречные лица уже сплошь незнакомых, а может, неузнаваемых людей, включая стариков и старушек.

«Что это со мной?» — спросил я себя почти в испуге.

И «услужливая память» в ответ выкатила из своих глубин полузабытые слова бывшего земляка-приятеля: «Эмоциональная тупость…»

Да, это, наверное, она, подлая, незаметно подкрадывается ко мне, как тёмная гадюка в луговой траве. Подползает, когда у меня уже нет сил, чтобы отпрыгнуть в страхе от неё, едва уловив зловещее шуршание. Впрочем, и страха особого вроде бы нет. На душе какое-то тупое смирение, отчасти близкое равнодушию и безразличию, но, пожалуй, более — покорности судьбе. И остаётся лишь надеяться, что это не звоночки из клиники «на Ломоносова», а просто неизбежные издержки погружения в старость, которое прежде нынешних заметок я пытался выразить в стихотворении.

Погружение

Отболела, отпала коростою
Грусть-тоска по родному углу.
Видно, старость настигла, и просто я
Погружаюсь в неё, как во мглу.
Равнодушно гляжу на окрестности:
Вон гора, вот село и река…
Но и даже на дом наш не крестится,
Как бывало, «невольно» рука.

Разве только у белой часовенки,
С вечным нищим на низком крыльце,
Дрогнет дух, да и то, коль по совести,
Лишь от мысли о близком конце.
Я смирился с той участью вроде бы,
Но нет-нет да кольнёт под плечом,
Слева… Впрочем, тут малая родина
Ни при чём, ни при чём, ни при чём…

Хотя вполне допускаю, что, может, и зря грешу на свою старость. И дело вовсе не в ней. По крайней мере, не только в ней. А ещё в той общественной атмосфере, в которой мы нынче живём. Не секрет ведь, что если не все, то очень многие испытывают ощущение, будто сам воздух, которым мы дышим, пропитан унынием и безнадёгой. И если в недавние времена социологи отмечали в народе массовый психоз перемен, то нынешнее состояние впору назвать массовым психозом равнодушия и апатии, близким к той самой эмоциональной тупости.

Да и вправду, задумайтесь сами, пройдитесь мысленно по нашей истории. Жила-была тысячелетняя русская держава—княжеская, царская, советская. Ширилась, богатела, дивила мир стойкостью перед врагами, развитием наук и искусств. Но вот к рулю под видом «демократов» проникла кучка упёртых западников и развалила её. Чем же ответили мы с вами наглым развалистам? Массовым негодованием? Дружным отпором? Увы, «соборным» безмолвием и пофигизмом. То есть эмоциональной тупостью.

Следом наши общие несметные богатства, созданные многолетними трудами, привластные ловкачи объявили своими и рассовали по карманам. При полном равнодушии народа. Что это, как не эмоциональная тупость? Далее можете продолжить сами: закрытие тысяч заводов, удушение деревни, распродажа земли, расчленение Единой энергосистемы, монетизация льгот и тому подобное. Вплоть до нынешней пенсионной «реформы», которая отодвинула на целую пятилетку заслуженный (без кавычек) отдых трудяге и попутно отняла у него «лишний» миллиончик кровных…

Да что там земные блага и достатки! Не хлебом единым, как известно…

Так ведь и в духе житья не дают. Парализовали Академию наук, задвинули в дальний угол народное искусство, традиционную культуру, национально ориентированную литературу. О проблемах Русского мира СМИ сообщают нам лишь в дни работы Всемирного конгресса соотечественников либо Всемирного русского народного собора, да и то если их посетит первое лицо государства. А «русский вопрос» внутри страны стал вообще «неформатом», ибо главные медийные рупоры отданы в одни либеральные (читай—антироссийские) руки… И что? В ответ громы и молнии протеста? Почти тишина. Нарушаемая разве только робкими голосами патриотических малотиражек да полуподпольных блогов и сайтов с жидкими «форумами». Но кто услышал их? Кто подхватил и вынес на вече народное, привлёк вниманье города и мира к возмущению несогласных? Где сопротивление духовному оскоплению? Сплошная эмоциональная тупость…

«Ну а сам-то!»—пожалуй, воскликнут иные читатели. А что сам? Я как все. «Без меня народ неполный». «Я этой силы частица». «Русское поле, я твой тонкий колосок». С общей эмоциональной тупостью. Неужели всех нас ждёт грустная дорога в учреждение «на Ломоносова»?

Хорошо смеётся… первый

Многие «общеизвестные истины» всё же весьма сомнительны. Если, конечно, не принимать их на веру как некие догмы, а трезво и непредвзято поразмыслить над ними. К примеру, каждый знает и считает почти аксиомой, что хорош тот шутник, который умеет всех рассмешить, а сам при этом «даже не улыбнётся». И что в этом якобы вообще заключается высший пилотаж всякого юмора. Вот и все так называемые писатели-сатирики, которые ныне плодятся быстрее, чем мухи-дрозофилы, стараются держать лица каменными, читая со сцен театров, с экранов телевидения свои зубоскальные «тексты», явно следуя вышеозначенному неписаному правилу юмористики.

Более того, гуляет в народе и часто цитируется в печати чьё-то будто бы мудрое и проницательное в кажущейся парадоксальности замечание, что как раз природные юмористы из числа писателей, актёров или цирковых клоунов в жизни—самые грустные люди. Этакие рыцари печального образа. И, мол, даже когда уста их смеются, то глаза по-прежнему покрывает тень «мировой скорби». Однако мне вот, Фоме неверующему, сдаётся, что во всех подобных наблюдениях и заявлениях присутствует немалая доля надуманности, если не нарочитой позы. Ну согласитесь, разве не более естественно для человека, удачно пошутившего «от себя» или хотя бы вставившего к месту чужую шутку, взять да посмеяться вместе со всеми, а то и спровоцировать смех своей улыбкой либо иной подобающей гримасой?

Конечно, если кто-то выдаст шутку глупую, пошлую, неуместную и сам же первым над нею

зайдётся в хохоте, то слушатели только пожмут плечами или из вежливости улыбнутся натянуто. Но если, повторим, шутка была удачной, остроумной и, как говорится, первой свежести, то почему бы и самому шутнику не посмеяться над нею? Тем более что всем известно, насколько заразительным бывает смех. Особенно наглядно это проявляется в кругу молодых людей, а тем более — детей и подростков. Знакомая картина: сто́ит одному из них рассмеяться даже вроде без особого на то повода, как тут же запрыскают в ладошки другие, корча уморительные рожицы. Что называется, «смешинка в рот попала».

Да и взрослые охотнее всего смеются в компании, в собрании, коллективе, причём порою в самые, казалось бы, мало подходящие, серьёзные моменты. Под воздействием всё той же заразительной силы смеха, да ещё из чувства солидарности. Не зря психологи утверждают, что смех объединяет людей. Хотя можно сказать и обратное: что в объединении людей легче высекается смех. Он вообще явление «компанейское». На человека, одиноко смеющегося, мы смотрим по меньшей мере как на странного. А если к тому же смеющегося без видимого основания, то и — с осуждением, ибо «смех без причины — признак дурачины»…

Одним словом, пора бы нам оправдать тех шутников и пересмешников, которые сами смеются над своими шутками и тем более над шутками вокруг собственной персоны. Поскольку смех заразителен и он сближает, объединяет людей, то надобно всячески поощрять талантливых умельцев заражать окружающих столь добрым чувством.

Между прочим, сам Лев Толстой в знаменитой статье «Что такое искусство?» обстоятельно доказывал, что именно «заразительность» является одним из главных признаков и неотъемлемых качеств настоящего искусства во всех его родах и видах — в литературе и театре, в песне и музыке, в живописи и зодчестве. Так что не бойтесь посмеяться доброй шутке, даже если она слетела с вашего языка, и не стесняйтесь первыми поддержать её заразительность.

А насчёт известной сентенции, что, мол, хорошо смеётся тот, кто смеётся последним… Последний — он и в Африке последний.

Простота непостижимая

Многие знают, что Лев Толстой не питал особой симпатии к стихам. И обычно, когда ныне заходит разговор о соотношении выразительных средств прозы и поэзии, вспоминают его ироничное замечание, что, мол, писать стихами — всё равно как идти за сохой и при этом выделывать танцевальные па. Но известны и более серьёзные доводы Льва Николаевича против стихов. Он называл поэзию вообще «самой низкой отраслью литературы», так как «великий дар — Слово — дан человеку для духовного общения, а поэт мысль калечит», втискивает её в тесные формы ритма и рифмы. Вот и врач Душан Маковицкий, находившийся рядом с Толстым в последние шесть лет его жизни, в своих «Яснополянских записках» приводит свидетельства тому. К примеру, 14 февраля 1905 года он, пожалуй, впервые коснувшись данной темы, отметил:

«Заговорили о стихах.

— Я вообще не люблю стихов, — сказал Л. Н. — Стихи должны быть очень хороши. Нельзя в них чувствовать lafacture (технику — *фр.*), подыскивание рифм… Пушкин, Тютчев, Лермонтов — одинаково большие поэты. Потом падение: Фет, Майков. Полонский, Апухтин, потом декаденты…»

Или, допустим, 27 ноября 1908 года неутомимый Душан не позабыл записать в дневнике, что Лев Николаевич говорил, между прочим, о стихах некоего крестьянина, обращённых к нему, которые он получил накануне по почте. В частности, заметил, что среди множества несуразностей в них «есть и такое выражение: „писатель массивный“, и сейчас видно, почему массивный: следующая рифма — „дивный“…

А на усмешливую реплику Софьи Андреевны, что при всех заявлениях о нелюбви к стихам Лев Николаевич недавно в который уж раз перечитывал Пушкина, он ответил: „У Пушкина стих лучше, чем у других проза. Только Пушкин может. Никакого усилия в стихах не чувствуется…“»

Конечно, не один Лев Толстой высказывал подобные суждения, то есть ценил в стихах естественность и «высокую простоту». Достаточно вспомнить хотя бы знакомые каждому слова Александра Твардовского из великой «Книги про бойца», полные надежды автора на то, что читатель оценит его стремление к ясности слога и смысла и одобрительно скажет: «Вот стихи, а всё понятно, всё на русском языке». Или назвать даже почти антипода, представителя совсем другой, искусственно усложнённой, «книжной» поэзии Бориса Пастернака, под конец жизни всё-таки «впадавшего», «как в ересь, в неслыханную простоту». Да и множество других поэтов самых разных эстетических и политических направлений «опрощались» с годами, не впадая в простоту, а возвышаясь, вырастая до неё: Александр Блок, Игорь Северянин, Николай Заболоцкий… Можете сами продолжить ряд, исходя из своих познаний и пристрастий.

К слову сказать, у того же Льва Толстого я где-то читал о лакее-книгочее, который с восторгом сообщил ему, что нашёл на ярмарке книгу, где вообще ничего понять невозможно. А вышеупомянутый «король поэтов» даже стих сочинил о подобных поклонниках сомнительного любомудрия:

> Чем бестолковее стихотворенье,
> Тем глубже смысл находит в нём простак.

Всё так. Но между тем далеко не все читатели, особенно из молодых, готовы согласиться с Толстым и Твардовским, а тем паче с Северяниным. И таких несогласных, пожалуй, даже большинство в книгочейских кругах. Многим почему-то представляется, что именно в туманности и «высоком косноязычии» иных стихотворных строчек кроется та самая поэзия, неуловимая и загадочная, которой никто не может дать внятного определения. Да и мудрость, по-особому глубокую, многие находят в стихотворной невнятице и нарочитой зауми. И потому среди любимых поэтов (кроме ритуально упоминаемых Пушкина и/или Лермонтова) зачастую почти в автоматическом режиме называют Цветаеву, Ахматову да Мандельштама с Бродским… И уж редко-редко кто назовёт того же Твардовского либо ещё кого-нибудь из ряда «элементарно» простых и понятных — от Некрасова до Есенина, Смелякова, Рубцова…

Хотел было на этом и поставить точку беглым заметкам о «писателях массивных», но вспомнился один случай «в тему», связанный с собственной персоной. Приведу его в заключение, простите за нескромность.

Где-то в начале текущего века проходили у нас в крае очередные выборы губернатора. Кандидатом от народно-патриотических сил на этот пост сшёл известный экономист (ныне академик РАН и советник президента) Сергей Глазьев. Поддержать его прилетала из Москвы группа единомышленников — литераторов и политиков. В её составе, довольно солидном и живописном, были — главный редактор «Нашего современника» Станислав Куняев и его заместитель Александр Казинцев, главный редактор журнала «Москва», вчерашний диссидент-зэк Леонид Бородин и генерал-лейтенант ГКБ в отставке, бывший главный аналитик этой «конторы» Николай Леонов, главный редактор журнала «Русский дом» Александр Крутов и православный писатель Виктор Николаев…

В предвыборном штабе Глазьева попросили меня, «местночтимого» пиита, сопровождать их в агитационных поездках по краю. При первом знакомстве некоторые московские посланцы подарили мне свои новые книги. Ну и я не остался в долгу — оделил их собственными шедеврами в стихах и прозе. А наутро, когда мы собрались у микроавтобуса, чтобы отправиться на встречи с избирателями, Александр Казинцев, которому накануне достался мой поэтический сборничек, подавая мне руку, сообщил с добродушной улыбкой: «Полистал на сон грядущий… Я не большой ценитель поэзии, но скажу, что ваши стихи очень легко читаются. Ведь нынче многие пишут так, что с трудом продираешься сквозь строки, чтоб добраться до сути. А здесь всё естественно, читается легко и воспринимается без всякого напряжения…»

Разумеется, я не дословно передаю сказанное «массивным» критиком, но за смысл ручаюсь. Как и за точность дважды повторенной им фразы «легко читаются». Кстати, насчёт «небольшого ценителя» Александр Иванович явно поскромничал, если не слукавил. Позже я узнал, что он, как и большинство литераторов, начинал со стихов, печатал их даже в «Дне поэзии», но потом погрузился в критику и публицистику. Деликатный столичный гость обошёлся столь дипломатичным отзывом на мои опыты, возможно, чтобы только не обидеть провинциального стихотворца «принимающей стороны», однако я счёл его за комплимент, вольный или невольный, ибо и тогда разделял требования к поэзии, предъявляемые Толстым и Твардовским, весьма почитаемыми мною столпами русской словесности.

Да, истинное достоинство стихов измеряется отнюдь не навороченностью разными метафорами и аллюзиями и не претензиями на сомнительное глубокомыслие, а, напротив, доступностью содержания и простотой формы, то есть той самой лёгкостью чтения и восприятия, которую в народе метко называют «складностью».

Не буду скрывать, что испытываю горделивое чувство, когда учителя словесности, знакомящие ребят с «региональной» литературой (а в недавние времена таковая значилась в школьной программе), при встречах говорят мне: «Частенько берём и ваши стихи: они просты, понятны, легко читаются и запоминаются…»

Видно, не зря великий композитор наш Георгий Свиридов писал, что «русское искусство должно быть простым, потому что оно христианское искусство. Христос ведь прост. Никакой двойственности. А вот Иуда — сложная натура. Сложная, потому что он предатель. Христос не сложен, но непостижима эта простота для нас». А великий молитвенник преподобный Амвросий Оптинский даже оставил нам в назидание «складный» афоризм: «Где просто, там ангелов со сто, а где мудрено, там ни одного».

И пусть медийные лжецы не трындят, что якобы нынче «в тренде» одни «сложносочинённые» опусы словесных шулеров и выжиг, прости Господи.

к 80-летию

Александр Щербаков

Правда любви

На игле

Я на вождей смотрю с опаскою,
Увы, живущих как в дыму…
Спросили хоть бы в нашем Таскино,
Там растолкуют, что к чему.

Понятно всё любому таскинцу,
Но не поймут никак в Кремле,
Что мы на башне на Останкинской
Сидим, как будто на игле.

Её когда-то взяли танками.
Народу дали по башке.
С тех пор на башне на Останкинской
И власть сидит, как на штыке.

Но это долго не протянется.
Наш дом построен на песке.
Не усидеть нам на останкинских
Ни на игле, ни на штыке.

Крест

Прочь, зеваки! Я не скоморох,
Не какой-нибудь вам Арлекино.
Мне оружием стало перо
И крестом, что вручила судьбина.

Слово взял я за меч и за щит.
Расступитесь, уйдите с дороги.
Дайте крест да конца дотащить
Самому, одному, без подмоги.

Нет, врагов я отнюдь не простил,
Ибо ведали, что сотворили,
Под откос мать-Россию пустив,
Погубив с хладнокровьем рептилий.

Только мстить никому не хочу
И глумиться над кем-либо—тоже.
Я по-русски врагам отплачу—
Правду брошу в лукавые рожи.

Отложил до поры меч и щит
И не жду ниоткуда подмоги.
Сам я должен свой крест дотащить
На горбу… Уходите с дороги!

Седому земляку

А. Байбородину

Брось печалиться, старый кержак.
Пусть судьба выдаёт оплеухи
И повис над ушами куржак,
Но ведь искры в глазах не потухли!

Что куржак? Нам же не под венец,
Нам—радеть о Державе и людях.
Не остыл ещё пламень сердец
Правдолюбов и родинолюбов.

Да и мыслей огонь не угас.
И пока не сыграли мы в ящик,
Препоясаны чресла у нас
И светильники наши горящи.

К итогам

Сидя на санях, помыслил я…
Владимир Мономах

Глаголу преданным без лести
И одиноким, словно перст,
Я вековал, свою безвестность
Неся безропотно как крест.

Не застрелился и не спился,
Не ударялся в куражи.
Я духом жил, над словом бился,
Грыз перья и карандаши…

Так будет и до самой, самой
До переправы в мир иной,
Когда подвалят к дому сани
Харона русского за мной.

А потому—откуда славе
Явиться? Хватит и того,
Чтоб я «чекан души» оставил
И отзвук сердца своего.

Я дорожил на свете волей
И занесу итог в гроссбух:
Мне спину выгнуло глаголем,
Зато прямым остался дух.

Живые тени

Снова снилась родная деревня.
Вечер. Небо в закатном венце.
И какая-то Марья-царевна
В сарафане на школьном крыльце.
Это ж, вспомнил я, наша Маруся.
Молода и светла, как была
В годы оны, когда у нас русский
И немецкий в придачу вела.

А по улице, вроде под мухой
И, как я, присутулен и сед,
Улыбаясь от уха до уха,
Шёл ровесник мой, бывший сосед.
Удивлённо воскликнул я: «Костя!
Да никак ты, дружище, воскрес?
Я ведь только что был на погосте,
Видел твой, с фотографией, крест».

Погрустнев, он ответил мне с болью:
«Приходил бы к живым иногда.
Не тебя ли, перекати-поле,
Предки ждут у родного гнезда?»
Я с волнением вытянул выю
И вгляделся в родительский дом:
Там и вправду сидели… живые
Мать с отцом на скамье под окном…

Какова наша участь в итоге,
Нам неведомо. Верится лишь,
Что на Небе нет мёртвых для Бога,
Как для нас—у родных пепелищ.

Фламинго

От пламени—имя «фламинго».
Мне редкая птица сия
Знакома не только по книгам—
По встрече в предгорьях Саян.

Однажды её на Амыле,
Когда мы по этой реке
На лодке с таёжником плыли,
Увидел я невдалеке.

Окрас её розово-алый,
Клюв, загнутый буквою «гэ»…
Она неподвижно стояла
В заливе на длинной ноге.

Потом заплескала крылами,
Разбег с гоготаньем взяла,
Стремительно взмыла над нами,
Сияюще снизу бела,

И, вытянув ноги и шею,
Вразмах улетела за лес…
Как некий небесный пришелец,
Похожий на огненный крест.

В отставку

Патрон заверил обходной листок,
И, словно тот бездельник из бомонда,
Я оседлал финансовый поток,
Даруемый нам Пенсионным фондом.

Поток не бурный, под десяток тыщ,
Но, говорят, до срока не иссякнет.
Винцом, мясцом не злоупотребишь,
Зато кефир от пуза и овсянка.

И вообще, старик, всё хорошо.
Что делать, возраст… Не горюй особо.
Ведь не «ушли», ты как бы сам ушёл
И как бы не без выходных пособий.

Завывальное

Нет, о том я, что было—что стало,
Ни судить, ни рядить не берусь.
Просто снова подумал устало
О напастях на матушку-Русь.

Вспомнил брата, что сгинул под Ельней.
Знал бы он, чем я нынче дышу,
Коль живу не в селе—в «поселенье»,
Не в сельмаг, а на «шопинг» хожу.

Носят шорты и трескают чипсы
Поселяне сибирские, блин.
И наследников шлют подучиться
Не в Москву, а в Париж и Берлин.

Проживём ли чужой головою?
Прёт такая от Запада гнусь…
Просыпаюсь ночами и вою,
А точней, как завою—проснусь.

Ну да что я один? Или вы ли?
Разве может услышать нас власть?
Это ежели все бы мы взвыли
И очнулись, то Русь бы спаслась.

Противостояние

Ты рос в столице, на Трубе,
А я в глубинке, на Тубе,
И потому ни «а» ни «бе»
Не понимаю я в тебе.

Ты поклонялся сатане,
Я—православной старине,
И потому ни «бе» ни «ме»
Не понимаешь ты во мне.

Ты не свернёшь—я не сверну,
Как говорят, ни тпру ни ну…
И оба мы идём ко дну
И тянем за собой страну.

На торжище

Не мстительный, не злой, не заводной
И в русский бунт не рвусь, махая дрыном,
Но понимаю: жизни нам иной
Век не видать, коль ею правит рынок.

«Уместен торг»… И как мы ни ворчим,
Он требует торгашеских талантов.
Всё у́же круг мастеровых мужчин,
Всё шире—прощелыг и спекулянтов.

И женщины, как их ни назови,
Иной всё чаще проявляют норов,
Былым предметам жертвенной любви
Предпочитая выгодных партнёров…

Барыш перемешал добро и зло.
Отсюда и наследников замашки—
Заполучить портфель, «срубить бабло»,
А то и вообще—«свалить из Рашки».

Что ж, се ля ви… Но только иногда
Зайдётся сердце от тоски и боли,
И думаешь: «Ужели, господа,
Вы этого хотели—и не более?»

Правда любви

Скажи мне правду, Бога ради,
В улыбке губы не криви.
Любви не может быть без правды,
Равно как правды без любви.

Ответь, хотя бы дрогни бровью,
Я всё пойму и всё прощу.
Той правды, спаянной с любовью,
Всю жизнь я жажду и ищу.

Так заповедал правый Боже,
И так ведётся меж людьми:
Любви без правды быть не может,
Равно как правды без любви.

Солдаты идут

Вижу я, как за сизыми далями,
Где теряется времени гуд,
Боевыми сверкая медалями,
С фронта наши солдаты идут.

По лесам, по холмам, по разложинам
Сквозь пространства идут напрямки
Победители, как и положено,
Держат курс на родные дымки.

Здесь их ждут с неизбывной тревогою:
Уже годы зашли за года,
А они той прямою дорогою
Всё идут… И придут ли когда?

Насчёт развода

Бывают такие, бывают
Моменты почти каждый год,
Когда я в душе затеваю
С дражайшей своею развод.

Впряжёт, как при матриархате,
Словцом стеганёт, как хлыстом,—
И скрипнешь зубами: «Ну, хватит!
Уйду, пожалеешь потом!»

Я вынес бы всю процедуру,
Позор пережил и беду…
Но где ещё русскую дуру
Такую на свете найду?

Наследство

Что на свете на этом оставлю
Я в наследие внукам своим?
Полевые ковры разнотравья,
Поднебесья атласную синь,

Да таёжные ясные дали,
Да седой енисейский простор,
Да ещё… семь отцовских медалей
Боевых, что храню до сих пор.

Чтобы помнили нощно и денно:
Нам земля эта Богом дана
Не в аренду и не во владенье—
Нам сдана под охрану она.

Точка невозврата

Мы с тобою седоваты,
Нам с тобою всё одно,
Наша точка невозврата
Нами пройдена давно.

Жизнь старением чревата,
Молодеть нам не дано.
Наша точка невозврата
Нами пройдена давно.

От восхода до заката
Шли наверх, ушли на дно.
Наша точка невозврата
Нами пройдена давно.

Все потери, все утраты
Воротить не суждено.
Наша точка невозврата
Нами пройдена давно.

Кончен пир. Пусты палаты.
Ни гостей, ни яств, ни вин…
Нами точка невозврата
Всеми пройдена. Аминь.

Эдуард Русаков

Не все дома

Святочные рассказы

Аноним

Уважаемая Серафима Игнатьевна!
Пишет Вам один из Ваших соседей, обеспокоенный непристойным поведением Вашего легкомысленного супруга, который, пользуясь Вашей доверчивостью, изменяет Вам направо и налево с женщинами лёгкого поведения, коих в наше время развелось немало на просторах Отчизны.

Знаете ли Вы, к примеру, любезная Серафима Игнатьевна, что в эти предновогодние дни Ваш коварный супруг изменяет Вам со Снегурочкой? Да-да, я не шучу! Будучи актёром краевого драмтеатра, он подрабатывает в роли Деда Мороза, разнося вместе с юной актрисой в наряде Снегурочки подарки детям по разным адресам, так сказать, по заявкам родителей,—и в этом, казалось бы, нет ничего особенного. Но! После каждого такого визита к детишкам Дед Мороз заезжает к Снегурочке в гости—и там они предаются плотским утехам.

Будьте бдительны, дорогая Серафима Игнатьевна!

С Новым годом Вас, с новым счастьем!

Ваш доброжелатель.

30 декабря 2017 года

Глубокоуважаемый господин губернатор!
Не хочу омрачать Ваше праздничное предновогоднее настроение, но вынужден довести до Вашего сведения печальную весть. Ваша любимая дочь Маргарита оказалась неблагодарной девицей, готовой ради презренных денег разрушить карьеру своего отца.

Да, это так. Мне доподлинно известно, что Маргарита продала Вашим оппонентам компрометирующие Вас документы, связанные с прошлогодним делом, касающимся банкротства «Сибстройбанка», к которому Вы были причастны. Боюсь, что предотвратить скандал уже невозможно, но Вы сможете успеть хотя бы разобраться с коварной Маргаритой и не допустить чрезмерной огласки.

С Новым годом Вас, с новым счастьем!

Ваш верный избиратель и давний почитатель.

31 декабря 2017 года

Многоуважаемый господин Президент!
Во первых строках моего письма поздравляю Вас с Новым годом, желаю здоровья и счастья в личной жизни, а также надеюсь, что сбудутся все Ваши мечты и грандиозные планы.

А во вторых строках моего письма спешу сообщить, что в нашем славном сибирском городе Кырске окопалась банда Ваших врагов и завистников. Это не только зарвавшиеся и проворовавшиеся чиновники и олигархи, но и некоторые из представителей так называемой творческой интеллигенции и так называемого креативного класса, которых простой народ справедливо именует «либерастами» и национал-предателями. Именно они сочиняют про Вас всевозможные пасквили и анекдоты, распускают под видом невинных шуток злобные сплетни и клеветнические домыслы. Именно они, эти псевдоинтеллигенты, квазихудожники и лжеписатели, затуманивают сознание юного поколения, провоцируя молодёжь на мелкие бунты и митинги по ничтожным поводам.

Имя им—легион. Особенно же отличаются в этом гнусном деле такие кырские литераторы, как прозаики Мышкин и Курочкин, а также поэты Гребёнкин и Хомяков.

Пока не поздно, господин Президент, наведите порядок в этой гнилой среде, в этом зловонном болоте! Давно пора внести в Конституцию РФ новые статьи о запрете антипатриотической деятельности наиболее оголтелых представителей творческой интеллигенции, об уголовной ответственности для тех, кто расшатывает основы государственного строя. Нельзя им позволить согнуть несгибаемую вертикаль власти!

С верой, надеждой и любовью—Ваш вечно и верноподданный аноним-доброжелатель.

1 января 2018 года

Уважаемый господин прокурор!

Ваша честь!
Прежде всего, позвольте поздравить Вас и всю нашу славную краевую прокуратуру с наступившим Новым годом! Будьте счастливы!

А теперь я хочу чистосердечно покаяться и признаться в содеянных мною тяжких прегрешениях. Дело в том, что вот уже на протяжении многих лет я забрасываю анонимными письмами разных людей, начиная с соседей по дому и до самого президента страны. Долгое время мне казалось, что я делаю доброе дело, пытаясь вершить справедливость, но сегодня утром, когда по радио звучал государственный гимн, меня вдруг осенило, что сей путь порочен и бесперспективен. Нельзя прятаться за маску анонима, если хочешь добиться справедливости!

И вот я каюсь, каюсь, каюсь.

Прошу привлечь меня к уголовной ответственности и подвергнуть строжайшему наказанию.

На конверте указан мой адрес, а своё имя я назову при личной встрече, на первом же допросе. Жду повестки!

С нижайшим поклоном и глубочайшим прискорбием — Ваш аноним-доброжелатель.

5 января 2018 года

Привет, придурок.

Предлагаю тебе заткнуться и сменить жанр — перейди на мемуары, что ли.

У меня нет времени и охоты разбираться в твоих доносах. Скажи спасибо, кретин, что ни губернатор, ни президент не приняли всерьёз твои кляузы. Ничего нового ты не сообщил. Все твои «страшные тайны» легко найти в СМИ, в Интернете.

Твоё место — в дурдоме.

Ты туда хочешь?

Могу устроить. Местечко для патриота найдётся.

А если не хочешь — заглохни и сиди, как мышь, в своей норке. Понял, мудак?

И больше никому ни слова, ни строчки, ни звука, ни писка.

Твоё имя меня не интересует.

И никому в этом мире не интересно — кто ты такой.

Ты никто. Ты пустое место. Ты моль. Ты ноль.

С прокурорским приветом!

И с Рождеством!

7 января 2018 года

Всем, всем, всем!

В моей смерти прошу никого не винить.

Я напрасно ждал, когда же за мной придут, когда меня заберут, арестуют… Но никто за мной не приходит, никто меня не забирает. Я никому не нужен. Я совсем никому не нужен. Я совсем-совсем никому-никому не нужен. И не всё ли равно — как меня зовут? Никому это не интересно.

Прокурор был прав. Я никто. Я пустое место. Я моль. Я ноль.

А ведь так много всего хотелось, так о многом мечталось! Мама верила, что я буду счастлив и что меня полюбят… Мама, прости. Я не оправдал твоих надежд.

Я и сам не помню — как меня зовут. И не всё ли равно? Ну — Иван Петров, ну — Евгений Хоменко, ну — Абрам Печкин, ну — Джон Леннон…

Не помню, совсем ничего не помню.

Всем привет.

И до скорой встречи. Любящий всех вас и не любимый никем —

Аноним.

13 января 2018 года

Экскурсия

— Дорогие друзья! Дамы и господа! Глубокоуважаемый господин губернатор и многоуважаемые господа депутаты Законодательного собрания Кырского края! Дорогие кырчане и гости нашего города! Добро пожаловать на первую экскурсию в мемориальную квартиру нашего замечательного земляка, знаменитого сибирского писателя, прославившего своими произведениями родной Кырск и всю нашу необъятную Сибирь-матушку!.. Проходите, проходите! Не случайно мы открываем этот новый музей именно сегодня, накануне Рождества Христова, — ведь именно в этот день десять лет назад хозяин этой квартиры ушел из бренной жизни, как говорится, в мир иной, откуда и наблюдает сейчас за нами с присущим ему доброжелательным любопытством. Вам особенно повезло — ведь вы первые экскурсанты, переступившие порог этого некогда гостеприимного жилища.

— Наша экскурсия начинается прямо здесь, в прихожей, где вы видите подлинную одежду писателя — его пуховик, старую дублёнку, две куртки, плащ, зимнюю шапку и шарф. А также его обувь. Кстати, все экспонаты в музее — подлинные. Над входной дверью вы видите подкову на гвоздике — символ удачи, а рядом — две маски. Вот эта карнавальная маска привезена писателем из Венеции, а эту, индонезийскую, он купил в Ялте, незадолго до того как Крым стал наш… А на этом стеллаже, тут же, в прихожей, — книги из библиотеки писателя, на многих страницах сохранились его пометки. Эта дверь ведёт в ванную комнату, там ванна и унитаз, на котором частенько сидел по утрам писатель, сочиняя новые стихи и рассказы…

Всё в мире — повод для пародии,
Всё, начиная с мудрых книг.
Земля кишмя кишит уродами.
И я — прекраснейший из них!..»

— Не пугайтесь, господа, это голос хозяина, записанный на магнитофон во время одной из его последних творческих встреч с читателями. В нашей сегодняшней экскурсии он будет незримо сопровождать нас, читая свои стихи…

— Прошу, не стесняйтесь, проходите в комнату! Не удивляйтесь, что в этой глиняной вазе на полу стоит небольшая ёлка, украшенная игрушками,—я же вам говорил, что писатель ушёл из жизни накануне Рождества… Да, он жил в однокомнатной квартире, но ему здесь не было тесно, ведь он жил один. Одиночество было необходимо для творчества. Одно время он держал в клетке двух попугайчиков, но даже они своим пением мешали ему сочинять—и он избавился от этих птичек.
— Слева, за шторой, вы видите старую двуспальную железную кровать с никелированными спинками и панцирной сеткой. На этой кровати спала ещё мама писателя, здесь же он был зачат—много лет назад, в Магнитогорске. С этой кроватью были связаны разные воспоминания, вот почему писатель никак не хотел покупать новую. Он привык окружать себя памятными вещами, которые скрашивали ему одиночество.

Стоит только подумать,
Стоит только сказать,
Стоит только проснуться, очнуться, подняться,
Стоит только напрячься и смело всё снова начать,
Стоит только за дело приняться,
Стоит только вздохнуть и коснуться нагого плеча,
Стоит песней восторга наполнить молчанье пустое,
Стоит только понять, как весенняя кровь горяча,
Стоит только…
Но как это дорого стоит!

— Слева от кровати вы видите зеркальный шкаф с одеждой и книгами, а с правой стороны—несколько книжных полок. На стене над кроватью висит замечательная картина «Охотники на птиц», подаренная писателю его другом, известным сибирским художником. Кстати, ещё несколько произведений этого живописца украшают стены квартиры-музея. Да, вот этот городской пейзаж, и вот это «Солнечное затмение», а это—портрет писателя в молодости, где он изображён сидящим с бокалом вина в руке. На стенах квартиры можно увидеть картины и других сибирских художников, подаренные ими нашему писателю.
— Да, конечно, фотографировать можно. Проходите, пожалуйста. Ближе, ближе. В этом шкафу и сейчас хранятся вещи хозяина. А вот эта кушетка, предназначенная для гостей, в последние годы жизни писателя была завалена книгами, журналами и альбомами по искусству—теми новинками, которые ему дарили многочисленные друзья, собратья по перу и по пирам. На стене—ковёр, над которым вы видите фотографию молодой красивой женщины—это мама писателя в молодости, ещё до его рождения.

Мне мама снится каждую ночь
Вот уже много лет—
Словно хочет вернуться, хочет помочь…
А как проснусь—её нет!..

— Перед вами главный экспонат музея—письменный стол, за которым хозяин создавал свои чудесные, трогательные, грустные и озорные стихи, рассказы и повести, и сегодня радующие и доводящие до слёз нас, его благодарных читателей. В ящиках стола хранятся его черновики, записные книжки и дневники, которые писатель вёл на протяжении многих лет и которые вскоре будут изданы отдельной книгой, а потом составят последний том его полного собрания сочинений. На столе вы видите перекидной календарь, да, тот самый, открытый на последнем дне жизни писателя, и тут же—его ноутбук, где сохранилась его электронная переписка с различными людьми и все его литературные тексты в электронном варианте. А это—сервант с посудой, где советую обратить внимание на любопытные сувениры—старинный веер, серебряные рюмки, шишка пинии, монеты разных стран и эпох, карманные часы на цепочке… Тут же—визитные карточки деда писателя, который был ветеринарным фельдшером и умер от чахотки во время Первой мировой войны. А эта юная девушка на снимке—первая любовь писателя, следы которой, к сожалению, затерялись…

Ты, конечно, опять же, как прежде, права, моя ласковая.
Совесть твоя чиста.
Девочка! Птичка! Ласточка!
Сжалься, ради Христа…

— А это—значок «Ворошиловский стрелок», который когда-то получила мама писателя, очень метко стрелявшая… И опять же—книги, книги.
— Ну, на балкон мы с вами выходить не будем—не дай Бог, обрушится… На подоконнике вы видите груды книг, настоящий человеческий череп—как напоминание о бренности земного существования (кстати, сам писатель шутил, что это череп последнего в мире читателя), а на ломберном столике, который достался хозяину от его бабушки, старой учительницы, красуются памятные вещицы—чугунная статуэтка Дон Кихота, два старинных бронзовых подсвечника со свечами, библия и молитвослов. А это—жестяная шкатулка из-под монпансье тысяча девятьсот тринадцатого года, посвящённая трёхсотлетию дома Романовых и украшенная барельефами представителей этой династии, от юного Михаила до святого мученика Николая Второго…
— На стене справа вы видите фотографию отца писателя, который пропал без вести во время Великой Отечественной войны и так ни разу и не увидел своего славного сына, родившегося уже после его ухода на фронт, а также снимки бабушки и дедушки по материнской линии и другие семейные фото—сыновья и внучки писателя,

а над ними—весьма качественная репродукция на холсте и в рамке знаменитой мадонны с младенцем великого Леонардо. На полке—статуэтки, бюстики Пушкина и Фрейда. А это—телевизор, приёмник, проигрыватели для дисков и для виниловых пластинок, которые любил слушать хозяин дома.

Когда с экрана поёт хор мальчиков,
Душа печалится и вздрагивает,
И рой нежнейших детских пальчиков
Сердца усталые затрагивает…

— Ну и ещё один большой стеллаж с книгами… Обратите внимание на эти иконы—Богоматерь, Христос, Николай Угодник. Под ними висит медное блюдце с надписью на арабском: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Магомет—пророк его». Ещё ниже—кукла Санта-Клауса—как символ детской языческой веры в чудеса… То есть писатель был весьма толерантен в вопросах веры… да и в других вопросах тоже… Но главное—он очень любил жизнь во всех её проявлениях!

В жизни очень много хорошего—
Этим она и ужасна,
Ибо всё в конце концов отнимает
Немилосердный Господь…

— Нет, пожалуйста, руками трогать не надо!
— На кухне задерживаться не будем—тут нет ничего особенно интересного, кроме разве что фотографии этой девочки—любимой внучки писателя—и нескольких картин на стенах… И опять же—книги, книги… Даже на кухне—книги.
— Что ж, экскурсия наша близится к завершению. И вот, наконец, большое зеркальное трюмо, вернее—трельяж, перед которым писатель брился, причёсывался, одевался, собираясь куда-нибудь в гости или на встречу с читателями… Конечно, вы можете заглянуть в это зеркало—и, быть может, увидите там отражение нашего дорогого и бессмертного хозяина… Я шучу, конечно! Хотя—что это?! Господи Боже мой—*я его вижу, вижу!* Как—где? Да вот же—в этом трюмо! В этих трёх зеркалах—*он стоит там и смотрит на меня… На нас…* Он над нами смеётся!

Мы всё чаще молчим, говорим всё короче.
Оглянись—мы остались одни.
Превращаются в белые ночи
Наши дни…
…Хочешь не хочешь.
Люби, кляни.
Белые ночи.
Чёрные дни.

— Фу ты, Господи… Надо ж такому померещиться!.. Успокойтесь, там, в зазеркалье, нет никого. То есть—*там вообще никого нет!* Ни его, ни меня, ни вас, дорогие гости… Да не шучу я! Не верите—посмотрите сами! Там нет никого! Ни-ко-го! А раз это зеркало нас не отражает—значит, нас никого и не существует… Ни вас, господин губернатор, ни вас, господа депутаты, ни вас, дорогие братья-писатели, ни меня самого! Ни-ко-го!
— Да что же это такое, в конце концов?! Куда же мы все подевались?
— И кому я всё это сейчас рассказываю?
— И зачем?
— И где я сам?!
— А может, я снюсь кому-то?..
— Но кому? Неужели—ему?!
— Да, конечно. Вон он смотрит на меня из зеркала! И показывает мне язык! А вот он смеётся, хихикает… А вот он закрыл глаза… Спит он, что ли?! А я—снюсь ему, это точно!

— Просыпайся скорей, проклятый! Просыпайся, гад!

Навигатор

У Зайцева никогда не было своего автомобиля. И водительских прав у него тоже нет. А у жены Насти есть и автомобиль, и права. Но у неё нет свободного времени, а тут срочно потребовалось купить новогоднюю ёлку. Правда, Новый год уже прошёл—Зайцевы встретили и Новый, и старый, но тут вдруг выяснилось, что сегодня вечером к ним должны прийти гости—друзья жены с детьми… а у Зайцевых нет новогодней ёлки. Игрушки есть, а ёлки нет. Вот жена и заставила срочно ехать на рынок за ёлкой.
— Без ёлки не возвращайся!—строго сказала она.—Среди гостей будет мой новый непосредственный начальник—он нас не поймёт. С ним будет его пятилетний сынишка—он тоже нас не поймёт.
— Может, просто веточек еловых купить?—предложил Зайцев.
— Купи ёлку!—приказала жена.—И не трать время на пустые споры. Садись в машину—и дуй на рынок!
— Но у меня же нет прав…—заикнулся Зайцев.
— Ничего, проскочишь. Давай шевелись! А мне надо готовить праздничный ужин. У нас ведь нет кухарки.
— Шофёра у нас тоже нет…—робко вякнул Зайцев.
— Ты ещё здесь?!

И он кинулся к лифту—и через минуту уже сидел в машине марки «хонда». Слава Богу, завелась сразу—и вот он едет судорожными рывками по направлению к рынку.

И всё было бы хорошо, но тут вдруг на улице погасли все фонари—и сразу стало темно, хотя был ещё не поздний вечер. Что за фигня?! Зайцев включил фары—но от волнения проскочил лишний перекрёсток и выехал явно не туда… И чуть не врезался в фонарный столб!

Тут он вспомнил про навигатор—и включил голосовое сопровождение.

— Поверните налево! — сказал навигатор хрипловатым баритоном.

Зайцев повернул.

— А теперь поверните направо!

Зайцев повернул направо.

— А теперь — прямо — пятьсот метров!

— Есть, сэр! — радостно откликнулся Зайцев.

— Меньше болтай, следи за дорогой! — приказал навигатор голосом жены.

«Вот до чего дошла техника!» — мысленно восхитился Зайцев.

— До чего ты́ дошёл, придурок? — ехидно заметил навигатор голосом жены.

— А что такое?

— Поверни налево, идиот! Мы уже приехали! Покупай ёлку — и возвращайся домой!

— Йес, мэм!

— Заткнись, кретин! Проверь, чтоб ёлка была не кривая!

Зайцев молча отдал честь навигатору, остановил машину и вышел возле горбатой тётки, торгующей ёлками. Через пять минут машина мчалась обратно. Ёлка лежала, благоухая, на заднем сиденье.

— Не гони так быстро! — приказал навигатор голосом жены. — Не забудь, что у тебя нет прав…

Зайцев молча кивнул.

— И не нажирайся, когда гости придут, — предупредил навигатор голосом жены. — Пей только шампанское. К водке не прикасайся. Не позорь меня перед гостями.

— Да когда я?..

— Заткнись! Слушай, что говорю. Выпьешь фужер шампанского — и вали в свою комнату. Можешь писать там свои дурацкие рассказы. Без тебя будет воздух чище.

— Что-то ты слишком уж строго со мной…

— Заглохни! За дорогой следи! И не вздумай завести за столом речь о политике! Не позорься! Ни слова о президенте! Помни, что скоро выборы! Не корчи из себя либерала-диссидента!

— Ну, знаешь!.. — возмутился Зайцев.

— Молчи — и слушай. Делай, что тебе говорят. Хочешь хорошо и спокойно жить — слушайся меня. Не хочешь меня потерять — не вякай. Твоё слово — десятое. Твоё дело — говорить «да» и «так точно». Других прав у тебя нет.

— Да, — сказал Зайцев. — Так точно. Прав у меня нет.

— Ты не прав, — возразил навигатор голосом президента. — У тебя есть все права, гарантированные нашей Конституцией. Просто ты не умеешь себя правильно поставить. Ведь ты — муж, глава семьи. Ты отвечаешь за стабильность и процветание своей семьи. А главное в семье, как и в стране, — это стабильность!

— Но как её добиться?

— Укрепляй вертикаль власти! — крикнул президент. — К чёрту гнилой либерализм и оппортунизм!

— Господи… — прошептал я. — Что мне делать, Господи?!..

— Да плюнь ты на них на всех, сынок, — сказал навигатор голосом моей мамы, царствие ей небесное. — Всем ведь не угодишь. Как совесть подскажет — так и делай…

— Спасибо, мамочка, — прошептал я, чуть не плача. — Я постараюсь…

— Вот и молодец, — сказал навигатор голосом покойной мамы. — За это я тебя и люблю, мой сладенький…

Я хотел спросить, что такое совесть, но тут машина подъехала к дому, где меня уже ждали гости и строгая, но справедливая жена.

Ночной обход

Завидую тем, кто встречает Новый год дома, в кругу семьи, возле празднично убранной ёлки, под звон бокалов с искрящимся шампанским.

Сочувствую тем, кто в новогоднюю ночь охраняет границы Родины, летает в космосе, ловит преступников, сторожит вверенные объекты, сидит в тюрьме, лежит пьяный в канаве.

Мне тоже не повезло — этот Новый год я встретил на ночном дежурстве в Кырской городской психиатрической больнице имени Чехова. Вместо шампанского мы с дежурной медсестрой Ниной выпили в ординаторской по стаканчику домашней рябиновой настойки, закусили мандаринами, посидели возле телеэкрана, с которого президент вскоре должен поздравить всех россиян с Новым годом, — и отправились на ночной обход.

В женском отделении почти все уже спали. Лишь безумная Марина декламировала странные стихи, размахивая руками:

> С Новым годом — светом — краем — кровом,
> Первое письмо тебе на новом…

— Тише, Мариночка, — перебила её медсестра Нина. — Не кричи, больных разбудишь…

Но Марина не унималась:

> Братья! В последний час
> Года — за русский
> Край наш, живущий в нас!
> Ровно двенадцать раз —
> Кружкой о кружку!..

— Может, её фиксировать и купировать? — обратилась ко мне медсестра.

— Нет, не будем портить праздник, — возразил я и подошёл ближе к пациентке. — Вы, Марина Ивановна, пожалуйста, успокойтесь… После обхода я разрешу вам пойти с нами в столовую, там новогодняя ёлка, телевизор, проигрыватель — под музыку и отметим…

— Да вы что, доктор?! — изумилась медсестра. — Какая музыка? Шеф узнает — нам с вами такую взбучку задаст!..

— Всю ответственность беру на себя,—сказал я.
— Доктор, вы гений!—воскликнула Марина.— Новый год должны праздновать все—здоровые и больные, богачи и бедняки, либералы и патриоты! Новый год—общенародный, общечеловеческий праздник! И каждый—со своей—экземой!..
— Тише, тише,—я ласково потрепал её по плечу.— Шуметь не обязательно. Кто хочет спать—тот спит. Кто хочет праздновать—тот празднует. Мы живём в свободной стране. Но следует уважать свободу других... А вам, Марина Ивановна, я бы добавил таблеточку тизерцина...
— Будет сделано,—кивнула медсестра.
— Доктор, вы—мой ангел-хранитель!—воскликнула Марина, глядя на меня влюблёнными глазами.
— Марина, не верьте мужчинам в белых халатах!—заговорила вдруг молчавшая до сих пор бледнолицая пациентка с соседней кровати.—Вы же сами недавно мне признавались, что мечтаете о мире, населённом одними женщинами...
— Ах, Софья, любовь моя...—прошептала Марина.—Не ревнуй, не слушай, не жалей, не верь, не думай...
— А эта красавица почему здесь?!—строго спросил я у медсестры.—Завтра же переведите её в другую палату! Зачем потакать лесбиянкам? У нас тут не дом свиданий!
— Ох, я совсем забыла,—смутилась Нина.—Они мне своими стихами голову заморочили! Сегодня же переведу...
— Не сегодня—завтра.
— Ах, доктор, вы—палач!—воскликнула Марина, заламывая руки.—Бог вас накажет!

А Софья привстала на кровати, вскинула руки и продекламировала, обращаясь, конечно, к Марине:

Не кощунствуй, пожалуйста!
Лучше пей, сквернословь!
Не по страсти—по жалости
Узнаётся любовь...

— Тише, тише, Софья Яковлевна,—пытался я её успокоить.—Скоро пойдём в столовую, под ёлку,—там и почитаете...
— О, доктор!—взмолилась Софья.—Не разлучайте нас с Мариной!
— Успокойтесь, ради Бога...
— При чём тут Бог?!—воскликнула Марина.— Здесь вы—наместник Бога!
— Мариночка, вы прелесть,—прошептала Софья— и, протянув к ней руки, произнесла с надрывом:

Глаза распахнуты, и стиснут рот.
И хочется мне крикнуть грубо:
«О, бестолковая! Наоборот—
Закрой, закрой глаза,
Открой мне губы!..»

— Ф-фу, страсти какие...—вздохнул я.—Ну что, пошли в мужское отделение?
— В общей мужской палате я уже была, там всё спокойно, все спят,—сказала медсестра.—Может, сразу пойдём в палату строгого надзора?
— Пошли.

Стараясь не шуметь, мы прошли через общую мужскую палату, сопровождаемые многоголосым храпом и стонами. Спали все, даже санитар.

В палате строгого надзора находились самые серьёзные пациенты. Некоторые не спали, провожая нас тревожными взглядами.
— Как вы себя чувствуете, Николай Васильевич?— спросил я у худого остроносого пациента с усиками и горящим взором.
— Доктор, мне приснилось, будто я заснул летаргическим сном и меня заживо похоронили... И вот я проснулся—в гробу!—он схватил меня за рукав халата цепкими пальцами.—Доктор, это ужасно!
— Но ведь то был сон, всего лишь сон,—пытался я его успокоить.—Вот сейчас же вы тут лежите, живой и невредимый...
— А если это со мной и впрямь случится?!—прошептал безумец.—Я не хочу быть погребённым заживо! Доктор, я вас умоляю!
— Хорошо, хорошо, Николай Васильевич, успокойтесь... Я вам обещаю, что ничего подобного с вами не случится...—и я повернулся к медсестре:—Ниночка, будьте добры—продолжайте прежнее лечение. И галоперидол—не в таблетках, а внутримышечно... Пошли дальше.

Следующий пациент лежал на спине, смотрел в потолок, теребил рыжеватую бороду и бормотал:
— Константинополь должен быть наш!.. Иерусалим тоже должен быть наш! И Гибралтар должен быть наш!
— А Крым?—спросила медсестра Нина.
— При чём тут Крым?—злобно посмотрел он на неё.—Крым и так наш...
— Как вы себя чувствуете, Фёдор Михайлович?— спросил я.
— А как может себя чувствовать русский человек в окружении немцев и жидов?—злобно ответил он.
— Где же вы видите немцев и... извините, прочих?
— Да вы сами у них на службе!—крикнул эпилептик—и вдруг тело его изогнулось дугой, на губах появилась пена, он забился в судорожном припадке и завопил:—А-а-а!..
— Быстро фиксируйте,—приказал я медсестре,— но только осторожно, смотрите, чтоб не прикусил язык... И срочно купируйте—внутривенно магнезию и... можно клизму с хлоралгидратом... да вы лучше меня знаете!
— Не волнуйтесь,—сказала Нина.—Всё сделаем как положено.
— Займитесь им, а я пойду дальше,—и я подошёл к кровати, на которой сидел, по-турецки поджав ноги, ещё один пациент.—Отчего вам не спится, уважаемый Даниил Иванович?

— Я боюсь проспать конец света,— ответил тот.— Разве вы не знаете, что этот Новый год — последний?
— Да что вы говорите? — изумился я.— И чего же нам следует бояться?
— Бояться ничего не надо,— и он рассмеялся.— Я обо всём позаботился. Каждому воздастся по делам его. Но надо достойно встретить конец света. Каждый должен заниматься своим делом. Вы должны лечить, мы должны болеть. Вор должен воровать. Палач должен казнить. Царь должен царить. Кстати, я всегда был за восстановление монархии в России. И сейчас с радостью вижу, что мечта моя близка к осуществлению. Скоро, очень скоро новый царь-государь взойдёт на кремлёвский престол! И не надо роптать. И не надо бояться. Всех нас ждут райские кущи.
— Вы в этом уверены?
— Абсолютно!
— А для кого же тогда предназначен ад? Если всех нас ждут райские кущи — кто же будет жариться на сковородке?
— Никто,— сказал Даниил Иванович.— Все окажутся в раю. Ад придуман для устрашения — чтобы люди вели себя прилично. Представляете, что творилось бы на Земле, если б люди не боялись ада?
— Представляю,— кивнул я.— Достаточно посмотреть вокруг. Или — включить телевизор. Или — заглянуть в Интернет.
— Вы, конечно, шутите…
— А вы?
— Я? Я никогда не шучу,— сказал Даниил Иванович.
— Что ж… Поздравляю вас с Новым годом,— сказал я.— Может, какие-нибудь пожелания будут? Представьте, что я — Дед Мороз…
— Есть одно пожелание… — он встал в позу и продекламировал:

Дорогой начальник денег,
Надо в баню мне сходить.
Но без денег даже веник
Не могу себе купить!

— Браво! — и я захлопал в ладоши.— Замечательные стихи. Вы талантливый сочинитель. Вы гениально сочинили всю свою жизнь. И даже свою болезнь, свою параноидную шизофрению — вы тоже сочинили!
— Что ж, по-вашему, я — симулянт?
— Как это в Священном Писании: «ты сказал»! — и я рассмеялся.— Конечно же, вы — махровый симулянт! Вы, наверное, просто боялись, что вас призовут в армию и отправят на фронт… ну признайтесь! Не бойтесь, я вас не выдам! И в историю болезни записывать не буду… клянусь! Мне вообще кажется, что все так называемые творческие люди — все они симулянты! И даже те, кто рвутся на фронт,— симулируют свой героизм! Лишь бы уклониться от реальной жизни!..
— Ну, знаете, доктор… — смутился Даниил Иванович и покачал головой.
— Может, сделать ему укольчик аминазина? — спросила медсестра.
— Нет, зачем же. Не станем портить праздник… — и я поднял вверх указательный палец.— А сейчас все, кто не спит, могут пойти с нами в столовую, к новогодней ёлке!..
— И я — тоже могу? — осторожно спросил Даниил Иванович.
— Конечно, друг мой! Добро пожаловать!
— Ох, доктор… Ну вы и либерал,— укоризненно прошептала Нина.— Зачем вы их балуете?
— Пусть потешатся,— сказал я.— Они же как дети!..

И вскоре в столовой вокруг новогодней ёлки, украшенной разноцветными огнями и игрушками, кружился хоровод счастливых сумасшедших. Тут были и Марина Ивановна с Софьей Яковлевной, и Фёдор Михайлович, и Николай Васильевич, и Даниил Иванович, и многие другие пациенты нашей замечательной психобольницы имени Чехова. Все они, взявшись за руки, кружились вокруг ёлки и пели вечную песенку про то, как в лесу родилась эта ёлочка, ну и так далее.
— А вы не боитесь, что они перевозбудятся? — с тревогой спросила медсестра.
— Не волнуйтесь, Ниночка! Всё будет хорошо! Впрочем, на всякий случай приготовьте несколько шприцов с аминазином и тизерцином… И санитары пусть не дремлют. Но я верю, верю, что ничего плохого не случится. Всё будет хорошо! Всё будет очень хорошо! Вот увидите, Ниночка! Надо только верить и повторять: «Всё будет хорошо!..»
— А вы не шутите? — усомнилась Нина.
— Нет, я абсолютно серьёзен. Я верю, я твёрдо знаю, что в конце концов всё будет хорошо! А когда он наступит, этот самый конец концов,— одному Богу известно… С Новым годом, друзья! С новым счастьем!

Персона нон грата

Когда известного журналиста Андрея Скворцова, собкора газеты «Кырские вести», выдворили из Польши за якобы некорректное интервью, взятое им у тамошнего министра культуры, он поначалу был удивлён и весьма раздосадован. Но потом понял, что просто стал очередной жертвой антироссийских санкций. Не очень, конечно, приятно, когда тебя, уважаемого и авторитетного корреспондента с многолетним стажем журналистской работы, объявляют персоной нон грата, нежелательным лицом, которому власти принимающей страны предлагают срочно убраться восвояси. Но, с другой стороны, Скворцов был даже рад, что наконец-то сможет вернуться домой, в Кырск, к молодой жене и любимому сыночку.

Особенно он соскучился по Насте, которая была третьей и последней его женой, подарившей ему долгожданного ребёнка. Ведь ему было уже за пятьдесят, когда родился ангел Ваничка… Как это у Тютчева? «О ты, последняя любовь! Ты и блаженство, и безнадежность…» Настя отказалась ехать с ним в Польшу, не желая ни оставлять сына с бабушкой, ни тащить его в чужую недобрую страну. Разлука с близкими людьми измучила Скворцова, и он с нетерпением ждал теперь возвращения домой. И всю ночь в самолёте не мог заснуть — предвкушал, как обнимет своих родных и любимых…

Но дома ждал его неприятный сюрприз.

Когда Скворцов рано утром поднялся в лифте на свой седьмой этаж («На седьмое небо!» — как любил он шутить) и нажал кнопку звонка на двери в квартиру, ему открыла заспанная, испуганная Настя в ночной сорочке. В её голубых глазах полыхнул ужас:

— Это — ты?!.

— Ну конечно, зайка! Твой блудный муж вернулся! А ты что, не рада?

— А почему ты не позвонил?.. не предупредил?.. Я тебя совсем не ждала…

— Да ладно, потом всё объясню. Принимай гостя! Ну, иди ко мне, моя лапонька! — и он обнял её, прижал, осыпал поцелуями её душистые волосы, её горячие щёки. — А чего ты дрожишь, зайка? Ваничка здоров?

— Ваничка спит… с ним всё в порядке… Андрюша, постой… подожди… я сейчас… я тебе всё сейчас объясню…

— Да что случилось? — воскликнул Скворцов, потом напрягся, нахмурился — и вдруг всё понял: — Ты не одна? У нас в доме ещё кто-то есть?

— Да… Андрюша!.. ты только не волнуйся… Это мой школьный товарищ… он просто вчера засиделся — и я предложила ему у нас переночевать… Ты не думай!.. ты только не думай ничего такого…

— Дай-ка пройти, — Скворцов отодвинул жену в сторону, бросил в прихожей чемодан, снял со стены кривой самурайский меч, привезённый в прошлом году из Японии в качестве сувенира, и прошёл в спальню. — Та-ак… Очень интересно… Значит, школьный товарищ? Засиделся, говоришь? А потом — залежался? А ну, вставай, петух! — закричал он на перепуганного гостя, взлохмаченного молодого человека, совершенно голого, пытавшегося прикрыться одеялом. — Чтобы через три минуты тебя здесь не было! Пшёл вон!

И он вышел в коридор, к перепуганной Насте.

— Ох, если б не Ваничка… — прошипел ей Скворцов. — Если б не сын — я бы вас тут на месте обоих… как бешеных собак! Искрошил бы на мелкие кусочки!

— Ты чего, Андрюша?! — всхлипнула Настя. — Между нами ничего не было! Я спала на диване! Я с ним не спала!

— Ага, рассказывай, — хмыкнул Скворцов. — На диване она спала… А на кровати — с ним трахалась! А спала потом — на диване! Так, что ли?

— Да он ко мне даже не прикоснулся!

— То есть вы — как Тристан и Изольда? Только те между собой меч положили, а у вас меч — на стене висел! Нестыковочка!

— Какой меч? При чём тут меч? — прошептала Настя. — Зачем ты меня пугаешь, Андрюша?..

— А зачем ты мне врёшь? Зачем ты спишь с этим раздолбаем? Хоть бы Ваничку постыдилась!

— Андрюша, пожалуйста, не кричи — Ваничку разбудишь…

— Ничего… я ему про тебя всё расскажу! Он узнает про мамочку все её грязные тайны! Я тебе его не отдам! Сын останется со мной! А ты можешь убираться хоть на панель, хоть в бордель, хоть в монастырь!

— Ну… этого не будет… — тихо, но решительно возразила Настя. — Никуда мы с Ваничкой не уйдём… А ты — можешь идти хоть в Польшу, хоть в Японию, хоть на Северный полюс…

— Ах, вот ты как?! — взревел Скворцов, замахиваясь на неё мечом. — Да я тебя щас!..

— Ну ударь, ударь… Оставь сына сиротой… А сам сядешь потом — лет на десять… Ударь!

— Ну и сука же ты, — пробормотал Скворцов, потом отбросил в сторону меч — и пошёл к входной двери. — Видеть тебя не могу!

— Андрюша, постой! — крикнула она вслед, но Скворцов уже вышел из ненавистной квартиры.

Догонять его Настя не стала.

Когда он явился в редакцию родной газеты, там его ждала ещё одна неприятная новость. Главный редактор ему заявил, что Скворцов должен немедленно написать заявление об увольнении по собственному желанию. Если, конечно, не хочет, чтобы его уволили по статье — за профнепригодность и в связи с предпенсионным возрастом.

— Славно же вы меня встречаете, — с горечью заметил Скворцов. — Выходит, и на родине я тоже — персона нон грата? А вам не кажется, шеф, что это уже перебор?

— А не надо было выпендриваться, не надо было писать хулиганское интервью… — и шеф вздохнул. — Ты же знаешь, старичок, какая в Польше сейчас русофобия… да и не только в Польше!

— Я же следовал вашим инструкциям! — вскричал Скворцов.

— Деликатнее надо было, дипломатичнее…

— Они даже не удосужились ничего объяснить! Просто выкинули меня, как шелудивого пса!

— Тамошние власти и не обязаны были объяснять причины, — вкрадчиво заметил шеф. — Согласно Венской конвенции тысяча девятьсот шестьдесят первого года, принимающая сторона вправе

отказать, если дипломат или журналист… или кто угодно… ну, ты понимаешь…
— Что ж, спасибо за корпоративную поддержку,— ехидно скривился Скворцов.— Не смею вас больше утомлять своим присутствием…
— Погоди, Андрей!— чуть смущённо сказал шеф, хватая его за рукав.— У тебя, вероятно, сейчас нет денег? Вот, возьми у меня… Когда сможешь— вернёшь. А расчёт получишь чуть позднее…
— Ну уж нет, спасибо,— Скворцов резко оттолкнул дрожащую руку шефа с двумя пятитысячными купюрами.— Я лучше на паперти буду побираться! А ваших подачек мне не надо. Потом ведь с процентами отдавать придётся!

И он вышел из кабинета, громко захлопнув за собой дверь.

«Господи, Господи,— бормотал Скворцов, шагая по мокрой после дождя улице.— За что мне всё это? В чём я провинился, Господи?!..»

И только он так подумал, поворачивая за угол, как перед ним выросло здание православной церкви со сверкающими на солнце золочёными куполами.

Словно ведомый чьей-то рукой, Скворцов, как лунатик, зашёл в храм, перекрестился, глядя на лик Спасителя, поставил перед иконой свечу, огляделся вокруг. Увидев коробку для пожертвований на ремонт храма, он достал из кармана последние деньги— несколько тысяч рублей, пересчитал их и засунул купюры в щель на крышке коробки. На душе стало легче.

Скворцов подошёл к священнику, стоявшему возле алтаря, осторожно тронул его за рукав— и пробормотал:
— Батюшка, благословите… ради Христа…
— Что тебя гнетёт, сын мой?— спросил священник, поворачиваясь к нему.

Они явно были ровесники.
— Я только что отдал последние деньги на ремонт храма…— пробормотал Скворцов.
— Благое дело,— улыбнулся священник.— И что же?
— Хотелось бы знать… Ну… поможет ли мне Господь…
— Молись— и Он услышит,— священник слегка напрягся.
— Но я ведь дал денег… Значит…
— Значит— что? И тебе не стыдно?!— рассердился батюшка.— Ты думал, что можешь купить милость Господа за свои паршивые деньги?! Христос изгнал торговцев из храма— а ты хочешь подкупить Христа?.. Что за жидовская логика!
— А при чём тут?.. Ну, если я даже по маме еврей— для Господа ведь нету ни эллина, ни иудея… Кстати, сам Христос был еврей— разве нет? Ведь национальность определяют по матери, а Мария была, разумеется…
— Замолчи!— перебил его священник.
— Батюшка, я пошутил насчёт своей мамы… Она была русская, ей-богу!
— Пошёл вон!— крикнул священник и даже топнул ногой.

Слава Богу, в храме в тот час почти никого не было— и на них не обратили внимания.

А Скворцов, как оплёванный, поплёлся из храма. И потом, словно пьяный, покачиваясь и спотыкаясь, долго шёл по улице, пока не добрёл до своего дома.

Он зашёл во двор, подошёл к подъезду, но тут вспомнил, что ему, по сути, некуда возвращаться и вообще некуда идти. И направился со двора.

Но, проходя мимо детской песочницы, он вдруг увидел мальчика, игравшего в песке с машинкой и самолётиком. Это был его сын Ваничка, трёхлетний русоголовый ангел, на круглой мордашке которого сияла блаженная улыбка, а синие глаза светились.
— Папа, дластуй,— сказал, радостно улыбаясь, сын и потянулся к нему испачканными в песке ручонками.— Я по тебе так скучал! Плавда, плавда!
— Привет, моё солнышко!— подхватил его Скворцов, прижимая к себе родное тёплое тельце.

Поздний ребёнок— последняя любовь.

Они сидели в песочнице, обнявшись и что-то шепча друг другу. Скворцов не смог сдержать слёз, он прижимал к себе сына и всхлипывал, бормоча неразборчивые слова.
— Папа, не плачь… Всё будет холосо!— успокаивал его Ваничка.
— Сынок… Ты меня не бросишь?
— Никогда! Папа, я очень тебя люблю! Очень-очень!
— И я! И я тебя очень люблю!.. Больше мне просто любить некого!.. И меня больше никто не любит!.. Ты— мой единственный!..

На балконе седьмого этажа стояла жена Настя— в пёстром халате и тапочках. Она смотрела на них сверху в театральный бинокль. Лицо её было хмурым, глаза— сухими.

Первое свидание

Мне было пятнадцать лет, когда я, румяный девятиклассник, влюбился в свою одноклассницу Галю Аронову, смешливую озорную девчонку с распахнутыми карими глазками, вздёрнутым носиком и ямочками на круглых щеках. Я писал ей любовные записки, приглашая на свидания, но Галя лишь отмахивалась и хихикала, показывая эти записки своим подружкам. Но я не шутил! Я впервые тогда всерьёз влюбился— и всячески пытался обратить на себя её внимание.

Однажды мне повезло— наша классная руководительница Зоя Ильинична назначила нас с Галей

дежурными. Мы должны были в тот день следить за порядком и чистотой в классе, а после уроков — прибраться, протереть окна, помыть полы. И во время этого дежурства я пытался развлечь Галю всякими байками, шутками, забавными стишками и анекдотами.
— А ты ничо пацан, — сказала она, смеясь над моей очередной шуткой. — Я думала, ты маменькин сынок, а ты ничо…
— Скоро Новый год, давай сходим куда-нибудь! — предложил я.
— Ну, не знаю, — покачала она головой. — Я вообще-то с мамой встречаю. И с братиком.
— Ты ж не будешь с мамой и братиком все каникулы проводить? Со скуки помрёшь!
— А чо ты предлагаешь?
— Пошли в дк железнодорожников на ёлку! — сказал я, показывая большой палец. — Там шикарная ёлка, и подарки дают отличные, и горка прямо в зале.
— Да ты чо? Какая горка?
— Ну, такая… прямо в большом зале, с балкона до пола — из линолеума… катушка классная! И Дед Мороз со Снегурочкой, и концерт отличный! А в фойе — танцы под джаз! Буги-вуги, рок-н-ролл!
— Да ты чо? Не врёшь?
— Гадом буду! Я в прошлом году ходил!
— И чо — танцевал стилем?
— И рок, и буги!
— Да ты — стиляга?!
— А то! У меня есть и брюки узкие, и башмаки на толстой подошве… И галстук с попугаем!
— Где? Покажи!
— Ну не буду ж я в школу в таком прикиде ходить… Зоя Ильинична сразу к завучу пошлёт, а тот — предкам пожалуется… А вот на ёлку в дк — приду запросто! Пошли со мной?
— А пошли! Мне тогда тоже надо принарядиться по-стильному… Юбочку покороче, туфельки на каблуках… Ага?
— Ну конечно, Галчонок! Пошли, не трусь! Ты же взрослая уже девчонка!
— Ладно, уговорил. А когда это, если конкретно?
— Сразу после Нового года, второго января. У меня и билеты уже есть. Две штуки.
— Да ты чо? Ну ты даёшь!
— Значит, договорились?
— О'кей, пацан. Я с тобой играю!
— А я — всерьёз. Ты мне нравишься, Галка.
— Ладно, ладно. Ты тоже мне нравишься. Значит, второго января, в двенадцать, ну, то есть в полдень, зайдёшь за мной. Щас адрес напишу… Вот! Улица Кирова, дом тринадцать… я буду во дворе ждать.

Я взял шпаргалку с адресом — и с нетерпением стал ждать назначенной встречи.

Побывал я на новогодних ёлках и в школе, и в гостях у бабушки, и на центральной городской площади, и дома с мамой отметили, как же без этого, правда, без папы, но он обещал придти через пару дней… но с особым волнением ждал я, когда же мы с ненаглядной Галочкой окажемся вместе во Дворце культуры железнодорожников, куда мне достала билеты моя мама, работавшая в ту пору в управлении железной дороги экономистом. Сама же мама пойти не захотела.

И вот он настал, долгожданный день, — я отправился на своё первое свидание, к Гале, которая жила на другом конце города. До этого я ни разу у неё не был, но у меня же хранилась её записка с адресом. «Улица Кирова, дом 13, в 12 часов, буду ждать во дворе».

Улицу я нашёл быстро, а вот нужный дом словно куда-то пропал, исчез. Я несколько раз прошёл по улице туда и обратно — дом девять, одиннадцать, пятнадцать, семнадцать… дом двадцать, восемнадцать, шестнадцать, четырнадцать, двенадцать, десять… А где же дом номер тринадцать? Что за чертовщина?! Я спрашивал у прохожих, заходил во дворы, думал, может, тринадцатый номер где-то в глубине двора, на отшибе… Никто мне не мог ничего объяснить!

Я вышел на центральную улицу, обратился в киоск «Справочное бюро» — и некая злая девица мне буркнула, что, мол, этот дом находится там, где и должен находиться, — то есть на улице Кирова, между домами номер одиннадцать и пятнадцать.
— Но там нет дома под таким номером! — воскликнул я.
— Не шути, мальчик. Не отвлекай меня от работы!

Что ж, я продолжил поиски — но тщетно, дом номер тринадцать как сквозь землю провалился.

Я спросил у прохожего — хмурого дядьки:
— Вы не подскажете, где тут дом номер тринадцать на улице Кирова?
— А это вовсе не улица Кирова, — хмыкнул дядька. — Это улица Троцкого.
— Да вы что?! Такой улицы нет в нашем городе! И быть не может!
— Как это — нет? Я живу в доме пятнадцать по улице Троцкого уже три года. А раньше, до революции, она называлась Монастырской…
— Что за бред?! До какой революции?

Дядька лишь рукой махнул — и прошёл мимо.

А я растерянно огляделся по сторонам. Где ж она, улица Кирова, дом тринадцать?..

Было уже поздно, совсем стемнело, когда я, после долгих блужданий, наконец-то увидел на стене пятиэтажного дома желанную табличку: «Улица Кирова, №13»… Что за наваждение?!

Я кинулся во двор этого дома, огляделся. Гали не было видно. Какие-то мальчишки катались с горки, а возле подъезда, в инвалидной коляске, сидела дряхлая старушка в пуховике и вязаной шапке, со слуховым аппаратом в ушах. Она посмотрела

на меня подслеповатыми карими глазами и криво улыбнулась.
— Всё-таки пришёл…— еле слышно произнесла старушка.— Пацан сказал — пацан сделал… Долго же ты до меня добирался…
— Кто вы?— прошептал я.
— Как — кто? Я Галя Аронова…
— Галя, это — ты?!— ужаснулся я.
— А кто же ещё? Не прошло и шестидесяти лет, как ты пришёл… Явился, не запылился… Билеты-то не потерял?
— Ка… какие билеты?
— Ну ты даёшь! В дк железнодорожников, на ёлку… А почему ты не в узких брюках, и ботинки не на каучуковой подошве?
— Вы о чём?
— Ну, ты, пацан, совсем не похож на стилягу!
— А вы совсем не похожи на Галю…
— На кого ж я похожа?
— На Бабу Ягу… Ох, простите. Я не хотел вас обидеть, бабушка…
— Да ты на себя посмотри, Кощей Бессмертный!— и она захихикала жутким, отвратительным смехом.

ДиН ревю

Геннадий Калашников

В центре циклона

Москва: «Воймега», 2018

* * *

Пока ещё не лёг на снег последний вечер,
пока ещё ледок прихватывает след,
остановись со мной, мой самый первый встречный,
поговорим — пока и воздух есть, и свет.

Пускай в морозный день восходят наши души,
в извечном их родстве свой обретая путь.
Так говорить легко, легко молчать и слушать,
слова находят плоть и раскрывают суть.

За время, что займёт случайная беседа,
неуловимо день изменит свой узор,
здесь места больше нет, исчезли мы бесследно,
но в воздухе пустом всё длится разговор.

Ночная гроза

С тоскою кочевья,
с натугой корчевья,
томясь электрической силой сухой,
касалась губами верхушек деревьев,
на крыши вставала босою стопой.
Куда-то всходила, держась за перила,
уступы и арки в себе громоздя,
изломанной молнией вдруг осветила
блестящие мышцы дождя.

Цветок

У кладбища, где смерть легка
и жизнь покажется несложной,
цветок искусственный с венка
блестит в канаве придорожной.
Там пчёлы радостно гудят,
кипрея розовая пена.
О, как он раздражает взгляд
своею фальшью откровенной.
Моторов хрип да меди лязг
тревожат жаркий день тягучий.
Он, как заноза, впился в глаз
и бередит его и мучит.
Цветок — шершавый, как наждак,
багровый цвет его неистов.
Сама лишь смерть вот так чужда,
как анилиновые листья.
И он под солнечным лучом
в потоке времени влачится.
…Смят ветром, выбелен дождём,
почти живым уже глядится.

Василий Зозуля

Милосердие

Новость

— Епиходов! Епиходов! — у сорокалетнего фельдшера Мошкина начинали стучать от страха зубы. — Поворачивай, тебе говорю, к берегу. Пов-ворачивай! — загребал он рукой в воздухе, будто пытаясь плыть, и показывал в сторону идущего полным ходом встречным курсом коммерческого катера с пассажирами. — Что ж ты — ослеп совсем?! Волной нас накроет сейчас от него, волной! Потонем!

Лодочник Епиходов, рыжий бородатый сорокавосьмилетний мужик, неторопливо правил трёхметровым шестом, погружая его в илистое дно таёжной реки. Деревянные вёсла были сняты им с уключин и лежали у бортов лодки, просыхая. Мотор, из опасения наскочить винтом на корень или ствол дерева, был давно поднят и покоился на дне лодки, сам похожий на диковинный клубень. У берега в этих местах было много топляка, и нередко заезжие рыбаки повреждали винты моторов и днища катеров и лодок.

Весь вид Епиходова говорил о том, что никакая брань не могла бы задеть его спокойную вольную душу, и даже суетливость сидящего на носу лодки Мошкина, держащего в ногах картонный ящик, упакованный в целлофан, не отзывалась в нём ничем другим, кроме как сонливой и трудно проходящей зевотой. Ко всякому начальству Епиходов относился с природным равнодушием, при нём никогда не робея, как делали это другие, и не ломая своей натруженной в рыбацкую путину спины. Епиходов знал без напоминания, что у начальства хлеб свой, а у него свой. А Мошкин и был как раз для него таким «начальством».

— Здесь мелко-о, — говорил Епиходов всё так же медленно, растягивая слова, будто распеваясь, — кошке и той по шею бу-удет, потонуть ника-ак невозможно. Качнёт и отпустит, это ж не море какое… — и вдруг начал петь баском раскатисто и громко: — Э-эх, дор-роги, пыль да туман… Холода, тревоги да степной бу-урьян…

— Какой тебе туман?! Какие ещё такие дороги?! — севшим голосом пытался образумить Мошкин беспечного, как ему казалось, рыбака.

Ему было совсем уж не до песен: с утра съеденная у городского приятеля стерлядь просилась обратно в воду. Страх воды, до того дремавший где-то в глубине его впалой груди, очнулся и давал о себе знать непроходящей паникой. Плавать Мошкин не умел, если и заходил когда в воду на реке или море, то — не выше груди. А тут оказался он в положении, ему неприятном, зависимом, что хотелось поскорее избавиться от него, а избавиться было никак невозможно, хозяином положения был не Мошкин, а тот, с кем он имел общение вынужденное, его тяготившее.

Выбираясь раз в месяц из рыбацкого посёлка в «цивилизацию», цивилизации этой Мошкин совсем не видел, неделю «состаривал» у приятеля печень, повышая градус. Последних же два гостевых дня старательно выгонял хмель в бане и из неё выходил с прояснённой головой младенца. Мир для него снова становился новым и интересным. Ему снова хотелось жить, и мысли начинали приходить самые благостные, безгрешные. О недельном загуле напоминали только слабость и ломота во всём теле, да ещё необоримое желание отоспаться. Но вот сон приходилось оставлять на потом, требовалось забрать в аптечном складе заказанные препараты и отбывать назад, в рыбацкий посёлок, на отправленной за ним лодке. И эта мысль о возвращении уже начинала беспокоить Мошкина всё больше и больше, омрачая его так хорошо начинающийся день. В посёлке его ждала пустая рубленая изба, без хозяйки и детского шума. С той поры, как стал он заведовать фельдшерским пунктом, его десятилетний брак прекратил своё существование. Жена его Клавдия, или Клавушка, дородная тридцатилетняя тоболянка, не пожелала перебираться «к медведям», а Мошкин особо на том и не настаивал, усмотрев для себя в этом её отказе избавление от тяготившего его супружества. И о чём он начинал уже жалеть, досадуя на свою поспешность в таком тонком семейном вопросе, как переезд. «Можно же было, — думал он, обходя широкие дождевые лужи, — с ней и поласковей как-то… Подходец найти. Аргумент! И незачем было вот так сразу горячку пороть. Эх, хороша была Клаша, да стала не наша». Клавдия после развода с Мошкиным долго одна не была, посватался к ней отставной военный, человек приличный, открывший своё дело. Поэтому она и думать долго не думала, вышла за него замуж и переехала с ним в Кисловодск, крепко забыв

Мошкина, как забывают о февральском холоде в тёплые июньские дни.

Пророкотав по фарватеру, катер оставил позади себя расходящиеся в стороны полуметровые пенные волны. Лодку Епиходова подняло невесомой щепкой и тут же опустило, едва не перевернув. Борта качнулись и черпнули холодной бурой воды по самые щиколотки резиновых сапог седоков.

Мошкин схватился двумя руками за лавку, едва не выпав.

— Искупать меня решил, леший тебя к себе забери?! Говорил я тебе, что к берегу надо?! К берегу! Чем ты там слушал?!

— Ну говорил… Ну к берегу…— стал мямлить в ответ Епиходов и принялся вычерпывать ковшиком воду.— На реке это завсегда так бывает, мы к тому привычные. Потонуть не потонули, и ладно.

— Чтобы я да ещё раз с тобой куда поехал…

— На то воля ваша, с кем ехать,— всё так же спокойно отозвался Епиходов, плеская за борт воду со всплывшей рыбьей чешуёй.

— А тебе что, совсем в город неохота?

— Не знаю, надо или нет. Разве только снастишка какого в запас прикупить.

— Снастишка…— усмехаясь, передразнил его Мошкин, успокаиваясь и добрея.— В кино бы там сходил, газету купил…

— Моё кино лет двадцать как кончилось, а газеты в посёлок и так привозят.

— Так ты что, в кино двадцать лет не был?..— спросил Мошкин, припоминая его отсутствие на сеансах передвижки.

— Двадцать пять,— уточнил Епиходов, зачерпывая со дна лодки полный ковш воды.— Как с третьего курса ВГИКа ушёл, так и всё… Амба!

— ВГИКа?..— Мошкин подумал, что он ослышался.— Ты на кого там-то учился?..

— На режиссёрском. У Соловьёва. Вместе с Кайдановским.

— Врёшь!

— Мне что, побожиться вам?— спросил Епиходов, переставая черпать.

— Не надо. Верю,— сказал Мошкин, отводя глаза и чувствуя, как новая волна досады захлёстывает его душу.

Тот, на кого он и подумать не мог, что он может быть выше всей этой беспросветной кутерьмы, вдруг оказался добровольным пленником её. Будь у Мошкина такая возможность, да разве бы он упустил её? «Нет,— стал думать Мошкин,— тут что-то не так… Не уходят просто так с третьего курса института, куда конкурс выше, чем в космонавты. Надо будет расспросить его…» И тут же, пришла другая мысль, и эта мысль настойчиво отгоняла прежнюю: «А если он не сам ушёл?.. Уехать добровольно из Москвы в эту глухомань и столько лет молчать пескарём…» Он уже не мог думать ни о чём другом. Чужая жизнь, такая некогда успешная и по какой-то неведомой причине разменянная на ржавые монетки, даже, может, и не на монетки, а на самый что ни есть прах, на рыбью чешую… была ошеломительная для него и невыносима.

Весь остальной путь Мошкин молчал, а Епиходов пел, но уже не громко, как прежде, а тише:

— Э-эх, дор-роги, пыль да туман…

Милосердие

У дымовчанки Серафимы Гладышевой мужа на фронте убило. И случилось это за три месяца до Дня Победы. В извещении, которое принесла ей почтальон Тоня Слепышева, факт смерти Григория был описан по-военному скупо и бесспорно. Казённая бумага, выписанная по такому скорбному поводу, на то и была казённой бумагой, чтобы в ней вся человеческая жизнь напоминала не краткие анкетные данные, а эпитафию. Почерк писавшего извещение полкового канцеляриста был твёрд и разборчив. И мог бы считаться в другом месте и времени образцовым, если бы не одно важное «но»: Серафиме Гладышевой после получения похоронки было не до любования чужой каллиграфией. По прочтении извещения у неё не оставалось уже никаких сомнений в истинности сообщаемых в нём сведений о муже. Это не было шуткой или ошибкой с однофамильцем, а самый что ни есть документально подтверждённый факт гибели Григория. Обречённо принимая это известие, Серафима знала, что из Дымова на фронте воевали и другие Гладышевы, но не было среди них полного тёзки Григория, да ещё и проживающего по схожему адресу.

Сам город Дымов перед войной был небольшим, чуть больше десятка тысяч жителей от мала и до велика. Однофамильцы и вовсе доводились друг другу дальней роднёй или сватами. Поэтому напутать с адресом в войсковой части не могли. К тому же и писем от самого Григория не было давно, с начала года. В последний раз Григорий писал дней за пять до своей гибели. В том письме были ободряющие и долгожданные для неё слова, обещающие его скорое возвращение:

> «Дорогая моя Сима, знай: Победа наша близка, и немецко-фашистский враг, чувствуя это, отступает— можно сказать, что он бежит от нас в панике. Но есть и такие места, как на нашем участке фронта, где он сопротивляется отчаянно, минирует дороги и мосты и всё ж таки несёт от нас большие кровопролитные потери в живой силе и технике. И мы чувствуем, что в нём нет уже той звериной наглости и упорства, что была в начале войны, когда он каждый день отхватывал по сорок вёрст нашей родной земли. Теперь же этот волк уж не в хлеву, а на псарне. Он зажат нами в угол

и в ответ может только скалиться и клацать в бессилье зубами. Будь уверена, что и зубов у него осталось не так много, а те, что есть, они сильно поистёрлись и вот-вот выпадут благодаря нам. Любящий тебя Григорий».

Последнее письмо с фронта Серафима перечитывала часто, хотя и без того знала его всё наизусть, от первой и до последней писанной химическим карандашом буквы. Ей были важны не только милые сердцу строки, но и знание того, что её Григорий жив и его, именно его, а не чья-то рука писала ей во время боевого затишья письма. За все четыре года войны их было немного, не набралось и двух десятков, и тем не менее содержание всех она помнила, потому что перечитывала их каждый поздний вечер. Теперь же писал известие не Григорий. А написали о нём, вложив извещение в стандартный конверт без марки. Серафима перечитывала похоронку снова и снова, и с каждым разом будто какая-то холодная каменная плита начинала давить на её грудь, мешая дышать. Глаза её увлажнились, синие буквы поплыли, наезжая одна на другую, сливаясь в единое нечитаемое кружево. В извещении, кроме специальных сведений, оттиска печати и отметок, относящихся к военному ведомству, было сказано с предельной ясностью следующее:

«Ваш муж красноармеец Гладышев Григорий Степанович, уроженец г. Дымова Пензенской области, в бою за Социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, погиб 27.2.45 г. Похоронен юго-западная окраина дер. Гросс Петфедорф, на дивизионном кладбище, Верхняя Силезия, Германия».

Проголосила тогда Серафима бабьим тяжким плачем всю недолгую майскую ночь, зарывая лицо в жёсткую перьевую подушку, прижав к груди проклинаемое всеми, кто его получал, извещение с мужниной фотокарточкой, а горе своё всё одно не вымыла, продолжая верить в его возвращение дальше. Засела в Серафиме эта вера крепко. Укоренилось чувство сразу во всей душе, как минный осколок. Снаружи это ранение было не разглядеть. А меж тем и она саднила огневой болью, продолжая ныть и ныть, не переставая, во всякую минуту, как взятая за живое. Григорий был частью Серафимы, а теперь этой части не было, её взяли и отсекли. И, как это бывает с инородным предметом, попавшим в человека, стало горе от потери мужа у Серафимы день ото дня «зарастать» слоями худого житейского «мяса». Ведение мелких каждодневных домашних дел и выполнение обязательной нормы раскроя грубого шинельного сукна на швейной фабрике имени Семёна Будённого сделали её потерю фактом жизни. Что свыклась Серафима с ней так скоро, как — и сама не могла понять и самой себе объяснить. Был Григорий в её судьбе — и в одночасье не стало Григория. Не заметила она, как накрыла её чёрным платком вдовая жизнь, затмив все скупые радости жизни. И не стало больше в Дымове Серафимы-хохотушки, а вместо неё продолжила отбывать жизнь Серафима-печальница. Сошёл с её щёк прежний румянец, поблёк, как это бывает с непрочной краской. Не стало и блеска в голубых, прежде выразительных глазах, некогда так похожих на небесную синь. Теперь же эта синь была тускла, как небо в Дымове поздней осенью, и Серафима смотрела ею на людей и мир по привычке, по долгу, а не с былым задором и весёлостью.

К осени сорок пятого один за другим снова потянулись через город Дымов воинские эшелоны, но уже к восточной границе. Август стоял над ним, с первых дней — сухой, маловетреный. И двери солдатских теплушек, набитых людьми и сеном, были открыты настежь с двух сторон. Но гуляющий в них сквозняк был по-степному жарок и ожидаемой живительной прохлады не добавлял. В теплушках солдаты, старшины, лейтенанты стояли, сидели, куря из кисетов союзнический табак; балагуря, вспоминали хорошие довоенные дни. И не было в их разговорах даже и единого слова о совсем недавних затяжных кровопролитных боях, где они видели смерть своих товарищей. Впереди их ждало не скорое возвращение домой, а вновь неизвестность военного быта, теперь уже на японском фронте, где тоже возможны будут для многих из них и ранения, и смерти. Трофейный аккордеон с хорошим голосом, бывший среди них и спешно выучивший за недельную дорогу «Катюшу» и «На сопках Маньчжурии», совсем забыл, не вспоминая, и «Лили Марлен» и «Хорста Весселя». Он играл и играл не переставая, по-новому, даже не зная, что в его регистре может быть иной, незнакомый голос.

Солдатки, что не могли уйти с фабрики, с надеждой отправляли ребятишек на станцию «высмотреть батю». Кто был из них постарше и побойчее, тот кричал: «Из Дымова есть кто?!» — а из вагонов им задорно отвечали: «Таковских нет! Мы пскопские!.. Ярославские есть!.. Ребятня, а Вятка не пойдёт?!» И тогда паровозный машинист, как строгий школьный учитель, видя сигналы к отправлению дежурной по станции, глушил эти выкрики, давая длинный гудок предупреждения о начале движения, стравливая через свисток излишки перегретого пара.

На станции Дымов ему пришлось доливать израсходованный объём воды. И пока была заправка водой и погрузка топлива, солдатам разрешалось выйти из вагонов и «потоптаться по земле». А потом раздалась многократно повторенная команда: «По вагонам!» — и бойцы вернулись обратно, томиться до следующей остановки. Лязгая сцепкой,

состав начинал набирать скорость и отходил от станции.

Приходила сюда после работы, делая большой крюк по малолюдным и плохо освещённым улицам, и Серафима Гладышева. Жила она на другом конце города, в районе Нахаловки, и к фабрике ей было идти много ближе, чем к железнодорожной станции.

Никаких военных поездов она не заставала, а если и останавливался на станции Дымов в ту минуту какой-нибудь проходящий состав, то чаще всего он был гружён углём или лесом и, добрав в паровозный накопитель воды, спешно следовал с востока на запад, где начинала подыматься с руин советская земля. Ни одного пассажирского литера с начала войны и до её окончания больше не проходило мимо этого заволжского города ни в том, ни в другом направлении. Так что жителям Дымова иной раз могло показаться, что на западных землях их страны больше не осталось мирного населения и что их город стоит один-одинёшенек во всей европейской части. А между тем в двух столичных газетах и одной местной они регулярно могли прочитывать — и в дополнение прослушивать по радио — важные правительственные сообщения. И было понятно, что верховная власть в стране есть и она, как может, заботится о своём народе. Смущало дымовцев одно: что все политически выверенные сообщения о происходящем в стране и мире печатались в дымовской типографии, а радиосообщения передавались по радиоточкам из одного места — городского радиоузла.

Была ещё в городе почта у рыночной площади. Она получала корреспонденцию ежедневно, в любую погоду, с железнодорожной станции. Возил её туда и обратно трёхтонный голубой грузовик с закрытой кабиной и железной будкой. Он подъезжал вплотную к почтово-багажному прицепному вагону и ждал, когда её перегрузят. Почты было мало. Люди писали друг другу нечасто в трудное военное время. Оттого грузовик всегда оставался недогруженным письмами в прифронтовые города, зато посылки отправлялись из Дымова на передовую многими десятками — и для родных и для просто незнакомых бойцов. Фанерных ящиков не хватало, и их заменяли распоротые надвое конопляные мешки. Из них сшивали хозяйки и их дочери два или три мешочка. В вощёную бумагу клали, старательно завернув, четвертушку хозяйственного мыла, вязаные шерстяные носки и варежки, вяленую рыбу, картофель и, главное, писали письмо на целый тетрадный лист. В письме, кроме перечня вложения, говорилось о том, что в тылу ждут возвращения каждого, кто «сражается за нашу Советскую Родину», и было пожелание им скорее возвращаться с Победой и оставаться как можно дольше невредимыми.

Хотя посылки и уходили к неизвестному адресату, но были и такие случаи, когда в ответ с фронта приходило благодарственное письмо, которое давало начало дружеской переписке. Длилась она недолго и прерывалась внезапно.

Первое письмо от Григория Серафима получила в сентябре из Тихвина, в нём Григорий писал:

> «Здравствуй, моя дорогая жена Сима! Пишу тебе с большим перерывом, так как всё время был в военной дороге и почты постоянной не имел. Недавно получил шинель. Она сшита на нашей фабрике. Мне от этого обстоятельства сделалось тепло и светло, хотя ни тепла, ни света в окружающей обстановке из-за войны наблюдаться не может. А шинель меня греет и надёжно оберегает от вражеской пули, которая жужжит шмелём, втыкаясь в землю. Отрадно думать, что кроила её ты. С приветом и пожеланием скорой Победы, твой муж Гриша».

Эти строки Серафима перечитывала несчётное количество раз. Она гордилась, что именно её руки скроили дорогую для мужа вещь, которая бережёт его от вражеской пули.

Сам фронт до Дымова не дошёл добрых полторы сотни вёрст. Хотя не раз слышала Серафима, как в небе над городом натужно гудели немецкие самолёты, за все дни войны город ни разу не бомбили. Может, Дымов спасала светомаскировка, а быть может, и то, что не было в его окрестностях ни большого моста, ни завода. А между тем дом у Серафимы требовал хозяина: где прибить доски, где починить дверные петли. Как могла, так и ладила Серафима с домашними хлопотами, да только женские руки — не мужские, а дело плотницкое, как ни крути, всё же навыка требует.

Однажды осенью увидела Серафима, как на станции два солдата снимают с поезда человека, пристёгнутого ремнями к деревянному возку. Одет он был в старый солдатский ватник, за плечами болтался вещмешок, а на поясе пристёгнута фляжка.

— Спасибочки вам, ребята, за то, что подсобили, — поблагодарил их ветеран, принимая из рук молодого солдата гармонь.

— Да и тебе, дядя, спасибо! Играешь ты на инструменте что надо. Нате кисет табачку, на подарок.

— А как же вы?..

— А есть у нас дядя, есть! Бывай!

Почти насильно одарив, молодой солдат запрыгнул за товарищем в вагон.

Дежурная по станции подняла вверх свёрнутый жёлтый флажок, паровоз дал протяжный гудок и потащил за собой лязгающие зацепными устройствами вагоны дальше, за Волгу.

Прижимая к себе одной рукой гармонь, солдат развязал кисет с табаком и стал сворачивать цигарку.

— Эй, служивый,— окликнула дежурная солдата,— фамилия твоя как?
— Стрельцовым буду.
— Ты, гляжу, как не нашенский. Живёт у тебя здесь кто?

Солдат на вопрос не ответил, а, чиркнув заскорузлым пальцем по латунной зажигалке, сделанной из винтовочной гильзы, высек огонёк. Хороня его от ветра, подкурил самодельную папироску.

— Чего молчишь?— не отставала дежурная.
— А что зазря говорить? Пусть собаки брешут,— сказал Стрельцов, выдыхая сизый табачный дым.— К товарищу боевому приехал. А что?
— Да ничто, гражданин! Грабят у нас в поездах, вот что!
— Мне до этого дела нет. Я не советская власть.
— А мне вот есть дело. И для тебя я— как раз власть советская. Где живёт твой товарищ?
— Недалече,— ответил Стрельцов и улыбнулся.

Но доброжелательность подозрительного незнакомца дежурная рассудила по-своему.

— Ты мне тут не скалься, не в фотоателье заявился,— сказала она, подойдя к инвалиду,— а то препровожу куда следует, а там уж разберутся с тобой. Может, ты и есть вор.
— Да какой он вор?— не сдержалась Серафима, вставая с лавочки.— Что ж вы— не видите? Он же— безногий!
— А и что, что безногий? Посторонним тут делать нечего. Приехал, понимаешь, он к товарищу. Что за товарищ? Где живёт? Это всё надо проверять.
— Вот напасть!— выдохнул Стрельцов и, поставив на землю гармонь, расстегнул до пояса фуфайку, открыв два ряда медалей.— Солдатскую книжку тоже будешь глядеть?
— А на что она мне?— повернувшись к солдату спиной, стушевалась железнодорожница.— Небось, такой иконостас за так на фронте не заработать.
— Угомонилась?— спросил Стрельцов, перекидывая гармонь через плечо.

Что-то проворчав себе под нос, уязвлённая дежурная скрылась за дверью вокзала.

Солдат взялся за деревянные плашки, чтобы ехать.

— Постойте!— окликнула его Серафима и подошла ближе.— Вы хоть знаете, где живёт товарищ?
— Сказывал он мне, что дом его недалече от вокзала стоит, у водокачки,— прищурился Стрельцов, глядя снизу вверх на незнакомку.
— Может, вас проводить?— предложила Серафима.
— Благодарствую, гражданочка, адресок у меня имеется, авось не заплутаю,— поправил сбившуюся на затылок пилотку солдат.
— Вы не сердитесь на неё, это она не со зла так говорила,— Серафима не находила, что ей больше сказать.
— А мне, гражданочка, не привыкать. Бывайте себе здоровы!— попрощался он с незнакомкой и покатил по грунтовой дороге, временами поправляя на спине гармонь.

Спустя месяц увидела Серафима знакомого ей солдата у городской почты. На земле рядом с ним лежала шапка, на дне её было несколько медяков. Сидел он на своей тележке и, играя на гармони, пел надломленным баритоном «Андрюшу»:

Эх, путь-дорожка,
Ещё ровней немножко.
Вернулась девчонка,
Улыбки не тая́:
«Здравствуй, Андрюша,
Пришла тебя послушать».
И запела милая моя.

Прохожие останавливались, слушали певца и, наклоняясь, клали в шапку деньги, а он продолжал петь, кивая головой, испытывая благодарность:

Пой, Андрюша, так, чтоб среди ночи
Ворвался ветер, кудри теребя.
Поиграй, чтоб ласковые очи,
Не спросясь, глядели на тебя[1].

Закончив петь, Стрельцов свернул меха гармони так, что медали на его линялой гимнастёрке глухо звякнули. Серафима тоже положила в шапку монеты.

— Спасибо вам, гражданочка,— поблагодарил Серафиму он.
— Нашли вы своего товарища?— взглянув на его небритое лицо, тихо спросила она.
— Нет. Умер он от ран. В госпитале.
— У кого тогда вы живёте?
— Да так… Устроился тут у одних людей, за печкой,— отводя глаза, сказал Стрельцов.— Приютили. Жалоб нет.

Сердце у Серафимы сжалось.

— Вы ели хоть что-нибудь сегодня?
— Попою ещё с полчасика— заработаю. Я и поплотницки могу. А что? Руки мои рубанок-фуганок помнят. Молоток с пилой тоже. Я ж не только горластый, я и рукастый. Вам помощь какая в хозяйстве требуется?
— Помощь требуется.
— Да вы ничего такого не думайте, угол у меня есть.
— Я и не думаю. А угол у вас такой— сегодня есть, а завтра нет. Чего вам по дворам ходить? У нас и собаки в районе бегают, нападут— не отобьётесь. Я— Серафима Гладышева, вдовая солдатка. Пойдёте ко мне на постой?..
— Отчего ж не пойти, коли хороший человек приглашает? Пойду. А как вас по батюшке?
— Николавна. А вы, стало быть, Стрельцов?

1. «Андрюша»— муз. И. С. Жака, сл. Г. Гридова (1938), первое исполнение— К. Шульженко.

— Так точно, как есть гвардии рядовой Андрей Стрельцов, списанный вчистую по ранению! Фриц треклятый в Моравии постарался: резануло меня, дорогая женщина, в апреле осколком мины по самому что ни есть низу!
— Да как же это?! — охнула Серафима.
— А вот так. Стесало мне ступни почище вострой косы, и сапоги пропали. Новые были сапоги! И всё бы ничего, да загноились ноги, и пока выше колен доктора не отчекрыжили культяпки, дела мои на поправку не пошли. Так-то.
— Настрадались вы…
— Серафима Николаевна. Что ноги! Без рук люди пооставались! Так что ещё свезло мне. А сказал я вам всё это потому, что не знаете вы меня.
— Так и вы меня не знаете, Андрей.
— Не скажите, ваш характер во всём видится, добрая вы.
— Дождь накрапывает, — сказала Серафима, вытянув перед собою ладонь. — Собирайтесь, а то накроет.
— И вправду заморосило, — согласился с нею Стрельцов и, взглянув на потемневшее небо, стал собираться.
— Этак мы с вами не успеем, — забеспокоилась Серафима. — Давайте мне вашу гармонь, — предложила она и, не дожидаясь согласия Стрельцова, нагнулась и взяла инструмент в руки. — Ну что вы застыли? Идёмте.

От неожиданности солдат закашлялся в кулак и, помедлив, покорно двинулся вслед за ней.

Как ни торопились Серафима и солдат, а всё же доро́гой застал их ливень. Поначалу думалось им, что дождь стихнет совсем, но на середине пути задул порывами промозглый ветер, в небе сверкнуло, и спустя минуту пришёл звук грома, а с ним и ливень.

В доме Серафима дала Стрельцову чистую сорочку и полотенце.
— Давайте, Андрей, переодевайтесь в сухое, а я скоро.

С этими словами она вышла в другую комнату, закрыв за собой дверь.

Андрей Стрельцов осмотрелся: три стула с гнутыми ножками придвинуты к столу, покрытому домотканой скатертью, пузатый комод, на нём — мраморные слоники, тикающий будильник, а выше, на стене, семейные фотографии. Позабытый за годы войны запах домашнего тепла защекотал его ноздри. Не вытерпев, Стрельцов выкатился в сени.
— Вот те на́! — услышал он позади себя голос Серафимы. — Не евши, не пивши — и в двери? Хорош у меня помощник!

Кровь отхлынула от сердца Стрельцова.
— Спасибо вам за беспокойство, — не поднимая головы, глухо сказал он и открыл дверь на улицу.

Дождь обещал быть затяжным. Мелкие брызги капель ветер задувал в дом.
— Да ты что ребячишься, Андрей?! — вдруг перешла на «ты» Серафима. — Куда тебя понесло?! Забыл что на той квартире?
— Я тут у вас наследил… извиняйте меня, хозяйка.
— Не твоя забота об этом. Тебя позвали, не сам напросился. А раз так, то будь добр не обижай хозяйку.
— Не могу я у вас, Серафима Николавна, простите…
— За что мне тебя прощать? Дров кто мне наколет?
— Не знаю, Серафима Николаевна, не знаю… Хорошо, должно быть, у вас, да вот мне боязно.
— Никогда не думала, что такой человек и страх имеет.
— Прикипеть не хочу к вам сердцем. Женщина вы, по всему видать, порядочная. К чему вам пересуды, что с инвалидом связалась? Не кум я вам, не сват, не родный брат.
— Что мне людские языки, когда вижу, что человек пропадает?
— Пропа́сть я ещё не пропал, Серафима Николавна, это вы зря думаете.
— Что ж ты, от хорошей жизни в Дымов приехал?
— Приехал и приехал, все куда-то приезжают.
— Домой солдат едет с фронта, а не к товарищу жить.
— А когда некуда ехать, что тогда?
— Советы я тебе, Андрей, давать не могу, и права у меня на это нет, а вот накормить и в чистое переодеть — это всегда пожалуйста!
— Как же всё у вас просто, Серафима Николаевна.
— А чего усложнять-то жизнь? Она и без того лягается, как хромая лошадь. Спать у меня в доме есть где, поместимся, чай не в берлоге живу. Обвыкайся, помогай, а на чужой роток я найду какой платок набросить.

Андрей Стрельцов смотрел прямо перед собой на моросящий дождь и не верил услышанному. «Разве так бывает? И был бы я родственник какой ей, тогда и понятно, а то ведь чужой человек. А вот поди ж ты, пригласила в дом, не побрезговала», — думал он, решая про себя, остаться ему или нет.

Затянувшееся молчание нарушила Серафима:
— Керосинка у меня чадить стала, ума не приложу, что с ней такое, сготовить ничего невозможно, коптит и коптит.
— Где она там, покажите, — сказал Стрельцов, отъезжая от порога.

Спустя полгода, идя вечером с фабрики, встретила Серафима у своей калитки соседку Любу Комову.
— С великой радостью тебя, Серафима.
— Что такое?
— Как же! Гладышев твой вернулся!

У Серафимы ослабели ноги, и, чтобы не упасть, она села на покрытую снегом лавочку.

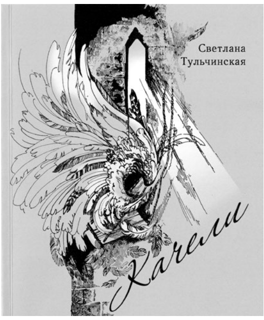
— Давно он в доме?
— Почитай, как больше часа прошло. Как зашёл, так и не выходил ещё. Как вы жить будете? Ты ведь его уже похоронила, другого себе приняла. Обихаживаешь. И чего не обихаживать — мужик он смирный.
— Доложиться ты, конечно, Григорию успела.
— Ну и сказала я. А что же мне, молчать, когда при живом-то муже?..
— Иди-ка ты отсюда, соседушка, подобру-поздорову. Глаза б мои на тебя не глядели.
— А чего ты меня гонишь?! Чего?! Где хочу, я там и стою. Улица не твоя, Фимка! Она общенародная! Это мужики бывают свои и пришлые.
— Ну и стой, Любка, где стоишь, раз совести у тебя нет! — сказала Серафима, вставая.
— Ой, кто меня совестить-то вздумал! Кто!

Говорить Любка старалась нарочито громко, так, чтобы слышали её и в соседних дворах. Но, на её неудовольствие, улица была пуста, в окнах мерцали керосиновые огни ламп. Людей, пришедших домой с трудовой смены, заботила только своя жизнь.

— Ну угомонись уже!
— Все кругом поганцы, одна она, гляньте, люди, честная жена! — распаляла себя Любка. — Всё ходила поезда встречать, всё высматривала. И высмотрела полюбовничка себе!

Серафима, не отвечая, вошла во двор и закрыла калитку. Сердце её, и без того не находящее в груди себе места, замерло. На крыльце стоял Григорий. Зная гневливый нрав его, она опустила голову. Григорий, однако, бранить жену не стал, а, глядя на притихшую у забора Любку, спросил:

— Тебе что, сорока, на хвост соли насыпали?..
— Какая я тебе сорока? — живо откликнулась Любка, подступив к калитке, не веря в то, что Григорий может простить жену. — Ты хоть бы мне спасибо сказал, баран упёртый!
— Глупая ты баба, Любка. Видать, на роду тебе написано дурой помереть. Одно слово: темнота неразумная. Кланяться Серафиме моей в ноги надо, что герою войны приют дала. А ты лаешься на неё! Он же, калечный, дальше стола в доме не ходит, а ты — «полюбовничек»! Да и на чём идёт! Руки-то, слава Богу, только и ходячие! Я сам в госпитале в беспамятстве лежал не один месяц, доктора латали, места живого не было, дырка на дырке… Эх, сорока-сорока, что с тобой толковать! — махнул с досады Григорий рукой и, глянув на закусившую губы жену, сказал: — Пойдём, Сима, в дом, а то ноги у меня на морозе стынут, видишь — босый я.



Светлана Тульчинская
Качели

Челябинск: ЧГИК, 2018

* * *

Я к звёздам обращалась столько раз
С вопросами порою полуночной!
Светила, к диалогу не стремясь,
Мне часто отвечали многоточием…
…
О, недосказанность блаженна, и она —
Вселенною оказанная милость…
Но знаком препинания луна
Являлась, чтобы тайное не сбылось.
Но грежу — я увижу звездопад:
Такие восклицанья одобрений,
Что для меня они отождествят
Исполненность
Или возможность претворений.

* * *

Пишу, а нагота листа
Так вызывающе бесстыжа,
Что отвожу глаза, устав,
Поскольку образов не вижу.

Не сочиню, не сотворю —
Смеётся мне в лицо открыто
Лист. Я его приговорю
К сожжению. Как инквизитор,

Костёр на плахе разведу
И отомщу ему жестоко
За мысленную немоту,
За неподатливые строки.

Зинаида Кузнецова

Сахар-рафинад

1.

Место Тане досталось неважное, прямо над колесом, пол автобуса поднимался почти до сиденья, и сидеть было очень неудобно. Но она и этому была рада — могла бы вообще не уехать, и ночь пришлось бы коротать на вокзале. Она уселась поудобнее, закрыла глаза и попыталась уснуть. Перед глазами сразу же возникла картина вчерашних сборов, провожаний, слёз девчонок, с которыми она прожила пять лет в одной комнате. Все разъезжались в разные места, в основном в сельские школы, одной ей повезло: районный центр с двенадцатитысячным населением — почти город. Две школы, в одной из которых ей и предстоит работать.

Поползли тревожные мысли о жилье: как-то всё устроится? Наверное, придётся снимать комнату или угол. Не хотелось бы… но что делать? Таня давно мечтала о своей собственной квартире, понимая, что мечты её пока несбыточные. Замуж выйду, и квартира появится, думала сейчас Таня. Замуж… Уж замуж невтерпёж… Как-то вот не получалось с «замужем»-то… Некоторые на первом курсе повыскакивали, а она… Мать уже давно с намёками разговоры ведёт: пора, дескать, дочка, внуков уже хочется понянчить. Таня отшучивалась, а на душе было неуютно.

Любовь у неё, конечно же, была. Да и как поэтессе без любви?! Предмет её вдохновения, преподаватель их института, был женат, но… ему и только ему она посвящала свои возвышенные стихи, о нём мечтала, его наделяла всеми мыслимыми и немыслимыми достоинствами. Сколько слёз было пролито в подушку, сколько изведено чернил, бумаги, а он не обращал на Таню ни малейшего внимания. За этими переживаниями она совершенно не замечала других парней и искренне считала себя никому не нужной, несчастной Золушкой.

Но эта неземная любовь скоро пошла на убыль — помог случай. Таня с подружками загорали на берегу заросшей тальником речушки, когда рядом, в кустах, загремела музыка и послышались громкие голоса, в одном из которых она узнала голос своего кумира. Смысл разговора невидимых соседей не оставлял никаких сомнений: *он* был там с женщиной, более того — с любовницей! Что с любовницей, а не с женой, Таня тоже сразу поняла — жену она его хорошо знала. Она заглянула в просвет между ветками кустарника. Увы, она не ошиблась. Женщина, с которой он ворковал, была далеко не первой молодости, расплывшаяся, нетрезвая, с всклокоченными красно-свекольными волосами, в белом лифчике и голубых трусах. На расстеленной скатерти стояли бутылки с водкой и пивом, лежала какая-то закуска… Женщина пьяно хныкала, выговаривала ему за что-то, он защищался, пытался её обнять и поцеловать, но подружка вырывалась, сердито отталкивая его рукой.

В конце концов они помирились, но Таня не стала больше смотреть — она была оскорблена до глубины души. Она бы простила ему картину семейной идиллии, но эта… Особенно её поразили ноги соперницы: широкие, короткопалые ступни с невероятно толстыми пятками, с грязными подошвами, с шишками около больших пальцев; на одной ноге татуировка в виде затейливого узора — от лодыжки до колена.

Таня, содрогнувшись, усилием воли отогнала от себя неприятные воспоминания, достала из кармашка дорожной сумки томик Пушкина и погрузилась в чтение.

Ноги совсем затекли. Таня попыталась их вытянуть, но это оказалось невозможным. Настроение быстро портилось, ведь ехать предстояло ещё часа полтора. К тому же рядом примостился какой-то тип, от которого несло пивом… Она и так, и этак старалась отвернуть своё лицо, но запах доставал со всех сторон. И отодвинуться было невозможно на узеньком сиденье. Она готова была заплакать. Ну почему ей так не везёт? Острая жалость к себе заполнила сердце. Ей всегда и во всем не везёт: в очередь хоть не становись — любая очередь кончается перед ней. Вот и с билетом — нет чтобы на другое место взять, терпи теперь этого алкаша. Пьяных она не переносила, может быть, поэтому и была такой разборчивой в потенциальных женихах. Если замечала, что парень, который ей приглянулся, слегка навеселе, она тотчас же теряла к нему интерес. А где же теперь их взять, непьющих-то?

— И что мы читаем? — прервал её мысли хрипловатый голос соседа. Он бесцеремонно отвернул обложку, присвистнул: — Пушкин, Александр, так сказать, Сергеевич! Уважаю!

Таня возмущённо фыркнула: это ещё что такое? Она сердито захлопнула книжечку и отвернулась к окну.

— Люблю грозу в начале мая… — как ни в чём не бывало продолжал сосед.

— А вы уверены, что это Пушкин? — съехидничала Таня и тут же пожалела, что вступила в разговор.

— Нет, совсем не уверен! Если честно, то это я сам как-то на дежурстве сочинил.

— Да что вы говорите! — Таня, не удержавшись, громко расхохоталась. — Так вы поэ-э-эт?

— Да, я поэт, — важно приосанился сосед. — Меня даже в районной газете напечатали!

Он гордо посматривал на Таню, но она решила больше с ним не разговаривать. Знает она этих поэтов… В литкружке наслушалась, насмотрелась… Напишут две строчки — «розы-морозы», «кровь-любовь» — и готово: поэт! И главный аргумент: соседка похвалила, сестра плакала, мамочка растрогалась, подруги рыдали…

Сосед завозился в кресле, достал из внутреннего кармана пиджака полиэтиленовый пакет с какими-то бумажками.

— Не верите? Вот, смотрите, — он развернул замусоленную вырезку из газеты. — Вот видите, подпись: Данифар Рахас. Это я.

Таня через плечо искоса взглянула на листок. Стихи. Имя автора, фото. Странно, имя какое-то восточное, а парень откровенно славянской внешности: нос вздёрнутый, волосы, выгоревшие на солнце, почти белые. А тут какой-то Данифар… Но спрашивать не стала, он ей надоел.

Выйдя из автобуса, Таня с любопытством огляделась. Автовокзал с огромными стеклянными окнами-витражами, клумбы и кусты, покрытые толстым слоем пыли, гипсовый мальчик с горном — надо же, сохранился до сих пор, — снующий туда-сюда по привокзальной площади народ… От вокзала уходили две довольно широкие заасфальтированные улицы, засаженные тополями и акацией; в общем-то, не так уж и страшно, есть места похуже.

— Вам куда? — раздался знакомый голос.

О Господи, опять этот, прицепился, как репей… Она демонстративно отвернулась. Надо посмотреть, где остановка городского автобуса, если они здесь существуют. Но сколько бы она ни вглядывалась, жёлтой таблички с расписанием не было видно. Таня вздохнула. Придётся пешком идти, надо только узнать, где находится школа.

— Ну что? — опять этот Данифар или как его там. — Осмотрелись? Пошли, а то на автобус опоздаем.

Он подхватил её чемодан, сумку и пошагал, не оглядываясь. Таня ещё пыталась протестовать, но он не обращал внимания.

— Вот, Елена Львовна, — весело подмигивая Тане, громко доложил он полной женщине лет пятидесяти на вид, — новую учительницу вам привёз! Русский язык и литература! А то всё жалуетесь, что кадров не хватает!

— Здравствуйте, — суховато поприветствовала женщина. — Директор школы, Елена Львовна. Жилья для вас пока нет, но что-нибудь подберём. Несколько дней здесь поживёте, пока угол вам не подыщем.

— Да что искать-то, Елена Львовна?! — встрял Данифар. — У нас можно, или вон наша соседка сдаёт комнату. Пошли, — он решительно подхватил Танины вещи.

— Да погоди ты трещать, Васька, — оборвала его директриса. — Что ты лезешь не в свои дела? Помог — ну и иди себе…

— А может, я лучше к соседям? — робко сказала Таня.

Ей почему-то не хотелось оставаться здесь, с этой неприветливой женщиной. А этот… Васька (почему Васька?) уже вроде бы как знакомый… Она вдруг почувствовала себя страшно одинокой.

— Ну, как говорится, было бы предложено. Завтра в восемь тридцать прошу быть в школе.

Парень весело подхватил вещи и зашагал, сгибаясь под их тяжестью. Таня поплелась вслед за ним.

Дом, где жил Васька-Данифар, стоял почти в самом конце длинной улицы. Это, по сути, была уже деревня. Добротные деревянные дома, спрятавшиеся в густых зарослях сирени, черёмухи. В каждом палисаднике — мальвы, излюбленные цветы деревенских жителей. По всей длине улицы возле каждого дома стояла бочка, сверху прикрытая доской. Видимо, на случай пожара, молодцы какие, подумала Таня. На пригорке в ограде одного дома стоял самолёт-кукурузник. Рядом паслись козы.

Васька-Рафинад болтал без умолку. Проходя мимо какого-нибудь дома, рассказывал смешную историю о его хозяевах и сам хохотал.

— Вон, видишь, дед сидит, в треухе и в валенках? Местный дед Щукарь. Спят с бабкой ночью, вдруг грохот какой-то раздаётся. Он кричит: «Бабка, вроде кто-то упал?» И через минуту: «Бабка, а ведь это я с кровати-то упал!»

Таня невольно смеялась вслед за ним.

— А у этих собака была, Бобик, — продолжал заливать Васька, — так вот однажды тетка Матрёна заходит в избу: «Петруха, Бобик ощенился!»

Встречные жители с интересом поглядывали на Таню, глазами спрашивая Ваську, кто, мол, такая.

— Привет, Рафинад! Здорóво, Вася! — слышалось то и дело.

По всему было видно, что Васька в посёлке фигура популярная. Василий многозначительно молчал.

— Привет, Рафинад,— протянул руку подвыпивший мужичок средних лет.— Ты что, невесту себе привёз из города?

— А тебе какое дело, Кузьмич? Может, и невесту,— Васька метнул на Таню насмешливый взгляд: как она среагирует на такое заявление?

Таня смутилась, но он продолжал опять болтать как ни в чём не бывало.

— Вася, а почему тебя все зовут Рафинадом?— спросила Таня.

— А ты мой псевдоним видела— Данифар Рахас? Если читать наоборот, получается сахар-рафинад. Сам придумал,— с гордостью сказал Василий.— Ни у кого такого нет. А так-то моя фамилия Сахаров.

Да уж, до такого точно никто не додумается, засмеялась про себя Таня. Забавный какой…

Всё складывалось наилучшим образом. Танина квартирная хозяйка, тётя Клава, женщина одинокая и добрая, Таню приняла с радостью. Сразу предложила столоваться у неё, да больше и негде было— до поселковой столовой километр, не находишься каждый день,— и принялась закармливать её пирогами да блинами.

— Тётя Клава,— Таня с деланным ужасом смотрела на горку блинов, обильно политых маслом или сметаной,— я уже скоро в дверь не пролезу.

— Да ты ешь, ешь, вон какая тощая-то. Не кормили тебя, что ли, в твоём институте?— ворчала Клавдия, пододвигая тарелку поближе и с жалостью глядя на квартирантку.

В школе встретили её доброжелательно. Большинство преподавателей были пожилые, из молодых— учительница французского и трудовик, муж и жена, да и им было уже лет по тридцать. И появление Тани все восприняли очень хорошо, даже старички— Степан Максимович, учитель истории, и Владимир Григорьевич, математик,— как-то приосанились, стали приходить в школу в галстуках. Таня не сразу привыкла, что её называют исключительно Татьяной Михайловной, даже вне школы коллеги обращались друг к другу по имени-отчеству. Только физрук, Павел Альбертович, мужчина интересный, жгучий брюнет, похожий на испанца, неизменно называл её Танечкой. Его чёрные масляные глаза часто останавливались на Тане, и она смущалась и краснела.

Немножко напрягало Таню отношение к ней директора, Елены Львовны. Таня не понимала причины её недовольства, но чувствовала, что чем-то ей не нравилась. В первый же день сделала Тане замечание по поводу её платья. Хотя платье было довольно скромное: чёрное, шерстяное, прямого покроя, по подолу отделано блестящей тесьмой. Такая же тесьма окаймляла рукава. Таня сшила его специально для первого сентября— праздник, к тому же её первый рабочий день. Но директриса почему-то посчитала его нескромным и, пригласив после торжественной линейки Таню к себе в кабинет, сделала выговор: в школе надо быть скромнее, здесь не дискотека. Пунцовая от обиды и унижения, Таня чуть не плакала, было очень стыдно, что её отчитали, как девчонку-восьмиклассницу. В это время в кабинет вошла незнакомая дама в сопровождении мужчины в рабочей одежде, с большой и, по всему видно, тяжёлой картонной коробкой в руках. Он бухнул коробку на пол и удалился.

— Еленочка Львовна,— защебетала дама, не обращая внимания на Таню,— мне тут по знакомству предложили американские консервы, я и на вас взяла. Посмотрите, какие красивые банки, умеют же делать, не то что у нас!

Она вскрыла коробку и, вытащив большую, по виду двухлитровую, банку, показала её директрисе. Та замахала рукой:

— Оставь, потом… потом… Не видишь, я занята.

Таня с удивлением смотрела на женщину, накрашенную как актёры японского театра кабуки— лицо из-за грима выглядело гипсовой маской. Несмотря на тёплую погоду, она была одета в жилет из чернобурки, на ногах ботфорты, волосы почти оранжевого цвета.

— Познакомься, Эльвира, это наша новая учительница русского языка и литературы Татьяна Михайловна,— директор задвинула коробку с тушёнкой под стол.— А это Эльвира, Эльвира Павловна, наш завхоз и профорг.

Таня вышла из кабинета весьма озадаченная: её платье показалось директрисе нескромным, а как тогда понимать наряд Эльвиры?

Окунувшись с головой в учебный процесс, Таня постаралась забыть этот неприятный разговор. Главное, она нашла общий язык и с коллективом, и с учениками.

Незаметно прошёл год, и вот уже снова первое сентября. Таня по-прежнему жила у тёти Клавы и жизнью своей была в общем-то довольна. Конечно, временами становилось одиноко, но забегал Васька-Рафинад, смешил её своими байками, их у него был неисчерпаемый запас. Иногда они выбирались в клуб или в кино.

В конце сентября начиналась уборка картошки, и школу можно было закрывать— дня три все были на огородах, включая учителей. Таня отпросилась с работы и поехала в город— в библиотеку надо зайти, посмотреть кое-что по педагогике, а больше всего хотелось встретиться с друзьями-поэтами, окунуться в привычную атмосферу поэзии, музыки. Всё-таки ей не хватало общения со «своими».

2.

Васька-Рафинад возвращался с работы в хорошем настроении. Сегодня пятница, значит, вечером

пивка можно с ребятами попить, а впереди целых два выходных! А ещё через три дня праздник — День Победы, с переносом, выходит, четыре дня отдыхаем. Лафа!

Он не был лодырем, но, как известно, любая работа хуже самого плохонького отдыха.

День Победы он считал одним из самых главных праздников, важнее даже, чем его собственный день рождения или Новый год. Задолго до этого дня у него внутри начинало что-то происходить; он с особым вниманием слушал передачи о войне, в программе телепередач искал в первую очередь фильмы про войну, при звуках военных песен ком подкатывал к горлу. Большой поклонник Высоцкого, он больше всего любил стихотворение «Из дорожного дневника»:

Ожидание длилось, а проводы были недолги,
Пожелали друзья: «В добрый путь! Чтобы всё — без помех!» —
И четыре страны предо мной расстелили дороги,
И четыре дороги шлагбаумы подняли вверх…

И далее:

…И в машину ко мне постучало военное время —
Я впустил это время, замешанное на крови…

…И сейчас же в кабину глаза из бинтов заглянули
И спросили: «Куда ты? На запад? Вертайся назад!»
Я ответить не мог — по обшивке царапнули пули,
Я услышал: «Ложись! Берегись! Проскочили! Бомбят!»

Иногда ему казалось, что он сам был на той войне.

…Здесь, на трассе прямой, мне, не знавшему пуль, показалось,
Что и я где-то здесь довоёвывал невдалеке.
Потому для меня и шоссе, словно штык, заострялось,
И лохмотия свастик болтались на этом штыке…

Посёлок готовился к празднику. Всюду висели транспаранты, трепетали на ветру красные флаги. На фасаде техникума на красном полотнище белели слова: «Нельзя построить коммунизм…» — далее транспарант обрывался, не успели, видно, рабочие закончить работу. Вот олухи, чертыхнулся Васька, хотя было невероятно смешно. В воздухе уже витали флюиды инакомыслия, уже втихую посмеивались и над властью, и над чем-то ещё, более серьёзным. Перестройка набирала ход…

В небольшом скверике, как бы отделявшем их улицу от всего посёлка, находился мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне. Памятник сверкал свежей краской, вокруг него всё было расчищено, подметено, жидкие кустики уже пустили бледные клейкие листочки, ещё день-два — и зазеленеют.

Он подошёл к памятнику, прочитал длинный список земляков. Вот и фамилия его деда. В детстве он завидовал друзьям, которые в День Победы гордо вышагивали рядом со своими увешанными наградами дедами, сидели вместе с ними на гостевой трибуне, свысока поглядывая на ребят, которым такого счастья не досталось. В эти минуты Васька ненавидел фашистов больше всех на свете.

Вчера Василий немного опоздал с обеда. Едва вошёл, бригадир накинулся на него: «Тебя что, вся бригада должна ждать? Где шлялся?» — «В профкоме был!» — огрызнулся Василий. «Что ты там забыл?» — «Поручение дали, — вмиг нашёлся Васька; ни в каком профкоме он, конечно, не был, в домино с ребятами резался. — От нас на демонстрацию в День Победы два человека надо отправить». — «М-да, — почесал затылок бригадир. — Есть желающие?»

Желающих не оказалось. Это не прежнее время, когда на демонстрации ходили с радостью, всем коллективом, с семьями, с детьми. Все нарядные, весёлые, песни, танцы, гармошки…

«В профкоме сказали, что надо отправить Майера и Шмидта, — Васька смотрел на бригадира честными глазами, в которых едва заметно плясали чёртики, — сказали, что это ответственное задание можно поручить только им, передовикам производства. Транспарант понесут: „Что русскому хорошо — немцу капут!“ Понесёте, а?» — метнул он взгляд на Сашку и Димку.

Ребята захохотали, те, кто постарше, укоризненно посматривали на Рафинада.

Немцев у них в бригаде, судя по фамилиям, было три человека. Хотя один вообще-то был не немец, а еврей. Они сами, скорее всего, забыли, к какой национальности принадлежат, потому что родились здесь, в посёлке, и их родители тоже, и деды-прадеды. И, кроме фамилий, ничем не отличались от других. Васька против них ничего не имел, все они были друзья-приятели, а вот не удержался, подколол. Намёк сделал, так сказать. Может, повлияло то, что в последнее время всё чаще стали раздаваться голоса, по-иному освещающие войну и всё, что с ней связано. Иные договаривались до того, что немцы вообще были белые и пушистые и что в случае их победы мы бы сейчас жили прекрасно, пили баварское пиво и жрали сосиски. Слово «немцы» ещё долго будет жить в генетической памяти народа как негативное.

А может, и просто хохма выскочила сама собой, на них Рафинад был большой мастер. Тут как-то смотрел по телевизору футбол, до утра не спал. Но зато какие эмоции: три — один в нашу пользу. Приходит утром на работу, навстречу ему ребята после ночной смены: какой счёт? Сашка Майер спрашивает: «Как наши сыграли?» Васька в ответ: «Ваши? Ваши вчера продули!» Сашка намёк, конечно, понял: вчера Германия проиграла сопернику со счётом два — один, — и хотел обидеться, но смех товарищей был так беззлобен, что он и сам

невольно стал смеяться: ну, Рафинад, подожди, получишь когда-нибудь за свои шуточки.

Недалеко от памятника погибшим воинам был стадион, вернее, спортивная площадка, с волейбольной сеткой и несколькими скамейками. На одной из них кто-то сидел и, судя по всему, плакал. Он подошёл поближе.

— Ты чего ревёшь, Михална?— весело спросил он.— Опять двойку получила?

— Уеду я отсюда, Вася!— Таня сердито вытерла слёзы.

— Ну, ты, мать, чего-то не то говоришь. Уедет она! Конечно, что тут у нас— ни ресторанов, ни театров. Одной грязи только в избытке.

— При чём здесь рестораны?— опять зашмыгала носом Таня.— Надоело всё, одни сплетни да пересуды. Какое они имеют право?..— она залилась ещё горше.

— Да кто они-то? Ну-ка, давай рассказывай, что случилось.

Таня была дежурной по школе. Её класс должен был сейчас находиться на спортплощадке, на физкультуре. Надо зайти в класс, проветрить. Она подошла к двери и услышала какой-то гвалт. Что это? Она открыла дверь. Все ребята были в классе, стоял такой шум, что у неё заложило уши. Дети сгрудились вокруг двух мужчин, один из которых, Павел Альбертович, физрук, громко матерясь, тряс за грудки рабочего Алексея Ивановича.

«Что здесь происходит?— закричала Таня.— Прекратите сейчас же!» Физрук свирепо глянул на Таню и вышел, хлопнув дверью, напоследок бросив сквозь зубы: «Встретимся ещё!»— «Алексей Иванович, подождите меня в коридоре. Так, сядьте все на место»,— Таня утихомирила детей и вышла в коридор.

Рабочий рассказал, что вешал шторы, не успел к началу урока, думал, всё равно физкультура, детей в классе не будет. Тут вошел физрук и, не видя Алексея Ивановича— тот стоял за шторой на подоконнике, стал громко орать на детей, применяя при этом нецензурные выражения. Алексей Иванович спрыгнул с подоконника и одёрнул физрука: что же вы материтесь при детях? Тот в ответ послал и его куда подальше. Он был явно навеселе. Алексей Иванович сказал, что таким, как он, не место в школе, и он доложит руководству об этом случае. «Кому ты доложишь?— заржал физрук.— Руководству? А руководство кто? Не помнишь? Да тебя завтра же не будет в школе!»

Татьяна посоветовала написать докладную записку директору школы, чтобы было всё официально. Она сама не раз слышала нецензурные выражения из уст учителя физкультуры. Причём не только на спортплощадке, но и в стенах школы.

Ей не нравились ухмылочки Павла Альбертовича, его откровенные заигрывания с ней, как бы нечаянные прикосновения. Однажды, зайдя в класс, где она была одна, он полез обниматься, и в этот момент вошла профорг Эльвира. «Извини-иите, я, кажется, помешала»,— пропела она своим умильным голоском. Таня готова была провалиться сквозь землю, а ему хоть бы что— видимо, не впервой. После этого случая Таня заметила, что директриса стала относиться к ней ещё прохладнее, делала замечания, выискивала мелкие недостатки в работе, язвила в её адрес— видно, Эльвира постаралась, доложила о том случае. Отомстила. Как-то, проходя по коридору, Таня увидела объявление, написанное от руки: «Имеются два билета в *феролмонию*. Желающим обращаться в профком». Таня красным фломастером исправила «феролмонию» и, зайдя в учительскую, со смехом и возмущением рассказала коллегам про объявление, не сразу заметив Эльвиру. Та фыркнула, и с тех пор демонстративно отворачивалась при виде Тани. И вот подвернулся удобный случай отплатить— как не воспользоваться?

Что Павел Альбертович был мужем директрисы, Таня уже знала. Никто не хотел с ним связываться, и всё-таки пора положить этому конец! На ближайшем же педсовете она поставит вопрос о его поведении. И поставила, только сама же и осталась в дураках. Этот негодяй заявил при всех, что это она, Татьяна Михайловна, крутила шуры-муры с рабочим прямо в классе, при детях, а когда он, Павел Альбертович, сделал им замечание, работяга полез в драку… «Татьяна Михайловна, вам следует больше уделять внимание учебному процессу, а не чужим мужьям,— не глядя на Таню, железным голосом заговорила директриса.— Я бы хотела послушать мнение коллектива». Она переводила взгляд с одного на другого, но все молчали. Лицо Тани пылало огнём, было невыносимо стыдно. Директриса продолжала метать гром и молнии, но Таня даже не понимала, что она говорит. В результате ей объявили выговор. Выходя из директорского кабинета, она заметила наглую ухмылку физрука и злорадную улыбочку Эльвиры. Коллеги прятали глаза.

— Уеду я отсюда, Вася,— плакала Таня.— Опозорили меня перед всеми, ещё до родителей дойдёт— как я буду в глаза им смотреть!

— Ну-у-у, прямо так уж и уедешь. Как мы тут без тебя будем? Ведь пропадём,— по привычке балагурил Васька, а у самого чесались кулаки.

Нет, надо проучить эту парочку! Такую девчонку обидели, гады!

Проводив Таню, Васька не стал заходить домой, а направился к поселковому медпункту, окна которого ярко светились в темноте. Фельдшерица Люда, в накрахмаленном белом халате, что-то

писала, сидя за столом. В комнате всё было ослепительно-белым, чистым, пахло лекарствами и зеленью — в стакане стояли несколько тополиных веточек с крошечными клейкими листочками.

— Что, Вась, заболел? — Людочка подняла глаза от бумаг. — Температура? Или приступ лени?

— Да нет, здоров я. Ты это… у тебя шапочка ещё такая есть? — он кивнул на её белый медицинский колпак.

— Вась, а ты правда не заболел? Зачем тебе шапочка?

— Концерт готовим к празднику, я там врача играю.

— А-а-а, ну так бы и сказал, — Люда открыла шкафчик и достала оттуда шапочку. — Вот, бери, артист. Приду на концерт обязательно.

Васька хмыкнул и, послав Людочке воздушный поцелуй, вышел в ночь. Так, надо бы ещё в клуб к Витькý зайти. Витёк, художник, электрик и Васькин приятель в одном лице, писал белой краской на красном полотнище остальные слова к лозунгу «Нельзя построить коммунизм…». Резко пахло ацетоном, все углы, подоконники, табуретки были заставлены банками с красками, валялись в беспорядке кисти, тряпки, пустые бутылки.

— Я красочки маленько отолью, надо кое-что подкрасить дома, — попросил Васька.

Витёк, не отрывая взгляда, махнул рукой: да бери сколько хочешь. Ему было не до приятеля: кровь из носу надо было закончить лозунг к завтрашнему дню.

В домах давно уже погасли огни, только в школе, на первом этаже, светились два угловых окна. За столом сидела Эльвира, копалась в бумагах. В школе ни души, даже сторожа не слышно, спит уже, небось, где-нибудь в укромном уголке. Давно надо было уйти домой, но она не торопилась. Кто её там ждёт, дома-то? Даже кошки нет. Она то и дело поднимала голову, прислушиваясь к звукам, доносившимся с улицы. Проехал мотоцикл, она встрепенулась было — нет, мимо. Придёт или нет? Днём Павел Альбертович, улучив момент, шепнул ей, чтобы ждала вечером. Она-то ждёт, а он что-то не спешит. На часах уже пол-одиннадцатого, в шкафу застоялась бутылочка хорошего вина, сохнут нарезанные колбаска, сыр, а его всё нет и нет. Она достала вино, долго возилась с пробкой, открыв, хотела выпить, но раздумала — не хватало ещё одной пить, она не алкоголичка какая-нибудь. Вообще, ей всё это надоело: сколько можно встречаться украдкой? Она понимала, что с женой он никогда не разведётся, она не выпустит его из своих цепких коготков, гиена и есть гиена. Не зря же ребятишки дали ей такое прозвище. «Гиена Львовна, — хохотнула Эльвира. — Неплохо звучит. Главное, точно!» Тут ещё эта выскочка городская! Она не слепая, давно заметила, что он положил на новую училку глаз… Сегодня сразу убила двух зайцев: теперь Танька будет обходить Павла за три версты, и от себя отвела подозрения. Она снова взялась за бутылку, повертела в руках: может, всё-таки выпить? Или ещё подождать? Она поставила бутылку на край стола, и та с грохотом свалилась на пол. В коридоре послышались шаги: Павел? А может, сторож услышал? Дверь скрипнула. Она подняла глаза и в чёрном проёме двери увидела страшную белую рожу: огромные глаза с кровавыми веками, оскаленный рот, из которого стекала густая струя крови.

Она стала подниматься из-за стола, хватая воздух широко открытым ртом, отмахиваясь руками от страшного гостя или гостьи. Свет в кабинете погас, и в тишине раздалось зловещее:

— Ха-ха-ха!

Теряя сознание, она сползла на пол…

Васька, а это был, конечно, он, стащил с себя страшную маску, посветив фонариком, нашёл что-то в укромном месте за школьной мастерской и направился к дому директора. В доме не светилось ни одно окошко, было уже довольно поздно. Рыкнула было собака, но он кинул ей заранее припасённый кусок колбасы, и та замолчала. Да и Ваську она хорошо знала: чего же зря лаять? Оглядевшись, он увидел мотоцикл, накрытый брезентом, — физрук гордился своим «конём» и берёг его пуще глаза. Поминутно оглядываясь на тёмные окна, Васька долго копался возле мотоцикла, чем-то тихонько гремел. Наконец он закончил работу и, довольный, отправился домой.

Утром, идя на работу, народ был крайне удивлён и озадачен странной картиной: по дороге, как всегда, на бешеной скорости мчался Павел Альбертович на своём мотоцикле, а сзади громыхали на привязанной к багажнику верёвке два старых ведра, метла, колесо от велосипеда, ещё что-то дребезжащее, издающее невыносимый грохот. Физрук был в шлеме и, видимо, не слышал ни грохота, ни хохота учеников, спешащих на уроки, и не замечал ошарашенных прохожих. Резко затормозив возле школы и сняв шлем, он наконец понял, что стал посмешищем в глазах людей.

В посёлке ещё долго обсуждали это происшествие, судили-рядили, кто бы мог это сделать. Решили, что, скорее всего, ученики поозорничали.

На вопрос фельдшера Людочки, когда он вернёт шапочку, Васька только посмеивался и отвечал, что где-то её потерял.

Холодным осенним вечером Таня возвращалась из школы. Улица была совершенно пустынной, не горел ни один фонарь — фонари, если их даже и включали, тут же разбивали местные хулиганы. Она устало передвигала ноги, с трудом вытаскивая сапоги из густой жижи. Третий год месит она непролазную грязь — километр утром и километр вечером, из дня в день, в любую погоду. Дорога вся

в рытвинах, ухабах, ни одна машина не пройдёт, об автобусе можно только мечтать. В домах кое-где светились огоньки, люди рано ложились спать, а кто-то просто экономил электричество — времена наступили безденежные. Темнели бочки, которыми так восхитилась Таня в свой первый приезд в городишко. Она думала, что это противопожарные средства, а оказалось, что жители выставляют на них продукты для продажи проезжающим. И в зной, и в холод стояли бедные женщины у этих бочек, пытаясь продать бутылку молока или кочан капусты. Мужики этим не занимались, они пили. Работы не было. Дети ходили в школу в старой, заношенной одежде, а некоторые вообще бросили учиться.

Она уже подходила к дому, когда из-за бочки, стоящей у соседнего дома, отделилась какая-то фигура и направилась ей наперерез. За ней вторая. Таня хотела их обойти, но они преградили ей дорогу.

— Ну что, красавица, давай знакомиться! Я Валентин, а это Толик, брат мой. Не знали мы, что тут такая красотка появилась, — от него несло перегаром, речь его была невнятной.

Таня резко отшатнулась и попыталась пройти мимо. Она уже поняла, кто это. Несколько дней назад в магазине она встретила соседку Тоньку с двумя парнями под ручку. Обычно растрёпанная, не стеснявшаяся показаться на людях в халате, в тапочках, на это раз она была в нарядном платье с люрексом и в парике. Один из парней был высокий, тощий, некрасивый, с вислым носом, какой-то весь полинялый. Второй — пониже ростом, довольно симпатичный, черноглазый. Оказалось, вернулись из колонии после пятилетней отсидки её сыночки, угодившие туда за разбой. «Ну, теперь весело будет, — шушукались женщины у магазина, — пожили пять лет спокойно, теперь опять начнётся». Тонька, гордо вышагивая, не обращала никакого внимания на осуждающие взгляды. В первый же день молодцы, перепив на радостях, решили напоить свою собаку Жучку, которая ждала щенят и с трудом передвигалась, таща за собой отвисшее брюхо. Они насильно влили ей целый стакан водки, отчего бедная животина к вечеру скончалась. Они похоронили её за огородом и снова напились, устроив поминки.

Длинный, видимо, он был старший и верховодил, обнял Таню за плечи и не давал пройти. Младший глупо хихикал.

— Приглашаем отметить наше возвращение, — длинный тянул её в сторону сквера. — Толян, сбегай домой, захвати бутылочку и чего-нибудь закусить.

— Ага, я сбегай, а ты тут с этой кралей… — бормотал Толян.

Он был совершенно пьян. Таня, пытаясь вырваться, ударила старшего портфелем, но удар был слабым и не принёс никакого вреда нападавшему. Но он вдруг озверел и, размахнувшись, ударил её по лицу. Таня почувствовала, что по лицу потекла тёплая кровь, и закричала. А он, зажимая ей рот, пытался оттащить её с дороги в кусты. В доме напротив хлопнула дверь, и через минуту Таня почувствовала, что кто-то оторвал от неё нападавшего, и тот уже лежит, уткнувшись в грязь лицом. Рядом на карачках ползает второй. А Васька — конечно же, это был он, — напоследок поддав им хорошенько, ведёт её к своему дому. Почти у самого крыльца их догнал длинный, в руке у него блеснул нож. Василий, подтолкнув Таню к крыльцу, повернулся к нему:

— Давай кончай, Валька, а то ещё получишь… — он не договорил и, вскрикнув, упал в грязь.

Длинный, не удержавшись на ногах, тоже упал прямо на Василия и продолжал наносить ему удары ножом, страшно матерясь. Подскочил Толян и стал тоже избивать парня ногами, метя в голову. Таня закричала не своим голосом, захлопали двери, набежали люди. Братьев скрутили, кто-то побежал звонить в скорую, в милицию. Василия увезли. Он был без сознания. Мать его выла и голосила на всю улицу.

Василий был на грани жизни и смерти. Сотрясение мозга, переломы, заражение крови — грязь попала в многочисленные раны. Врачи сделали всё что могли, но никакой гарантии не давали. Таня день и ночь просиживала в больничной палате, мать его совсем обессилела от горя, и от неё было мало толку.

Слава Богу, он всё-таки выкарабкался, хоть и дали инвалидность на год. Наступила весна, и он сидел возле дома на лавочке, худой, бледный, тихий. Казалось, трагедия навсегда изменила его, не стало больше балагура, весельчака, хохмача. Но не тут-то было: скоро он как ни в чём не бывало опять носился по посёлку, рассказывал больничные байки, смешил народ и сам хохотал над ними.

Только с Таней он стал общаться как-то холоднее, да это и понятно, думала она. Чуть не погиб из-за неё! Виновата, безусловно, она. Ей казалось, что все в посёлке осуждают её, а больше всех — мать Василия. Она хотела даже сменить квартиру, но постепенно всё как-то успокоилось, позабылось — постоянно случались какие-то происшествия, правда, не такие трагические, и люди быстро переключались на них, забывая о прежних. А через год уже никто и не вспоминал про этот случай: мало ли драк среди деревенских парней? Чуть ли не каждый выходной устраивают побоища.

Приближались зимние каникулы. Домой ехать было далеко, одна дорога всё время съест, и Таня решила отдохнуть в каком-нибудь пансионате или профилактории. Купила путёвку в профилакторий недалеко от их городишка, принадлежащий

крупному областному предприятию. Путёвка была на восемнадцать дней, пришлось взять несколько дней без содержания.

Профилакторий находился в живописном месте, на берегу озера, с трёх сторон окружённого сопками, поросшими хвойными деревьями. Снег был такой белизны, что слепило глаза. Сосны и ели в белых пушистых шубах, ночное небо, усыпанное звёздами — в городе таких не увидишь, — всё напоминало сказку. Так и казалось, что сейчас из-за деревьев выйдет Дед Мороз или выбежит Серый волк с Василисой Прекрасной на спине.

Таня выходила на балкон и подолгу стояла, не замечая холода. Какие-то ещё неясные, неоформленные строки, образы мелькали в уме, она уже предчувствовала, что скоро родится очередное стихотворение, и от этого было радостно и немножко тревожно.

Не хотелось делить своё одиночество ни с кем, но номер ей достался на двоих с женщиной, как оказалось, тоже поэтессой.

Поэтесса была далеко не первой молодости. Об этом говорили обвисшие щеки, морщинистая, словно гофрированная, верхняя губа, красные прожилки вокруг носа, хотя следы несомненной былой красоты сохранились.

Высоко взбитая причёска, ярко подведённые глаза, высокие каблуки говорили о том, что она никак не хочет смириться со временем. Увидев её в первый раз, Таня улыбнулась. Королева Шантеклера какая-то, со своими перьями, блёстками, веером в руках…

— Виолетта Владиславовна, — представилась она при знакомстве. — Можно просто Виола.

«Ну конечно же, а как же иначе могут звать поэтессу?» — усмехнулась про себя Таня.

По утрам Виолетта выглядела непрезентабельно: отёкшая, с всклокоченными редкими волосёнками, шумно дышащая. Потом начинала приводить себя в порядок: водружала на голову шиньон, красилась, накладывала густые зелёные тени, выбирала многочисленные банты, брошки, бусы, примеряла платья. В голосе появлялись светские нотки, и когда она выходила на публику, трудно было узнать в этой даме старую немощную женщину. Таня посмеивалась про себя: у каждого свои тараканы в голове. Тётка была неплохая, но Таня иногда уставала от бесконечных рассказов о бесчисленных мужчинах, которые в прошлом домогались её любви. Упоминались известные писатели, поэты, сильные мира сего, и с каждым разом планка поднималась всё выше.

По вечерам отдыхающие собирались в фойе перед телевизором. Виолетта занимала место в кресле, стоящем в углу, под пальмой, и сидела как королева на троне, обмахиваясь веером; роскошная шаль скрывала её расплывшуюся фигуру. Вокруг собирались слушатели. В очередной раз мадам рассказывала о своей родословной. Оказывается, она была княжеского рода. Её предки были то сподвижниками Петра Первого, то вообще становились прямыми потомками Ильи Муромца.

Развлечений, кроме телевизора и танцев, в профилактории не было. Но Тане это даже нравилось, хотелось отдохнуть в тишине, почитать, помечтать. Никак не складывались в единое целое строчки, навеянные зимней сказкой. К тому же мешал какой-то грохот наверху, прямо над их номером что-то падало, тяжёлое, металлическое, как будто бросали на пол штангу. «Спортзал там, что ли?» — думала Таня. В один из вечеров она не выдержала и, как была, в халатике, решительно направилась на второй этаж. Из-за двери слышались громкие голоса, несло табачным дымом и раздавались всё те же странные звуки. Она постучалась, но никто не ответил. Толкнув дверь, она вошла в прокуренное помещение, оказавшееся небольшим залом, в центре которого стоял бильярдный стол. Трое игравших мужчин не обратили никакого внимания на Таню, они её просто не заметили. Сопровождая каждый удачный удар громкими возгласами, они кружили вокруг стола, выискивая удобную позицию. Шар, попадая в лузу, не задерживался в дырявой сетке и с грохотом падал на пол.

Таня, постояв несколько секунд и не зная, как обратить на себя их внимание, взяла и просто выключила свет. Раздались удивлённые возгласы, кто-то двинулся в сторону двери, стал нашаривать рукой выключатель и наткнулся на Таню.

— Что такое? Кто здесь?

Таня включила свет. Игроки ошарашенно смотрели на Таню: кто это?

— Вы кто? Зачем вы выключили свет? — молодой светловолосый мужчина смотрел на Таню. — Вы комендант, что ли?

— А вы что, не понимаете, что мешаете отдыхать людям?

— И чем же мы помешали людям?

— А тем, что уже поздно, а вы всё стучите и стучите. Скоро потолок проломите!

— Девушка, да где же поздно? Десятый час всего. Мы режим соблюдаем.

— А вы не подумали, что многие пожилые люди уже ложатся спать в это время?

— Ну, извините, девушка, конечно, в вашем возрасте уже пора спать, девять часов как-никак, — светловолосый насмешливо смотрел на неё.

— Да вы к тому же ещё и нахал! — Таня, кипя возмущением, громко хлопнув дверью, отправилась к себе.

Лёжа в постели, она уже ругала себя: зачем ввязалась в эту историю! Разве им что-то докажешь, мужланам невоспитанным?.. И этот ещё, смотрит так нагло…

Наверху было тихо. «Ага, испугались всё-таки, что пожалуюсь…»

Не спалось. Попыталась сложить неподдающиеся строчки, но ничего не получалось. В окно молча смотрели звёзды. Похрапывала на своей кровати Виолетта.

В столовой профилактория было самообслуживание. Таня с Виолеттой, стоя в очереди, разглядывали меню и тихо переговаривались.
— Суп из баранины «Юбилейный»,— громко прочитала какая-то женщина.— Интересно, а почему юбилейный?
— Барану пятьдесят лет исполнилось,— ответил весёлый мужской голос.

Очередь расхохоталась. Таня оглянулась и увидела, что за ней стоит тот самый нахал вчерашний. Он, оказывается, ещё и остряк. Она сердито отвернулась; слава Богу, кажется, он её не узнал.

После обеда, не зная, чем заняться, она взяла моток пряжи, крючок (собиралась во время отдыха связать что-нибудь, да так и не собралась пока) и направилась на второй этаж, в бильярдную. Пока никого нет, она заштопает дырявые сетки, у администрации профилактория, видимо, нет времени на это.

Осталось зашить последнюю сетку, когда вдруг распахнулась дверь, и в бильярдную вошёл тот самый, светловолосый. Таня с досадой прикусила губу. Этого ещё не хватало! Общаться с ним не было никакого желания. Хотя с чего она взяла, что ему с ней захочется общаться?
— О, какая приятная встреча!— воскликнул он.— А я утром в столовой не сразу вас узнал, подумал, просто похожа на вчерашнее привидение в халате… Оказывается, это точно вы. Ну что, давайте знакомиться, раз уж судьба свела. Я — Андрей.
— С чего вы решили, что я хочу с вами познакомиться?— сердито спросила Таня.
— А разве нет? Я вам не нравлюсь?
— Нет!— отрезала Таня, и, завязав последний узелок, вышла.

До конца путёвки оставалась ещё неделя. Виолетта хлопотала о проведении своего творческого вечера. В фойе появилась афиша с портретом Виолетты в молодом возрасте, с неизменным бантом на голове, извещавшая о данном мероприятии. Виолетта уговаривала Таню принять участие к вечере, но Таня категорически отказывалась, она не любила публичности и даже то, что пишет стихи, особо не афишировала. А уж выступать на публике — это вообще не её.

Актовый зал профилактория был полон. По телевизору окончился сериал, новый ещё не начался, поэтому почти все отдыхающие были здесь. Таня сидела в первом ряду, они договорились с Виолеттой, чтобы та, глядя на знакомое лицо, чувствовала себя уверенней на сцене. Хотя уверенности ей было не занимать.

Поэтесса рассказывала о своём творческом пути, читала стихи, показывала видео с песнями на свои произведения. Зрители от души хлопали в ладоши, Виолетта была счастлива. Таня искренне радовалась за неё.

Виолетта, поблагодарив публику за внимание, вдруг сказала:
— Дорогие друзья, в нашем зале находится ещё одна замечательная поэтесса (Таня усмехнулась: ещё одна), зовут её Татьяна, и я прошу её подняться на сцену и почитать свои стихи.

Счастливая Виолетта не боялась поделиться своим триумфом с другими.

Публика стала хлопать, Таня, смутившись, сидела ни жива ни мертва: ну зачем так, Виолетта? А та продолжала настаивать:
— Ну что же вы, Танечка?! Просим, просим!

Таня отнекивалась — и вдруг поймала насмешливый взгляд этого… как его… Андрея, что ли? Ах, так? Она поднялась на сцену, но вдруг поняла, что не сможет произнести ни одного слова. Все стихи вылетели из головы, она буквально не помнила ни одной строчки. Публика хлопала в ладоши, послышались смешки, она готова была провалиться сквозь землю. Потом, собравшись с духом — всё-таки она была учительницей и умела овладеть вниманием, по крайней мере, детей,— пролепетала что-то невнятное и опомнилась только на своём месте. Когда туман перед глазами рассеялся, она увидела, что на сцене стоит её новый знакомец, или, вернее, незнакомец, что-то читает, зал аплодирует, за ним поднимается ещё кто-то… Вечер, по всему видно, удался. Разумеется, главной героиней была Виолетта.

Таня, стараясь быть незамеченной, выбралась из зала. Никто не обратил на неё внимания — все были заняты происходящим на сцене. Надев куртку и сапожки, она вышла на улицу. В чёрном бархатном небе сияла невероятно большая луна, мерцали звёзды, заснеженный лес казался волшебным, как на новогодней открытке. Она пошла по расчищенной аллее, удаляясь всё дальше от освещённого входа. «Луна, моя подруга, ты, как и я, одна,— складывались в голове строчки,— ждёшь не дождёшься друга, а ночь темным темна…»

Вдруг ей послышалось, что кто-то идёт вслед за ней. Стало страшно: куда она это забрела, ночью, одна?
— Не страшно гулять одной?— раздался уже знакомый голос.

Она оглянулась. Так и есть. Опять он.
— Вы что, меня преследуете?— сердито спросила Таня.
— Ну что вы! Просто вышел прогуляться, подышать свежим воздухом.
— Ну и гуляли бы где-нибудь в другом месте!
— А это что, ваши владения? В таком случае простите великодушно, сударыня!

Таня, не отвечая, ускорила шаг. Но он не отставал.
— Таня,— он тронул её за плечо.— Я ведь не ошибаюсь, вас Таней зовут? Почему вы такая колючая? Просто ёжик какой-то! Я вас чем-то обидел?
— Не люблю назойливых людей,— отрезала она.— Всего хорошего!
— Кстати, спасибо за сетки!— успел крикнуть он, прежде чем она скрылась за дверью.

Счастливая Виолетта уже давно похрапывала, а Таня никак не могла уснуть. Пыталась что-то сочинять— бесполезно, ничего не лезло в голову. Читала про себя стихи, она любила это делать и, кстати, никогда поэтому не скучала, если приходилось ждать, например, поезда или стоять в очереди. На этот раз ничего не помогало— перед глазами всё время всплывало красивое лицо этого… этого… красавчика… его слова… Колючая она, видите ли! Да никакая я не колючая. Стало так жалко себя: никто её не понимает, никто не любит… Хотелось плакать.

3.

— Сына, ну что это такое? Опять Марина Юрьевна на тебя жаловалась,— Таня старалась говорить строго, хотя сердце её переполняла нежность к сыну.— Плохо себя ведёшь, не хочешь кашу есть…
— Не кашу, а запеканку,— уточнил сын.— Да если бы ты её сама попробовала, тоже не стала бы есть.
— Ну как же я её попробую?— устало сказала Таня.— Я же в садик не хожу.
— Да вот она, у меня в кармане,— Дениска выгреб из кармана кусок слипшейся массы серого цвета.

Татьяна ахнула. Только сейчас она заметила, что на шортах сына расплылось жирное пятно. Теперь не отстирать, придётся новые покупать. Она вздохнула. Ну Дениска, ну удружил. Каждый день какой-нибудь сюрприз! А что в школе будет?!

Недавно на занятиях воспитательница предложила придумать слово из букв «а», «к», «л», «о», «ш». Большинство детей сложили слово «школа», а Денис— сразу два: «школа» и «олкаш». Чуть со стыда не сгорела!
— Ой,— прервал её мысли громкий крик Дениса,— мама, смотри, моя белка!

Они шли по аллее одного из многочисленных сквериков, разбросанных там и тут среди многоэтажек их таёжного городка. При строительстве оставляли нетронутыми участки тайги, и они прекрасно вписались в городской ландшафт и стали излюбленными местами для прогулок. Белки, бурундучки, обитающие в них, привыкли к людям и совершенно их не боялись.

На одной из скамеек сидел пожилой мужчина и кормил белочку. Испугавшись крика, она мигом взлетела по стволу сосны и сидела там, с любопытством разглядывая людей.
— Белочка, белочка, спускайся,— звал Денис,— я тебе угощение принёс!
— Это не та белочка,— сказала Таня,— наша худенькая, а эта смотри какая упитанная!
— А может, она уже потолстела, я же её кормил!
— Ну как же она могла за три дня потолстеть, Денис?.. Пойдём скорее, нам надо ещё в магазин зайти…

Дениска побежал по аллее, громко крича:
— Белочка, моя белочка, ты где? Иди сюда! Я тебе еды принёс! Белочка, которая голодная, ты где?

Впереди по аллее шли мужчина и женщина, держа за руку мальчика такого же возраста, как Дениска. Дениска вдруг остановился как вкопанный, потом кинулся вслед. С криком:
— Папа!— он догнал идущих и повис на мужчине.

У Тани сжалось сердце: это был Андрей со своей новой семьёй.

Женщина с мальчиком молча стояли в сторонке, потом мальчик сорвался с места и стал оттаскивать Дениску от отца.
— Это мой папа!— Денис пинал пацана.— Это мой папа!
— Нет, это мой папа, мой!— не отпускал его мальчишка.
— Папа, скажи ему!— сквозь слёзы кричал Дениска.— Папа, скажи ему!

Андрей, оглянувшись на женщину, оторвал от себя Дениса и, подтолкнув его к Тане, процедил:
— Иди к маме.

Взяв за руку ревевшего мальчишку, он быстро пошёл по аллее, и вскоре троица скрылась за поворотом…

Денис наконец заснул. Спал беспокойно, вздрагивал, всхлипывал, потом постепенно успокоился и задышал ровно. Таня закрылась в ванной и долго плакала там, стараясь не рыдать громко.

Она уже свыклась с тем, что Андрей ушёл из семьи, но сегодняшняя встреча вновь всколыхнула обиду— не столько за себя, сколько за сына. Бедный ребёнок! Пусть разлюбил её, Таню, но сын! Как можно было предать свою родную кровиночку?! Таня представила, что испытал Дениска, увидев своего папу с чужим мальчиком, и волна гнева и отчаяния захлестнула её.

Сквозь шум воды она услышала настойчивый звонок телефона. Кто это так поздно? И вдруг её словно обожгло: это, наверное, Андрей. Может, решил вернуться? Может, совесть замучила, хочет поговорить с сыном, сказать, что любит его, родного и единственного? Она, чуть не упав на мокром полу, схватила телефон.
— Алло, алло! Андрей, ты?
— Нет, это не Андрей. Это я, Таня, Василий.
— Какой Василий?— Таня не сразу сообразила, кто это.

— Василий, сосед твой, Данифар Рахас, помнишь? — хохотнул в трубке голос.
— Вася! — обрадовалась Таня. — Откуда ты взялся? Ты же где-то на Севере!
— Да приехал вот… Ну как ты? Как поживаешь? Никто не обижает? Ты скажи, если что — составим списочек и ликвидируем по одному! — как всегда, балагурил он. — Надеюсь, найдёшь как-нибудь пару часиков для старого друга. Если, конечно, муж разрешит.

Таня хотела ответить расхожей фразой «муж объелся груш», но промолчала — потом всё расскажет.

Она до сих пор испытывала вину перед Василием и надеялась только, что он давно забыл обо всём. Как забыл или не помнил вообще всё, что произошло ещё раньше, в больнице, когда он умирал после ранения. Вернув Василия с того света, врачи, однако, не скрывали от родных, что дело может кончиться печально. Таня вместе с его матерью день и ночь дежурила в палате. Она понимала, что виновата, если бы не она, Василий сейчас бы бегал по улицам родного посёлка, хохмил, играл в футбол и сочинял свои смешные стихи. А вместо этого лежит сейчас вот здесь, без сознания, и неизвестно, чем всё это кончится.

В один из пасмурных дней в окно заглянуло редкое уже солнце. Луч света пробежал по его лицу, и он вдруг открыл глаза. Таня испуганно вскрикнула, хотела разбудить дремавшую мать, но он что-то прошептал, и она поближе нагнулась к его лицу. «Таня, — едва слышно прошелестел его голос, — я тебя люблю. Всегда любил…» — «И я, и я тебя люблю, Вася!» — в ответ зашептала Таня сквозь слёзы. Она страшно испугалась: наверное, он умирает, она слышала, что перед смертью человек может прийти в себя, чтобы сделать или сказать то, что не успел при жизни. «Таня, — ты… ты выйдешь за меня?» — едва различала она его шёпот. Сердце сжималось от горя: Васька, Васька, верный мой защитник, порой смешной, порой надоедливый… Неужели он умрёт? И она, только она будет виновата в его смерти. «Да, да, Васенька, ты только выздоравливай скорей, и мы поженимся, только не умирай». Но он уже не слышал её — снова впал в забытьё.

К счастью, всё закончилось благополучно. Он ни разу не напомнил Тане о данном ею обещании, да, наверное, и сам не помнил этого. По крайней мере, так хотелось думать Тане, она не знала, что делать, если он заведёт об этом разговор.

Он ничего не сказал, и когда узнал про Андрея. Только стал реже попадаться ей на глаза. Да ей тоже было не до него: отношения с Андреем развивались так стремительно, так поглотили её целиком, что мир вокруг перестал для неё существовать.

А Андрей вдруг исчез. Уже второй месяц ни звонка, ни слуху, ни духу. Таня терялась в догадках, пробовала его искать через знакомых — никто ничего о нём не знал.

Она внешне вела привычную жизнь: школа, ученики, тетради, контрольные, педсоветы, — а внутри у неё всё кровоточило. Она не понимала, что произошло. А может быть, с ним случилось что-то страшное? Но что? Или… он испугался, когда узнал, что она ждёт ребёнка?

Время шло, она по-прежнему ничего о нём не знала. Плакала ночами, понимая, что скоро станет предметом для пересудов, и подумывала уволиться, но совесть не позволяла сделать это до конца учебного года.

«Тань, — услышала она как-то знакомый голос, — ты чего такая смурная?» Задумавшись, она стояла у калитки и не заметила, что Василий уже долгое время наблюдает за ней со своего крыльца. Она ничего не ответила, слёзы душили её. Василий подошёл, внимательно посмотрел на её осунувшееся лицо. «Что случилось, Танюша?» И вдруг ей так захотелось пожаловаться кому-то, поплакаться в жилетку! И, уткнувшись в его свитер, судорожно всхлипывая, она рассказала ему всё. Он не проронил ни слова, только сердце его забилось, как пойманная птица, и дыхание стало прерывистым, рваным. Танина хозяйка выглядывала в окошко, мимо проходили какие-то люди, и Василий чуть ли не силой увёл её в сторону парка. «Что мне делать, Вася? Ведь все скоро узнают, позору не оберёшься!» — «Что делать, что делать, — грубовато сказал Василий, — выходи за меня замуж. Ведь ты же обещала тогда, в больнице». Она, охнув, отстранилась от него. Оказывается, он всё помнил! «Ты что говоришь?! Что ты такое говоришь?! — закричала она. — Ты издеваешься надо мной, что ли? Как я могу выйти за тебя, ведь я жду ребёнка от другого!» — «А лучше будет, если весь посёлок узнает? Да тебя с грязью смешают, ты что — не понимаешь? Мы зарегистрируемся, и все подумают, что ребёнок мой…» Она молчала, совершенно оглушённая этими словами. «Я же люблю тебя, ты знаешь, — Василий робко взял её за руку, — с первого дня, когда тебя увидел, влюбился без памяти…» Она отняла руку. «Нет, Вася, я не могу, ведь ты меня просто жалеешь». — «А если и жалею — разве это плохо? Людям надо жалеть друг друга…»

Она встала со скамейки — пора домой, уже поздно. Но он удержал её: «Подожди. Давай так: мы поженимся, но если ты не хочешь со мной жить как муж и жена, то… я всё равно… Я не буду настаивать, но я должен защитить тебя от злых языков. Поживём, а там видно будет…»

Ночью, лёжа без сна, Таня обдумывала предложение Василия и понимала, что никогда на него не согласится. Прежде всего потому, что уважала и любила его как друга и так унизить его не могла. Пусть останется всё как есть. Она должна выпить

свою чашу позора, обиды и одиночества сама. При чём здесь Вася, добрый, бесхитростный человек, настоящий друг? Она не будет портить ему жизнь.

Утром, выйдя из калитки, она увидела Василия, поджидавшего её. «У тебя паспорт с собой?»— спросил он. Она кивнула. «Тогда иди отпросись с работы, поедем в город, в загс».

О своём решении они никому не стали пока говорить, кроме матери Василия. Та не сильно обрадовалась этому известию, из-за неё она чуть не потеряла сына. Таня понимала это и не обижалась.

Василий ходил окрылённый. Таня—внешне не показывала свои страдания, но сердце её было неспокойно, мучила совесть. Она любила Андрея и верила, что он объявится и всё будет по-прежнему.

Он появился в посёлке перед самым Новым годом—и всё встало на свои места. Таня, ни минуты не раздумывая, уволилась с работы и уехала с ним.

Василий, как она потом узнала, тоже уволился и уехал на Север. Она, счастливая, и не вспоминала о нём все эти семь лет, и вот он снова напомнил о себе. Как-то так получалось, что он всегда оказывался рядом, в самый трудный момент. Она раньше об этом не думала, просто принимала всё как должное: есть друг, товарищ, который всегда поддержит, поможет, спасёт. А все годы своей счастливой семейной жизни она и не нуждалась в чьей-то посторонней помощи.

А счастливая семейная жизнь внезапно рухнула. В то беспокойное время «лихих девяностых» рухнуло многое: и страна, и привычный уклад жизни, и семьи… Люди теряли работу, не могли найти себя в новых реалиях, годами не получали зарплату, спивались. Андрею повезло, после закрытия завода он устроился в одну из фирм, помощником хозяина, его давнего знакомого. Всё складывалось хорошо. Таня тоже продолжала работать в школе. Одно ей не нравилось: Андрей всё чаще стал приходить домой навеселе. Начальник его был абсолютным трезвенником, и когда предстояла какая-нибудь деловая встреча, где всё всегда заканчивалось выпивкой, он отправлял вместо себя Андрея. Тот вначале неохотно принимал участие в таких мероприятиях, но со временем втянулся, обзавёлся нужными знакомствами, стал вхож в городскую элиту. Несколько раз побывал за границей, откуда привозил Тане и сыну подарки,—внешне всё было хорошо, многие им завидовали. Но Таня всё чаще оставалась дома одна с сыном и порой не знала, где муж и что с ним.

Предприниматели города организовали какой-то свой выездной то ли семинар, то ли просто «междусобойчик», который должен был проходить на круизном теплоходе, курсировавшим по реке Амур—ближе, видимо, реки не нашлось. Через две недели Андрей вернулся отдохнувшим, помолодевшим и каким-то новым, не похожим на себя. Домой приходил, как всегда, поздно, уставший, сразу ложился спать, даже не поиграв с сыном. Спиртным от него не пахло, и Таня была очень довольна. Но временами что-то не давало ей покоя, она сама не знала—что. Он стал молчаливым, задумчивым, о поездке рассказывал неохотно, а если рассказывал, то в его разговорах всё чаще стала упоминаться какая-то Галя: Галя то, Галя сё… «Что за Галя?—спросила она однажды.—Ты так часто о ней говоришь».—«Какая Галя?—огрызнулся он.—О чём ты?» Но больше о поездке не вспоминал.

Всегда найдутся добрые люди, чтобы открыть глаза ближнему. Вот и Тане доложили, что часто видят Андрея с Галиной, владелицей самого большого магазина в городе. Сердце сжалось от недоброго предчувствия, но она взяла себя в руки: ну видят, ну и что? Они же деловые партнёры, вот и встречаются. Но в сердце появилась тревога: а вдруг правда? И она решила не прятать голову в песок, а спросить мужа напрямик. Андрей тоже не стал юлить: «Да, у меня появилась другая женщина, я её люблю».—«А как же я? Как же Дениска?»—Таня не могла поверить своим ушам. Наверное, он её разыгрывает, ведь он так любит сына. Муж пожал плечами: «Я хочу начать новую жизнь. Сыну буду помогать».

Со временем Таня свыклась с мыслью, что Андрей разлюбил её: что ж, бывает. Хотя сердце болело и кровоточило ещё долго. И вот сегодня эта встреча. Обиднее всего было за сына. Как он мог?! Как такое может быть? Ведь это его родная кровиночка. Когда родился Дениска, он был совершенно счастлив. Сам купал его, гулял с ним, вставал ночью менять пелёнки. Когда сын подрос, стал водить его в зоопарк, на аттракционы, старался воспитывать в нём мужчину. Дениска его обожал. И вот… Ведёт за ручку чужого мальчика, а своего оттолкнул, как надоедливого щенка…

В соседней комнате вскрикнул Дениска, прервал её невесёлые мысли. Она легла рядом с ним:
—Спи, мой родной, я с тобой, всё будет хорошо…

Он ткнулся в неё, как кутёнок, засопел, и сердце её переполнилось нежностью и любовью. Никто ей не нужен, никто! Она сделает всё, чтобы он рос счастливым!

—Дядя Вася, а ты белого медведя видел?—Дениска, оторвавшись от конструктора, смотрел на Василия, замирая от восторга и ужаса: неужели видел?
—Нет, Денис, медведя не видел.
—У-у-у,—разочарованно протянул Дениска.
—Белые медведи в Арктике водятся, а я до Арктики не добрался. Зато я видел северное сияние…
—Северное сияние? А что это такое?—Денис с интересом смотрел на Василия, вдруг пошатнувшийся авторитет которого снова поднялся.
—А вот приедете с мамой ко мне на Север, и я тебе покажу, что это такое.

Таня, складывая в стопку выстиранные вещи сына, подняла голову и встретилась взглядом с Василием. Ну зачем он? Она видела, что Дениска за эти несколько дней привязался к нему, ходил за ним хвостиком, буквально смотрел в рот. Надо прекращать это тесное общение. Ни к чему хорошему это не приведёт. Дениска привыкнет к нему, а потом снова разочарование.

— Дядь Вась,— дёргал его за рукав Дениска,— а ты сейчас расскажи, что такое северное сияние.
— Денис, не приставай к дяде Васе! И вообще, пора спать. Быстро чистить зубы — и спокойной ночи!

Денис, обиженно засопев, отправился в ванную.

Видел я северное сияние, Дениска, конечно, видел, думал Василий, лёжа без сна в номере убогой гостиницы. И много чего ещё видел в тундре за эти годы. Он исколесил её вдоль и поперёк. Тонул в непроходимых болотах, кормил огромных, рыжих и злых, комаров; зимой, в пятидесятиградусный мороз, замерзал на трассе в заглохшей машине…

Жизнь на Севере не мёд, это понятно. Но он привык и даже полюбил Север. И удивлялся самому себе, когда, находясь в отпуске где-нибудь на юге, вдруг начинал тосковать и рваться назад, туда, где бушуют ураганы и солнца не видишь по полгода. Зато какое счастье, когда на горизонте появляется узкая светлая полоска и на небо нехотя, медленно и устало поднимается невесёлое солнце! И хоть висит оно на небе всего час-другой, всё равно чувствуешь, что всё — конец долгой страшной зиме, и скоро оживёт природа, и вместе с ней оживёт душа.

Все эти годы он шоферил. Дорог на Севере практически нет — болота, топи, много узких, но глубоких рек. Зимой — только зимники. Идёт трактор, прочищает широкую полосу в глубоком снегу — всё, дорога готова. Случались разные происшествия. Однажды он в самом деле чуть не замёрз. Они с напарником оказались в глубоком кювете, машина не перевернулась, но застряла в снегу основательно. Попытка как-то исправить положение не увенчалась успехом, и от неудачи, от холода они начали, не выбирая выражений, в отчаянии упрекать друг друга, чуть до кулаков не дошло.

Ночь, мороз под пятьдесят, кругом на сотни километров ни души, только звёзды равнодушно смотрят на застывшую в ледяных объятьях землю. И на две маленькие человеческие фигурки, размахивающие руками.

Почти как у его любимого Высоцкого:

Дорога, а в дороге — МАЗ, который по уши увяз,
В кабине — тьма, напарник третий час молчит.
Хоть бы кричал, аж зло берёт,—
Назад пятьсот, пятьсот вперёд,
А он — зубами «Танец с саблями» стучит.

Мы оба знали про маршрут,
Что этот МАЗ на стройке ждут,—
А наше дело — сел, поехал, ночь-полночь.
Ну надо ж так — под Новый год
Назад пятьсот, пятьсот вперёд.
Сигналим зря — пурга, и некому помочь.

Они забрались в кабину — всё-таки хоть какое тепло, печка пока исправно работала. Бензин расходовать не боялись, с собой ещё две канистры. Молчали. Говорить было не о чем. Каждый думал о том, выберутся ли живыми. Надежды никакой. Снаружи пурга набирала силы, ревела, как раненый медведь, кабина уже по окна была занесена снегом. Тихо работающий двигатель навевал сон. «Замёрзнем ведь, Вася,— захныкал Пашка,— а у меня дети… Как они будут без меня?» — «Да замолчи ты! Заладил: замёрзнем, замёрзнем,— зло сказал Василий.— Что ты каркаешь? Дождёмся утра и попробуем вытащить машину. У меня одна идея появилась…» — «Какая идея, Вась?» — шмыгая носом, спросил с надеждой напарник, но Василий не ответил. Мысли его были далеко.

Он думал, что вот, может быть, здесь и закончится его жизнь. А что он сделал в этой жизни, кого сделал счастливым? Никто и не вспомнит, что был на свете такой Василий Сахаров, Васька-Рафинад, хохмач и весельчак… Друзья-приятели выпьют за помин души и назавтра забудут — у каждого свои заботы и проблемы. Тамара? Да что Тамара! Так, «подруга дней моих суровых» для редких встреч… В общем, ни семьи, ни любви… Нет, если удастся выбраться из этой передряги, надо кончать с этой жизнью. Уедет на юг, к Чёрному морю, купит там домик, благо денег заработал прилично, и будет наслаждаться теплом и солнцем. И он представил, что лежит на золотом песке, набегающие волны щекочут ноги, а из моря, вся в сверкающих капельках, выходит Таня… Таня-Танюша, песня моя неспетая!

Он был сейчас так далеко отсюда, что не слышал воя пурги, не ощущал холода, постепенно заполнявшего кабину, и не услышал, что звук урагана стал другим. Очнулся от громкого стука в дверцу кабины — на них чуть не наехал вездеход, водитель которого, заметив какое-то тёмное пятно в снежной круговерти, решил посмотреть, что это такое.

Василий вздохнул, посмотрел на светящиеся стрелки часов: три часа. До рассвета ещё далеко. Уснуть, видно, не придётся. Вчера он сделал предложение Татьяне. Она только удивлённо посмотрела на него и ничего не сказала и вообще никак не прореагировала на его слова, что он увезёт их с Дениской на юг, там у него, на самом берегу моря, есть дом, и как хорошо им будет вместе. Он любит её и сделает их с Дениской счастливыми! Он никому не даст их в обиду.

Он много ещё чего говорил, а она молчала, и в глазах её Василий не увидел ничего, кроме глубокой тоски.

Скоро рассвет… Он закурил, распахнул окно — вон, через дорогу, её дом. Но она так же далека от него, как была далека всегда. Он для неё только друг. И никогда не станет никем иным. Даже если согласится стать его женой. Она не любит его, он всегда это понимал. И как же она будет жить с нелюбимым? Разве она будет счастлива? А он хочет, хочет сделать её счастливой, но, получается, сделает её ещё более несчастной?

Вечером, встретив её после уроков, он ни слова не сказал о вчерашнем разговоре, и она с благодарностью взглянула на него. И от этого благодарного взгляда ему стало так больно и горько, что он чуть слышно застонал. Она с видимым облегчением восприняла его слова, что ему надо срочно уехать.

— Спасибо, Вася! — она на мгновение прижалась к нему и тотчас отстранилась. — Спасибо тебе за всё.

Через месяц Татьяна получила заказное письмо. В нём была дарственная на дом в Геленджике на её имя и небольшая записка. Адреса и телефона Василия в ней не было…

ДиН ревю

Екатерина Юркова

Пробуждение Венеры

Челябинск: ЧГИК, 2018

● ● ●

За искушение Еву благодарю!
За то, что оставила жизнь в раю.
За то, что от чрева к чреву меня несла.
За то, что в час беспокойный,
За то, что Ева не знала сна.
Ночью, звенящей звёздами, у огня
Ева в любви баюкала пра-меня.
С ветром пускала голос свой — колыбель,
Чтобы он через время ко мне летел.
Голос её — оставшийся лепесток —
С ветром принёс жизни живой глоток.
Словно по венам ток — алая вода —
Льётся по генетическим проводам.
Бьётся, пульсирует у меня в груди
Песня, с которой мне суждено пройти.
Песня, в которой вся молчаливость звёзд.
Песня, в которой тяжесть и лёгкость слёз.
Песня, с которой можно всё изменить,
Если порог Эдема переступить.

● ● ●

Хорошо облаком плыть.
Не нужна облаку прыть.
Хорошо облаком быть —
из себя всё вынуть.
Крика в облаке нет.
Боли в облаке нет.
Скуки в облаке нет —
всё навылет.
Облаком падать мягче.
В облаке солнце прячет
истину, что горчит, —
одноголосный причет.
Беды — как в решето.
Облаком плыть решено.

Олег Лузин

Как появился мир?

Я постоянно чувствовал любовь и даже знал, где она живёт в моём теле. Это не банальное сердце, воспетое поэтами. Дом любви—это солнечное сплетение! Я чувствовал, как внутри него крутятся с бешеной силой качели. Они раскачивались и делали полный оборот—«солнышко», унося меня в небо, а потом возвращая на землю, а потом снова в небо…

Я шёл по улице и прислушивался к «солнышку» внутри себя. Там привычно вертелись качели и грелась любовь. И вдруг качели замерли! Застыли на самой верхней точке. И я замер. Это было непривычно. Я поднял глаза и осмотрелся.

Был обыкновенный жаркий летний день. На улице много людей и машин. Поначалу я не увидел ничего необычного, не заметил белых нитей, которые выходили из солнечного сплетения каждого человека и вились петлями по дорогам. Осознание чуда пришло не сразу. Какое-то время эта картина мне казалась естественной. Как будто я видел эти нити всегда, только не обращал на них внимание.

Белые нити переплетались, путались, на них наступали люди и даже наезжали машины, но они не рвались. Нити были тонкими, мягкими и крепкими. Я посмотрел на себя и тоже увидел прозрачную белую нить, выходящую из моего солнечного сплетения. Она была длинной, казалось, бесконечной. Мне захотелось увидеть, куда тянется моя нить. Я посмотрел вдаль, и заметил, как среди людей идёт Марина. Моя белая нить, обходя стороной все преграды, заканчивалась в её солнечном сплетении. И тут я понял, что у меня с ней одна нить на двоих!

Марина увидела меня и помахала рукой. Видение быстро исчезло. Я побежал к ней навстречу. Мы обнялись и поцеловались.

— Ты знаешь, Маришка, что мы с тобой никогда не потеряемся?—сказал я дурашливым тоном.

Привычка говорить о важных вещах шутя была у меня с детства.

— Почему?—кокетливо спросила она.

— Потому что нас связывает нить. Связующая нить! Слышала о такой?

— Слышала, слышала…

— А её видел сейчас! Она из «солнышка» выходит,—я постучал себя по животу.—И у нас она одна на двоих.

— И зачем я дурачка себе такого нашла?—Марина захохотала, взяла меня под руку, и мы двинулись с ней не спеша по улице домой.

Дома неожиданно Марина вспомнила, что к нам придут вечером гости, и попросила меня сходить в магазин—купить чего-нибудь вкусного к чаю, пока она будет готовить ужин. Идти никуда не хотелось. Я посмотрел с мольбою в глазах на Марину.

— Сходи, сходи, тебе полезно будет ещё раз прогуляться,—сказала она, улыбаясь, намекая на мой лишний вес.

— Только если поцелуешь,—закапризничал я.

Марина подошла ко мне и дежурно чмокнула в щёку.

— Хватит?—спросила строго она.

Я прижал её к себе и попытался поцеловать по-настоящему. Она отстранилась и, улыбнувшись, сказала:

— Когда придёшь, поцелуешь. Быстрее вернуться захочешь.

Я улыбнулся и, сделав обиженную мину, вышел на улицу.

Около магазина моё внимание привлёк киоск «Канцтовары». Я подошёл к нему и увидел, что продают коллекцию новых почтовых марок из серии «Великие космонавты». Коллекция была посвящена Юрию Гагарину. Я попросил продавца показать марки. На одной было напечатано вечно улыбающееся лицо первого космонавта, на двух других—первый спутник и первая ракета, и ещё на трёх—инопланетные миры. Марки мне очень понравились. Они были большие и яркие.

— Брать будете?—подозрительно спросила меня продавщица.

— Конечно. Сколько они стоят?—ответил я.

Но марки купить не успел, потому что раздался страшный гул, и землю сильно тряхнуло. От падения меня уберегла подставка под сумки, приделанная к окошку ларька. Я зацепился обеими руками за неё. Продавец в ларьке тоже с трудом удержалась на ногах. Я успел заметить страх в её глазах.

Подземный толчок был сильным и недолгим. Многие люди даже не поняли, что произошло. Поначалу испугавшись, уже через минуту они

спокойно шли по своим делам, забыв о происшествии. Оглядевшись и не увидев никакой опасности, связанной с неожиданным шумом, я тоже спокойно направился в магазин, но дойти до него я не успел. Моё внимание привлекла образовавшаяся трещина в стене соседнего дома, находящегося рядом с киоском «Канцтовары».

Стена, где образовался разлом, находилась с торца здания, в тени зарослей клёна. Окон с этой стороны дома не было. Трещина в стене тянулась тонкой паутиной от самой крыши. Сверху она была небольшая, практически незаметная, а книзу разошлась до метра в ширину. Странно, но дом стоял твёрдо и падать не собирался. Многие люди проходили мимо, не обращая никакого внимания на разлом в стене, как будто он всегда был здесь. Больше в округе я никаких разрушений не заметил.

Сначала я постоял некоторое время около трещины, изучая её с улицы. Этим же делом рядом со мной занимались ещё два человека. Молодая, спортивного вида девушка и пожилой задумчивый мужчина в очках. Я первый отважился и заглянул через трещину в глубь дома. Внутри было темно, а фонарика или спичек у меня с собой не было, но, несмотря на это, я не испугался и вошёл в глубь дома. Света с улицы мне хватило, чтобы понять, что я оказался в большой комнате. Через трещину появилась девушка, а вслед за ней—философского вида мужчина. В руках у женщины были спички. Она взяла в горсть сразу несколько и чиркнула ими по коробку. В комнате стало светло.

— Надо включить здесь свет,—сказала девушка.—Вон там, в углу, выключатели. Будьте добры, мужчина, щёлкните тумблером,—обратилась она ко мне.

Я включил свет и поразился тому месту, где мы оказались.

Комната была пыльной и неприбранной и походила на огромный склад. На высоком потолке тусклым светом освещала пространство одинокая лампочка без плафона. Стены были не заштукатурены и не оклеены обоями. Толстый слой пыли покрывал всё пространство вокруг, и от этого возникало ощущение, что здесь никто не появлялся лет пятьдесят. По всей комнате стояли большие деревянные сундуки, в каких в далёком прошлом наши бабушки хранили приданое. По правой стене от меня находился стеллаж с большими книгами.

Я подошёл к нему и начал рассматривать фолианты. Они были старыми, но в хорошем состоянии. Я быстро пробежал глазами по корешкам книг. Киплинг, Жюль Верн, Дюма, Стивенсон… Отличная подборка классики приключенческой литературы, и было похоже на то, что эти книги никому не принадлежат и можно взять несколько себе.

Неожиданно я услышал скрип. Это девушка, вошедшая сюда со мной, открыла сундук. Она постояла некоторое время в нерешительности, а потом начала уверенно рыться в вещах. Глаза её алчно светились. Пожилой мужчина последовал её примеру. Мной тоже овладело любопытство, и я со скрипом приподнял крышку сундука, который стоял рядом.

В нём лежали ножи, шпаги, арбалеты, золотые монеты. От изумления я застыл на месте. Ещё мгновение—и, не помня себя, я начал жадно перебирать вещи в сундуке. Больше всего мне понравился кожаный ремень с тремя ножнами для клинков. Я достал его из сундука и надел. Три ножа быстро нашли своё место на поясе.

Я обернулся и увидел, что в комнате появились новые люди, и все они по-хозяйски начали рыться каждый в своём сундуке.

Мною овладела тревога, что всё ценное заберут другие. Я закрыл свой сундук и начал продвигаться в глубь комнаты.

Открывая сундук за сундуком, я беспорядочно копался в них, что-то брал, распихивая по карманам, и шёл к следующему. Это действие настолько заворожило меня, что я не сразу заметил, как оказался в другой комнате. Там тоже стояли сундуки. Я открывал и всё брал и брал что-то из них. Я не помню что…

Мною овладела страсть наживы. Словно заколдованный, я переходил из одной комнаты в другую. Комнаты становились всё больше и всё светлее. В некоторых уже вместо пола из досок была заросшая травой земля, но я не обращал внимания на эти метаморфозы и всё продвигался и продвигался вглубь. Вот уже в следующей комнате не было потолка, а только стены, и над головой вместо лампы светило солнце… А вот и стены стали полупрозрачные и недостроенные, и под ногами всё гуще трава, а сундуки всё не кончаются… и вот я уже на улице, во дворе чьего-то дома…

Ярко светит солнце. Дети играют в песочнице. Какая-то женщина развешивает бельё, мужик ремонтирует «Жигули». Я обернулся. За спиной были кусты акации, зелёная трава, воздух…

«Там что-то должно быть другое»,—я напряг память, но ничего не смог вспомнить.

Устало присев на лавочку, я попытался сосредоточиться на действительности…

— Ты чего приуныл?—обратился ко мне с вопросом мужик, чинивший автомобиль.

— Да чего-то не могу прийти в себя,—ответил я ему.

— Так, может, тогда сообразим?..—намекнул он, стукнув указательным пальцем по шее.

— Отчего бы и нет?—согласился я.

— Вот только с деньгами у меня проблема…

Я полез в карман брюк, достал из него горсть золотых монет и, бросив одну на лавочку, спросил:

— Хватит?

— Ух ты! — обрадовался мужик. — Живём! Никуда не уходи, я сейчас!

Через несколько минут наша лавочка превратилась в царский стол: две бутылки белого вина, фрукты, сыр, шоколад. Мужик разлил по стаканам спиртное:

— Ну что, вздрогнем!

Мы с наслаждением выпили по полному стакану. От вина сразу же захорошело. Исчезли напряжённость и тревожащие меня мысли, солнце стало светить добрее.

Мы налили по второму стакану.

— Ну, бахнем! — вновь предложил мужик.

И снова тело наполнилось благодатью. Мы закусили виноградом. К нам подбежала рыжеволосая девочка в грязном от песка платьице.

— Папа, а можно мне винограду? — обратилась она к мужику.

Тот взглянул на меня вопросительно.

— Ну что за вопрос?! Конечно! — я протянул девочке большую кисть винограда.

— Спасибо, дядя, — сказала та радостно и убежала к детям.

— Ты хоть помыл виноград? Ребёнку даёшь! — закричала женщина, которая развешивала бельё.

— Помыл, помыл! Не ори! — ответил мужик и налил по третьей.

Мы снова выпили. К нам подбежали ещё какие-то дети и попросили фрукты.

— Не дадут спокойно посидеть, — сказал мужик. — Может, ко мне пойдём?

— Нет, дома сейчас жарко. Давай здесь, — ответил я.

— Ну, тогда отрежь сыру. Что-то от вина кушать захотелось.

Я вытащил из-за пояса нож и начал нарезать тонкими ломтиками сыр.

— Хватит пить уже, Андрей! — неожиданно раздался громкий женский голос. — Тебе же завтра на работу!

От резкого крика я вздрогнул и порезал палец. Мужик что-то отвечал жене, но мне было не до него. Я ничего не слышал, а лишь заворожённо смотрел на нож и на кровь, льющуюся из пальца.

Клинок был необычайной красоты, его тонкое острое лезвие играло солнечными зайчиками на солнце. Откуда этот нож у меня?

Я посмотрел в сторону кустов акации. Из-за жары воздух словно обрёл плотность и тёк, переливаясь дымкой. За этими деревьями что-то должно быть…

Что скрывается за кустами акации?

Мужик продолжал ругаться с женой.

— Надоел! Возишься со своей машиной целыми днями, пьёшь, хоть бы комнату свою от хлама убрал!

— Уберу, когда надо будет!

— Комнату от хлама убрал, — проговорил я вполголоса. — Комнату убрал… нужно убрать комнату…

— Эй, ты чего? Захмелел, что ли? Чего тебе запала эта комната?

— Комната! — заорал я, испугав мужика. — За кустами акации — комната! Комната со старыми сундуками!

— Ты сбрендил, что ли? Какая комната? Там ничего нет.

— Там огромная комната… Ты помнишь, как оказался здесь?! Как появились тут твоя жена и дочь?! Откуда пришли все эти люди?! Вы все были в той комнате! Это не ваш мир!

Мужик ошарашенно смотрел на меня:

— Это на тебя от солнца так вино подействовало?

Я вскочил как ужаленный и побежал к кустам акации.

За ними ничего не было!

То есть не было таинственной комнаты с сундуками. За кустами виднелся другой дом, другой двор, другие люди!

И что теперь делать? Как найти дорогу назад? Как отыскать трещину в воздухе? Как увидеть её там, где её уже нет? Дорога назад заросла. Затянулась воздухом этого мира, его домами, людьми…

Я вновь подбежал к лавочке, где сидел мужик:

— Неужели ты ничего не помнишь?

— Слушай, я ещё ни разу не видел, чтобы от этого вина так людей накрывало. Честно говоря, ты меня пугаешь!

— У тебя здесь жена и ребёнок, а я один! Меня же Марина ждёт!!!

И вдруг меня осенило!

Марина! Милая Марина! Ведь у нас одна на двоих связующая нить! Я здесь, а она в нашем мире. Наша нить выведет меня отсюда!

Я посмотрел на живот и увидел, как из моего «солнышка» тянется полупрозрачная тонкая нить. Она вела к кустам акации и исчезала перед ними. Я подбежал к кустарникам и увидел стоящие вдалеке сундуки…

— Вот он, выход! — заорал я.

Быстро вернувшись к мужику, я закричал на весь двор:

— Люди! Я смогу вас спасти! Вывести отсюда. Это не ваш мир! Я нашёл выход!

На меня со страхом посмотрели женщины и дети. Мужик взял в руки бутылку и подозрительно начал разглядывать этикетку, как будто там находился ответ на моё безумие.

— А дядя пьяный? — спросил какой-то мальчик у мамы.

— Пьяный, сыночка, очень пьяный.

— А он нас не обидит?

— Пусть попробует только. Ему наш папа сразу башку проломит, — угрожающе сказала мамочка, глядя в мою сторону.

— Ты где, скотина, вино покупал?! — накинулась опять на мужика его жена. — В «Каблучке» палёного по дешёвке взял?!

Я понял, что за мной идти никто не собирается. Этот мир стал их домом, и они уже не помнят и не хотят помнить, откуда пришли. Я вздохнул и с сожалением побрёл к кустам акации, ориентируясь на свою путеводную нить.

Нить безошибочно указывала мне дорогу. На всём обратном пути я не встретил ни одного человека. Переходя из комнаты в комнату, я вскоре оказался перед трещиной в стене. Мне осталось сделать только шаг и выйти в свой мир, но меня посетила безумная идея.

Я открыл сундук, в котором нашёл свои сокровища — кинжалы и золотые монеты, и, порывшись немного там, обнаружил моток белой капроновой нити. Я привязал один конец нити к дюбелю, который торчал из кирпичей около трещины, и вновь пошёл в мир, который недавно пленил меня. Я протянул белую нить до самых кустов акации того мира и крепко привязал её там.

На меня нахлынули чувства и полились слёзы.

— Эта нить будет вашим шансом найти дорогу назад, если вспомните, если захотите, если хватит смелости, — шептал я себе под нос и плакал, глядя на людей за кустами акации…

Я выбрался из трещины в доме. На улице было пустынно. Моросил тёплый летний дождь. Я улыбнулся и пошёл в магазин, ни разу не обернувшись назад. С каждым шагом память о недавнем событии становилась слабее.

Я купил огромный праздничный торт с безе, украшенный розочками. Увидев его, Марина захлопала радостно в ладоши, а потом обняла меня, и мы долго стояли и целовались в пороге.

— Где ты так долго был? — спросила она.

— Искал дорогу домой.

Марина засмеялась, давно уже привыкнув к моим чудачествам.

Я был безмерно счастлив, что оказался дома, рядом с любимой женщиной. Вечером пришли гости. Мы пили чай и долго разговаривали.

И вдруг меня поразила странная мысль: «А есть ли нить из нашего мира? Откуда она тянется, и кто её привязал?!»

Ольга Фомичёва
Звёздный Спас

Челябинск: ЧГИК, 2018

Поле

К неурожаю Дальнего Востока 2013 г.

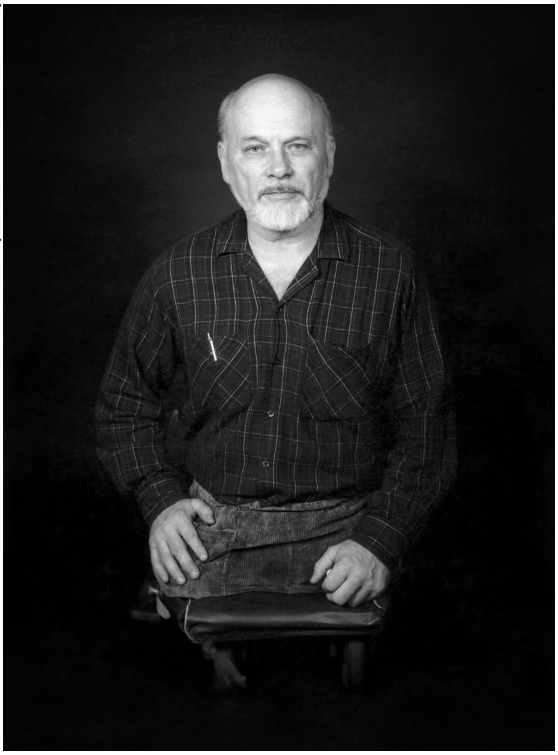
В материнском подоле
По закраю межи
Нежит тощее поле
Деток спеющей ржи.
Ой вы, лёшеньки-лёли,
Вырастайте сильны,
Неподвластны недоле,
Крутобоки, полны.
Поразверзлися хляби,
Землю — хоть выжимай.
Распеваются жабы
Там, где зрел урожай.
Горемычное поле,
Меж безгласные рты
Воют: лёшеньки-лёли…
Колыбели пусты.

Расхлябило

Раззявило, расхлябило,
И ночь темным-темна.
На Господа оставила
Надежды все страна.
Живёт она, суёмная,
С собою не в ладу.
Лишь небушко бездонное
У поля на виду.
Калачики калачатся
Богатым, как везде.
Занозами артачится
Репейник в борозде.
Слеза в морщину скатится:
— Резвей, мой ржавый конь!
Поля наденут платьица
Ржаные, как огонь…

Наталия Слюсарева

На Киселёвке



Памяти Юры Киселёва и всей Киселёвки

Вместо предисловия

Киселёвка — выплеснутая в ладони вода жизни, прозрачная бухточка, синий лоскут счастья, бьющийся на ветру под навесом. Даритель бесценного дара — человек, чья биография, казалось, сама лоскут, обычное наполнение между датой начальной и крайней: родился, учился… Человека этого звали Киселёв Юрий Иванович, и лет жизни его, как пишут в летописях, было шестьдесят три.

Ю. И. Киселёв (26.07.1932–9.08.1995) — художник-декоратор, общественный деятель. Инвалид первой группы. Один из руководителей Инициативной группы защиты прав инвалидов.

Подвергался преследованиям: первый обыск (1979), запрет выезжать из дома в дни Олимпиады (1980), последующие обыски в Москве и Крыму, поджог и снос дома, лишение права на участок (1981), травля в печати (1986). Умер в Москве от сердечного приступа в 1995 году, похоронен на Митинском кладбище.

Дом Юрия Киселёва в Крыму, в посёлке Коктебель (Планерское), был местом отдыха интеллигенции с 1956 по 1981 год.

Пол-Ленина

Кто поёт, а кто и пляшет,
Все талантами грешат.
Вот узнают власти наши —
Инвалидности лишат.

Что за пандус! Что за прелесть!
Как со снежных гор качусь!
Не доеду я до цели,
Но от страха излечусь!

Частушка

У Юры Киселёва не было ног по самый корешок. Этот срез… не знаю, как он был обработан на теле — вероятно, так же грубо, как и подшит на его старых подвёрнутых штанинах, стянутых косыми нитками во все стороны. Не он ли сам (вообще-то он был мастеровой мужик) коротил себе одежду?

Взгляд, спускаясь по плечам и широкой груди не плавно, а тут же обрываясь, в один приём охватывал крепкий торс, опоясанный солдатским кожаным ремнём, после которого шло ещё на две ладошки суровой джинсовой ткани, подобранной решительно, сразу без всяких «приспустить хоть немного под зад». Несмотря на то, что все пялились именно на это место, стоило начать с головы.

Голова у Киселёва была прекрасной лепки: обтянутый кожей вместительный череп «не влезай — убьёт!», с резкими скулами, подбородком вверх. Из такого черепа не зазорно было бы сработать заздравную чашу в пару Святославовой, убранную яхонтами и бирюзой. Не к Юриной чести молвить, не пойдя лепотой в киевского князя, он отчаянно, до жути, походил на верховного князя мирового пролетариата. Он даже умел картавить под Ленина, напялив на себя пресловутую кепку, чем невероятно смешил окружающих, что-то вроде того:
— Геволюция, о необходимости котогой мы говогили, — свегшилась!..

Своеобразие его мимики сказывалось и в том, что взгляд его порой бывал с оскалом, а улыбка — с прищуром. Ленинская тема мухой так и жужжала вокруг его башки. Кличка, сопровождавшая его по жизни, оставалась неизменной: пол-Ленина. Равно он откликался и на другое, более будничное своё прозвище — Кисель. В остальном Юрка и сам любил поржать, выпить-закусить, затянуться куревом, что под рукой, и снова ржать и балагурить. По мнению многих, это был самый весёлый человек из тех, кого они встречали по жизни.

Кстати, для тех, кто любит пялиться на инвалидов: через полчаса вашего с ним общения вы

напрочь забывали, что у него нет ног, вообще чего-то нет и что вы… Нет, это не вы над калекой колодезным журавлём, а перед вами — конь-огонь: он бьёт копытом и косит своим сощуренным, с хитринкой, глазом за лямку вашего жёлтого сарафана в мелкий цветочек. Заодно он ловок крутить козьи ножки из рассыпанного табака, хлебнуть водки из консервной банки и всё остальное прочее с тем же избытком.

Сыграть роль фатумного тесака вызвался кумачовый трамвай, вырвавшийся под короткие звоночки ранним утром из ворот трамвайного парка специально для тех, кто не прочь был «прокатитца на колбасе», то есть сцепке вагона. Шестнадцатилетний член общества трудовых резервов, возможно, староста группы, Юра Киселёв, опаздывая на занятия, в спешке оступившись, поскользнувшись, дёрнувшись, завидев милиционера, неуклюже-непоправимо выпал на прямые рельсовые пути под холодную колёсную сталь. Так вкратце была поведана мне старшими товарищами история Юриного грандиозного увечья на физическом плане.

Военные хирурги — дело происходило в 1948 году, — вдохновившись поступлением с «поля боя» редкого тела, произвели самую высокую ампутацию: в несколько приёмов отсекли от туловища ноги целиком, при том что трамвай покусился на голень на одной ноге и ступню — на другой. Таким, то есть вполне увечным, я и увидела его впервые на заслуженном торжестве — чьём-то дне рождения или праздновании Нового года. Должно быть, Киселёву в ту пору было около сорока лет.

Отметим, что трамвай, чувствуя свою вину перед комсомольцем, на будущее поделился с ним своими стальными ногами, они же — орудие преступления. Отныне и до финишной ленты, которую он пересёк в шестьдесят три года, Кисель был снабжён колёсами — от шустрых блестящих шарикоподшипников с его деревянной тележки до плотно укутанных в шубу немецких шин роскошного «Опель Монза» сочного бордового цвета. На сохранившихся чёрно-белых фото Юра, умелый механик, с инструментом в руке сосредоточенно колдует, то нависая над колесом своей инвалидки, то вровень с бампером своего старенького «Запорожца», кто-то утверждает — «Оки».

Кроме впечатляющего физического недостатка-недохватка, и так осенявшего его мощным ореолом исключительности, за спиной он имел славу лица, ратующего за права инвалидов СССР, практически безуспешно и безрезультатно, в том же СССР.

Квартира на восьмом этаже высотного сталинского дома с башней на северо-востоке столицы, в которой наша компания собралась отмечать очередное торжество, принадлежала Татьяне Сергеевне Ходорович, известной правозащитнице, с чьей дочерью Еленой я отчаянно дружила. Мы заранее

разместились за длинным столом, выделив ожидаемому гостю почётное место в торце, поближе к входу, внутренне готовясь к тому, что вот-вот прибудет столь необычный человек. До этого людей таковой ужасной нижины, обезноженных, понятно, я встречала в пригородных электричках. Обычно они катили по вагону серединной тропой на платформочках, как на дрезине по узкоколейке, предлагая ссутуленным, сложенным складным метром пополам, сонным пассажирам со скамеек свои потные кепки под медные пятаки, редко под рубль.

Сидя втеснинку на деревянной доске, проложенной между табуретками, ввиду приличного количества гостей, за вытянутым обеденным столом (заслуженно важничающим своей составной столешницей, упирающейся в подоконник), отмечая про себя элитную банку с сайрой и не раз выручавший все застолья салат из плавленого тёртого сырка «Дружба» с чесноком, я также не без определённого волнения готовилась к встрече. Я думала о том, как более естественно повести себя с Юрой Киселёвым, как удержать при ответе — вдруг он меня о чём-либо спросит? — свой взгляд на уровне его межбровья, не соскользнуть невзначай им ниже.

Трое рослых ребят, составив группу сопровождения, уже отцокали по этажам вниз к лифту, чтобы принять в свои объятья инвалида. Из колодезной глубины шахты как будто донеслось:
— Подъехал, подъехал… его поднимают…

Разговор в комнате по инерции ещё продолжался, но никто никого уже не слушал. Все прислушивались—дверь на лестничную площадку была заранее приоткрыта—к тому, что происходило на лестнице и в коридоре. Вот со скрежетом двинулся в вертикаль пенал лифта, потом замер. Лёгким гулом с площадки донёсся возбуждённый пересуд, вроде того:

— Каким углом заводить, чтобы сподручнее?..

Всё это в чём-то напоминало вынос на тяжёлых дубовых носилках бледного воскового Христа в подрагивающем терновом венце на ежегодных религиозных праздниках в затерянных селениях итальянской глубинки.

Напряжение достигло высшей фазы экзальтации. Сам воздух, казалось, зазнобило, когда в ужасе, повернув головы, мы уставились взором в обморочный Аид коридора. Возможно, кто-то даже услышал бой курантов, когда в проёме показался широкоплечий, с бородкой, на протезах, гость. Он сделал к столу три-четыре шага по какой-то своей траектории и, улыбнувшись—у него получилось что-то вроде широкого оскала,—выдохнул:

— Будем отстёгиваться.

Затем тут же, при нас, освободившись от искусственных конечностей, передал их товарищам, а те, в свою очередь, определили пару облачённых в джинсы тяжёлых протезов, заканчивающихся тупыми мысами ботинок, на пустую тахту. Выходит, на нём было две пары брюк. Почему-то я долго пялилась в сторону тех ботинок. В них, огромных и чёрных, торчащих из-под серой ткани, и заключался весь ужас. При взгляде на эти тупые носы как-то сразу становилось понятно, что они не для живых ног. Поговаривали, что Киселёв мог даже танцевать на этих ногах, отплясывать, как Маресьев или другой герой Отечественной. Но не в этот раз. Вошедший гость переместился в подставленное ему кресло, попрыгал, пристраиваясь, уминаясь задом, чтобы поудобнее, на подложенные подушки. И всё. Платформа была отброшена. Бог был внесён.

Ему наливали. Он веселел. Он балагурил. Он был открыт навстречу каждому без усилий, и—о чудо!—это был единственный человек, который, имея на то все основания, не имел никаких комплексов. Казалось, он начисто игнорировал факт своего увечья. Когда Юра поворачивался к тебе, чего всегда так хотелось, создавалось впечатление, что он ждёт, что именно ты прямо сейчас сообщишь ему столь весёлое, что сгодится для общего громкого смеха. Хотелось придвинуться к нему поближе, погреться, спрятаться под этим торсом, как потом прятались с подветренной стороны в складках Киловой горки от сильного ветра. Он источал чудовищное обаяние. Он производил энергию. Каждый, внутренне невольно примеряя на себя столь жестокую карму, тотчас с ужасом сбрасывал её, как спикировавшего ослепшего овода, не постигая, что подобное можно представить даже в мыслях, и, мотнув головой, доливал в стакан, чтобы ещё раз чокнуться с вождём пролетариата.

Но если бы у него только были эти икры, эти ступни, эти дроги? Как бы он их уходил! Он бы зарылся в искатели чего угодно: угля и нефти, руды и сланца. Он бы выдал на-гора весь уголь, пластами и кубами, только бы ему намотали клубок побольше тех непролазных дорог, в которых он бы жирно, со вкусом вяз в сапогах в распутицу и буравил голыми растрескавшимися пятками глину, клубя лёгкие фонтанчики пыли в зной. Это было так видно в самой глубине его вечно сощуренных от ржачки глаз.

Десант

Кайма кипящего прибоя
Уже пристреляна давно,
И мой патрон давно в обойме,
Другого, значит, не дано.

Нептун построит нас повзводно,
Распределит: кого… куда…
Я попрошусь на флот подводный—
Топить немецкие суда.

Прости-прощай, старушка-мама!
Прости-прощай, седой отец!
Я вам кричал со дна лимана
И докричался… наконец.

Походный марш
Керченского десанта,
26 декабря 1941 года

Ощущение таврического пространства, с тополями, ветвистыми садами в безветренную лунную ночь, с чувством счастья, не без горечи, и обрывом этого счастья внезапно через набег, похищение, пленение, было подарено мне ещё в детстве через балет «Бахчисарайский фонтан». Сад, ночь, панночка, свидание. И ахово, натянутой тетивой, выпущенной стрелой из кривого татарского лука,—пробег скуластых, косматых, с нагайками, цветом в синюю глину («колени выше к локтю», как велел знаменитый хореограф). Так это и осталось в памяти—сад, обречённый на набег, волну, десант…

Кто только не хватался за таврический лоскут со стороны моря и степи. Одним из памятных, впечатанных в джанкойскую степь, остался десант генерала Слащова при Врангеле. В своё время к этому характеру замечательно прикоснулся Михаил Афанасьевич Булгаков, взяв его за образец генерала Хлудова для своей пьесы «Бег». Все десантируемые имели в голове, собственно, одно понятие, ради чего они здесь,—свободу. Свободу для себя и свободу от других.

В задачу Якова Слащова входило не допустить красных в Крым. Отражая атаки будённовской

конницы, он мотался между станцией Мелитополь и станцией Джанкой, где воздух особенно крымский, на спор занимая неприступную высоту. За успешные операции генералу к фамилии добавили приставку, так что он стал именоваться Слащов-Крымский. Ему это льстило, напоминало суворовскую славу: Рымникский. Осенью 1920 года генерал Слащов-Крымский передвигался по Крыму в основном по железной дороге, просто жил в вагоне. По ночам не спал, торчал перед картой, нюхал кокаин. На его плече сидел ворон и каркал: «Nevermore». Днём гнул ковыль по балкам. В глазах белого генерала широкой накатной волной гуляла опасная свобода, свобода отмычек.

Тут следует сделать уточнение и дописать: в его серых глазах,—потому что в противном случае его взгляд можно спутать со взглядом графа Эссекса, в чьих смоляных глазах, на дне петролеумных зрачков, лениво развалясь, почивало самое разнузданное любопытство, ожидая только повеления—пойди и сверзись, чтобы в точности исполнить приказ чёрного маршала. Такие люди оканчивают свой век на эшафоте, в более поздние века их грудь пробивают свинцовые пули. Граф Эссекс откровенно был морячком. Не «мателосом» из балета Орика в берете с пумпочкой, а тем шальным, подсмотренным когда-то Борисом Пастернаком:

Был юн матрос, а ветер—юрок:
Напал и сгрёб,
И вырвал, и задул окурок,
И ткнул в сугроб.

Как ночь, сукно на нём сидело,
Как вольный дух
Шатавшихся, как он, без дела
Ноябрьских мух…

Откровенно презирая штатское население города Феодосии, генерал Яша рядился в карнавальное—то доломан, то черкеска,—лузгая семечки перед штыковой, на что главнокомандующий заметил: «Кто так воюет—пусть рядится во что хочет». В двадцатые годы Крымский-Рымникский жаждал свободы и был свободен на пространстве из нескольких таврических губерний. Спустя немногим более полувека мы жаждали свободы и были свободны на крохотном пигментном пятнышке своей высотки, называемой Киселёвка.

Нагретая щедрым киммерийским солнцем киловая макушка с края тепсеневского лысого холма служила нам одновременно поляной Диониса, горбатым Монмартром, арт-подвальной «Бродячей собакой»—той уникальной сакральной реальностью, над которой, соединённые построением в круг, мы воскурялись, лучась радостью от избытка простора извне и остро-пьянящего ощущения свободы внутри. Наш десант, наше гульбище-вольнище продержалось на этой высоте до ранней весны—марта 1981 года, когда приказом сверху сожгли, полыхнув огнемётным языком, остов киселёвского дома, но не остров Свободы. В сущности, давно следовало бы поставить памятник генералу Крымскому, пусть в том же Джанкое, всё-таки он придержал полой своего доломана на какое-то время карабканье Белы Куна по лестнице на вышку к Максу Волошину.

В тридцатые годы прошлого века по железной дороге в Крым добирались с пересадкой. На той же станции Джанкой Михаилу Булгакову, чтобы пересесть на поезд до Феодосии, надо было прождать на платформе семь часов, пялясь на связки сушёной тарани, косы красного лука и суетливо переваливающихся, похожих на большие груши белых гусей, либо вернуться в свой вагон-ресторан, где на скатерти в стеклянных бутылках мелкой чечёткой подрагивало прозрачное боржоми, задумчиво, не спеша,—рубиновое полудрагоценное вино. За две недели до этого Михаил Афанасьевич, служащий одной из столичных газет, будучи не в состоянии без неврастенического флёра долее глядеть в надтреснутое пенсне соседствующего с ним по редакционной комнатке секретаря, собрался на юг—отдохнуть, вдохнуть чуток свободы.

В какое место Крыма?..
«— Натурально, в Коктебель,—не задумываясь, ответил приятель.—Воздух там, солнце, горы, море, пляж, камни. Карадаг, красота!..
— Я еду в Коктебель,—сказал я второму приятелю.
— Я знаю, что вы человек недалёкий,—ответил тот, закуривая мою папиросу.
— Объяснитесь?
— Нечего и объясняться. От ветру сдохнете.
— Какого ветру?
— Весь июль и август дует, как в форточку. Зунд…
— Я в Коктебель хочу ехать,—неуверенно сказал я третьему и прибавил:—Только прошу меня не оскорблять, я этого не позволю…
— Счастливец! Море, воздух, солнце…
— Знаю. Только вот ветер—зунд.
— Кто сказал?
— Катошихин.
— Да ведь он же дурак! Он дальше Малаховки от Москвы не отъезжал. Зунд—такого и ветра нет…

В купленной на Кузнецком мосту книжке в ядовито-синем переплёте с золотым словом „Крым“ было написано следующее: „Причиной отсутствия зелени является «крымский сирокко», который часто в конце июля и августа начинает дуть неделями в долину, сушит растения, воздух насыщает мелкой пылью, до исступления доводит нервных больных… Беспрерывный ветер, не прекращавшийся в течение 3-х недель, до исступления доводил неврастеников… и больной чувствовал себя хуже, чем до приезда в Коктебель“.

(В этом месте моя жена заплакала.)

Дверь открылась.

— Вам письмо.

В письме было: „Приезжай к нам в Коктебель. Великолепно. Начали купаться. Обед 70 коп.“.

И мы поехали…»

(М. Булгаков, «Путешествие по Крыму»)

Ровно через двадцать лет после удачного слащовского десанта на коктебельский берег был высажен отвлекающий, читай — изначально гибельный, десант с подводной лодки в декабре 1941 года.

Запись из вахтенного журнала подводной лодки «д-5» (проект «Декабрист»): *«29 декабря. Район Коктебеля, 03 часа 30 мин. Десантной группе наверх с оружием»*. Продержавшись двенадцать часов, десант практически был полностью уничтожен. Из двадцати девяти краснофлотцев в живых остался один.

Черноморский десант положили немцы пулемётами сразу. Моряки карабкались вверх по килу на щель дзота, соскальзывая, а пулемёт зло плевался свинцовыми семечками, выбивая их одного за другим.

Волошин купал свою бороду в Чёрном море (после землетрясения 1927 года похожесть стала ещё более очевидной), когда мотоциклетками по Крыму протарахтели немцы. Отряд выгрузился во дворе дома поэта и тотчас приступил к рубке на топливо раскидистых ветвей акаций, неудобных метёлочных кипарисов, заодно косясь на мольберт Макса из ёлки, когда на верхней площадке их неожиданно встретила фурия.

В мастерской Волошина герр официр, фуражка в руке, обнажив белокурый затылок Зигфрида, — почтительно в сторону хозяйки:

— Их бин покльонник ваш супруг!

Мария Степановна — руки сурово под фартук, губы сомкнуты. Все ответы — телепатически.

— У, шайтан, собака. Чтоб ты провалился!

Официр:

— Как же, Дорнах. Герр Штайнер…

Мария Степановна, не вынимая рук из-под фартука:

— Ах, гяур неверный! Разбомби тебя Ворошилов!

Зигфрид, отводя монокль от японских гравюр:

— Пока я тут стояль, никто вас не трогаль. Фюррер ценит культурр!

Мария Степановна:

— Шайтан, шайтан! Чтоб тебе повылазило. Уноси ноги, бисова дитина!

Вот так, можно сказать, на стыке двух культур, был спасён слепок египетской царицы Таиах.

Четыре скорбные головы под бескозырками, тяжёлыми подбородками в землю, — память от поссовета. Четверо из десанта 1941 года. По главным праздникам на этот цемент, на эти сомкнутые челюсти вешают венчики из цветов. А дальше снова мир и благоденствие.

Петербургская, московская интеллигенция протянула свои бледные тонкие руки к сухим, растрескавшимся от зноя участкам земли в Таврии в пятидесятые годы прошлого века. Ещё раньше здесь поселились Арендты, Изергины, Менчинские — крымские аргонавты.

На тех же пустынных склонах обретался ещё один привилегированный класс, носивший красивую форму — шлем, кожанку на плечах, приминавший шасси вихрастый непослушный ковыль. Нацепив очки и краги, лётчики кружили над местными вершинами, размахом своих крыльев сбивая с толку ястребов и соколов. Не вернувшихся из полётов было так мало, что их имена умещались на лопастях единственного пропеллера, стоявшего на столе в сарае, последний служил одновременно ангаром. Восточный берег с удобными посадочными площадками, восходящими и нисходящими воздушными потоками приглянулся тем икарам, что никогда не внимали своим дедалам. Бурая жертвенная кровь, впитываясь в склоны горы Клементьева, возвращалась по осени цветом скумпий. За авиаторами, цепляясь за колючий шиповник, потянулись в Киммерию конструкторы: С. Ильюшин, А. Яковлев, О. Антонов, А. Микулин.

Двигатели Александра Микулина полюбились англичанам. Английское правительство, украшенное королевским монархическим домом, отметило талант последнего, наградив его в числе других английских рыцарей орденом Бани. По английским законам, владевший орденом Бани не мог не быть эсквайром. В Крыму стали раздавать участки авиаконструкторам. Утверждение о том, что Микулин в действительности был награждён орденом Бани, остаётся пока под вопросом. Но то, что у него в непосредственной близости от Киселёвки был участок, со временем проданный драматургу Рюрику Баранову, так же точно, как и то, что британским орденом Бани был награждён советский маршал Георгий Жуков, а авиаконструктор Ильюшин поселился под Алуштой, в местечке под названием Профессорский уголок, впоследствии переименованном в Рабочий уголок.

Изобретатель моторов запомнился соседям своими причудами, а именно страстью к сохранению молодости. Не чуждый общества комсомолок, он приковывал себя то ли к медной, то ли к оловянной ножке кровати, с целью подпитаться полезными отрицательными ионами. В окружении столь великолепных закатов и рассветов невольно хочется протянуть подольше. Желание пребывать в отличной форме в Планерском извинительно даже и не авиаконструкторам; менее изобретательные ограничивались тем, что вдыхали в себя рассвет. Последователи шумерских, египетских и иных школ частенько взбирались на голое плато Тепсеня поздороваться с солнцем. Именно здесь

я познакомилась с последователями школы Иванова, в любое время года ходящими по всему твёрдому босиком, обливающимися круглый год ледяной водой.

Чудный дед, борода лопатой, ещё в тридцатые годы прошлого века стучался в кремлёвские ворота, чтобы побудить членов ЦК КПСС обливаться на морозе. Когда в наши пределы вторглись немцы, Иванов, памятуя пользу для тела, начал пропагандировать им ту же гимнастику. Первой суровой зимой сорок первого года немцы с чего-то начали катать его голого по ночам в своей мотоциклетке. Как-то у них перепуталось, кто кому и чего должен был доказать. Оцепеневшие от холода в шинелях немцы катали весёлого краснощёкого деда из «Морозко», пока их самих, собственно, не укатало русское здоровье.

Мечта о гармоничном теле, о том, чтобы подтянуть себя до уровня местного пейзажа, ибо кругом всё так прекрасно, всё по Чехову, засела в складках местного ландшафта. Волоокий Макс, знавший, как заклинать, рвущийся вверх, кудреватый огонь, ни в чём не уступал Иванову, ладившему с неизменно устремлённой долу стихией воды. Ученики шествовали за своими гуру. Вполне возможно, что члены-корреспонденты из научных городков, шатаясь на закатах на Карадаге между фигур выветривания Мёртвого города, мечтали ловить голыми руками молнии.

В долине три четверти разговоров на верандах так или иначе были посвящены лечебным свойствам местной глины, пользе от сыроедения, мистическому кизиловому варенью. Юра Киселёв, как истый коктебелец, также был не чужд программ оздоровления. В его записной книжке хранились всевозможные рецепты, укрепляющие *corpus*, из предпочитаемых—салат из листьев крапивы. Своей юной жене Ирме, пребывающей в деревне, супруг не раз наказывал насушить на зиму крапивы.

Киселёвым «выстрелили» на этот пустынный пляж в 1956 году—пляж, который, по определению Михаила Булгакова, всё ещё оставался одним «из лучших на крымской жемчужине: полоска песку, а у самого моря полоска мелких облизанных морем разноцветных камней».

Явление Киселёва на коктебельский брег было грандиознее явления Ифигении в Тавриде и прохода по соседней Фракии культурного героя Диониса. На самом деле его, как морское божество,—его музейный торс, конечно, продолжался невидимым, клубящимся кольцами, мощным, источающим страшную энергию телом карадагского змия,—обязано было выплюнуть на берег море, и если не в раковине и в миртовом венце, то хотя бы с небольшим трезубцем для вскрытия консервных банок. Но Юра почему-то явился в Тавриду с Тверского бульвара и не в пенном наряде, а в хлопчато-штапельной материи послевоенных лет: вылинявшей рубашечке в клеточку из стопроцентного *cotton*а и тёмном затёртом лоскуте на вынужденно запаянных снизу шортах.

Явился он, познакомившись на протезном заводе с Ариадной Арендт, также пострадавшей от трамвая, по приглашению и на призыв, что в Крыму инвалидам раздают бесплатно участки. Кажется, он даже опоздал к разбору крымской земли, так что ему, как вскочившему в очередной раз на подножку всего уходящего, пришлось платить свой штраф—долго и нудно поить водкой скучных, но нужных людей, отчего к концу он весьма подустал, но в итоге примкнул к тонкому слою крымских латифундистов.

Его скромный прикид многие, кстати, опровергают, утверждая, что он был не чужд излишеств. Однажды на подаренное ему льняное полотенце для растирания плеч и шеи он, разнеженным Калигулой, в ответ капризно протянул:
— Ах, уберите, я люблю мягкие полотенца.

В другой раз он был замечен на собственной свадьбе в бабочке, съехавшей сильно вбок к концу застолья. Свадьба запомнилась ещё и тем, что с полки стеллажа ему на плечо сверзился здоровенный утюг из семейства старинных чугунных, на что жених отметился краткой репликой:
— И ты, Брут!..

Спустя недолгий промежуток времени Юру видели на коктебельском пляже, прогуливающимся в одиночестве, практически как лорд Байрон, вдоль берега моря. Медовый месяц. Куда, как не в Крым?

Бацилла свободы, гудящая зурной ночами в скифских курганах—достаточно прильнуть ухом к телу Тепсеня,—заразна почище любой холеры. Фаланга, к которой меня приписали, не спрашивая, десантировалась в зону Коктебельской бухты в середине семидесятых—советские забубённые; и в обмен на отсутствие сервиса и рекламы мы успели захватить великое ничто Коктебеля. Тишину Бога. Пустоту земли. Величие ветра. С пирса—в безлунный мрак, во мраке всех округов и полуокружий в направлении левой руки—только короткая ниточка бусинок Орджоникидзе, и направо вдаль и вверх—одинокий огонёк на кордоне.

Холерный год

На Дерибасовской случилася холера,
Её схватила одна б… от кавалера.
Пусть Бога нет, но Он накажет эту бабу,
Что в подворотне где-то видала арабу.

И вот от этой неразборчивости женской
Холера прёт теперь по всей Преображенской…
К. Беляев

Жаркое лето середины семидесятых было ознаменовано моим первым самостоятельно-самодеятельным выездом в Тавриду. Я и до этого наезжала в Крым, но прежние поездки, проходившие под

опекой родителей, с неизменной передаваемой мне на верхнее место куриной ножкой, никогда не рассматривались как имеющие хоть какой-то смысл.

На этот раз, грузясь в плацкартный вагон поезда по маршруту Москва—Феодосия, перевалочный пункт, откуда—в Планерское (определённое Советами название для болгарской деревни Коктебель), я уже знала, зачем я путешествую в Край Голубых Вершин, минуя всех родственников, осевших в городе с большим грузовым портом, железнодорожными шпалами, проложенными вдоль моря (подарок главного живописца горожанам), и фрагментами генуэзских крепостей. Отправлялась в путь я исключительно за новым состоянием—тревогой: так тривиальным языком определялся мною некий внутренний подъём. Источником данного волшебного ощущения, которое накаливало мою обычную сорокаваттную лампочку в Москве до решительных двухсот на берегу Коктебельского залива, долгое время оставались кино и пластинки. Впоследствии тревога добывалась посредством неумеренного употребления кофе и продолжительных ночных разговоров с верной подругой. В открытом летнем кинотеатре Феодосии, на набережной, рыкающий лев братьев Майеров, после которого патокой—золотой голос Марио Ланца навсегда связали в моём сознании глухое ворчание тёмного моря с чёрным небом, утыканным блестящими шляпками звёзд. Отсутствие дневного света и присутствие ночного счастья с лёгким ветерком над головой.

Пожалуйста, подождите.

Не испытав в достаточной мере божественно-тревожных чувств в браке, я была благодарна мужу за то, что он не уклонялся от алиментов (дочка на попечении бабушки), так что я могла позволить себе в месяце цезарей—августе, когда звёзды особенно ярки над киммерийскими холмами и особенно часто и охотно скатываются со своих небесных скамеек по жерлу вулкана Карадаг в подол Тепсеня на загад любого желания, приобретя место в плацкарте, провести последние недели лета в гостях у Юры Киселёва на его даче в Крыму, по его приглашению.

Ехал он тем же поездом, в купейном вагоне, по билету, купленному для него друзьями, и, как рачительный хозяин, вёз в коробках, свёртках и сетках наполнение для своего строящегося не кукольного дома. Я и моя подруга Леночка как раз проходили сквозь бряцающий неустойчивый мир плацкарта, стараясь поскорее проскочить мрачный, зыбкий тартар тамбура, клацающих Сциллу и Харибду стыков межвагонья, в купейный отсек к Юре, чтобы ехать на юг как положено, веселясь и в компании.

Юрка торчал на верхней полке, вернее, лежал на боку, подперев рукой голову, которая без двух третей положенного ему крепкого хемингуэевского тулова казалась огромной, как у маленького Мука, и травил анекдоты:
— «Владимир Ильич (Горький—Ленину), а не пойти ли нам по девочкам, недорого, по рубчику?»—«Никаких по гупчику! Дагом! Дагом! И Феликса Эдмундовича с собой пгихватим—кгистально чистой души человек!»

Всё в этом старом купе сотрясалось так сильно, как будто мы катили по американским горкам или от времени сгорбатились рельсы. То было время тотальной запущенности всех железных дорог, не только южно-харьковского направления. Дёргалась лысеющая Юркина голова, несколько свесившаяся вниз, чтобы видеть наши глаза; подрагивал грузинский чай в стакане, облачённом в торжественный серебряный китель подстаканника,—столь никчёмно-отсутствующий на вкус, будто он был родом не из солнечной Колхиды, а добывался из смолотого в пыль унылого подмосковного штакетника. Не спасали подкрашенный кипяток и спущенные в него со стапелей чайных ложечек два прямоугольных брикетика сахара.

Тряслись от смеха мы с Ленкой, потому что анекдоты про Ильича и железного Феликса, которыми Кисель, как семечками из кулька, щедро рассыпал вокруг, были глуповатые и смешные. Мы смеялись и в благодарность передавали из наших запасов лирнику на верхнюю полку духовитую ливерную колбасу в суровой серой бумаге и жёлтое пенящееся пиво в мутном стекле. Весьма скоро Юрке понадобилось в туалет. Попросив нас подставить на пол его тележку—деревянный поддончик на колёсиках, он совершил ряд акробатических кульбитов: опираясь на руки, как-то перелетел, как игрушечный паяц на перекладинке, сначала на стол, потом на нижнюю полку и утвердился на тележке, закрепившись на ней с помощью ремня.

Надо признать, руки у Юрки были невероятной силы. Руки—стволы строевого леса, долгие и могучие, руки—стропила, которые он отменно разработал за двадцать с лишним лет с того памятного утренника. Верхние конечности служили ему вместо ног и костылей, а по качеству стального отжима и совершенного зажима были доведены до уровня тисков. В памяти из преданий о нём, почти из греческих мифов от Куна, сохранилось одно—о его поездке в южном экспрессе.

На конечной железнодорожной станции Москва или Феодосия, не важно, Киселёв, не без помощи посторонних поднятый в тамбур, вкатился в купе, забрался, как обычно, подтянувшись на руках, на верхнюю полку и заснул. В том же купе на нижнем месте ехала дамочка, а по пути подсел подвыпивший мужичонка, который в темноте укороченного спутника не заметил. Ночью в мужичке разгорелась нешуточная страсть, и он сунулся к дамочке похотливыми мыслями

и потными ладонями. И можно себе представить ужас сладострастного пассажира, когда нечто кинг-конговское неожиданно прыгнуло сзади ему на загривок и стало душить. Вот такими руками, следует добавить — заслуженно, обладал Юра Киселёв.

Мы забрались с ногами на нижние полки, чтобы дать ему место освоиться на полу. Он ещё туже затянулся ремнём. Застегнул, что очень важно, две основные серединные пуговицы на распахнутой рубашке с короткими рукавами, если бы были волосы погуще, непременно прошёлся бы ладонью по пробору, натянул на свою скалящуюся физиономию сатира грустно-меланхолическое выражение и, подхватив два деревянных брусочка, что были у него за копытца, отталкиваясь ими от пола, выкатился в коридор вагона. Из коридора до нас тут же донеслось озабоченно-торжественное:
— Граждане, пропустите инвалида!

Ещё, оттянув не без усилий и лязга до отказа тугую упрямую дверь купе, я выходила в коридор поглядеть на проплывающие плавно пейзажи за окном, укрощая то и дело вырывающуюся из рук, бьющуюся на ветру белую шторку, постепенно укачиваясь под монотонный перестук колёс. В лучшие годы хотелось ехать долго. Какие-то маленькие босоногие ангелы бежали за зелёной змеёй поезда, энергично махали ручками вслед. Только ангелам это могло доставлять такое удовольствие.

Стоял месяц август. Было жарко. Пива мы выдули много, и в синем смеркающемся пространстве вагона то и дело раздавалось:
— Инвалида… граждане…

К слову, не всегда у Киселя был припасён билет в купейный отсек. В некий сезон, идеально — с другом-попутчиком, он ударял автопробегом по бездорожью и разгильдяйству на своей головной машине «Лорен-Дитрих» — инвалидке с ручным управлением — по ухабистой трассе Москва — Крым. Любящий во всём воздух веселья, сам служивший многим озоновой подушкой, огибая простодушные деревни, он неожиданно прикидывался перед пейзажем и всем, что могло его лицезреть, не тривиальным факиром или «папой-студебеккером», а ошарашивающе — бюстом вождя.

«Ленин, Ленин, открой глазки! / Нет ни водки, ни колбаски…»

Пока друг справлялся с ручным управлением «Дитриха», Кисель, выбравшись на край багажника, натянув на бровь пресловутую кепку, накинув сметливо на свою физиономию знакомый оскал и прищур, вытянув в направлении зари коммунизма левую длань, задиристо кидал в сторону опешивших селян с обочин вопрос, тут же отвечая на него предположением:
— Как живёте, то-ва-гищи?.. Ви-ди-мо, х..ёво!..

Единственное пыльное облако, отколовшись от ёрничающей инвалидки, уносившей, подпрыгивая, на своих, не без царапин и вмятин, боках бюст вождя, оседало на честных людях с околицы, в некотором роде оторопевших.

Но вернёмся на жаркий, с видом на «самое синее в мире Чёрное море моё», феодосийский вокзал. Поезд лениво достучал нас до Феодосии, на последних метрах открыв в окна купе всю долгую линию городского песчаного пляжа со всеми мокрыми и обгоревшими к этому часу гражданами нашей необъятной страны. Час высадки на киммерийский брег был ознаменован пересечением ещё одного рубежа — омовением колёс киселёвской таратайки в карантинной луже.

В то засушливое лето, гуляя вдоль арыков по новороссийским волостям, холера просочилась в Крым. Зараза бродила где-то в тех степях, где в своё время заплутал матрос Железняк, потому как он, бедолага, шёл на Одессу, а вышел к Херсону. Так и мы, оставив за спиной окраины Феодосии, должны были выйти из машины на посту, кажется, на развилке у села Насыпное и совершить акт омовения в полезном антибактериальном растворе. Рубикон был перейдён, стихия воды сняла отпечатки с узоров подушечек наших пальцев, сетчатки глаз, душ и в согласии с остальными стихиями впустила нас на сакральную территорию юго-восточного Крыма, запустив для каждого свой хронометр.

Отмедитировав рассеянно взором по залысинам пологих холмов, уткнувшись ненадолго во всхолмья мадам Бродской (реально существующей жены адвоката из той же Одессы), переведя фокус зрения за правое плечо, глаз отмечал короткую гребёнку тополей, аллеей, уводящей к подножью горы Узун-Сырт — «длинный хребет», напоминающей своей формой кекс. Держа направление на юг по старому судакскому шоссе — «*Via Strata Sugdaiensis*», отмеряя мысленно циркулем в воздухе послушно стелющиеся под колёса километры, мы добрались до точки, где от поворота направо покачивался, приветствуя нас на штыре неуклюжим флюгером, крупный самолёт. И вдруг на «ах» и вздох занавес отдёрнули, и перед нами возник силуэт чего-то явно театрального, вырезанного острыми ножницами фирмы «Золинген».

Абрис Карадага так и просится на силуэт. Быстрый проход ножницами по профилю лежащего Пушкина — он и писал-то в основном лёжа — к заносчивой кисточке пика Сюрю-Кая, далее неторопливо, широкой амплитудой по пологой спинке мшистой Святой, а оттуда по вздыбленному загривку динозавра Кок-Кая скатится волошинскими лбом, носом и бородой в самое море. С каждым годом море любвеобильным щенком слизывает с его подбородка всё больше портретной схожести. Когда-нибудь черты поэта сотрутся окончательно, что для горного рельефа не так страшно, как для человека (смотри историю с известным бурятским ламой, семьдесят лет назад по своей воле

запеленавшим себя в куколь, застывшим холодцом на пороге между жизнью и смертью, со смазанными, будто тряпкой, чертами лица).

Силуэтное ремесло в двадцатые годы прошлого века уважала коктебелка Елизавета Кругликова. Благодаря её театру теней в копилку Серебряного века добавлено ещё несколько изображений известных поэтов. Виртуозный пассаж клацающим клювом ножниц, вспарывающим хрустящую бумагу,—и в профиль, в ряд, как на павловском плацу, выстроились, цветом в беззвёздную, чернильную ночь, камейная Ахматова, амбициозный, в погоне и крестах, Гумилёв, Пастернак, чьи волосы, ресницы и галстук нервно рябит Муза поэзии, ушедший подбородком в белый воротничок, доцент Максимилиан Волошин.

Острые лезвия кроят кардиограмму от низины к вершине, от пика к пику, утыкаясь наконец носом в море.

— Как пройти к морю?
— Идите прямо.
— А где море?
— Море там, параллельно шоссе.
— Идите туда, на взмах руки, не ошибётесь.
— Туда, туда, море там, за деревьями…

Писательский эдем

Хожу,
гляжу в окно ли я—
цветы
да небо синее,
то в нос тебе магнолия,
то в глаз тебе
глициния.

В. Маяковский

Если подняться на Тепсень и повернуться спиной к Сюрю, узришь суповую ложку с синим бульоном, окаймлённую слева сопками, по чьим щекам глубокими царапинами прорисованы балки. Покатое плато Тепсеня с широкой дорогой-пробором под арбу на перевал было общим любимым местом. На него всегда устремлялись люди бросить взгляд на профиль Пушкина с Сюрю-Каи, растереть между пальцами пахучую полынь, ковырнуть веткой в заброшенном раскопе. Своим долгим цветением глаз радовали татарник и ажурный кермек—поднятые к солнцу водоросли холмов цвета фиолетовых морских глубин.

На северо-востоке, на самой вершине горы Кучук-Енишар,—могила Макса Волошина. Осыпающиеся склоны спускаются уступами к бухточкам Мёртвая, Тихая. Мёртвой бухте название присвоено за то, что вода в ней стоит практически без движения. В Мёртвую бухту частенько прибивается различный сор: трава, водоросли, мёртвые чайки. За глиняным мысом Хамелеон, или Топрак-Кая, помеченная деревцами серебристого лоха, вытянутым полумесяцем нежится песчаная бухта Тихая. С противоположной стороны мыс Мальчин, стерегущий пока ещё профиль поэта, закрывает от тебя самые драгоценные бухты Карадага.

В районе совхоза «Коктебель», в торце подступающей с севера полосы камыша, на невысоком кургане выделялось затоптанное захоронение офтальмолога Эдуарда Юнги, со всей решительностью выдернутого за ноги из своего убежища в сороковые годы прошлого века. Мирный окулист после смерти каким-то образом послужил воинственному духу Марса. В Отечественную войну первыми в него пальнули из пушки немцы, ошибочно приняв выступающее над морем захоронение за дот. Впоследствии освобождённый от останков свинцовый гроб сгодился нашим на переливку пуль. Захоронение Юнги—своего рода географический рубеж, после которого посёлок Планерское являл себя непосредственно во всей красе цивилизации.

От золотого волошинского века в наследство последующему перешло достаточно много: не обезображенный частными строениями рельеф, не пропускающие стражу горластые петухи, дурные, кидающиеся под ноги собаки, но зато и первозданный песочно-галечный берег с вкраплениями в драгоценное лидо полудрагоценных камней, террасы, убранные курчавым виноградом.

В посёлке с малым количеством белых домиков под татарской кровлей, укутываемых на ночь кромешной темнотой, на его проулках, подъёмах и спусках ценились обыкновенные спички и более сложные источники света—разнообразные фонарики. Фонарики—от зелёных жестяных коробочек, по которым следовало постучать, чтобы достучаться до тонкой струйки света, до заграничных китайских, с блестящим рыльцем на конце и клавишей для вызывания светового луча. Большим, забытым кем-то фонарём, поставленным в лужу зелени с высоким тополиным зачёсом, смотрелся с пирса дом Волошина. По вечерам на его веранде долго горел огонёк. По телеграфным столбам агатовыми пепельными бусинами замирали горлинки.

Писательский альгамбровый дворец, выходящий на центральную часть набережной белой мордашкой своей столовой, густо затянутый в июне ядовито-фиолетовой тиной глициний, со слипшимся на белом гребне крыши вензелем из букв «С» и «П»—«Союз писателей», для всего остального населения земного шара являл собой очевидный эдем. Вход в рай, как и до́лжно по статусу, обязано было охранять чудовище. Таковым чудовищем являлась местная жительница посёлка, с низко надвинутым на лоб хлопчатобумажным платком, с зычным грубым голосом, пугавшим собак в округе, по прозвищу Баба Гитлер. Мимо такой не проскочишь. Однако мы проскочили.

Один раз, и даже не просто за калитку соловьиного сада на его чисто метённые дорожки с редкими по ним милыми веточками с акаций, с его кортом, на котором — Евтушенко в рубашечке апаш, а прямо-таки в беленький летний кинотеатр на вечерний восьмичасовой сеанс, который в Крыму наступает так быстро после ослепительного дня.

В премьерном месяце августе отдыхающих писателей на юго-восточном побережье Тавриды собралось не так много — всё-таки холерный год. На площадке перед писательской столовой на каждого можно было поглазеть — на Чингиза, на автора из Чегема, на других, «турсующих своё заде» на фоне свежеокрашенных булек ограды. В иные, более благополучные сезоны поэты выдавливались порциями из ветвистого сада, растекаясь ручейками по эспланаде: Рождественский и Евтушенко, Слуцкий и Поженян, Межиров и Давид Самойлов; одинокой виноградной косточкой — высокочтимый Булат Окуджава.

Писатели вылуплялись в большом количестве из икры Волошина — а как иначе? — каждый сезон. Они вливались в набережную, выплывая из своих тенистых элизиумных садов в любое время суток: до и после завтрака, перед обедом, непосредственно после полуденного сна, вместо ужина, хотя последнее вряд ли. Заслуженные мастера художественных слов, казалось, уже рождались в мягких панамах, махровых халатах с махровыми же полотенцами через плечо. Театрально раскланиваясь друг перед другом, они направлялись к первой ласковой волне, на свой элитный берег, владея беленьким пропуском с начертанным на нём расписанием работы пляжа. Пляж, на коем — деревянные, длинные, крашенные под цвет моря скамейки под высоким навесом, выкрашенным той же краской в тот же цвет. По мелким, тем самым, облизанным, на второй шаг в воду — песок. Территорию пляжика украшали два аккуратных дощатых кубика раздевалок, единственных в посёлке. Никто из писателей ни разу не забыл свой махровый халат на скамейке.

Мы провожали писателей взглядом в спину, не завидуя, потому что знали, что их ждёт в номерах, порой с ограниченной подачей света и воды. А грозило им только одно: подтянув к себе со стола авторучку (для небожителей Союза — с золотым пером) — работать. И снова работать. Нам же, следуя призыву плаката из соловьиного сада: «*Тише! Работают писатели!*» — велено было молчать. Но это нам как раз было и невозможно. Мы верещали и визжали на солнцепёке, дёргаясь руками и ногами, как обезумевшие марионетки, потому что были отчаянно, неправдоподобно молоды и свободны.

Эти драгоценные состояния, обретённые однажды в нищем, продуваемом любым из лепестков от розы ветров на выбор посёлке, обязаны были продлиться на как можно более долгий срок, идеально — навсегда. Посёлок, судя по названию, начинённый планерами, взмывающими в свободное небо, а если и падающими — то также в открытое море, со всем остальным мирозданием перекликался единственно возможным телеграфным стилем: «Я сбежал, сорвался в Коктебель». Как если бы, не выдержав, схватил рукой кислородную маску и, тут же прижав её к лицу, судорожно вдохнул воздуха, чтобы ожить и жить. Вот отчего некоторые из наших собратьев, зайдя на почту и оплатив за каждое слово положенную таксу, отправляли в отчие места исторические послания с просьбой уволить их по собственному желанию, так как, прочувствовав вкус опьяняющей свободы, больше просто ну никак не могли посещать свои учреждения, фабрики, заводы и так далее. В ответ на отправленные послания получив от телеграфа в последующие сутки исключительно молчание, приняв его за знак согласия, безработные переходили на акварель и глину и, трудясь с утра на пленэре над пейзажем и ювелиркой, старались продать искусство к вечеру. С голоду никто не умер.

…Пускай работает рабочий
Иль не рабочий, если хочет,
Пускай работает кто хочет,
А я работать…

Автор этих строк Алексей Хвостенко, проще — Хвост, лично выходил в закатанных штанах с лейкой на пляж на промысел, заработанное дружно пропивалось на Киселёвке.

Хочу любить-трубить на флейте,
На деревянной тонкой флейте,
На самой новой-новой флейте.
А на работу не хочу.

Гуляли по единственной широкой тропе вдоль моря, по которой можно было фланировать свободно днём и с осторожностью ночью. Частный сектор Дома писателей не давал разрешения пересекать их озеленённую территорию в дневные часы. Однако встреча с писателями всегда бывала неожиданной и неизбежной. Пересекая воздушные и сухопутные писательские пути во всём линялом и радужно выцветшем, выделывая пятками в пыли джигу, мы устремлялись всегда в хвосте процессии за Дионисом по единственному маршруту: продолжить тур аперитивов, которые заменяли нам завтраки, обеды и ужины, питаясь исключительно глюкозой от Бахуса.

Обособленно, отдельными стайками, не спеша, выставив вперёд узкие фазаньи грудки, фланировали пассажиры с ленинградского состава. Просвечивая тусклой бледностью, откашливая сырой петербургский воздух, они глядились победнее весёлых энергичных москвичей, выделяясь особой балтийской спесью. Чтобы противостоять фасону

Северной Пальмиры, а также отстоять честь диспутов, зарождающихся в очереди за коктейлями в дощатую палатку на территории турбазы, мы выдвигали своего поединщика — столичного поджарого физика с бородкой, с красивой еврейской фамилией Лурье, единственного, надевавшего по вечерам водолазку.

Самым дорогим коктейлем из перечисленных на обычном листке в клетку выставленного под стеклом палатки прейскуранта, значился коктейль «Луна» с добавлением коньяка. Его-то и заказывала вся очередь. Если из окошка раздавался голос, оповещая, что «Луна» закончилась, очередь моментально распадалась и расходилась.

Бацилла Эссекса заразительна. Я замечаю, что эти тропы всегда были отмечены явлением людей, находящих особое удовольствие в саморазрушении. Видимо, вулкан время от времени всё ещё плюётся ядовитой серой. От нашего соседа по Киловой горке, драматурга Рюрика Баранова, веяло холодком и очевидно попахивало серой. Мефистофель местного разлива Рюрик, карадагский грифон, осевший в гнезде Микулина, почти кавалера ордена Подвязки, имел высокий дом на краю обрыва, смахивающий на готический замок с высокой остроугольной крышей. Босоногие ангелы Коктебельской бухты, окрашенные в халцедоновые и агатовые тона, прикладывая пальчик к губам, осторожно отворачивали тебя от его бархатной шапочки с пером. И, несмотря на то, что солнце било прямо в глаза, в этой плывущей в зное тебе навстречу фигуре ты различала целиком весь его отсверкивающий рыбьей чешуёй костюм: трико, короткий камзол, высокий плоёный воротник, прятавший выступающий шляпкой среднего мухомора кадык, и узкую трость, в которой до времени нежилась ядовитая шпага. Всё чрезвычайно острое и резкое. Оценивающий взгляд и стреляющий трассирующим пунктиром, заставляющий неожиданно резко дёрнуться в сторону тиком острый подбородок.

Кадык и монокль театрального кавалера постоянно были устремлены на худых, с выступающими ключицами, девиц. Обычно шевалье выступал на вечерней прогулке с тростью, ловя на наживку — планетарий с подзорной трубой в мансарде — невинных Маргарит в коллекцию маршала Жиль де Реца. Этот очевидный персонаж с Патриарших прудов, раздающий реплики своим персонажам, каким-то провидением оказался на эвксинских берегах. И здесь бы он пригодился, попадись ему на глаза доктор Фауст. «Корабль испанский трёхмачтовый…», «Всё утопить!». Но эти замученные ножницами берега давно уже сдались другому верховному жрецу с посохом и в полынном венке.

Главный волхв, ведающий, как заклинать огонь, не мешал комиссарам мутить верёвкой море, так что в конце концов они вытянули из него одного чертёнка и бросили его сохнуть на берегу. В перерывах между заклинаниями полынно-венковый Макс посещал пороги опасных учреждений, вызволяя незадачливо попавших в силки узников. У него была своя метода вести переговоры: он говорил с «ними» тихим голосом и, войдя в кабинет, обращался исключительно к ангелу-хранителю того, от кого зависела судьба арестованного, что давало неожиданно положительный результат.

После столь мощных гениев места, как Юра Киселёв или драматург Рюрик Баранов, физики почитались в Планерском людьми, равными почти письменникам. Физики и лирики одинаково имели право на свой тазик с персиками. После них шли только планеристы. Но эти любители воздушных потоков, забуревшие от побрательников-ветров, замкнутые, сосредоточенные на том, чтобы не ткнуться своим аппаратом в склон, находились от нас на порядочном расстоянии. Планеристы и парапланеристы безвылазно стояли станом на гладком рельсовом участке горы Клементьева и казались тёмным германским племенем, почти варварами. Они не имели никакого влияния на светскую жизнь посёлка. Бо́льшую часть времени, оторвавшись от ковыльного склона, оседлав нужные им воздушные потоки, они зависали над лысой горой гигантскими комарами. В лётную погоду комары стояли завесой над Узун-Сыртом постоянно.

Как-то в один из сезонов на Карадаге — Чёрной горе — погибло много физиков; более того, они опередили в этом даже планеристов. В своём безудержном стремлении одолеть вершину, чтобы возгласить, что «лучше гор могут быть только горы», туристы вступали на осыпающуюся тропу — есть определённое коварство в легко возбудимой нервной системе вулкана — и, какое-то время скользя по сыпучке, срывались в бездну. Известен случай, когда спасатели, спустившиеся в Львиную бухту забрать тело член-корреспондента, обнаружили, что оно приземлилось на труп девушки, разбившейся об эту скалу прежде. Обрывающиеся в пропасть тропинки под отрицательным углом, коварные, выскальзывающие из-под ног камни, осыпи — всё это заставило власти в конце концов подумать о том, чтобы определить древнему потухшему вулкану Карадаг статус заповедника. Произошло это в 1979 году.

По ходу наших маршрутов мы спускались к морю поминутно по разным требам: омыть в нём кисть винограда, ополоснуть стакан или просто с ним поздороваться. Опускались не на крашеные скамейки, а на топчаны, разбросанные в той части берега, для которого не нужно было выписывать пропуск. В холерный год отдыхающих было меньше, чем обычно, а топчанов — столько же. В общем, как-то было много топчанов. Всё-таки

наша страна деревянная. Топчаны заменяли нам и стол, и стулья, и кровать. И, бывало, к ночи, после пиршественных возлияний на пляже: портвейн, вермут, Біле Міцне—белое креплёное (с пиром—горка баклажанной икры на краюху ржаного хлеба, без пира—семечки от незрелого яблока),—и соответственно возлежаний у прибрежной волны на топчанах, практически в тогах, на заимствованных на время у южного железнодорожного ведомства казённых одеялах; не желая расставаться, уходя, мы тянули за собой за ногу одного деревянного друга, выбрав немного ущербного, без пары поперечных дощечек, чтобы пополнить им композицию из спальных мест за домом у Киселёва.

Правозащитный клан, стоявший почётным станом на Киселёвке, имел привычку проводить свои партийные собрания в открытом море у ржавого буйка. Покачиваясь на волнах, конспираторы открыто обсуждали в присутствии этого единственного, надёжнейшего из свидетелей свои секретные коды. Если какая-нибудь кефаль, проплывающая мимо, и могла подслушать их разговоры, то уж выдать никак не могла.

Ночью берегом имели право ходить только пограничники с овчарками. Бывало, за полночь они поднимали с временных лежбищ лучом своих карманных фонарей и ослепляющим светом с катера, а также лаем не выспавшихся собак забывшихся на пляже голых влюблённых и гнали их, теряющих вьетнамки, к камышам, требуя непременно предъявить удостоверение личности, в противном случае… В исключительных ситуациях включали главный прожектор с заставы Кучук-Янышары, освещавший море широким бледным лучом, будто похитившим этот мертвенный свет у одиноко царившей в небе луны.

С утра все хотят идти с тобой на перевал, в Тихую бухту, в Старый Крым, к пивному тычку, все окликают тебя, и ты отвечаешь охотно согласием, потому что знаешь, что все хотят преломить здесь с тобой пряник любви. И выбираешь самый короткий маршрут.

Как назвать и определить то, что чувствуешь, когда, взобравшись на Киловую горку, ты опять видишь перед собой этот никогда не переливающийся через край синий простор? И в конце концов, не вынеся восторженной немоты, ты сам переливаешься в чудные строфы Николоза Бараташвили:

Цвет небесный, синий цвет
Полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал
Синеву иных начал.
И теперь, когда достиг
Я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам
Голубого не отдам…

На Киловой горке

Нет уж Киселёва—
Безногого Атланта,
Держальца андеграундного сквота:
Всех собирал—
Профессоров и хиппи,
Бродячих бардов, физиков, буддистов.
Напоминал он Ленина лба глыбой,
Прищуром хитрованным,
Бородёнкой
И властным окриком,
Народ свой направляя
Богемный…

Марк Ляндо

Дом Киселёву, как пирамиду Хеопсу, десятилетиями возводили счастливые рабы. Многие, поднявшиеся на этот магический холм случайно, завербовывались на последующие двадцать пять лет добровольной царёвой службы. Денег не было. Стройматериалов не было. Но стройка, замерев на зимний сезон, неизменно возобновлялась с каждой новой юной тамарисковой весной. С теми, кто не мог отказать, московским поездом передавали по несколько досок. Мастеровой хозяин, ловко управляясь с любым материалом, обшивал досками кирпичи и отправлял их в Крым как тару. Отзывчивый приятель, в охотку затащив в вагон газовую плиту, связку ножек от стола, туго стянутых в пук, в придачу к которым шла половина столешницы, забив громоздкими кубами и параллелепипедами в газетной обёртке под потолок все боковые отсеки, повязанный сам священными узами дружбы, заносчиво сопровождал свой багаж, не оправдываясь лишний раз перед соседями по полкам.

Как с каменоломен восточного берега Нила баржами сплавляли в Гизы гранитные блоки для возведения пирамид, так из бухт за Хамелеоном тянули послушным морем на лодочках на Киселёвку горбыли и брёвна, сучья и щепки, камыш и кермек. Киселёвское гнездо собиралось по веточке, по хворостинке. На сухопутном направлении рыскали по посёлку добровольческие отряды талантливых в будущем снабженцев в поисках листа жести, мотка проволоки, оставленной случаем тары—ящиков, сбитых из деревянных реек. Притянутый роком к земной коре, Юра трудился на своём участке, подбирая что под носом: согнутый гвоздь, обрывок бечёвки, забытый кем-то поясок,—зная по опыту, что всё сгодится на стройплощадке.

Зачистив территорию в плане подбора всего годящегося в радиусе своей окружности, прихватив водки—иное не катит, кликнув товарища за компанию, Кисель запрыгивал в инвалидку, чтобы стартовать за стройматериалами. Охотясь на стройобъекты, нарезали спирали по посёлку и окрестным балкам, добираясь порой до подножья

Агармыша. Заприметив скопление людей над юной кладкой, подъезжали ближе. Натюрморт из калеки под тюбетейкой, с ленинским прищуром, по-родному взиравшего на запылённый пролетариат из инвалидки, а также бутылок с прозрачной жидкостью, газырями торчавших вдоль спинки дерматинового сиденья, действовал на работяг безотказно. Умилившись после очередного стакана, они широко, на всю железку благотворительствовали:

— Да грузи, брат, всю дранку!..

Так что если туда и порожняком, то на обратном пути с явно торчащей наружу добычей, осевшая машинка, прибуксовывая, однако не без фасона, победно тянула свой груз домой, на киловую макушку. Услужливая «антилопа» годилась и на то, чтобы после сбора урожая завернуть на отдалённый виноградник, набрать в ящики сочного виноградного продукта. В подражание последнему киселёвская братия свисала с инвалидки гроздьями.

Когда не на море, мы также спускались вниз по вдохновению собирать быт для Киселя. Два огромных таза уже были доверху набиты алюминиевыми ложками и вилками, вынесенными из ближайшего кафе «Левада», или «Блевада», кому как больше нравится. Две юные, на первый взгляд, судя по воспитанию и сложению, балерины, выпускницы Вагановского училища, задыхаясь от счастья, тащили, согнувшись, в горочку два ящика с первосортными алыми помидорами, неосторожно оставленными грузчиками у магазина. Кто-то тянул за ушко трёхногий стул, кто-то сбегал к подножью горки, чтобы принять огромный тяжёлый бак, выпрошенный до завтра в той же «Леваде». Одним из оригинальных подношений на Киселёвку был вынос из кафе «Ветерок» одной из девушек на вытянутой руке цельного лотка с пирожными мимо раздаточной и абсолютно мимо кассы. Мечтая отличиться, мы петляли от одного двора к другому в поисках чего-то сверхнеобходимого. Это было не так легко, так как посёлок был достаточно беден. Бродили по Планерскому, высматривая то, что можно унести в руках. Наткнувшись порой на тяжёлую, но для хозяйства непременно нужную вещь, бежали домой сколачивать команду из мальчиков-несунов.

Наша горка натурально гляделась высокой муравьиной кучей, домом для маленьких строителей, по склону которого, по неким силовым осям, сновали вверх и вниз трудолюбивые муравьи. Движение не прекращалось ни днём, ни ночью. Легко сбегали вниз коричневые от солнца длинноногие «муравейные братья». Тяжело отдуваясь, с грузом на спине, медленно вползали на святилище они же, складывая к ногам верховного муравья свою добычу.

— Кисель, ты ноги-то уже отстегнул?

Заражая всех неуёмным оптимизмом, инвалид охотно поощрял шуточки такого рода. Весело скалясь, разворачиваясь на тележке вокруг собственной оси, он менял направление в направлении банки с пивом, по пути формируя новые строительные отряды. Мы ходили, он ездил.

Из нужных неподъёмных вещей однажды мы углядели под чужим забором шкаф и стол, почти целый, на трёх ножках. В другой раз мы обнаружили что-то, что можно было доставить на Киселёвку только ночью; вероятно, это было явно чужое. Дотачать недостающую ножку для бригады наших столяров не составляло никакого труда. Мощный зов созидать шёл по такой нарастающей, что люди, ранее не обладавшие специальными знаниями, только по страстному желанию приносить пользу становились на Киселёвке профессиональными краснодеревщиками, ювелирами, каменщиками и плотниками.

Как-то один из забредших к нам паломников, с киргиз-кайсацкими чертами лица, оставшийся на горке навсегда (как обычно и бывало, Кисель принимал всех), взялся класть в центральном зале камин, имея до этого опыт наблюдения за кладкой печи. И сложил — с распахнутой пастью и большим задымлением. Перекладывал. Не выдержав критики товарищей, впоследствии в пьяном угаре частично его разрушил. Ещё один одинокий рейнджер, свалившийся ночью на Киселёвку, с ходу определил себя в котлован. У него было редкое имя Мир. Весь отпуск он провёл в яме, не покидая её ни на секунду, делая исключение только для приветственного рукопожатия с новичком; тогда из пыльных недр наружу протягивалась его трудовая длань и голос, возвещавший миру:

— Мир!

Специалистов не было, материалов не было. Но ничто не могло остановить рытьё котлована. Когда, за отсутствием досок, невозможно было восходить по лесам, подтягивая чердачный этаж к коньку крыши, всегда оставался вариант — уйти в землю. Тут нужны были только лопаты. И лопаты были. Поэтому все мы рыли котлован. Хозяин, он же главный архитектор Фив, обладал воображением царицы Савской. На своей земле, выданной ему, но неправильно оформленной или недооформленной, он хотел видеть сады Семирамиды, термы с виллы Адриана, водомёты Версаля. Даже косточки от алычи и кизила принципиально складывались им в банку, ибо им выпала честь зачинать Киселёвский ботанический сад.

Серьёзные молодые люди в вылинявших ковбойках, выпускники МАРХИ, присев перед ним на корточки, дабы быть с ним на одном профессиональном уровне, внимательно вслушивались в его проекты, задумчиво покусывая скромный бухгалтерский карандашик, время от времени перекладывая его за ухо.

— Бассейн? Можно, конечно, Юра, всё можно…

Корректировки не допускались. В конце концов, его представленным дипломным проектом, который он с успехом защитил в стенах Строгановки, где Кисель обучался искусству промышленного дизайна, был вылепленный им из пластилина в натуральную величину автомобиль. А что, если это был «зис» или «Хорьх»? Авторитет вождя такого ранга оставался непререкаемым. Третьего дня заниматься революцией рано, утром с похмелья — поздно, поэтому мы будем рыть землю сегодня. Ниже по склону рыли ямки под будущие деревья, пока что в них сбрасывали отбросы на полезный перегной. Несколько стойких растений с корой и листиками, привязавшихся душой и корнями к Киселёвке, выносящих верховой ветер, метались под навесом, создавая свой «Пейзаж в Овере». Елена Фадеевна, мама Юры, которая никогда не была у сына (в летний сезон ей почему-то всегда предлагали прокатиться в сторону Ялты, не заезжая в Планерское, для её же спокойствия), в Москве не забывала лишний раз напомнить сыну, что тому следует на своём участке непременно посадить грецкий орех — «Жёлуди Юпитера». Высокий ветвистый грецкий орех постоянно будет давать хорошую тень.

Рабочий день начинался достаточно рано. Вслед за горластым кочетом, настырно в течение ночи буравившим пространство своим очумелым кукареком и прохрипевшим наконец простуженными связками в предрассветную вуаль последнюю стражу, ферзём подскакивал с лежанки хозяин Киловой горки. Днём над посёлком продолжат концерт сизо-серые горлинки. Горлинки выпевают жалобно всегда одно слово, выпрашивая для кого-то чекушку, для меня же монотонно повторяя фамилию приятеля: «Ту-тушкин, Ту-тушкин…»

Заслышав поселковую зорю, киселёвская братия в стремлении зацепиться краем глаза за ускользающий сон, мечтавшая, как бы запустить в петуха сапогом или треухом, в своём подавляющем большинстве поворачивалась на другой бок, однако самые сильные и ценные рабы ответственно и охотно выходили на работы. Всегда находился тот из строителей, кто и не ложился. В спеленатое легато утра отрывистым стаккато начинали проникать новые звуки: постукивание, скрежет, матерок бригадира — это когда молотком по пальцу. Кисель неугомонен и неумолим. В его голове, прикрытой от солнечного удара носовым платком, завязанным по четырём углам узелками, гнездится план: нарастить за дневные часы стены дворца на столько-то локтей и стадий. Белый долгий слепящий египетский день, как плат и гимн, подарен строителям для возведения и созидания.

На узком лезвии заката, на грани между белизной дня и глухим обмороком ночи, возможности доставки полезных грузов возрастали. Спикировав после захода солнца на деревню стайкой вампиров, киселёвские обормотники группировались вокруг телеграфного столба с намерением выдернуть его из каменистой почвы напрочь с корнем, покушаясь одновременно на фрагмент стрельчатой ограды безмятежного пансионата. Строящаяся студия для уникального жильца, оборудованная специальными поручнями, фрагментами шведской стенки и личной уборной с взметающимся над ней «Весёлым Роджером», как сверхидея или родное дитятко, представлялась наиважнейшим из деяний нашего, если судить по приборам, оловянного века. По сути, коктебельский летописец, если бы таковой существовал, мог отметить в своей летописи, что Киселёвская большая пирамида с деревянным навесом и крышей, крытая листами рубероида, не раз похищаемыми свирепым норд-остом, строилась на протяжении двадцати пяти лет, начиная с 1956 года.

Восточное побережье Гостеприимного Понта традиционно привлекало археологов. К концу сезона, подустав от россыпей босфорских монет, законсервировав на зиму керченские раскопы, они спускались в посёлок со стороны Тихой бухты и к ужину неизменно оказывались на Киселёвке. Одним из таких забредших к нам археологов, также с непростым именем и фамилией, был Дега Деопик. Поднявшись на горку, он, как и абсолютное большинство, тотчас включился в строительство дома. Дега не оставлял затеи отыскать что-то истинно археологическое. На ловца и зверь бежит. Однажды, шатаясь в поисках всего древнего в окрестностях Щебетовки, он обнаружил фрагмент могильной плиты со старинного греческого кладбища с изображением разлапистого византийского креста. В другой раз, поднявшись на Тепсень, грамотно орудуя заступом, наткнулся на кувшин, внутри которого лежали обглоданные бараньи косточки — древняя игра в бабки.

Одним летом у мыса Мальчин поменялось течение, и море стало делиться с нами амфорами — не черепками, а цельными керамическими кувшинами, грузом тех каравелл, что испытали на себе здесь бурю задолго до рождения Айвазовского. Археологам привычно докапываться до очевидных ценностей. Как-то, работая на участке под руководством Деопика, мы дорылись до захоронения, в котором обнаружилось некоторое количество скелетов. Главный археолог тут же предложил безошибочный способ идентификации находок — отличия мужского скелета от женского. Предложенный метод прозвучал убедительно и лаконично. Скелет надо было лизнуть, и если он лип, то, следовательно, это была баба.

Забронзовевший от солнца, пропахший табачным крошевом, полынью и чертополохом, бюст с топчана, как с броневика, картавя и щурясь, ежеминутно призывал коммуну продолжить дело строительства Киселёвки. Вот он, переминаясь

с левой культи на правую на топчане, чтобы не засиживаться китайским божком, зычно, по-боцмански, отдаёт приказы по стройке. Вот уже на тележке ожесточённо и фанатично кружит по строительной площадке своей собственной вагонеткой, то пропадая в прохладном мраке мастерской, то выкатываясь под навес наружу. Кого-то весело материт, что-то привычно мастерит — на этот раз пепельницу из поржавевшей консервной банки, откусывая плоскогубцами острые зубцы. В это время малышня, чьи-то дети, забираются на него, как на главный камень из фонтана. Осваивая его плечи, грудь и голову, они карабкаются по нему сколько хватит пространства; он же, ничуть не раздражаясь, вполне благодушно снимает их за лапку, за ножку и осторожно ставит на землю.

Не всегда солнце благостно заливало строительную площадку. Когда сизая, килового оттенка, туча медузой застревала на макушке Святой горы, не желая сползать, погода портилась, штормило, шли дожди. Все укрывались под навес. Не всегда Кисель вёл себя как радушный хозяин. В определённые моменты оставаться с ним один на один было даже страшновато, будто под наползающей на лунный диск тучей, корчась в конвульсиях, он превращался в оборотня. На него тяжёлой цементной плитой непреодолимо наваливалось желание обидеть, задразнить, добиться того, чтобы человек огрызнулся. Возможно, так он провоцировал на то, чтобы и другие почувствовали маленькую боль, чтобы не только ему одному. Кто знает?..

На работы выползали из бараков женских и мужских все, за исключением жестоко отравившихся накануне рыбными консервами. Не всегда на труд было соответствующее вдохновение. Поэтому в такие дни очень важно было проскочить мимо Киселя незаметно, чтобы он не видел. Особенно пристально он держал в луче своего внимания праздных девушек, определяя их на разнообразные работы. С утра половецкие девы, что накануне вели долгие хороводы с пением, обычно гремели тазиками на кухне.

Однажды я попалась ему на глаза.

— А, генеральская дочка. Не отлынивать. Вон в углу лопаты… копать под бассейн и будущие термы.

— Конечно, — ответствовала я. — Я уже здесь.

Подлетела охотно к краю ямы, живописно сбалансировав на краю, даже заглянула вниз: там ли ещё скелеты? Поморщилась. Не люблю кости. Никогда не покупаю себе костяных украшений. Взяла в руки лопату. Вспомнила, что должен быть «заступ», но, как ни вертела лопату в руках, этой детали не обнаружила. Не расстроилась. Начала копать, не обнаружив заступа. В первый раз подцепила на кончик совка немного пыли и метнула эту пыль в ту же яму. В другой раз лопата глубоко увязла в земле — та́к я её умело воткнула в кил, что не хотела на свет выбираться. Там я её и оставила, к тому же меня окликнули на море. Кисель куда-то откатил на своей колеснице — на перекур или в персональную уборную с видом на море. Путь был открыт.

Иногда и в дневные часы, возможно, под воздействием чужеземных ветров, влекущих на горку с моря, от турецких берегов, раздражающую пыльцу с зацветающих иланг-илангов и пачулей, работы внезапно прекращались. Лопаты вмерзали в глину. Киселёвка уходила в загул. Котлованные чёрные рабы зубами крепче, чем у коров, отплёвываясь, срывали с бутылок скобяные нашлёпки, тащили из горлышек упругие упирающиеся цилиндрики пробок. Портвейн, шампанское, водка. Слава заезжим меценатам. Иногда, даже не на одни сутки, мы бывали богаты питьём, куревом, виноградом. Настоящим праздником становилось посещение Киселёвки братьями Борухами, выгружавшими из своей широкобёдрой машины канистры с коньячным спиртом, ящики с шампанским. Вакханки, спустив по спине волосы водопадом, неслись в бешеной полуденной пляске, обнажая плечи, живот и бёдра. Закинув кадыки к небу, поэты блеяли своё вечно-тёмное, неразумное. Сам верховный Лукомон, целиком отдавшись вышедшей из берегов стихии, подпрыгивая в экстазе на тележке, отрываясь от неё на несколько вершков, отчаянно тряссся головой Ильича из стороны в сторону, хрипел:

— Свобода, бля, свобода, бля, свобода!..

Опрокинувшись навзничь вместе с тележкой, выброшенный Вакхом в мертвецкий сон на пороге своей мастерской, Кисель смотрелся откровенно беззащитно. Его вставший на дыбы верный конь целиком скрывал от зрителей безногого богатыря. И только трогательно вращались затихающей темой четыре чумазых подшипника.

— Осторожно, не наступи, — передавалось тогда по цепочке от одного киселёвца к другому. — Юрка отдыхает.

Полдень. Белое солнце. Ультрафиолет. Все попрятались от зноя в дом, в тень, кроме загульного ветра, что крутит по площадке, пытаясь сорвать развешенное на верёвках бельё, гоняет пустые консервные банки, опрокидывает бутылки. Я полюбила ветер в Коктебеле. Маленький. Средний. Большой. Большой — порывами. Норд-вест, как злобный волчара, не раз срывал крышу с нашего навеса, один раз даже погнал крышу к соседу на его огород. Большой ветер, что раскачивает разом все купы акаций, как на сумасшедших качелях, стучится в окно, грохочет о шифер. Знойно, весело на душе. Как будто внутри тебя озорничает бриз, кипит море. Горячий ветер бьётся, как пламя, и хочет себя высказать. Каким языком? Может, это — коррида? Слава и гордость матадора, обводящего взором арену, знающего, что столькими любим? Белая пыльная арена у тебя под ногами.

Вот сейчас захочешь — сбежишь с горки и знаешь, что опередишь ветер. А сколько всего впереди. И, может быть, любовь уже выбрала тебя?..

Любовь посещала, кстати, охотно тех, кто рыл котлован, не отлынивая. Случалось, на одну стрелу Амура насаживалось двое обормотников. В часы, свободные от долгих маршей вдоль моря, вцепившись друг в друга пальцами, слипшись вязаными свитерами, они могли приносить пользу на стройке. Их, ослепших и оглохших от любви, определяли на самые тяжёлые и неудобные работы; впрочем, они первыми вызывались проложить очередной акведук, засыпать неудобную канаву.

Иногда, ближе к вечеру, когда, сморённые морем, вином и несмолкающим разговором, мы оставались на нашей горке следить за ветром и чтить тишину, до нас с холмов доносился довольно странноватый трескучий звук. Треск доносился отовсюду, поднимаясь и опускаясь, за исключением турецкой южной стороны, где — собственно море. Я удивилась этому звуку только однажды, осведомившись у друзей, что бы это могло значить. Мне ответствовали, что это Киселёв на своей инвалидке катает девушек, знакомя их с достопримечательностями Карадага.

Вначале у него был трёхколёсный вариант инвалидки, возможно, один из послевоенных трофеев, переделанная мотоциклетка с коляской, на которой полвека тому назад парочка фрицев в касках привычно прочёсывала старокрымские леса. В семидесятые годы эта привыкшая тарахтеть без умолку, а то внезапно застывать, как упрямый ослик, цвета одновременно слоновой кости, песка и летней формы Лоурэнса Аравийского, не без вмятин, царапин и выпадающей внезапно — особенно ей это нравилось делать на поворотах — дверцы, инвалидка была четырёхколёсной. Авангардные, весело выпирающие фары спереди, баранка и два послушных арьергардных колеса. Съезжая в ней с довольно крутой Киловой горки на свидание под любимый куплет: «Ещё не вся черёмуха к тебе в окошко брошена», — Кисель в такие минуты выступал в заглавной партии хана Гирея из того же «Бахчисарайского фонтана». На самом деле по-татарски надо произносить «Герай» — во всяком случае, так мне объяснили в Бахчисарайском дворце, а Гирей — имя, данное хану московскими послами. Чепуха. Каким бы ни было произношение, Кисель был убедителен в этой роли. Его ваянный рукой мастера Возрождения торс вполне давал представление о невидимой, но существующей плоти кентавра. Он был в мужьях у интеллигентной девушки из редакции телевидения, крутил романы с византийскими принцессами, певуньями и плясуньями из фолк-ансамблей, милашками из подмосковных гарнизонов и прочая, и прочая.

Почётные гости спали в доме, ребятня — на чердаке. Кто-то ночевал под навесом, кто-то за домом на топчанах, а кто и повыше — на горочке, под звёздами, в спальном мешке, а то и просто на сырой, на самом деле тёплой, киммерийской земле. На той же горочке по ночам весело потрескивал разлетающимися красными искорками костерок. Раскинувшись на пепельно-киловом ковре, душевно пелось над маленьким жарким кратером про «тум-балалайку».

Наша колония, несомненно, привлекала внимание людей, привыкших гулять по окрестным холмам. Однажды некто, проходя верхом горы, указывая сверху своему спутнику на лагерь, отчётливо произнёс:

— Вот пример истинного стяжательства, — полагая, что барыга-хозяин напустил за деньги жильцов.

Киселёву нельзя было держать постояльцев, не полагалось. Юрку поминутно отвлекали органы: то собственноручно проследовать в отделение подписать протокол на голую, доставленную с пляжа девицу, проживающую на Киселёвке, объяснившую своё состояние тем, что, приняв на грудь, начала снимать с себя одежду и в итоге осталась в костюме нимфы; то тучей налетали «люди в пиджаках» проверять насчёт прописок. Тогда хозяин шугал с полсотни своих обормотников за сизый киловый гребень, и они рассыпались семечками из арбуза во все стороны, скатываясь когда по сухому, когда по влажному скользкому килу к воде, не показываясь дома до большой темноты.

При том, что многим казалось, что Киселёвка — это одна сплошная стихия гульбы, сам Юра никогда не был «шаляй-валяй». У него была своя собственная внутренняя серьёзная мысль. Мысль о других — тех, кто был по жизни лишён, кто знал, что такое терпеть и уметь сдерживать себя. И Юрка замечательно умел делать те же вещи. Он умел терпеть и прекрасно различал грани добра и зла. Сознательно игнорируя тот факт, что, выпрямившись, он в рост с ножку стула, глядя поверх всех барьеров, он сражался за другую, более достойную жизнь для всех инвалидов-колясочников. Более того, за эту отпущенную ему на полвека колёсную жизнь он смог крикнуть со своего насеста на шарикоподшипниках что-то совсем неудобоваримое для советской губернии, вроде того, что: «Инвалид — это звучит гордо!»

Моими соседями по чердаку были брат и сестра Бриннеры. Родня голливудской звезды Юла Бриннера, с цыганскими корнями, неотразимого, пусть бы и без кольтов, с глазами, чёрными до гари, первым в двадцатом веке введшим моду на голый череп. Бледные, носатые брат и сестра Бриннеры совсем не походили на своего знаменитого красавца-дядюшку, что, останавливая старинный романс, бархатным баритоном любовно-раскатисто прислонялся душой к первому

парижскому цыгану Алёше Димитриевичу: «Ой, Альоша, что ты, что ты (жирно и вкусно проговаривая согласные „ч“ и „т“)… Ой, гавар-ри, Альоша, разгавар-ривай…»

Просто дни, просто ночи

А киселёвскую кодлу помнишь?
их диссидентский форс?
Идёшь, бывало, цветущим пар-
ком, щурясь как после спячки,
что-то порхающее чирикает, пряное лезет в нос,
и вдруг—гроб с музыкой—Кисе-
лёв в своей инвалидной тачке,

битком набитой незнамо кем, по
набережной гремит
вниз от спасательной стан-
ции и без тормозов как будто
и без выхлопной трубы, это точ-
но—значит, сезон открыт,
и он улетает в весенний космос и гас-
нет, как гроздь салюта.

Олег Чухонцев

На берегу разбросанными клочьями чёсаной жёсткой шерсти, ошметьями разорённых галочьих гнёзд валялись чёрные колючие водоросли. Изменив своему растительному происхождению, предав морскую стихию, водоросли под солнцем приобретали фарфоровую жёсткость и хрупкость. Гонимые ветром по песку, они умудрялись проникнуть под эластик купальника и липли узорчатыми чернильными татуировками к горячему влажному телу. Порой эти непослушные керамические веточки вели себя как вредные проволочки; тогда, обнаружив, их следовало отлепить и решительно стряхнуть с себя вместе с песчинками.

Все мы копали берег, кто с бóльшим, кто с меньшим энтузиазмом. До сих пор это действо сохранило своё старое название «каменная болезнь».

Копать берег означало водить правой рукой, тем, кто левша,—левой, по влажной гальке, как бы снимая слой за слоем, с тем чтобы выхватить цепким взглядом дымчатое ушко агата, молочный глазок халцедона, запёкшуюся буро-кровавую каплю сердолика или, напротив, его нежно-розовую эманацию, а то и серый невзрачный оладушек с дырочкой, зато приманивающий счастье,—куриный бог. Некоторым везло, и им попадались в дар от моря стоящие экземпляры ценимых здесь камней, из тех, что незазорно снести знакомому ювелиру на огранку.

И ко мне однажды пришёл агат в виде кольца на день рождения из серединного августа. И я утопила его в чёрной коктебельской волне в пору ночных купаний прямо под Киловой горкой. Волшебный агат, цвета молочного тумана, размером с фалангу пальца, с одной из вершин Карадага, на который вскарабкался с молотком храбрец-ювелир Валерка Иванов, встав пораньше до восхода, чтобы сколоть с агатовой жилы мне на подарок. Кольцо не продержалось на пальце и двух недель. Надо было мне с такой частотой лезть в море, искушая. В конце концов свита Посейдона, позавидовав, слизнула с моего пальца овальный перстень с крупным агатом в затейной узорчатой оправе для себя.

В душные августовские ночи вино лилось из трёхлитровых банок с особой щедростью. «Восхитительный херес!»

Я всю ночь не могла уснуть
Это жуткое солнце: я сожгла себе плечи.
(И. Бродский)

На берегу, на топчанах и на песке, все хотели с тобой пить, и разговаривать, и просто молчать, и снова наполнять стакан, и отпивать из него, и молча улыбаться. И надо было снова и снова входить в море, чтобы освежиться. В накидываемой на тебя стремительно, фартуком ночи, темноте можно было уже сбросить купальник, оставив его на берегу, и идти туда, где твоё тело облекут в чёрный атлас. Пропуская сквозь пальцы море, ты обнаруживаешь, что рядом с тобой веселятся в тёплой полуночной воде какие-то светящиеся точки и запятые, обзываемые знатоками непоэтично морскими организмами. Но ты, перебирая эти мерцающие лунные ожерелья, наматывая по-своему на пальцы эти ликующие гирлянды, забавляешься и забываешь, что у тебя у самой на твоём безымянном, чуток великовато, кольцо—подарок от человека широкой души, ювелирного мастера-самоучки Валерки Иванова.

Как-то Валерка на пару с Деопиком, прихватив ласты, скатившись босиком с киселёвской горки, решили плыть в Сердоликовую бухту. На обратный заплыв у Валерки силёнок не хватило. Поднялись по тропе на Карадаг, но возвращаться в посёлок с порезанными ногами стало невмоготу. У археолога ступни оказались покрепче, сам он шёл спокойно и предложил израненному другу спасительный вариант. На Тепсене курортники провожали взглядом парочку, идущую навстречу, почти плывущую по воздуху, из двоих щуплый паренёк, смущённо улыбаясь, как можно более естественно и невозмутимо ступал в ластах по траве.

В августе по ночам гремели грозы. Особенно часто Юпитер бросался белыми перунами в базальтовые гребни и скалы Карадага, наказывая каких-то своих непослушных сыновей. В большое ненастье маршрут «Киловая горка—бухты» становился опасен. Во время одного из походов, застигнутый грозой, один киселёвец должен был провести ночь на скале, прежде чем его сняли катером с Карадага.

— Ну а теперь—на море!

Я езживала в Юркином «шевроле», трогательном четырёхколёсном автомобильчике с очевидным рулём, к самой волне, сиживая с ним рядом, пряча колени от его дёргающейся палки, а также сверху на капоте и сзади на бампере. Кроме меня — ещё с полдюжины девчонок в развевающихся юбках. Если бы нам по дороге встретился Юл Бриннер, я думаю, он прикусил бы губу от зависти к киселёвской лысине. Но мы как-то попались на глаза Евгению Бачурину, о чём он не забыл: «…Днём, среди толпы, которая шла туда — купаться, или оттуда — пожрать, как муравьи, вдруг — звук клаксона, ехал Киселёв на своем инвалидном драндулете, торжественно, как будто он ехал на золочёной колеснице, и у него на капоте и сзади сидели потрясающие девушки — в шляпах, некоторые с перьями, некоторые полуобнажённые, с сигаретами! Никто не видел, что он без ног! Он сидел спокойно и гордо, а вокруг — роскошные дивы, все одна к одной — красавицы! Это было впечатляющее совершенно зрелище, которое невозможно забыть».

Местный поселковый люд, на вид невинно-простодушный, внутренне озлобленный — не иначе фактом рождения на совдеповских просторах и необходимостью всю жизнь болтаться бортовой качкой между статьями гражданского процессуального кодекса, грозил узловатым крючковатым пальцем вслед клубящей пылью, белёсой в цвет ковыля инвалидке, уносящей на своих глянцевых боках накупанных наяд:
— Шпион, мать твою… притон!

Надо заметить, что никто из членов экипажа — ни вождь под кепкой, ни наяды, ни сама собственно таратайка, что, отфыркивая и чихая, продолжала карабкаться к себе домой на горку, — не обращал на них внимания.

Мы все уже по несколько раз сплавали и теперь загорали на песке. Вновь подходящий ставит ладонь козырьком и всматривается в горизонт: кто или что там покачивается на волнах? Киселёв или буёк? Кисель на одних руках мощным великолепным брассом уходил в море убедительнее любого графа Монте-Кристо, а торчал в море почти так же долго, как и в своей персональной уборной, — часами. Наконец он выбирался на берег и, опираясь на руки, раскачивая свой торс, как на качелях, доставлял себя к нашему завтраку на траве.

Теперь можно позволить себе одно из самых нежных общений. Ты лежишь на золотых песчинках, на клиньях своей юбки на спине, а он возвышается над тобой пасхальным куличом, своей собственной горкой, своей Киселёвкой. Это лучшая точка. Ты смотришь на него снизу, как и до́лжно в общении с настоящим мачо; на нагретом песке, под прищуром всемогущего джинна, ты чувствуешь себя царевной Будур, что на ковре-самолёте уже летит сквозь всё голубое в хрустальный дворец, к исправленной черте горизонта.

Ковёр-самолёт давно пылится свёрнутым половиком на чердаке. Живой, жёлтенький, как желток, песок, струящийся в воронку ладони секундами счастья, забросан серой мёртвой щебёнкой, которую было бы зазорно предложить даже Гитлеру для строительства его бункера. Пчела кормится на куске сахара. А каков современный рецепт изготовления коктебельского коньяка, всем нам лучше не знать… «Какая чудная земля вокруг залива Коктебля…»

По сути, курортная жизнь неосвещаемого посёлка была скупа на события и развлечения. Кино в Доме писателей заряжалось на неделю, да и сам единственный кинотеатр из-за пропускной системы считался недоступным, его побелённую, высотой в два метра, стену приходилось брать штурмом. Однако следить за игрой Филиппа Нуаре и Анни Жирардо во французской комедии «Старая дева» про их заграничный отдых на таком же синем море, под тем же палящим солнцем, сидя на верхушке ограды, отклоняясь поминутно от разлапистых веток акаций, загораживающих белый простынный экран, было очень даже восхитительно.

К вечеру, ещё до наступления темноты, подтягивались на киселёвский холм прослышанные про столь интересное место и его хозяина разные люди: совсем известные, такие как Валентин Гафт, Булат Окуджава, известные среди своих — поэт Валерий Кривулин, барды Евгений Бачурин, Алексей Хвостенко, Эдуард Лимонов с Козликом, то есть супругой, и другие неизвестные, но не менее талантливые, коих было большинство. В звенящем неумолкаемыми цикадами черничном киселе ночи прибытие гостей оглашал невидимый церемониймейстер:
— Эдуард Лимонов с Козликом!
— Художник Шварц с куклой!

Присутствовавшие вытягивали шеи в сторону поднимающегося под навес, практически в портик, шевалье Лимонова, в белоснежно-джинсовом нараспашку, с непременным цветком в петлице, под руку с туго затянутой в талии Барби Еленой Щаповой, или бородатого, ассирийского типа, художника с куклой — женой странноватого вида. На деревянные ящики тут же выставлялись гранёные стаканы, бильярдными шарами подкатывали яблоки. Благородные гости приносили благородное: массандровское в высоких бутылках, коньяк в коротких фляжках; иное, в трёхлитровых банках, подавалось с ленты конвейера бесперебойно.

> Ах, так ли всё, когда ты коктебелен,
> Когда лазурь кругом, куда ни взгляд,
> А в банках все шабли несут подряд,
> И взором дев — ты весь околыбелен!
>
> *(М. Ляндо)*

Когда надоедало скатываться с Киловой горки всегда себе под нос, порой мы выстраивались гуськом, чтобы идти на весь день подальше в бухты за мыс Мальчин. Минуя последний официальный пляж правого берега пансионата «Прибой», мы шли по тропинке, проходя мимо всегда закрытой железной дверцы старого арсенала, напоминавшей очаг, нарисованный на холсте, так и манивший ткнуть в него пальцем. Но так как страна оглушительного счастья, которую ты топтал, уже находилась у тебя под ногами, то все шли вперёд, не любопытствуя на явление крашеной дверцы. Живописно на излучине тропинки белел пустой домик рыбака, рядом с которым валялись смотанные куски ржавой скрученной проволоки, обрывки верёвочных канатов, тёмный лицом якорь, следы кострищ с разбросанными вокруг колотыми острыми створками мидий. На той же тропе, практически на камнях,—изогнутые ветром стволы серебристого лоха.

Обозревая морской простор, замечаешь, как с лодки непременно кто-то нырял за морскими кладами.

Путь до Гравийной бухты—лёгок и недолог. Дойти до края мыса Мальчин, обогнуть его и идти вперёд, оставляя за собой несколько «Лягушек», выбирая между верхней тропой и нижней. По дороге до Гравийной первая—крохотная мелкая бухточка Людки-разбойницы. Здесь в нагретой волне всегда можно порезвиться. Под водой, в прозрачной глубине, колеблемые подводным ветерком, раскачиваются из стороны в сторону буро-зелёные волосы-водоросли. Вокруг плоской утопленной базальтовой плиты течением посильнее закручивается веером горжетка из чернобурки, в её мехе сверкнувшим серебряным наконечником стрелы навсегда пропадает метнувшийся испуганно косяк мерцающих рыбок. Несколько взмахов—и ты уже на выступающем камне, с которого так удобно наблюдать за бакланами, что изящными чернофигурными амфорами утвердились на невысоких скалах. О мокрые блестящие скалы бьётся тёмно-синее с белым море Моне. Надоест торчать на солнце—плыви в тень грота, куда нет входа солнечным зайчикам.

В весёлый бриз, в гостях у резвой «Людки», увёртываясь от быстрых коротких волн, что так и норовят перекатить через голову, ты напеваешь арии из любимых опер или грассируешь на французский манер, «сюрюкая» местные названия: «Барраколь», «Легинерр». Освежившись, карабкаешься вверх, где рядом с тропой можно опуститься на сухую, примятую нимфами ли, кабанами ли жёсткую траву и разглядывать сад из валунов, пробитой строчкой спускающихся по склону, покрытых золотисто-ржавым лишайником—свидетельство высокой экологии.

Гравийных бухт—две. Лучшее купание—в первой, более открытой. Берег Гравийной набран из отшлифованной, раскалённой в августе вулканической гальки в форме плошек, каменных рукавиц, маленьких и больших дисков для метания, цвета графита.

«О, купание в Байях»,—повторяешь ты, входя в эту тяжёлую, плотную воду, строчку из Светония, посвящённую Тиберию, который предпочитал купаться в маленьких бухточках на Сицилии. Видимо, погружать своё тело в волны в тех местах было для императора предпочтительнее всего.

Залив в Гравийной—не пресно знакомое тебе Чёрное море, где пока ещё плавает килька серебристой спинкой вверх. Это—священный водоём, в который в полночь погружается Геката, на рассвете омывает в нём свой меч небесный Архистратиг. Ты набираешь сколько возможно этой колдовской силы и уносишь её домой, где сразу засыпаешь.

На следующий день тянуло покорить Сюрю, отважиться на путешествие на Меганом, добраться на попутках до голицынских виноградников. Со стороны моря роль заботливого быка, перевозящего на своей спине по волнам любопытствующую Европу от одной бухты к другой, выполнял катер. Быка звали, допустим, «Витя Коробков». Быков, вернее, бычков, было несколько. Петляя каботажными кружевами, жестяные корытца с невысокими бортами курсировали от одного причала к другому за горстку мелочи. Задумаешь—до Биостанции на тяжёлые нагретые камни её почти всегда пустынного дикого пляжа, возжелаешь—на нежный мельчайший песок в Лисью бухту, определишься—на весь день в Ялту, подошёл срок—в Феодосию на вокзал.

Лисья бухта, до того как её оккупировали падшие и голые, казалась идеальной площадкой для исполнения «Послеполуденного отдыха Фавна» на музыку Дебюсси, разве что не хватало растительности. Жертвенность, безысходность берегового пейзажа неизменно искупалась синим простором. Подняв глаза на вершину плато, где в песчаных расщелинах и норах обитали когда-то лисы, казалось, узришь одинокую лань, она же—Артемида-охотница. Хотелось глазами богини сверху бесконечно долго смотреть на беспокойное синее, восходящее на горизонте к безмятежному голубому. Мысленно махнув рукой на то обстоятельство, что непременно обгоришь, пропускаешь очередной рейс и остаёшься на последующие четыре часа в Лисьей бухте.

Точно по расписанию «Витя Коробков» послушно возвращался в Лисью подобрать на свою спину загоревших и накупанных. На обратном пути ты снова проходишь мимо древнего потухшего братана с его Мёртвым городом на загривке, вечно спускающейся в прибой королевской четой, продуваемыми Золотыми Воротами, окаменевшими Львом и Слоном, застывшим огромным огненным пионом срезом кратера и скромным, не ревущим

входом в Аид. Если повезёт, к твоему послеполуденному созерцанию, не без ликования с ветерком, добавят выскакивающих чёрными скибками из воды, веселящихся дельфинов, сохнущих бакланов на прибрежных скалах и суетливых, вечно голодных чаек над головой.

Иногда путешествуешь из Лисьей пешком до Приморского, а оттуда катерком до Планерского. Южнее за Лисьей бухтой — совсем нехоженые Козы, хранящие очевидные отпечатки доисторических эр. Под ногами — удивительные коллекции. Звёзды, моллюски, древние рыбы кто хребтом, кто щупальцем отметились на каменных папирусах загадочными рунами. Молодые люди, почитающие себя в душе ихтиологами и палеонтологами, страстно любящие всё доисторическое, невзирая на запредельный вес, складывают пудовые листы каменных книг в рюкзаки и, отирая пот, волокут их в посёлок, чтобы расшифровывать на веранде за вечерним чаем с неизменным кизиловым вареньем.

В посёлке все ходили гулять на эспланаду. На обратном пути все смотрели на звёзды. Иногда до самого подножья киселёвского холма тебя, как до замка папочки-лорда, церемонно, со всей учтивостью провожали физики, снимавшие комнаты по центральным соседним улицам: Десантников, Мичурина и Победы. Некоторые из них, что и неудивительно, знали наизусть всё звёздное небо. И неоднократно, указывая тебе рукой на созвездия, знакомо повторяя их очертания, мягко недоумевали, как ты не видишь в скоплениях этих блистающих у тебя над головой в темноте россыпей зёрен, шляпок гвоздей, тычинок ничего путного.

— Вот, — указывали они на созвездие Льва, твоё родное, зодиакальное, в эти дни такое очевидное над линией горизонта. — Вон лапа, хвост... Как ты не видишь?

— Лапа? Хвост? — в свою очередь недоумеваешь ты. — И близко ничего похожего.

Впрочем, после нескольких повторных блужданий по небу под руководством знающих астрономическую дисциплину, за исключением известного тебе Ковша с никогда не определяемой Полярной звездой, ты запоминаешь аккуратную, только что срубленную «ёлочку» созвездия Орион и «дабл-ю» Кассиопеи.

О, это ночное небо над твоей головой со столькими звенящими созвездиями, с этим застывшим каплей на кончике указки и всё же идущим к тебе светом. Оно не казалось тогда, как сейчас, океаном сплошных одиночеств; все мы баюкались в Большом Ковше знакомой Медведицы, неосознанно испытывая общее счастье оттого, что собрались в одно время в одном месте.

Пристроившись на краю твоего топчана, вместо колыбельной собратья по коммуне уже начинают описывать тебе невзрачного, но смертельно опасного паука каракурта, на пыльных ходульках, живущего по соседству у подножья Карадага, или маленькую чёрную вдову из того же семейства, с белым черепом на спинке, и учат отличать сколопендру от простой мухоловки на тех же мерзких мохнатых лапках.

И, несмотря на приведённые примеры и случаи, имевшие место на этих цветущих холмах, с пострадавшими от паукообразных — неким мальчиком, шофёром и путешествующей женщиной на велосипеде, тебе — не страшно, а скорее страшно-весело, и ты не прочь повстречаться и с пропылённым каракуртом, и с вдовой прямо здесь, на топчане, чтобы взглянуть им в глаза; но ты хорошо знаешь, что никого из этих вредоносных не будет, а будут одни только комары, вот они уже звенят у тебя между носом и ухом, и никакие хлопанья и убивания не спасут тебя от жгучих расчёсываемых укусов.

А потом наступает ночь. И снова ты остаёшься с ней один на один. Об этом уже сказано лучшими нашими поэтами: «Тиха украинская ночь» и «В небесах торжественно и чудно». «Тиха украинская ночь» и «В небесах торжественно и чудно» развиваются одновременно, когда уже отговорили, отсмеялись самые неугомонные из обормотников, далеко за полночь. Но так значительно явление ночи и всё то, что свершается в небе, что ты зарекаешься не спать и сторожишь себя, чтобы как можно дольше не соскользнуть в ночь и не исчезнуть.

И вот ты вслушиваешься, и внюхиваешься, и пробуешь её на вкус. То ты вглядываешься в ещё видимые очертания холмов, то переводишь взгляд на ветки и следишь, как ветерок крутит и переворачивает «сребристых тополей листы» с тыльной светлой стороны на лицевую тёмную. В конце концов ты начинаешь смотреть на звёзды и уже не в состоянии отвести от них глаз.

Как в небе всё стройно, высоко, благородно. В небе совсем нет того, что ты так не любишь, нет никакой пошлости. В глухие тёмные часы ещё можно затосковать, но перед рассветом уже проступает замысел главного Архитектора. Небо как будто готовится сделать глубокий вздох. Вдохнуть Бога. Этого мгновенья ждут — и месяц, плавленым слитком серебра, и светлая яркая звезда, никогда не оставляющая своего брата. Под звуки хорала кто-то трудится на востоке, выдувая голубое стекло. И вот наконец всё заполняет собой свет. Теперь можно сдать вахту и уснуть на несколько часов. «Мир всем!» наступил.

От «Левады» до «Эллады»

Наш салатик овощной —
Вкусный и полезный!
Вы не кушали такой —
Кусочками нарезанный.

Кушай овощи, дружок,
Будешь ты здоровым!
Ешь морковку и чеснок,
К жизни будь готовым!
Частушка

Некоторые из новоприбывших девушек, чтобы доказать своё восхищение перед городом-коммуной, заслужить авторитет вождя, а то и подлинный интерес к своей персоне, вызывались перемыть недельный запас грязной посуды, громоздившейся в тазах и просто на земле,—пизанские наклонённые башни падающих общепитовских надтреснутых тарелок. По белому наливному блюдцу веточкой гербария сбегал нежно-охристый узор трещинок. Тут же, по соседству с вёдрами, наполненными водой, покорно ожидая своей очереди, дремали скучные цинковые тазы, доверху набитые гнутым алюминием. Среди них выделялся большой китайский эмалированный таз с уродливым ржавым родимым пятном на месте отбитой эмали, с прильнувшей к нему, будто щекой, белоснежной хризантемой. На дне отлёживались ложки-инвалидки без черенка. Податливые алюминиевые приборы, гни сколько хочешь, легко переламывались в мозольных ладонях бригадиров Киселёвки в самом уязвимом перешейке—шейном позвонке, за ними хромосомной цепью—спирально перекрученные вилки.

Вызвавшейся Золушке надлежало сперва подобранной щепкой соскрести с тарелок остатки пищи, затем с помощью ошмётка мочалки и обмылка хозяйственного мыла смыть тяжёлый жир, ополоснуть их в той же холодной воде, а затем уже, блестящими, передавать тем китайцам, что, насадив на кий, любят крутить плоскими фарфоровыми блинчиками над своими шапочками Лао-цзы. На вечерней заре, перемыв весь вычурный город Корбюзье, что возникнет через пару закатов на тех же покосившихся ящиках, прижав оловянную «плоскодонку» к груди, девушка замирала, упорхнув ласточкой в свои мысли, в которых она, теперь уже хозяйкой Киселёвки, подвинет с пьедестала наконец жён-декабристок, чью планку высокой жертвенности в СССР ещё никому не удавалось преодолеть.

Если подниматься от моря по улице Десантников вверх, то общепитовская столовая «Левада» (доверительным словарём Даля название переводится как «огороженный луг» или «пастбище») располагалась по левую сторону; если по узкому кривому переулку Серова сбежать вниз, то столовка оказывалась справа. Сбоку—фанерная пристройка вагончиком, в чьё окошко мерным стаканом разливался винный материал от пятидесяти грамм до бесконечности, была бы тара. Сама «Левада»—обычная «едальня» с тяжёлыми кашами, салатами из свежих капуст и тушёными гарнирами с того же кочана, что не исключало быстро остывающих подошвенно-резиновых котлет и белых склизких макарон—стволов с главного артиллерийского орудия, оповещающего в городе Петра наступление полдня. Борщи и прочее перловое и гороховое разливались огромным черпаком. Треть черпака—полная тарелка. За раздаточной стойкой—плотненькие, в веснушках, в высоких поварских колпаках, отнюдь их не украшавших, ученицы кулинарного техникума из Запорожья. Ухватисто и расторопно осуществляли дивчины на «огороженном лугу» свою практику.

Час, в который лучи солнца сливались в сплошной перпендикулярный зенит у тебя над головой, справедливо считался временем обеда. В этот момент отдыхающие, бросив море в одиночестве, устремлялись разгорячённой толпой в посёлок в поисках еды. Большинство оседало на ступеньках перед «Левадой». Неизменно растущая очередь желающих перекусить вдоль длинного прилавка, нетерпеливо бьющая концом своего хвоста на улице, позволяла порой совершать нечестные поступки: передавать из середины очереди своим товарищам, обосновавшимся за столиками, тарелки с едой, продвигаясь безмятежно к кассирше и оплачивая единственно пару ломтиков хлеба и один компот.

Очередь в «Леваду» долгая, потому что общепита как такового в Планерском нет. Единственная официальная столовая посёлка—для писателей, но та еда на строго охраняемой территории, аккуратно разложенная запеканками и свежим творожком под непременной тюбетейкой сметанки, недоступна обычному смертному. Элитная еда для избранных, для тех, кто с паркеровским пером, кто после волн—в халат и тотчас за свой столик к салфетке с вензелем.

Томится в длиннющей очереди в «Леваду» в зной, под козырьками и косынками, демократическая молодёжь, только что создавшиеся, не распавшиеся пока молодые семьи с орущими голыми детьми. Не помню такого сезона, чтобы кто-нибудь из очереди не влюбился в веснушки и крахмальный колпак короной. Не сводя глаз с подруги и черпака, пристально следя за отпускаемыми ему в суповую тарелку положенными граммами, знающий всё о секретах Уложения в части всего прейскурантного и порционного, притирался хлопец к своей Оксане. По осени, как водится, игрались свадьбы.

После оплаченного салата из сырой брюквы и переданной поверх голов верными товарищами тарелки с голубцами мы перемещались к винному окошку, честно заняв очередь на «розлив», но нас никто бы и не пропустил из жаждущих. Самый молодой отлучался, чтобы сгонять на горку, снести заначенную порцию еды Киселю. На текущем жарой асфальте, рядом с банками, склонив

буйные головушки, уже дремлют успокоенные вином и зноем твои друзья. По чётным Зоя, по нечётным Клава разливали в оконце в стаканы и в банки, причём Клава не доливала, спиртное всех цветов и калибров — от сухого, по-местному «сухе», до полу- и истинно креплёных портвейнов, хересов, мадер. Крымские художники, наиболее отчаянные перфекционисты посёлка, держа в луче своего зрения одновременно вангоговскую зелень абсента и таитянскую Гогена, вкушали загадочный кальвадос. На профессиональный перечень должен быть зван, разумеется, Веничка Ерофеев.

В конце улицы Победы, на пересечении с улицей Стамова, — кафе «Ветерок», невеликое пространство полусферой со столиками. Мне перестало нравиться в него забегать перекусить после того, как я обнаружила, что после посещения этого заведения я как будто поправляюсь. В сущности, это неудивительно, так как «Ветерок» имел молочную направленность. Его прилавок был предоставлен под молочные реки, кисельные берега. На пластмассовых подносах в стаканах белыми пешками — кефир, молоко, простокваша, рубиновый кисель. Этажом повыше — выпечка: булочки с маком, корицей, ватрушки с творогом. В глубине прилавка — сырники, блинчики, оладьи, порционная сметана на полстакана и — целый стакан.

— Стакан кефира и ватрушку, пожалуйста… и, пожалуй, ещё блинчики.

После моря аппетит зверский. Но чтобы не видеть краешком глаза, как пухнут и выступают щёки, лучше взять в «Волне» или «Леваде» узкий ломтик чёрного хлеба с винегретом, а к нему — котлету с тушёной капустой, или порцию тефтелей с рисом и подливкой, или фаршированные голубцы, пусть и со сметаной, или тощую куриную ножку под бледным несолёным пюре. Есть-то хочется…

Ну вот, я совсем не помню некоторые названия из середины семидесятых. Рыбный ресторан «Осьминог» с закуской из мидий, шашлыками из осетрины, впоследствии с танцами по цементному бортику центрального фонтанчика, и кафе «Бубны» рядом с «будинком» Волошина появились значительно позже.

Для мужской части населения самым привлекательным долгое время, то есть пока он существовал, оставался пивной ларёк. Пивная точка в самом центре набережной с вынесенными высокими столами, на которых — пузатые толстостенные кружки, практически все с ощутимо обгрызенными краями. Когда в них под напором подавалось живое пиво, щедрая пена маскировала зализанные неровности — следы видимой пассионарности посетителей тычка. Вокруг ларька всегда бывало оживлённо. Прямо пропорционально процессу опустошения кружек воздух насыщался азартом общения и громкоговорения. Пивная пена побуждала к болтовне: даже самые неразговорчивые после нескольких заходов разговаривались до такой степени, что и не заткнёшь. Сосед справа, как редчайшую драгоценность, предлагал тебе оценить на вкус крохотные полосочки волохатой пересоленной воблы. Чтобы друг замолчал, приходилось пинками отправлять его в море, где среди волн он бы заткнулся, наконец, но и там, пребывая непосредственно в стихии, заливаемый через голову белопенной волной, он умудрялся орать в твою сторону что-то исключительно важное, как сумасшедший.

Строители Киселёвки, крепкие парни с бицепсами, постоянно хотели есть. Однажды, в поисках по окрестным холмам, заметим, всего строительного, привезли на Киселёвку не кирпичи, а метнувшегося под колёса случайного барана, обгадившего, кстати, багажник. В итоге заимели только головную боль: надо было искать палача резать баранову шею, доставать спирт к ужину, подлизаться к стажёркам из «Левады», чтобы занять до утра огромный бак для готовки, отмывать багажник, пряча следы преступления, закапывать кости. И если в итоге стало сытно, то всё-таки грустно и совестно, и пришлось к ночи снова скатываться с Киловой горки во всепрощающее море смывать грехи.

За морскими продуктами ходили на пирс. За мидиями, обирая их по сваям причала, ныряли с пирса в море. Плов из мидий готовили дома, частенько на вытоптанной площадке на верху Киловой горки. Гурманы, растянувшись на земле, проникали в сокровенное оранжевое сердце моллюсков, раздирая корявыми пальцами неуступчивые острые створки, не страшась порезов. Наш «киловый завтрак на траве» — угольное пятно кострища и разбросанные вокруг, вытащенные на песок вверх дном закопчённые мидии-лодочки.

От просолённых морским ветром экипажей керченских шаланд можно было разжиться как скромной килькой, так и королевской камбалой. Как только на горизонте мелькал алый парус, посёлок оживал: срезая углы, устремлялись на берег расторопные хозяйки, озадаченно пересчитывая мелочь в карманах, семенили проулком дачники, перейдя на галоп, летели по улице Десантников парапланеристы в постромках. Прихватив бутылки с водкой, не отставая, а даже обгоняя, под предводительством вождя тарахтели к морю киселёвцы. Рыбари с борта шаланды уже черпали совком кильку, малосольная малютка послушно плюхала серебряным выплеском в целлофановый пакет, подставленную банку. Рыбку разносили на веранды под жбан пива. Моряки знали цену камбале и султанке — царской рыбке, но не было такого случая, чтобы при виде бутылки водки рыбацкое сердце не дрогнуло и, как следствие, на сиденье инвалидки не оказывалось протестующее

последним прощальным приветом плоское тело камбалы.

Центральным рестораном в Планерском, не считая одного с цыганкой на шоссе у автостанции, а значит, загульного, был ресторан «Эллада» с чайкой на лбу, то есть с изображением на фасаде чайки на трёх коротких волнах. Местные дизайнеры, вероятно, хотели отличить заведение определёнными мореходными признаками, и вполне возможно, что сверху своими очертаниями ресторан напоминал широкий бот или вместительную греческую трирему, но снизу это было никак не заметно.

Одним вечером мы, киселёвские тётки, так прозвала нас малышня, были в него, то есть в ресторан, приглашены студентами, почти физиками.

«Эллада» — двухэтажное серое здание с клумбой из роз и фуксий на линии фасада — утоплено вглубь, чтобы босоногие с набережной в трусах и раздельных купальниках не посягали на центральный. Но им бы это и в голову не пришло. Ресторан, с обычными столами, пластиковыми креслами, с подносимыми вышколенным персоналом, в рамках греческой архаики, чашами с водой для ополаскивания рук, предназначался для директоров крупных предприятий на заслуженном отдыхе. Шахтёры-везунчики, не оставшиеся в пластах породы, восседали за скатертью, насупленно рассматривая кусочки лимона, плавающие в невысоких керамических мисках.

— Это для того, чтобы мыть руки, руки мыть, — передавалось шёпотом женщинами от столика к столику.

Я опустила руки в чашу, пошевелила в ней пальцами, стряхнула капли лимонной воды, как росу, и как можно более по-гречески провела по ним салфеткой. На этом контакт с эллинской культурой закончился, не считая заказанных на наш стол пяти мелкокалиберных маслин, поданных в розетке из-под варенья, что составило одну порцию. В отличие от разумных греков, которые всё разбавляли, мы, вероятно, опять же не без генетической памяти неразумных скифов, принялись всё смешивать. Всё — это всё. В то время я ещё не знала, что для моего состояния смешивать ничего категорически нельзя. И, конечно, ничем хорошим это не кончилось. Более того, кончилось всё это похищением нас в милицию прямо с высоких ступеней «Эллады», почти Парфенона, нас, уносивших на губах цвета высаженных перед ресторацией фуксий, впервые познавших одновременно вкус коньяка и иного плодово-ягодного — причем первоначально коньяка, ещё и вкус греческих маслин.

Нашу компанию внезапно, ахово (при выходе из ресторана создали шум, превышающий шум морского прибоя) побросали в сухопутный «тузик», или как там назывался их милицейский «газик». Вначале мне многое показалось удивительно романтичным. Когда милиционер отодвинул заслонку «тузика» и я, приподняв платье над коленом (у них была высоковата ступенька), поддерживаемая дружно сзади грузящимися следом, заглянула внутрь, как Ивашечка на лопате в печь: достаточно ли там уютно и тепло? — то обнаружила внутри ещё некоторое количество преступников, возможно, висельников. Путь к месту казни оказался весьма путанным, долгим и спиральным, всё с какими-то подпрыгиваниями на буграх и неожиданными резкими торможениями. А у меня внутри не только назревал, а уже вовсю развивался конфликт, порождённый генетической страстью неразумных скифов. Повороты не кончались. Я даже решила, что нас везут серпантином в Ялту, где во дворе домика Антона Павловича Чехова содержится гильотина, единственная в Крыму.

Приятель, сидевший рядом, считавшийся до этого другом, не преминул воспользоваться сложившимися обстоятельствами, организовывая на крутых витках тесные прощальные объятья. В конце мне стало совсем дурно, и я уже не чаяла казни. Наконец «газик», вкусно тормознув, дёрнулся напоследок и встал как вкопанный. Я выпала из печки, присела под кустик в чёрную ночь неизвестно где и стала глубоко дышать, кляня себя на чём свет и зарекаясь в жизни больше никогда ничего не смешивать. Потом я как-то подняла себя и, пошатываясь, хватаясь руками за дружественные низкие кусты туи, протянувшие ко мне свои узорчатые ручки, побрела в сторону Киселёвки, рухнула на свой топчан за домом и сладко проспала до позднего утра.

Старый Крым

Куры, яблони, белые хаты —
Старый Крым на деревню похож.
Неужели он звался Солхатом
И ввергал неприятеля в дрожь?

Ю. Друнина

Восточный Крым — пространство для кочевья. Волны кочуют, холмы кочуют, гуртом переходят на новые пастбища облака. Даже камыш кочует хотя бы одним своим чубом. Измученные ветром деревья — тем, внезапным, что так стремится сорвать их с места, — давно выстроились бы в шеренгу, хвост в голову, но их держат корни. В каком-то смысле я тоже дерево: измученный мыслями искривлённый ствол и ветки-веточки; корни — в земле. По материнской ветви — в крымской, чтобы быть совсем точной — в старокрымской. Иногда я чувствую этот горьковато-солёный полынный сок, что поднимается от корней по стволу к самому сердцу. Порой я чувствую родительскую любовь очень остро, и я люблю кочевать.

— Давайте сходим в Старый Крым.

— Кто знает дорогу в Старый Крым, только точно, а то в прошлый раз вышли и не там свернули?
— Надо идти мимо виноградников, озера, а дальше есть развилка.
— Но только без дураков, а то вместо пяти часов в прошлый раз проплутали восемь.

Коктебельцев тянет в Эски Къырым — «Старый Ров», вроде так переводится название городка. Несмотря на утомительность перехода: если идти по старой дороге, то есть «земской», это двенадцать километров и стёртые ноги, если выбрана не та обувь, — прогулка в Старый Крым остаётся одним из самых привлекательных маршрутов. Во время одного из таких походов, углубившись в курчавый лес, на прогалинке я наблюдала сценку из жизни мною обожаемых зайцев: большой коричневый заяц не спеша, важно пропрыгал к группе из таких же степенных зайцев и, сложив лапы на груди, встал в стойку суслика. На выходе из старокрымского леса — переход через мостик, где непременная встреча с козами, а там по главной, вездесущей улице Ленина, опоясывающей, как известно, весь земной шар, мимо облупленных «Почты» и «Хлеба», к зданию с колоннами — ресторану «Горный». Не чувствуя ног, очутиться в прохладном полумраке полупустого ресторана и, ополоснув руки, в блаженной истоме опуститься на стул, не торопя официантку, уносящую на кончике карандаша на кухню всегда один и тот же заказ: овощной салатик и порцию отбивных по-татарски.

Будучи в городке, как не подняться на крыльцо Литературного музея, не вглядеться в вытянутое лицо предпоследнего Председателя Земного Шара Григория Петникова, не добрести до домика Александра Грина, бросив взгляд на узкую кровать в его клетушке, подумав, что его пространство, в сущности, так же одиноко, как и у автора «В поисках утраченного времени»? После рынка заглянуть в хозтовары, да, пожалуй, ещё и на кладбище.

Кладбище Старого Крыма — похоже, маленький филиал Сент-Женевьев-де-Буа, где лежит крымская аристократия; свои Ромео и Джульетта, неразлучная как в жизни, так и в смерти пара влюблённых — Юлия Друнина и Александр Каплер; скорбный, вечно голодный проводник всего Несбывшегося Александр Грин; непризнанный Председатель Глобуса Велимир Хлебников и даже своя Маргарита, в чьих жилах текла кровь французских королей из рода Валуа. Что касается последней, то точное место захоронения миледи неизвестно, но всё одно в старокрымской земле. На дорожку есть ещё время обжечься турецким кофе в ближайшей кофейне и в глубоких сумерках катить на попутке домой.

Так, выстраиваясь в затылок друг другу, формируется отряд из пионеров, без жалоб, без тоски по поводу толики пройденного и всего, что впереди, без вопросов: «Половину-то прошли?» — мимо виноградников с собаками, вокруг озера, тягунами, тягунами. Пионерами. Пионерами…

Гипсовый пионер навсегда прописался в давно заброшенном парке Старого Крыма. Я наблюдаю его которую осень: отнюдь не принц, опирающийся на золотой эфес шпаги, ласточка не вьётся у него на уровне груди и не выклёвывает его сапфировые глаза, чтобы отнести их в фонд помощи брошенным детям. Похоже, это — Васёк Трубачёв. Любопытно, что автор одной из самых затрёпанных книг в детстве — уроженка Старого Крыма. А может, это длинноносый друг Буратино, принятый в пионерскую организацию. Его в очередной раз облапошили бомжеватые друзья, наобещав, что на этот раз уже непременно забьётся, затренькает урожаем монеток деревце мечты. Те, кому барабан тяжело и громко, — Мальвина и Пьеро — в эмиграции очередной волны. Артемон, прошедший обучение в рядах мчс, изыскивает наркотики в аэропортах. И только гипсовому Бу с тумбы никак не донести горн счастья до своего носа. Он — навсегда в стране дураков. «Чао, бамбино, сорри…»

Вид местного летнего городского парка неизменно обескураживает: первые секунды после промчавшегося смерча или бомбёжки. Что за вражеские эскадрильи каждую ночь сбрасывают именно на это место весь оставшийся груз неизрасходованных снарядов? Кто летает и бомбит эти липы с такой ожесточённостью: валькирии, отряды хиппи «плохишей», стаи барражирующих, никогда не загорающих вампиров? Может, это не сверху — из недр? Неуспокоенный дух хана Золотой Орды Мамая, зарезанного в Кафе и подведённого здесь под курган, кружит в священной пляске дервишей над этой танцплощадкой? Одолжив у маленького Мука туфли с загнутыми вверх носами и волшебный посох, он носится над Старым Крымом, сокрушая всё, что ещё каким-то чудом уцелело.

«В прах! В прах! — стучит он палкой, сокрушая крупные камни в более мелкие, битый кирпич — в пыль. — Мы прежде всего — караван! А уже потом — сарай». Потому-то если домики здесь и держатся, то это большей частью болгарские беленькие сарайчики, в панельную длину и ширину для двух-трёх карандашей.

Милый Старый Крым. Ты интересен мне. Твоя история, худеньким плечиком прильнув к степи, узким горлышком амфоры проклюнувшись на поверхность, скрывает истинные размеры твоей вселенной. Моя мама — родом из Старого Крыма. Помню её в детстве, невероятно красивую — с синими бездонными очами, алыми лепестковыми губами, в длинном жемчуге овалом; помню потом уже не с таким прекрасно-жертвенным лицом,

но всё равно очень-очень милую, всегда откликающуюся на радость. Вижу её всю после поездок на ЮБК, её загорелую обнажённую руку и то, как чудесно она пахла морским бризом, ялтинским променадом. Моя мама из Старого Крыма. И в один из дней моего пребывания на полуострове Къырым, сомнамбулически повязывая красный галстук, покорно топаю под гипсовую зорю к своему истоку — «Старому Рву», древнему городищу под ветвистыми лещинами, месту сколь славному, столь и странному. Подобных посещений набралось наверняка уже не с один десяток. Гордость Старому Крыму составили люди и их деяния. Скифы, половцы, греки, турки, болгары, армяне, татары, каждый в свой черёд, находили здесь, под склонами горы Агармыш, оправдание своего существования.

С середины восемнадцатого века славу городка стали мерить Екатерининскими милями. Солхатских верблюдов с колокольчиками потеснил Изюмовский гусарский полк, сопровождавший матушку-государыню в её путешествии по Крыму. Через каждые десять вёрст, гипсовым застывшим кринолином, стояла Катина тумба.

Самой большой странностью этого места мне представляются зависшие над ним пустота и непреходящее забвение. Как будто Катя, под трещотки и песенки своих гусар пропылив подолом платья по просёлочной улице, на прощание смела с этого места всю его славу и красоту. В последний раз, выравниваясь на север, полк отметился за околицей жирной лепёшкой — селом Изюмовка. Спустя двести лет Старый Крым — всё та же деревня, претендующая на звание города. В сущности, это одна длинная улица, вдоль которой лепились татарские кофейни, торговые лавки армян, пара цирюлен, а также городской сад, на котором лакомилась сорняками вперемежку с чертополохом местная скотина.

Я смотрю на высокий, с раскидистой кроной, грецкий орех из городского парка и думаю, что, может быть, истинными жителями этого городка, которые ведут необыкновенно интенсивную интеллектуальную и эмоциональную жизнь, являются орехи — эти спрятанные в каски маленькие маслянистые коричневые мозги, а совсем не люди. Эти спят. И я знаю, кто околдовал это место, кто погрузил его в сон, кто, как Карлику Носу, навесил горб и сообщил остальные уродства. Всё это — проделки клеймёной де Ламоттихи, миледи из рода Валуа, полюбившей блеск бриллиантов больше всего остального на свете. Завладев одним из самых дорогих до сих пор драгоценных украшений в мире — бриллиантовым ожерельем стоимостью в годовой доход Франции, старуха скончалась в Старом Крыму в 1826 году, кинув ожерелье, по одной из легенд, в бездонный колодец горы Агармыш.

Сбежав из парижской тюрьмы Сальпетриер в Великую французскую революцию, Жанна де Ламотт реверансила между Францией, Англией и Россией в свите аристократической эмиграции, пока её, как балласт, не сбросили на дальнем берегу Тавриды. В маленьком домике на южной окраине деревни Старый Крым графиня де Гаше, она же Жанна Валуа де Ламотт, коротала время, нанизывая стеклярус, бусину за бусиной, мастеря всё те же ожерелья. В отместку всем императорским и королевским домам старая колдунья околдовала этот цветущий уголок, оплела своими нитями. Она перенесла к подножью Агармыша на клеймёных плечах своё подношение — бледные знаки масонских братств. Откуда в складках этой земли столько любопытства в сторону невидимой жизни Духа, столько сараев для тягучих медитаций, колодцев для воронкообразных суфийских практик? Запершись со своей служанкой в низкой тёмной комнатке, сковав стеклянным сном реальность за окном, графиня забавляла себя тем, что лицезрела в гранях огромного алмаза будущие революции, расстрелы, гражданские и прочие вселенские войны.

Мама родилась в этом сонном царстве спустя два года после того, как из Старого Крыма ушёл Врангель. В свои десять лет, заводя козу Зорьку за изгородь, она могла попасться на глаза Осипу Мандельштаму, который в 1933 году гостил у жены Александра Грина, Нины Николаевны, учил под высоким стволом грецкого ореха — почему бы и нет? — итальянский язык и писал на «всём маленьком», окружённый всем спящим и убогим, «Слово о Данте», о тёмном «закопчённом» Данте, той же весной — стихотворение «Старый Крым»:

Холодная весна. Голодный Старый Крым,
Как был при Врангеле — такой же виноватый.
Овчарки на дворах, на рубищах заплаты,
Такой же серенький, кусающийся дым.

Всё так же хороша рассеянная даль,
Деревья, почками набухшие на малость,
Стоят как пришлые, и вызывает жалость
Вчерашней глупостью украшенный миндаль…

Мама заканчивала в Старом Крыму среднюю школу, когда в июне грянуло: «Вставай, страна огромная!» Этот день она очень хорошо запомнила. Первым делом она побежала сообщить эту интересную, будоражащую новость, только что услышанную по радио, к своей маме в ресторан «Горный», где та работала официанткой.

Вбежав, запыхавшись, в прохладный зал, довольная и счастливая, что первая, девочка радостно сообщила: «Мама, война!»

Я так и вижу эту картину, как бабушка — крахмальный венчик в волосах, — отложив в сторону коротенький карандашик и крохотный блокнотик

для записи заказов, закрыв лицо белым фартучком с оборкой, горько заплакала. Плакала она от предчувствия большой беды. Через два года с мужем они были расстреляны в оккупации.

Маму спасло то, что она не осталась в Старом Крыму. На самом деле её спасли танцплощадка старого провинциального парка и великий венский композитор Иоганн Штраус. Как раз накануне войны она посмотрела в городском саду американский фильм «Большой вальс» о любви примадонны и автора самых чудесных вальсов в мире. Фильм произвёл на неё невероятное по силе впечатление; много раз она рассказывала о том, как, представляя себя героиней, завернувшись в музыкальный плащ сладкого венца, в предчувствии всего самого лучшего, в мечтах летела в свою страну счастья и любви. Но так как со Штраусами в Старом Крыму, заштатном городке, пусть даже и с летней площадкой для танцев, было негусто, то ощущение полёта ей мог дать только лётчик. Встреча с моим отцом была неизбежна.

Мама не стала дожидаться прихода немцев в Старый Крым, а, записавшись вольнонаёмной в первую подвернувшуюся часть, ушла на фронт за своим Изюмовским полком в направлении норд-вест. Через три года, пропылив в кирзовых сапожках по кубанским степям, польским равнинам, германским лесам, она вошла в столицу Австрии город Вену и сфотографировалась на память рядом со своим старым другом—композитором Иоганном Штраусом. Той же весной в тех же кирзовых сапогах подходил к Вене солдатик Виктор Астафьев, в будущем известный писатель, сохранивший память о том же фильме и переживший на его довоенном просмотре в Игарке, ещё пацаном, как он писал, единственный раз в жизни ощущение счастья.

К концу войны у мамы была любовь и свой виртуоз-дирижёр, разбирающийся в самых сложных пассажах. Скрипку Амати ему заменял самолёт, звенящим смычком наверчивающий головокружительные виражи.

Американский фильм «Большой вальс» режиссёра Жюльена Дювивье, один из редких зарубежных фильмов, попавший на наши экраны, был выпущен в советском прокате в 1940 году. Исполнительница роли примадонны—колоратурное сопрано Милица Корьюс—никогда не была в Старом Крыму, хотя могла бы. Её отец—эстонец, оставшийся на русской службе, мать—из рода литовских дворян. Мила, так звали её в семье, заканчивала в Киеве гимназию. Артистическая карьера певицы была недолгой, в том же сороковом году в Мексике она попала в автокатастрофу и чуть не лишилась ноги. Она была очень удивлена, когда Майя Плисецкая, прима Большого театра, встретившись с ней во время зарубежных гастролей русского балета, поведала ей о том эстетическом шоке, который произвёл на абсолютное большинство советских людей просмотр ими фильма «Большой вальс» накануне войны.

Моя мама так сильно любила меня, что первым делом предлагала мне пойти с ней в кино, когда видела, что я не в настроении. У неё была безоговорочная вера в спасительную роль искусства, прежде всего кинематографа.

Веранды

…Ах, виноград всегда и фрукты на столе.
И крымское,
Наверно—с Одиссея!
Мускат там, иль мадера,
Иль другое!—
Густого сердолика цвет в бокале
И запах, запах!..
Под абажуровой медузой,
Где цеплялись
Колючки синие,
Пучки кермека,
Чебрец пахучий—
От лугов нагорий.
И тёплый света конус
Сбирал всех нас
На милую террасу!
Марк Ляндо

Стоит, бытует в начале улицы Мичурина самый обычный дом с белым крашеным крыльцом. Три ступеньки вниз, по бокам облезлые перила, опирающиеся на приземистые могучие балясины, как сбитые икры баварских дровосеков. В стародавнюю сталинскую эпоху спускались, поднимались на это широкое крыльцо красивые люди. В танкетках-тапочках, белых носочках—звезда советского Голливуда Марина Ладынина. Всенародная свинарка. С пастухом ей не повезло. Мужем у неё значился известный кинорежиссёр Иван Пырьев. Режиссёр он был талантливый, но характер имел скверный. Крыл всех без разбору площадным, в том числе свинарку свою. В такие часы звезда советских мюзиклов, нарисовав в воздухе губками фразу: «Ка-а-акой грубый…»—накинув в плохую погоду дождевик, сходила с широкого крыльца прогуляться к морю или на Тепсене грибов поискать. Любила ходить за грибами. А так как муж её часто выходил из себя, то и жена его часто выходила на прогулки. И явлением своим мешала отдыхать другой королеве экрана голливудского разлива, Любочке Орловой. И в те часы, когда свинарка гуляла по набережной, Марион Диксон никогда не появлялась на берегу в своём атласном халатике, подпоясанным пояском. Принципиально.

В те же годы на эспланаде Планерского из очевидно красивых можно было повстречаться с Генрихом Густавовичем Нейгаузом, не изменявшим

бабочке к костюму, или обернуться на худую, рыжую, эксцентричную Александру Хохлову, актрису и жену кинорежиссёра Кулешова.

Красивых людей узнавали. Александр Блок любил вспоминать. У ворот своего высокого дома на улице Декабристов он дежурил в дни революции, таково было предписание всем жильцам, и как-то в одно из дежурств некий прохожий, проходя мимо, обронил в его адрес: «И каждый вечер в час назначенный… иль это только снится мне?..»

Анна Ахматова рассказывала Лидии Чуковской, как однажды в тридцатые годы в голодном Ленинграде—она называла этот период «вторым клиническим голодом»—в очереди её узнали: «…Когда стоишь во дворе, под мокрым снегом, в очереди за селёдками, и пахнет селёдками так пронзительно, что и туфли, и пальто будут пахнуть ещё десять дней, и вдруг сзади кто-то произносит: „Свежо и остро пахли морем на блюде устрицы во льду“…» *(Л. Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой»)*

И всё-таки, господа, отметим уровень окружения.

Прохожий, облокотившись об ограду, и сегодня многозначительно спросит:

— Это чей же дом?

— Волошина…

И, окинув взглядом фасад, резюмирует:

— А что, непогана хата.

Или уже совсем весёлое:

— Как пройти к домику Ворошилова?..

Во дворе дома по улице Мичурина, сразу за воротами, стоял большой прямоугольный стол. Над ним—люстра: проволочный каркас, обвязанный лохматыми нитками в технике макраме—рукодельное творение пальчиков Наташи Арендт. В тени широкого абажура поселились розовые сегментики рапанов, перекрученные, выбеленные морской солью, «габриаки», одноглазые, просверленные морем, куриные боги. Стол в дневные часы охотно предоставлял себя ремесленникам править на его просторной столешнице ювелирные сети. К вечеру на ту же столешницу выставлялось некоторое количество трёхлитровых банок с вином—отмечать очередной день рождения.

В полуденный зной, когда под палящим солнцем невозможно было ступать по раскалённой гальке, я также подлетала к рабочему верстаку Камиллой Клодель, чтобы изваять из пластика пару серёг в форме египетских ирисов. На другой день «ирисы» можно было продавать на набережной и даже за них торговаться.

По невежеству и отсутствию интереса ко всему, что не являлось нами, в своём стремлении никогда не покидать наш прокуренный топчан на Киселёвке, я и Ленок, конечно, много потеряли, отказываясь от новых встреч и впечатлений. Дом Макса, как единственный действующий глаз циклопа, ещё жил, ещё освещал небольшое пространство, воротничок набережной на колеблющейся груди глубоко вздыхавшего по ночам Эвксинского Понта.

Ещё не так далеко отлетел дух Макса, законодателя полынных холмов, не так далеко от верхней террасы дома, на которой по ночам все пялились на звёзды и загорали на солнце голяком.

Как сдёрнул Гумилёв носки
И бегал журавлём уныло,
Как женщин в хладные пески
Мы зарывали… Было мило…
(Ал. Толстой)

О Максе ещё говорили на веранде у Марии Степановны, ещё вспоминали о его силе, о любви к походам. Сам он отмечал, что вся его сила сосредоточена у него во лбу. Если он толкал кого-нибудь лбом в спину, то этот человек уже не мог устоять на ногах. Однажды, упёршись лбом в спинку кресла, он выкатил его без усилий с сидящим в нём Бальмонтом в другую комнату. Ходил он без дорог, всегда впереди, очень быстро, врезаясь в чащу, чтобы выйти кратчайшим путём. На самом деле плутал. А все кратчайшие пути оказывались самыми длинными. По воспоминаниям Елизаветы Кругликовой, с которой Макс свёл дружбу в Париже, он очень быстро изучил город и его окрестности. Придумывал интересные прогулки. Иногда прибегал ночью, одолев ограду, неистово стучал в дверь, будил и тащил всех на Монмартр встречать восход солнца.

Из обрывков разговоров, что дошли до меня, на той веранде не очень почитали Горького, это была личная неприязнь Марии Степановны. Вообще, со слов Ариадны Арендт обычной репликой Маруси было:

— Как вы мне все надоели!

И тут же следом:

— Я вас всех очень люблю.

— Идёмте к Марье Степановне, она нас приглашала чай пить,—звала нас в очередной раз Ленина мама, Татьяна Сергеевна.

— Да ну… нам и тут хорошо!

— Поднимемся на гору, к могиле Волошина, там будут стихи читать.

— Нам и тут прекрасно.

— Вы идёте на веранду к Изергиной на чтения?

— Ой, может, в другой раз. Нам так тут хорошо…

Ещё бы нет. Мыслями мы были во дворе театра имени Моссовета, в который раз восстанавливая в своём воображении фильм о появлении любимого актёра из дверей служебного выхода после спектакля. Во что он был одет, в каком направлении—к Маяковской или Театральной—он повернул свою голову и какое выражение было на его прекрасном, слегка осунувшемся лице.

Могла ли я представить тогда, в той голубой безмятежности, что очень скоро лишусь своей

подружки, вместо разговоров за киселёвским домом полетят письма в Париж, но и в них будет всё про то же: «Помнишь наш совместный выезд в Коктебель, мой первый, а твой тогда уже второй?.. Карантин. Как отмечали наши дни рождений, банановые юбки, Дега и его скелеты, Кисель, обрезающий заусеницы с консервных банок под пепельницы. Кисель, подтягивающий ремень на своих штанах, его озорная морда. Помнишь, помнишь?..»

Для клана коктебельцев фамилия Арендт — сакральна, звучит почти так же, как название источника или дерево «Arendt Kiprejskij», под чью крону подтягиваются остальные друиды на большие и малые сидения. Дом Арендтов в глубине сада напротив Киловой горки, к которому спускаются амфитеатровыми ступеньками, — святилище и музей. В саду — скульптуры Ариадны Арендт, или Бали, как звали её домашние, и её мужа Анатолия Григорьева.

Ариадна, даром что скульптор, — сама скульптура, выступающая из моря. Русалочка Коктебельской бухты, пошедшая на сговор с морской ведьмой. Оставляет на берегу тяжёлые протезные боты, чтобы почувствовать в воде лёгкий перламутровый плавник. Из семейной хроники: «Плавала с дельфинами, не испугалась. Дельфины сопровождали её до берега». Ариадну следует показывать с кораблика всем участникам увлекательной морской прогулки, проплывающим вдоль горного массива Карадаг. Она где-то между Иваном-Разбойником и Пуццолановой бухтой, где-то за Золотыми Воротами. Приглядитесь. Незыблема в любую зыбь.

Нашей Ариадне пришлось самой воспользоваться своей нитью, чтобы выбраться из лабиринтов кошмара. Только оговоримся: у крымской Ариадны вместо тонкой нити был канат, и напрочь ужаса. В двадцатые годы она, студентка ВХУТЕМАСа, попадает под трамвай — теми же стальными по живому. Очнувшись на больничной койке без ног, почувствовала возвышенное облегчение: «Ещё один кармический долг списан», — и даже: «Большому кораблю — большое плаванье».

С Юрой Киселёвым Ариадна познакомилась на заводе в Москве, где им обоим изготавливали протезы. Они подружились. Часто вместе уплывали в море за буйки.

Она, конечно, поражала. В разговоре пришедшему поговорить с ней художнику Стасу:

— Сейчас мы с вами побеседуем, но вначале, — рассыпая крошки хлеба на подоконнике, — я покормлю мух.

Что оставалось Стасику, который накануне не один час махал мухобойкой на своей кухне? Только притихнуть.

Я помню её, когда она больше походила на антикварную вещь в лавке древностей, в ту пору, когда её теософский ум стал угасать. Она могла просто так затянуть татарскую песню и тут же следом перейти на старинный французский романс от «Пиковой дамы». Баля смотрела своё чёрно-белое кино, обескураживая близких неожиданными репликами.

На развешенные тряпки умильно:

— Какие прекрасные фрески, — и тут же грозно на крышку горшка: — А это что за портрет какого-то мещанина? Он совсем тут не годится.

Молодым симпатичным людям:

— Мы с вами где-то определённо встречались. Признайтесь, вы были моим первым мужем... Нет? Ну тогда вторым...

— А я всё вижу.

— Что ты видишь, Баля?

— Да большей частью всё какую-то чепуху: мещан да крестьян.

Это всё были люди, лидирующим качеством которых было чувство собственного достоинства. Бабушка моей подруги, дворянка, когда им удавалось втиснуться в трамвай с задней площадки, всегда ей говорила:

— Проходим вперёд, дорогая, эти места — не для нас... — то есть не с теми, кто тискается в хвосте дребезжащего вагона.

Её сословная память диктовала ей партер, а не галёрку.

По неосвещённому посёлку, с фонариком в вытянутой руке, мы подходили к дому Марии Николаевны Изергиной, что находился сразу за шоссе, замирая и одновременно желая общения с ней на её веранде, остеклённой узкими оконцами и обильно увитой виноградом. Обычно мы тащились в арьергарде за нашим другом, писателем из Киева, волновавшимся не менее нашего, а то и более, так как ему предстояло читать свои рассказы за столом, в довольно обширном кругу постоянно живущих в доме, привыкших и привередливых как к чтениям, так и к приведённым за чтецом почитателям. Заслышав у ворот громкий лай и громыхание цепью, прятались за спины впереди стоящих. Кусака Джим вполне мог ухватить своими острыми зубами за икроножную мышцу.

Хозяйка веранды не была вздорной старухой, но могла позволить себе неожиданную реплику во время чтения. Мария Николаевна вела веранду. В определённый час, кто бы ни читал или рассказывал, резко встав со стула, она отлучалась к телевизору для просмотра и прослушивания последних известий. Её культурный эгрегор обязывал её быть в курсе вечерних новостей. Телевизор заменял ей посла иностранных дел, что, сбросив шубу на руки слуге в ливрее в прихожей, приложившись к ручке хозяйки салона, оповещал собравшихся о последних изменениях в настроении императора.

Мария Николаевна была дамой настроений. Местные интеллектуалы прокладывали дорогу к её сердцу через Джима, её овчарку. Мужской дух она предпочитала женским голосам. Она была, конечно, из другого века, века Шадерло, в котором так ценилось искусство обхождения, беседы и прежде всего острый, весьма «эспри» ум. Для некоторых обитателей этой веранды Киселёвка с её буйством свободы, как аритмия, была «ce trop», чем-то слишком, чем-то сверх отмеренной порции.

Под звуки голоса нашего друга, утомлённые дневным солнцем и дальними прогулками в бухты, мы не то что засыпали, но иногда пропадали во времени, переводя взгляд за стёкла веранды, за которыми колдовал сад.

С течением времени Мусе Изергиной непросто стало переносить зимы. Зимой её террасе доставалось от верных слуг снежной королевы — вьюг и стуж, когда не менее своенравная хозяйка холода расходилась вовсю. Ветер проникал сквозь щели узких оконец, и никому другому уже не дозволено было растянуться на стылых деревянных досках пола, кроме него самого и бессердечных, упрямых, не желавших таять снежинок. На веранде белыми овцами паслись сугробы снега. В одном из её писем есть замечательная фраза: «Боже, до чего воет ветер. Что ему нужно? Я же не могу ему помочь». Из жильцов в доме оставались только самые преданные: собака Джим, кот Пищик. Из других зимних писем: «Джим и кот выходят кратко по нужде и тут же возвращаются. Кормлю геркулесом несчастных птиц».

Последний раз в посёлке я встретила её весной у почты. Она говорила, что её держит сад. Когда она спускается с крыльца в своё царство из стеблей и ветвей и начинает касаться этих веток, прутиков, травинок, что-то остригает, что-то перебирает, то после нескольких часов работы в саду, в знак одобрения, ей добавляют в блюдечко ещё ложечку жизни, как кизилового варенья.

У Оксаны Петровны веранды не было. У неё были сенцы и крохотная комнатка в четверть шкатулки. Когда набиралось народа через край, то есть более трёх человек, усаживались на полу. Полоска ткани служила дверцей платяного шкафа, другая прикрывала чашечки на кухонной полке. Костяные индийские слоники оставались открытыми. Нет, кажется, слоники были у Нины Владимировны, как, впрочем, и рояль. Но всё равно по ночам, помахивая хоботками, они несли на своих спинках видимое счастье для всех обитательниц коктебельских дач. Как и у многих жителей Планерского, неосознанно питающихся творческими испарениями потухшего вулкана, у Оксаны Петровны был талант. Музыкальный. Она сочиняла мелодии и исполняла их под гитару, в основном на русскую поэзию, известную как «поэзия Серебряного века».

К творчеству приходили каждый своим путём и каждый в свой срок. Нина Владимировна Коновалова начала рисовать в самые свои за семьдесят годков цветными карандашами на бумаге и фломастерами на обычных узких паркетных дощечках — нашла где-то стопку. Да такие всё тонкие, абстрактные вещи: ветерок такой и эдакий, Карадаг в своих утренних и вечерних состояниях. Закончила заочный народный университет культуры.

Художники даны в помощь друг другу. В последние годы Нина Владимировна дружила со Стасом Шляхтиным. Как-то она попросила его пройти с ней верхним маршрутом по Карадагу, подать руку в случае, если она выдохнется на подъёме к вершине. В дороге Нина Владимировна говорила, не уставая, о жизненных путях, творчестве, о своих встречах с Лениным, в итоге без сил опустился к подножью Стасик. Спустившись в посёлок, Нина Владимировна, ничуть не устав, ещё с полчаса говорила у калитки, не отпуская нашего друга.

В зной непременно под соломенной шляпкой с полями, в декольте, губки тронуты яркой помадкой, пылят в сандалиях по посёлку коктебельские старухи, эдакие Лени Рифеншталь с плакатов Олимпийских игр 1936 года. С виду — высохшие седые куколки, а разговоришься — одна на Эверест поднималась на семидесятом году, высота, между прочим, 8484 метра, другая в Туруханской ссылке полжизни провела.

— Толстая приехала…

— Которая? Катерина, что ли?

— Ну да, один из её мужей ещё ленинские головы ваял.

Эти Толстые годами жили у Марии Степановны Волошиной. Этому семейству завсегда было позволено пить чай из чашек в горошек на голубой веранде, крепить деревянными прищепками купальники по верёвкам сушиться на ветру. Это — свои.

Сумерки. Катя торчит напротив дома поэта на набережной главной фок-мачтой, со своим парусом — белым листом бумаги. Пишет чей-то портрет. Босая. В любую погоду ходила по посёлку босиком. Работала пастелью, как и её учитель, режиссёр Ленинградского театра комедии Николай Акимов. Не отрывая взгляда от модели, в твою сторону отвечает, рассказывает, смеётся. И пастельным карандашиком так уверенно, легко по парусу — чирк, чирк… Знает, куда плывёт.

В длинной цветастой юбке, в накинутой легкой поплиновой кофте. Продувает кофту (ещё один парус) ветер. Высокая, статная, не толстая — плотная. Стоит крепко, богатырскими ступнями на два вершка уйдя в землю. Ноги — два обожжённых коктебельским солнцем пифоса, ни дать ни взять мухинская колхозница у входа на ВДНХ или

Марютка из «Сорок первого». Такую не уговоришь, эдакого комиссарского тела не ухватишь, такая сама—прикладом. Не колхозница, не комиссарша—графиня. Женихов ей не сватали, сама выбирала, правда, всё больше западала на тех, что её саму дурковали. С детства была с норовом.

В Ленинграде, в их родовом гнезде, на одной площадке мальчик её любил, сын художника Чарушина. В школе учились вместе в последних классах. Столкнулись на площадке, надо поздороваться. Он ей—руку, она ему в ответ—ногу в ладонь. Не от ухарства—от смущения.

Катя в деда—всем высоким: ростом, высокой посадкой гордой головы удлинённой формы—мирзачульской дыни, высоким смехом. В деда же любила собормотничать.

В кругу Марии Степановны знали сокровенное: нельзя безнаказанно в полночь в полнолуние войти в студию Макса и коснуться губ Таиах—отбросит, а то и поразит насмерть некая сила. Катя на спор вошла в кабинет в лунном луче, дотронулась рукой до Таиах. Дрогнули губы царицы. Та ей, как своей, улыбнулась… В Москве как-то полезла на памятник, к деду на колени, что в сквере на Большой Никитской,—приветствовать. Подошедший милиционер попался не из прозорливых, объяснений не принял, документ потребовал, в паспорте фамилию прочитал с ударением на «о», сопроводил, соответственно, куда надо.

Буратино от неё бегал. Нет-нет где-нибудь на наших необъятных просторах «Золотой ключик» да и издадут, не оповещая потомков графа. Катерина перед семьёй отвечала за авторские права. Суета. Морока. Суды. Суды всегда выигрывала, но деньги, гонорар не всегда получала.

Самое замечательное в лице Кати—это глаза. Глаза у неё—долгие, тёмные. Заповедные. Глаза амранских плакальщиц. Заводящие. Пара балетных туфель для партии Чёрного лебедя. Захочет—затанцует. В этих глазах талант её искрами костровыми вспыхивает. Так-то он, талант этот, голубой кровью по голубым протокам сплавляется, а то заляжет на дно, не хочет подниматься. В такие дни Катерина никуда не выходит, не выманишь её. Лежит. Лежит на старом узком диванчике, своём фамильном канапе, накрытая с головой клетчатым пледом. Со стен смотрят на неё её портреты с укоризной—актёры, философы, коктебельские старухи. Призывают: «Вставай, Катерина!» Не слышит… Катя себя не любила. Какую-то часть своей биографии с отвращением читала. Это было видно. Этого не надо было ей делать.

Много раз меняла адреса, но нигде надолго якорь не смогла бросить, сама бродила каравеллой из порта в порт. Искала. Его. Себя. Не находила, нигде покоя не ведала. Медеей детей от себя отрывала, язонам оставляла. На новое, неизвестное, на незнакомый звук была устремлена. Тянуло её к сиренам, к Цирцее—забыться, очароваться, отравиться.

В Старом Крыму поселилась она на улице Суворова под покровительством гофмаршала. Поначалу ругалась с соседом-татарином. Не смог, наверное, татарин перенести, что эта, из гарема, выше его калитки торчит. Злой татарин ей зачем-то в забор стучал и даже написал на том заборе: «Сожгу!» Но Суворов, пока она была жива, графиню в обиду не давал.

Три портрета старух—Фаины Раневской, Марии Степановны Волошиной и Анастасии Цветаевой—жемчужины коллекции Толстой. Только никакие это не старухи. Три пиковых дамы. Никаких троек, семёрок, одни тузы.

В бесцветных выцветших глазах Фаины Раневской—вся горечь полыни, разочарование, усталость.

Мария Степановна—на своей веранде, в полосатой кофте, за спиной море. Сама бакенщица. Рука—крабом, стрижена по-мужски, черты лица резкие. Ковылём никому не клонится. Надо будет—в другой раз египетскую царицу в Тепсень по горло закопает.

Анастасия Цветаева—выбеленная временем, потрескавшаяся фреска. Мудрой белой совой уже поднялась над всем. Смирилась, успокоилась. Всю память с собой унесёт.

Разумеется, сегодня Юра Арендт—камертон этого места. Со временем он вобрал в себя все отличительные черты местного ландшафта. Сам в цвет полыни, он держит ту же ноту тишины, что и древний потухший вулкан Карадаг. С помощью верных велосипедных шин, подставляя себя под шум и свист вечно обновляющегося мира, он всегда будет там, где собралось нынешнее коктебельское братство. Как и Макс Волошин, он—великий оправдатель всех.

Каре

Не спится мне, не спится,
Когда не слишком пьян,
Всё снится заграница,
Проклятый Иордан.

Снежок идёт последний,
А там, поди, жара.
Но если не поеду,
Повяжут мусора.

Вадим Делоне

Но недаром голова у Киселёва была крепка и вместительна. И вместилась в неё однажды дума о сотоварищах по несчастью, обо всех инвалидах, о правах их, о том, чего им в этой стране не додано. И встал он, будучи без ног, за правду советских инвалидов.

Ранней весной 1956 года около тридцати инвалидных мотоколясок с ручным управлением—

из одних торчали костыли, другие накрыты брезентом,—начав своё движение на улице Горького, замерли в каре перед огромным сумеречным зданием ЦК КПСС на Старой площади, повторив манёвр тридцати офицеров-декабристов, выстроившихся в тот же пресловутый квадрат на Сенатской площади перед памятником Петру I. Так был выражен протест против роспуска инвалидных артелей, позволявших инвалидам хоть как-то жить и зарабатывать.

Выскочивший из подъезда серого здания очередной Милорадович, не в лосинах, аксельбантах и орденских лентах, а в габардиновом плаще, уговорил пикетчиков, дабы не мешать уличному движению, перебраться во внутренний дворик. Вдохновителем и организатором московского восстания оказался двадцатитрёхлетний юноша без ног Юрий Киселёв. Смутил всё ЦК. Именно его—юного корнета—инвалиды Москвы, большинство из которых было фронтовиками, выбрали в пятёрку парламентёров для переговоров с вельможами. Начались посулы, подкупы, обещания золотых гор, кончилось обычным «ничем», но с той весны общественный темперамент нашего друга всегда был востребован.

И так само собой вышло, что очень скоро стал Киселёв главным калекой страны, и порой на правозащитных выступлениях члены Осоавиахима поднимали своего Ильича на плечи на деревянном поддоне, и какое-то время он плыл над столичной толпой парадной пространственной конструкцией от Родченко; впрочем, это скорее легенда.

В 1975 году Киселёв создаёт первый в стране Комитет прав инвалидов, ещё через три года вместе с товарищами, такими же инвалидами, Валерием Фефеловым и Файзуллой Хусаиновым организует Инициативную группу защиты прав инвалидов в СССР. За каждой фамилией—судьба. Судьбы…

Валерий Фефелов, 1949 года рождения, из старинного городка Юрьев-Польский, мечтал поступить в институт кинематографии, но надо было зарабатывать деньги, и он пошел в электромонтёры. А дальше—то ужасное, роковое, что не только отняло мечту, практически лишило нормальной жизни. Его, семнадцатилетнего паренька, пьяный бригадир загнал после дождя на не обесточенную опору ЛЭП. Удар тока в десять тысяч вольт. Падение с опоры, перелом позвоночника. Пьяные собригадники, не зафиксировав, не привязав к доске, как следовало по инструкции, поволокли его в коляске в больницу по бездорожью, а потом уговаривали малограмотную мать жалоб никуда не писать. Парализация. Жизнь в кресле-коляске.

Обретя друг в друге опору, Киселёв и Фефелов решили защищать права других инвалидов—не свои. Объединившись, могли уже многое, в самиздате стал выходить информационный бюллетень. Нехотя номенклатуре приходилось вспоминать о своих прямых обязанностях. Очень скоро членов Инициативной группы приравняли к инакомыслящим.

В первый раз после пикета у здания ЦК не посмели тронуть инвалида, но быстро пришли в себя органы НКВД, стали за Киселёвым следить, палки вставлять в колёса его инвалидки. Шиныололи, самого избивали. «Искусствоведы в штатском» били его в подъезде, били у крыльца резиденции Советского комитета защиты мира. Грузовики ночью долбили его инвалидный «Запорожец», заливали его изнутри кислотой, портили мотор, били стёкла и регулярно в День прав человека протыкали шины. Но верно и то, что уже с середины восьмидесятых годов на волнах радиостанций «Свобода» и «Голос Америки» передача начиналась речью заокеанского президента, а заканчивалась, как само собой разумеющееся, словом правозащитника Юрия Киселёва.

Многое он претерпел. Что ему? Трудно было его лишить чего-либо, так как он сам уже был лишён по самое некуда. Но недвижимость в Крыму у художника имелась, дом в процессе строительства. Тогда сошлись по-серьёзному под рубиновыми звёздами, обсудили—да и спустили в бездомный лубянковский колодец решение: разорить гнездо, в котором речи в защиту инвалидного сообщества сочиняются и откуда распространяются по земному шару. И лишили. Сожгли просторный дом с чердаком и каминным залом за короткую мартовскую ночь.

Вспыхнули брёвна и доски, кермек и камыш. Почернела, обуглилась Киселёвка. Скелеты археологические только спаслись, так как были заранее выкопаны и, может быть, сданы в музей древностей в Феодосию под инвентарными номерами.

— Что это за красавца с поникшей головой, видно, славно принявшего на грудь, поддерживают под руки две благородные дамы?
— Где?
— Да вот там, на обочине. Покусывая травинку, он ещё пытается читать стихи.
— Да это же Делоне, Вадик Делоне…

Над юным потомком коменданта Бастилии маркиза де Лоне, обезглавленного в Париже в первые дни революции, уже реял ореол мученика за правду. В 1968 году в свои восемнадцать лет Вадим встал в каре из восьмерых протестующих против введения войск в Чехословакию на Красной площади. За три минуты стояния на кремлёвской брусчатке корнет Делоне заплатил тремя годами пребывания в уголовном лагере в Тюменской области.

Делоне отличался южной, корсиканского типа, красотой, с копной блестящих волос цвета воронового крыла, с сияющим чёрным зрачком

по белому белку. Он писал стихи и одним из первых стал читать их у только что открытого памятника Маяковскому в Москве. У него была завышенная планка понятия о чести и справедливости. Острое переживание за чувство всеобщей несвободы повлекло его на баррикады. Кажется, казнь маркиза Бернара-Рене Жордана де Лоне не сумела вполне списать кармический долг с их рода, в судьбу вмешалась цикличность, и бунтовщику Вадиму Делоне пришлось надолго задержать в лёгких удушливый запах затхлых казематов.

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». Отбыв положенный ему срок, болтаясь маятником между Питером и Москвой, наезжая в Планерское, топча островок свободы, Вадик насыщался самым дешёвым и доступным: портвейном, пивом. Ему непременно надо было быть пьяным в дым, в лоскуты. После отсидки, в вынужденной эмиграции, этот потомок французской аристократии, седой и без зубов, ни бельмеса не говоря по-французски, тосковал на бульваре Сен-Мишель по двум местам: скамейкам в Абрамцево и нарам тюменского лагеря. По воспоминаниям Алика Гинзбурга, которому выпала картой та же дама—эмиграция, Делоне научил его единственным трём французским словам, которые тот озвучивал у барной стойки: «Grande bierre formidable!»—«Замечательную большую кружку пива!»

Под угрозой ареста выбили щелчком во Франкфурт с российских просторов верного сотоварища Киселёва Валерия Фефелова. Сплавили в вынужденную… не дав докурить нам на топчане с Леночкой, Татьяну Сергеевну Ходорович с тремя детьми.

Поэты—люди без кожи. Делоне был одним из самых незащищённых и страдательных, в смысле—страдал за других. За друга, поэта Лёню Губанова, столь же оголённого, нарывающегося, потому часто обретавшегося в психбольницах.

…Спрячу голову в два крыла,
Лебединую песнь докашляю.
Ты, поэзия, довела,
Донесла на руках до Кащенко.
(Л. Губанов)

«Жёлтое безмолвие» ещё ждёт своего летописца. С семидесятых годов принудительное содержание в психдиспансерах являлось одним из многочисленных воспитательных приёмов для инакомыслящих, можно сказать—для всего неудобного творческого лохматого племени. Доставка в психлечебницу могла сопровождаться проставленной в путёвке в качестве причины записью: «Сочинение антисоветских песен». Принудительное лечение для Натальи Горбаневской, стоявшей в пикете с Делоне на Красной площади, и её диагноз «вялотекущая шизофрения»—при отсутствии записи о каких бы то ни было психопатологических расстройствах.

Михаил Шемякин—чем не герой знаменитого шедевра «Пролетая над гнездом кукушки»? Шесть месяцев в Ленинградской областной психбольнице на инсулиновой шокотерапии проводит поэт-авангардист Алексей Хвостенко, та же «оздоровительная» инсулиновая программа—для абсолютно здорового парня, богатыря, гениального художника Игоря Ворошилова.

Из воспоминаний друга Геннадия Айги:

«По трагической случайности Игорь Ворошилов попал на десять месяцев в Бутырскую тюрьму из-за того, что оказал сопротивление сотруднику милиции, привязавшемуся к нему в очередной раз. Из Бутырки, где он проповедовал братство людей и религиозные идеи, Ворошилов попадает в тюремную психушку на принудительное лечение, где получает двадцать пять инсулиновых шоков, пятьдесят психотропных таблеток в день и выходит с диагнозом „шизофрения“ и инвалидностью II группы.

Грустно и одновременно весело Игорь вспоминал такой случай. Выпивая как-то на заброшенном стадионе в компании с приятелями—художником Рафом и писателем Веней Ерофеевым, они привлекли внимание малорослого, „метр с фуражкой“, милиционера. На окрик мента: „Встать!“—троица стала подниматься: Рафаэль—метр восемьдесят сантиметров, Ворошилов—метр девяносто пять, Ерофеев—ростом выше Игоря. Испуганный милиционер, хватаясь за кобуру, закричал: „Документы!“ Все трое вынимают и предъявляют инвалидные удостоверения: Рафаэль—инвалид I группы, Ворошилов—II группы, Ерофеев—III группы по психическому заболеванию».

За год до своей смерти и смерти Делоне в апреле 1982 года Лёня Губанов пишет стихотворение, посвящённое другу:

Поезд ушёл на Париж.
Стылый, как сломанный грош,
Тысячу веток спалишь,
Но не уймется дрожь.

Но не уймется блажь
Княжеских бархатных лож.
Мягкий возьму карандаш,
Жёлтый, как русская рожь.

И нарисую им лишь
Солнце, и яхту, и пляж.
Поезд ушёл на Париж,
Словно на сердце—палаш.

А на твоей голове
Беленький волос блеснул.
Завтрак прошёл на траве,
Там, где ты пьяный уснул.

Вадик! Какие дела?!
Нищие мы—тут и там.
Вот и сирень отцвела,
Как сирота, по углам.

Молодость наша прошла,
Как половецкий табун,
И поцелуем прожгла
Всех, кто в тюрьме и в гробу.

Сердце! Ты с нами шалишь.
Если увидимся вновь,
Поезд уйдёт на Париж
С надписью: «Юность, любовь».

Делоне умер в тридцать шесть лет, полностью истощив резерв своего мотора, своей сердечной мышцы, прикорнув на диванчике послушать пластинку своего друга Хвоста «Есть город золотой». На его могиле под фамилией «Delaunay» ещё два слова: «Poet russe».

Наш весёлый меценат Борух (художник Борис Штейнберг) имел за плечами не менее поучительную историю. Лишившись в одночасье знатной коллекции русского авангарда—ограбление, прошёл суд, психушки. Он очень достойно проводил свои дни в Тарусе: на рассвете вставал, на закате отправлялся спать (это он-то, шлявшийся ночами у моря),—справедливо полагая, что всё отпущенное ему время должно быть посвящено только работе.

Юре Киселёву в многочисленных драках, точнее—избиениях, выбили зубы, но в психоневрологический не упекли. Он был уже слишком известен. Так известен, что французские товарищи сняли с ним документальный фильм «Где ты, товарищ?..». Он же гордился дружбой с Андреем Сахаровым.

Инвалиды писали Киселёву письма с просьбой о помощи, и он брал под опеку всех без исключения.

«Юра, дорогой, привет!
Вечером я слушал передачу „Документы и люди". Там говорилось о хороших людях, в том числе о тебе. Ну как твои дела, жизнь, здоровье? Как здоровье у матери? Дела мои, Юра,—плохие. Появились на боках пролежни. Перевязочных материалов нет: ни бинтов, ни пластыря, ни мазей. А на неделе участковый врач вовсе сдурел: „Больше посещать тебя не буду, и всех врачей против тебя настрою, и никто лечить тебя не будет". Это, Юра, случайный человек в медицине, барыга. Я уже устал его угощать водкой, где хочешь достань, но угости его.

И вот ради того, чтобы он лечил меня, приходится иногда с ним выпивать и угощать этого типа. А напьётся, капризный становится, как баба, ещё хлеще. Кричит, начинает оскорблять, унижать, и не дай Бог против чего скажи, сразу угрожает: „Больше посещать тебя не буду". Вот и на этот раз пришёл ко мне, напился вдрызг и начал нести всякую ерунду: „Мусульмане—это не люди, это жестокий народ, давно надо их уничтожить". Я не выдержал, Юра, такой наглости и сказал: „Петрович, замолчи, среди русских тоже дураков навалом". Он вскочил с места и начал кричать: „Больше меня не жди, я не приду"—и в дверях стал злорадствовать: „Сгниёшь, больше врачи ходить к тебе не будут".

Вот с 10 ноября сижу без перевязки, нет ни бинтов, ни мазей. Дозвониться до главного врача не могу, опять телефон не работает. Можно только догадываться, почему молчит постоянно телефон и почему этот горе-врач угрожает мне. Это, Юра,—безграмотный, жестокий, мстительный человечишко. Пользуется беспомощностью инвалидов и больных на своём участке.

Я обращаюсь в Комитет по защите прав инвалидов в СССР поднять свой голос в мою защиту. Привет всем товарищам.

16.XI.86 г. Исмаил».

Писали товарищу Киселёву, писал товарищ Киселёв. В борьбе с несправедливостью обращался к письменному слову, писал мелким, убористым почерком вождей. Не могущий ходить из угла в угол, подбирая нужные слова, пускался в путь мыслью и оскорблённым чувством:

«Товарищу Генеральному прокурору СССР. Открытое письмо.

В течение полугода я направлял вам три раза по три запроса. В одном из них я запрашивал содержание законодательного акта, по которому госорганы в июле 1981 года, объявленного ООН Международным годом инвалидов, отобрали у меня земельный участок в Крыму, посёлок Планерское, и заодно снесли сохранившиеся после пожара стены моего дома, веранду с чердаком, бетонный гараж и украли имущество, находившееся под замками в гараже и на чердаке веранды. До сих пор меня не ознакомили с мотивировкой этого безобразия.

Это, я уверен, был единственный в мире дом—художественная мастерская, спроектированный и построенный инвалидом I группы без обеих ног. На виду у всего посёлка я вместе с друзьями рыл траншею под фундамент, клал стены, варил веранду, делал крышу—всё это без ног. Сюда съезжались со всего Союза, в том числе и инвалиды, жили коммуной, читали стихи, играли актёры, музыканты. Чекисты руководили даже сносом холма, на котором остались несгоревшие стены, а заодно „изъяли" лодку, моторы и запчасти.

...Только через полгода от Судакской прокуратуры получил отписку без ссылки на закон и решение исполкома, где утверждался факт отсутствия нарушения соцзаконности при лишении меня права землепользования. На днях ко мне пришёл сотрудник Московской прокуратуры и предъявил

не вопросы, а скорее требования: например, перечислить всех моих знакомых — наркоманов или членов религиозных сект, в общем, перечислить всех тех, кто, по мнению этой прокуратуры, и сожгли мой дом. Я ответил, что основой религии является нравственность, а сожгли и снесли мой дом чекисты, мстя за мою правозащитную деятельность. Далее уже, как преступник, я получил повестку, почему-то с пометкой „*Вторично*“, явиться в определённый день к заместителю товарища прокурора…»

Подпись: «Юрий Киселёв».

Вот так, от товарища к товарищу, письма. Запечатать в бутылку крик души и под крик чаек бросить в Чёрное море, лучше в океан, чтобы для всех товарищей да по всем концам земли: может, кто и прочтёт, а ещё через век ответит. Так и не вышел на наши экраны документальный фильм, снятый французскими документалистами, «Где ты, товарищ?..».

Его соратники вспоминали, что за год до смерти Юра Киселёв находился на Пушкинской площади среди поредевших участников пикета в защиту Виктора Орехова, капитана КГБ, предупреждавшего по телефону о предстоящих обысках и арестах. Другие времена. И как уже повторялось в истории: не явился на площадь диктатор Трубецкой, отказался возглавить свой полк капитан Якубович. Юра был одним из немногих, кто вышел. Он был верным.

А пока короткими сумерками, после трудового дня, собирались мы нашей дружной коммуной в мастерской — каминном зале слушать поднявшихся на холм поэтов, бардов, труверов и другой пришлый артистический и бродячий люд. Кисель принимал всех. Все, кто имел руки, мог участвовать в стройке; кто рук не имел, имел голову для проектов или язык для завиранья. Всё человеческое годилось на Киселёвке. С каждым он говорил на его языке. Иногда он казался дерзким, провоцировал. Чтобы не разводить всякое повидло, нарывался, хамил, что называется, лез на рожон. Он хотел казаться грубым, но внутри не был грубым. Он был готов к выпаду, что вместо обороны. Его: «Щас в рожу получишь!» — адресованное тому, кто мешал ему слушать что-то исключительно интересное, можно было трактовать как: «Господа, мы имеем честь атаковать вас первыми». Его отец, бывший офицер Белой армии, и его мать, оба педагоги, воспитывали его как эсера, в крайнем случае — народовольца. Но порой реакция на дерзость бывала неожиданной и неоднозначной. Как-то на центральной московской улице его остановил милиционер, потребовал документы. На законный вопрос постового: «Где в правах такая-то отметка, такая-то печать?» — Юра тут же разлетелся в карьер:

— А это ваши грёбаные коммунисты во главе с Горбачёвым или кто тогда был…

Дядя Стёпа — под козырёк:

— Проезжайте…

В восьмидесятые годы, когда за ним установилась жёсткая слежка (голубоглазые «Васи» с Лубянки, мечтавшие о командировке в Планерское, так и торчали соцветьями из-за изгородей), встал вопрос, принимать или не принимать незнакомцев. Желающих остаться на Киселёвке всё прибавлялось. И когда новичок объявлялся на горке, для Юры архиважным было выяснить, свой ли пришелец или засланная гнида, которую гнать в три шеи. На это у него был определённый тест:

— Я ему сейчас особые вопросы задам, он и засветится.

— Ну что, Юрок, наш человек или как? — подступали мы к нему через какое-то время.

Обычно всё кончалось тем, что пока непонятно, свой или нет, и, почёсывая в затылке, Кисель утвердительно кивал своей ленинской башкой:

— Ладно, пусть живёт, там будет видно…

Войди в мой дом

Душа неделима и, льдинкою вниз
Упав, о карниз разлетится со звоном,
А я этой смерти пустым эпигоном
Всё буду цепляться за слово «держись»…

Вадим Делоне

В Москве, в феврале, в синих метелях, ты внезапно останавливаешься, замирая в охотничьей стойке, улавливая во влажном ветре что-то от моря, и, благодарно восприняв этот привет, начинаешь собираться в Планерское — пока ещё мысленно. Но уже в ближайшую субботу, переступив через высокий сугроб где-то на окраине города, ты проталкиваешь себя в обитую жестью неказистую дверцу крохотного магазинчика-склада с вывеской «Лоскуты», чтобы пропасть в его полуподвальном помещении. С узкого прилавка ты набираешь из остатков разноцветных заплат на длинную, как у знатной критянки, юбку с воланами, представляя, как будешь весело мести этим подолом лёгкую белую пыль по дороге в Тихую бухту.

В августе у тебя совсем нет денег на билет, но зато у тебя есть твой старый друг, твой верный чердачок под чёлкой, пока ещё с чётко очерченными извилинами, с быстро бегающими составами вопросов и ответов, которые ты гоняешь туда и обратно в поисках нужного решения, и скоро соображаешь, что гранёный стакан твоей крови редкой группы — как раз в цену плацкартного билета на поезд Москва — Феодосия с Курского вокзала.

Через двадцать пять с лишком часов заточения в кишке поезда, не оглядываясь на старого кита,

продолжающего благодушно выпускать из своего чрева наружу многочисленных Иовов с нижних, верхних и боковых плацкартных полок, выбираешься на перрон. Опустив сумку на землю, глубоко вдыхаешь запах всей туево-можжевеловой растительности разом и, осознав только здесь и сейчас, зачем тебе служат лёгкие, искушаемая заманчивой свободой графа Эссекса, присоединяешься к кучке рабочих порта на привокзальной площади, предпочитающих портвейн. Оглядев прилавок, ты делаешь свой выбор и, никого не торопя, в порядке общей очереди, разнеженно следишь глазами, как и для тебя громокипяще бьётся о стекло рубиновая струя игристого «Цимлянского». Затем, благодарно вернув общепитовский гранёный стакан лаконичного дизайна феодосийки Веры Мухиной на прилавок, отерев пенные усы, блаженно улыбаешься трём городским памятникам одновременно: Ленину, Вите Коробкову и бакенбардному Айвазовскому,—улыбкой, выложенной мелкой галькой в парке литературного творчества. Не пряча улыбки, ибо мы—уже в краю со всеми его «голубыми»: Сюрю, Святой и той, что спускается в море пока ещё профилем Волошина,—перекинув сумку за плечо, устремляешься на рынок, где располагался тогда весь местный транспорт, включая гужевой.

В восьмидесятые годы каждый из конунгов княжил на своем престоле: Леонид—на Боровицком холме, Рональд—на Капитолийском, Кисель—на Тепсене. Киселёвка к тому времени была уже даже не кострищем, по коему прогнали табун лошадей—а место пусто. Древнегреческой маской трагедии площадку украшал чёрный зев гаража с оскаленной арматурой. Но Юра продолжал ездить в Планерское, распускал шатром вылинявшую, поседевшую до цвета ковыля палатку и сидел на тепсеневском черепе, на своём столе. С весны, кому как позволяли отпускные и каникулы, мы стекались, как реки в море, в посёлок—кто из Москвы, кто из Питера, из Харькова—и уже снимали по дворам. Долгое время постоянным местом нашего обитания был дом с высоким крыльцом на улице Мичурина.

Как-то, узнав от знакомых, что Кисель здесь, я поползла мурзой к престолу хана на Тепсень. Он, как Аттила, сидел на своём четырёхколёсном скакуне на колёсиках и не сходил с него. За его спиной белел шатёр. В шатре—женщина. На траве—закопчённый котелок.

— О,—встретил он меня обычным приветствием,—генеральская дочка,—одновременно заправляя рубашку в ремень, чтобы аккуратнее.—А знаешь, я тут вспоминал твоего отца-лётчика. Я был на шхуне, поднимался на мачту. Небо… Да, я бы с ним поговорил…

Стояла жара, высоко над нашими головами монотонно наверчивал свои круги ястреб.

— А что, Юр,—перебила я его на правах старой дружбы, когда мы приняли походные сто грамм,—как ты всё-таки это перенёс?

Я спрашивала о сокровенном, даже не называя событие.

— Я запретил себе об этом думать, и всё!

И больше ничего… В ответ я только покачала головой, выражая этим своё восхищение и наверняка признание, что точно так бы не смогла.

Пятясь, я отползала с Тепсеня, оставляя хана на своём улусе. В те же годы кто-то видел его с палаткой в районе Лисьей бухты. Он кружил вокруг посёлка проигравшим Акелой, но не сдавшимся, нет.

Потом он перестал приезжать в Планерское. Утратив хозяина, наш купол, дионисийский холм с гаражом под инвалидку, ещё долго не давался никому в руки. Скуластый Лукомон на тележке, подкованной четырьмя колёсиками, незримо присутствовал у своего алтаря. Воскурения киселёвского сакрального городища ещё не истаяли над Киловой горкой, и заброшенный участок по улице Серова, как необъезженный жеребец, долго не давал никому себя оседлать. Наконец он сам выбрал себе хозяев, замечательную пару—Наташу Туркию и Андрея Дементьева, чья щедрость на людей продолжает неизменно обескураживать в наши предпоследние времена своим неожиданным распахом, как тот первый взгляд на Киселя. Всё—выстрелом! Всё—восхищением! Теперь на этом месте и дом, и «крафт», мастерская. Под черепичным навесом продолжаются и промысел, и ремесло. Мастерят руками и, представьте, сердцем, возводят пространство для друзей, как будто лучше друзей так ничего и не придумано в нашем мире.

Серединной осенью в Москве, с положенными ей дождями и кленовыми пергаментными листьями в лужах, ещё не проваливаясь в «молох» дел, хотелось позвонить Киселю. Он всегда был рад встрече. В одну осень, не помню точно в какой год, звонил кто-то из ребят, говорил, что хорошо бы подвезти Киселю жратвы. Я не очень помню его московский адрес. Он жил где-то в одном из отдалённых районов, в хрущёвке, то есть обычной пятиэтажке без лифта, вдвоём с мамой. Одна из встреч в Москве состоялась поздней осенью. Мы долго ждали на площадке, пока он откроет, не волнуясь, зная, что ему надо время, чтобы прокатить по коридору на тележке к входной двери. Погремев ключами, цепочками, он нас так и встретил: мы—жирафами над ним, он—нам по колено. Помнится, увидев эту весёлую ленинскую морду, мы в который раз, прямо-таки тут же, почувствовали себя по-дурацки счастливыми на всю оставшуюся жизнь.

Внутреннее пространство из трёх комнат, кухни и коридора, всё достаточно узкое и тесное,

Кисель, недаром выпускник Строгановки, умело преобразовал под себя. Дверной замок навешен низко, по коридору поручень, повсюду полки. Налево—кухня, совмещённая ванная, направо—комната, в которой жила мама, его комната—прямо по коридору и налево. Он—на тележке, мы за ним—на секунду завернули направо, чтобы поздороваться с мамой.

В комнате мамы, старенькой женщины народовольческого вида, в оттянутой кофте классной учительницы, она и была учительницей, всё было завалено газетами. Главные газеты страны «Правда», «Известия», «Труд» неряшливо торчали из пухлых картонных папок с тесёмочками, оккупировавших стол и стенные полки. С Юркиных слов, мама уважительно общалась с газетными колонками, вырезая ножницами особо полюбившиеся передовицы, в основном про Ленина, и складывала их в папки. Шутил он или серьёзно? Похоже, что всерьёз.

В комнате Киселя, кроме дивана или тахты—в общем, его спального места, где-то сбоку стоял катушечный магнитофон. Стола не было; когда собирался народ в большом количестве, с петель снимали дверь и клали её на две табуретки, предупреждая не касаться невзначай дверной ручки, в противном случае дверь опрокидывалась. Обычно гость, потянувшись за солью или хлебом, приняв ручку двери за солонку, тянул за неё, а дальше все кидались к чёртовой ручке, чтобы удержать равновесие стола и сохранить провизию на полотнище двери. Нависал стеллаж с огромными папками, коробки с многочисленными инструментами, какими-то неведомыми деталями, большей частью автомобильной атрибутикой, запчастями. Он что-то показывал из своих работ. Что-то из рисунков тут же нам подарил. Редко, но у него бывали заказы по промышленному дизайну от его декоративно-оформительского комбината.

Мы, конечно, пришли с бутылём, колбасой, плавлеными сырками. Часть еды он отложил на бумагу и отъехал в коридор, чтобы свезти маме. Потом он вернулся, освободился от тележки, кинул себя на тахту:

— Ну, всё, ребята, я—с вами.

И начался пчелиный гудёж, «тары-бары». Разливалось вино, строились бутерброды. Текли слова и песни. Он ел немного. Но когда выпил, потянулся к магнитофону.

Он ставил голос своей Кармен ещё и ещё раз. Напряжённо слушал, щурился, мял в пальцах папиросу, делал какие-то нервные движения руками, тёр затылок. То вдавливался спиной в стену, то, наоборот, резко наклонялся вперёд, к магнитофону. Было видно, что он сильно взволнован, что он—влюблён, чёрт возьми!—и страдает… Кажется, она была из какого-то танцевального ансамбля. Танцовщица? Певица?

Это очень сильно—Киселёв и любовь. У него было что-то с нервами, что и неудивительно; обычно на людях он никогда этого не демонстрировал, но в отношениях с женщинами, где и так достаточно эмоций, это вырывалось; короче, он как-то заставлял их страдать, что, впрочем, было взаимно. Со слов очевидца, не я видела… Он не пускал её, она хотела уйти, уже в коридоре—то ли поругались… он обхватил её за ногу ниже колена, а она крепко била другой ногой в его широкую грудь… но он не отпустил.

Его всегда били в грудь, в этот распахнутый экран. В другой раз, когда он заехал на тележке, как обычно, в подъезд своего дома, там его уже ожидали двое амбалов. И стали бить ногами в грудь. Он же бился этой грудью в ворота спецлагерей для инвалидов, и однажды они поддались.

В 1993 году, за пару лет до ухода, Юру показывали в телевизионной программе «Совершенно секретно». Снимали у него дома, в этой самой московской квартирке. Угол его рабочей мастерской украшали старый диванчик, весь заваленный книгами и бумагами, и большая, в пол, прислонённая икона Богородицы. На низком столике, на который он иногда опирался, стояла банка с пшеном, тазик, рядом курительная трубка, зажигалка.

В коротком сюжете он, постоянно меняя положение тела на крохотной скамеечке на колёсиках, всё время как бы устраиваясь на своём насесте, седой, но крепкий, с ясным взглядом, негромким голосом рассказывал о конференции памяти Рауля Валленберга, шведского дипломата, спасшего во время войны жизни десятков тысяч евреев, на которую он был приглашён и где рассказывал об инвалидных лагерях в СССР. Власти не могли простить Киселёву выноса «сора из избы». А сора было предостаточно.

В двадцатые годы были закрыты все благотворительные попечительства, все дома призрения. Коллективизация, стройки коммунизма, Великая Отечественная—всё это не уменьшало количества калек, нищих, бездомных. После помпезного физкульт-парада 1946 года их постепенно начали «стирать с фасада». Калек хватали на вокзалах, по рынкам, у церквей, и тащились они по этапам, по известной пятьдесят восьмой статье (подрыв, ослабление рабоче-крестьянской власти), в лучший, более милосердный мир—советские инвалидные лагеря. Инвалидных лагерей не существовало нигде, кроме нашей страны. Употребляли их на самых тяжёлых работах. На строительстве Беломорканала однорукие, с той стороны, где у них была рука, носили носилки, доверху гружённые щебёнкой, парализованные, без ног, сидели на земле в грязи и молотками разбивали крупные камни.

Когда Инициативная группа поняла, что на родной стороне их никто не слышит, стали действовать через международные каналы, отсылать

материалы на Запад. Именно документы киселёвской группы, развенчав миф о лучшем в мире соцобеспечении, послужили тому, что эти страшные лагеря наконец закрыли. Теперь калек распределяли по «здоровым» зонам, где убивать на виду стало менее удобно. На Родине — соответственная благодарность: советская пресса стала поливать членов Инициативной группы грязью — «антисоветчики», «неблагодарные».

В один из моментов разговора камера крупно показал Юрины руки — тяжёлые, рабочие, точнее — чернорабочие, раздолбанные трудом, инструментом, сами бьющие кулаком и по которым неоднократно кувалдой. Руки старого беломорканальца. На левой руке не было фаланги указательного пальца…

В нашем доме хранится старая чёрно-белая фотокарточка 1945 года. Маленькая фигурка отца в форме и фуражке, напротив него — то ли подросток, то ли высохший старичок с бритой головой, в полосатом костюме. Встреча двух людей. И из семейных рассказов я знаю, что это совсем не подросток, а знаменитая французская театральная актриса, чуть ли не из «Комеди Франсез», только что освобождённая из концентрационного лагеря на территории Австрии. Слёзы и целования рук. И смысл этой встречи прост: один человек другому — самый драгоценный дар, что существует на земле, — свободу, как второе рождение, что ещё сильнее первого, ибо человек уже знает, какой мир он теряет или обретает.

Когда хоть одному творенью
Я мог свободу даровать!..

И вот я представляю, как Юра, отталкиваясь своими работными руками, которые переносили за свою жизнь столько этой тяжёлой щебёнки, подъезжает на своей платформочке и останавливается прямо перед воротами такого спецлагеря. Ворота распахиваются, и на него валом накатывает инвалидная армада: кто на костылях, кто без руки, кто без глаз, некоторые на мотоколясках — из одних торчат костыли, другие накрыты брезентом, — почти живописной пиратской бандой. И Юры уже не видно. Его накрыла людская волна с головой, он — в море. И море это называется Pont Liberté.

По сравнению с его мужеством все мы, конечно, были одной сплошной чепухой. Юра умер в 1995 году, в знойном августе, в самом зените того исключительного месяца, празднуемого нами, как всегда водилось на Киселёвке, когда звёзды над головой особенно ярки и лучисты и особенно часто кометами-горстями шлют на землю свои послания.

Памятная доска на фасаде дома номер четыре в Лучниковом переулке, выходящего одним своим концом на Лубянку.

В шестьдесят три года — для кого-то рано, для России, где умеют расходиться серпом, нет. Умер у себя дома от удара. В сердце или мозг, не важно. Голова его наклонилась на грудь. Больше он её не поднял.

Он чувствовал себя плохо уже на протяжении нескольких дней. Боль рвала его на уровне солнечного сплетения, немного ниже которого, собственно, и заканчивалось сработанное роденами и не завершённое в силу достигнутого совершенства его тугое тело. В последние сутки он поочерёдно звонил друзьям, спрашивая, как унять эти сильные боли. И когда, уже не в силах терпеть боль, в последний раз выбрался на порожек комнаты мамы, всё время отталкиваясь от этой низменной клятой земли, как на гребень своей Киловой горки, то ничего другого ему и не оставалось, как кинуться головой вниз героем фильма «Мотылёк», в море. А может быть, он опрокинулся навзничь?.. А дальше плыви за строчками Бодлера: «Свободный человек, любить всегда ты будешь море».

И всё-таки — ещё раз о высоте. По сути, Юра был атлантом. Он подпирал своими руками небо, чтобы нам было легче. При нём голубой свод был повыше. А когда он уставал, то засыпал, поставив поддончик с ещё крутящимися колёсиками парусом в вертикаль. И тогда за парусом его было не видно, и он мог плыть куда хотел.

Лёжа, раскинув руки-мачты на цементном полу, задрав голову-чашу в небо (нам казалось, что он спит), он плыл — и сейчас плывёт. Ставит паруса, разбирается с такелажем, а потом выходит на берег — цельный и целый, щедрый августовский бог, одной рукой протягивая полную чашу с вином, другой легко, как бы шутя, поддерживая небо у нас над головой.

А что там внизу, под рукой? Для нас навсегда остался родным тот единственный киловый покров. Там и сейчас повсюду бьют фонтанчики любви. Может быть, сквозь поры той графитной сине-зелёной земли проступает что-то важное, пробивается наверх какое-то чрезвычайно серьёзное сообщение.

Этот источник передаёт нам одно и то же послание вот уже столько лет: мы нужны друг другу в этом блистающем мире.

Екатерина Блынская

Пуга

Рассказ о прошлой жизни

Летом, после Казанской, когда мужики начинали косить свои выспевшие ржаные десятины, дом генерала Дмитровского оживал.

На дворе стояло вёдро. Жара несносимая пришла после двух недель затяжных дождей и теперь жгла несчастных косцов и жниц, работающих в поле. Не давали покоя слепни и прочие кровососущие бзыки, которых во время зноя прибавлялось втрое. Лошади изнемогали, коровы и быки нервно и протяжно мычали, напрасно обмахиваясь хвостами и прядая изъеденными в кровь ушами.

В усадьбе Внезапное готовились к приезду дочки генерала. В саду и палисадах выкосили чертополох и репяхи, в доме перетёрли окна и повесили новые завески, выбили и вымыли на речке старинные рытые ковры и дорожки.

Сам генерал старел и болел, давным-давно пребывая в отставке на мирном покое. Приглядывал за землёй, за работниками, иногда придумывал кое-какие себе новые заботы: строил мельницу или завозил булыжный камень для мощения новой дороги, расширял нагульные ставки для карпа и толстолобика, сажал редкие деревья. От одиночества его бросало в необыкновенную деятельность. Оттого и соседи его уважали.

Единственная его радость—дочь Харитина—приезжала либо весной, либо летом и редко осенью ненадолго. Всё-таки столица—не ближний свет, а училась она в закрытом заведении и вот-вот должна была отлично кончить его.

Генерал очень гордился дочерью. Всё плакал вечерами, рассматривая её новые, недавно присланные карточки, на которых так заметны были перемены возраста и даже ума. Не то прежде было, когда Харитина бегала босоногой посикушкой по двору и нянька-немка не могла отвлечь её от прыти к великой шкодливости, с горечью утверждаясь в том, что прилежания к учёбе не видать совсем. А вот и пожалуйста вам: Харитина Осиповна грамоты получает расписные… почётные листы с изображением царственных особ и великих деятелей российских.

Домой Харитина приехала на поезде. На станции ждала её старинная бричка с запашкой, сплетённой из кожаных ремней, похожей на капюшон католического монаха, запряжённая парой, и старик Мина, отцов кучер.

Бросив лёгкие шляпные картонки и дорожный маленький чемоданчик с жестяными уголками на дно брички, Харитина, приобняв добродушного старика Мину, лицо которого тонуло в развесистой седой бороде, принялась выслушивать новости, перебивая вопросами неспешные ответы.

— Как мои подружки, девицы Карповы?
— Колысь, весною померли Карповы вси.
— Как же, и молодые?
— Зараза завелась—и молодые, и старики. Потом ещё Мягкие от своей привычки двое сгинули. Марья Доброва тройню народила.
— Вот как!
— Плохое лето. Дожди не переставали. Картоха помокла, зерновые лежат.
— Плохо. И огурцов нет?
— И огурцов нет совсем. И репа гнилая, и морква. Всё гнилое, всё худое… Эх, погано, погано лето.
— А ещё что?
— Батюшка ваш новые пианины вам выписал, панечка Харитина Осиповна.
— Давно пора было!
— И у вашего дружки Стёпы голос такой стал… как у мужика, прямо дело.

Тут Харитина опустила глаза.

— Жалко. Стало быть, вырос он.
— Его женить будут.
— На ком же?
— На Маринке Самоедовой.
— Что им именно мой Стёпа взялся?
— Стёпа в возраст входит, что… А у Маринки три сестры, и ни одного работника. Примаком придёт, надел им дадут. Прокормятся. А то тяжко, тяжко нам, малоземельным-то…

Кругом расстилались спелые жёлтые нивы, красные поля проса, кукурузные, нежно-зелёные, разбелённые молочной свежестью яровые овсы. Вдали необозримые просторы окольцовывались купинами лесных деревьев, словно восстающих горами и холмами по горизонту. Поля и пастбища, луга и яры, разрытые ручьями, не давали бричке сильно разогнаться по дороге. Следом тянулась тяжёлая пахучая чёрная пыль чернозёмья. Остановишься—и точно вся грязь в носу будет. Не прочихаешься.

Стёпка, сын кузнеца Варфоломея Кулишкина, по малолетству был у барышни чуть не в наперсниках.

До того они дружили. Его семья соседствовала с генеральской усадьбой, притулившись до края старого сада, и Стёпка, служивший лето подпаском, занимал коров чуть поодаль от барского дома. Его пуга, похожая на слоновий хвост, оканчивалась тонкой косицей из конского волоса и делала такой оглушительный хлопок, что слышно было, кто идёт, за несколько вёрст.

Коровы сбирались в волнующееся пего-пятнистое стадо, выдувая шумно воздух, сопя и мыкая, шли смирно, прирастая с каждой улицей десятком новых своих сестриц. Все вместе, погоняемые Стёпкой, они бежком спешили по вытоптанным в солончаках стёжкам на выгон, где пастухи искали местечки под высокими ивами на берегу Сны и возле малой речки Ровца.

Тихая Сна, входя в село, немного сужалась, но всё же посредине имела остров, на который коровы брели и плыли, преодолевая нанесённую за ночь ряску, тину и венчики пилорезов, не имеющих корней, путешествующих по всему течению реки. Ровец, напротив, вился, крутился, богатый на омуты, впадал на лугу в Сну, питая её громадными рыбами и множеством раков.

Стёпка переплывал на остров, сидя на коне — огромном першероне Белоухе, легко и важно носившего его на огромной вытертой спине.

Харитина Осиповна в это лето уже на голову перегнала медленно растущего Стёпку, которому только исполнилось четырнадцать.

Однако, несмотря на свой небольшой рост, он имел крепкое здоровье и необычную для его возраста силу. Намечавшаяся мощь уже виднелась в его широко развёрнутых плечах и крепких кулаках. Стёпка от природы был рус, а на солнце выгорал до пегого, какого-то даже грязно-жёлтого цвета, не имея привычки покрывать голову от зноя.

Он был первым другом Харитины ещё с молочного детства, когда она катала его в деревянном возке по загаженному птицей двору Стёпкиного отца Варфоломея.

Генерал Дмитровский очень ценил Варфоломея, и всегда они вместе ходили качать мёд на пасеку, рассуждая про былое время и нынешнее негодное юношество, как некогда размышляли о том же бородатые античные старцы.

С детства Стёпка питал к Харитине чувство, сродное восторгу. Каждое её появление было как свежий ветер в жару. А когда она уехала учиться в Москву, Стёпка только и ждал лета, когда, бывало, приезжал он на станцию за ней и ему можно было сидеть рядом и держать её за руку по высочайшему дозволению.

И держать за руку хозяйку, и приходить с ней играть в мяч, и скакалки, и бабки, и ходить поверять сети на Сну разрешалось Стёпке самим генералом. Но в этот год всё стало иначе.

Стёпку и девицу Маринку Самоедову посватали на Рождество. Генерал, глядя, что Стёпка вошёл в возраст, даже прибавил сотенную к приданому девицы, лишь бы его оженили поскорее. Однако поскорее всё равно бы не вышло. И лето нужно было отработать на пастьбе.

Оттого, что на станцию в этот раз Стёпка не приехал, Харитина расстроилась. Даже когда показался вдали лес и наклонённые дубы стали осенять дорогу долгими свежими увейными ветвями, сразу волнуя родным запахом, она не оживилась. А у поворота на свою улицу то и дело выглядывала: не стоит ли Стёпка, как всегда, на росстани, перекинув пугу через плечо?

— Сейчас пасут на Ровце, там пастбище потучнее, трава едомая, — сказал старик Мина, оглядываясь к хозяйке. — Побледнели вы, Харитина Осиповна, в городе-то. Видно, воздухи там плохие. Оно не то что тут, тамо воздухи гнилые от болот-то. Севера, что уж…

— Да ничего, — сказала Харитина и отвернулась от росстани, на которой не было ни души. — Аль поздно едем?

— Ну, ясно — поздно. Коров уж позагоняли. Нынче Стёпка заболел, взяли в пастухи лукашовского парня.

— А что заболел? — испугалась Харитина, вытянув шею.

— Да, что ли, сожрал чего не то… Валяется третий дён… Ничего. Он парень крепкий. Поваляется и встанет.

Харитина, увидав издалека густые сосны леса, начинавшегося возле усадебного дома, и заросли отцветшей сирени, ещё тёмные, кусты цикория и буйную сныть, только тогда улыбнулась.

— Но я его потом попроведаю, дядя Миней.

— Сперва батюшку…

Генерал уже вышел к воротам, услыхав лай собак, сопровождавший бричку. Как обычно, он уже с утра на радостях принял коньяку и теперь выветривал запах хмельного, журя себя за то, что дочка снова будет недовольна. Нос генерала Дмитровского, всегда теперь красно-синий, был виден издалека. Красивая бородка его, лопаткой, с ровной полоской седины посередине, топорщилась вперёд. Ему едва перевалило за шестьдесят, но генерал считал себя глубоким стариком, как это обычно бывает у людей, много знающих и много повидавших. Он вглядывался вдаль, на дорогу, бегущую около леса и уводящую в село, где он бывал всё реже и реже.

Бричка подкатила к генералу. Харитина соскочила с подножки, поддёрнув синюю лёгкую юбку.

Отец прижал её к себе, отчего-то затрясшись и сразу же зарыдав.

— Ну пóлно, пóлно, батюшка… — стыдясь столь явных проявлений чувств, сказала Харитина, сдвинув широкие толстые брови. — Люди же глядят…

— А что мне люди?.. что мне люди?..— горячо зашептал генерал, осыпая поцелуями уши и шею Харитины, видно, не считая людьми дворовых и управляющего, мрачно зыркающего на барышню и кривившегося в неестественной улыбке.

Наконец он, забросив ей на плечо руку, словно силой повлёк дочь к родному, недавно выбеленному дому. От плюшевого, вытертого под локтями мышиного цвета халата пахло сыростью и табаком, но Харитина любила этот запах.

Ветеран русско-турецкой войны, вышедший в отставку по ранению, генерал всё никак не хотел верить, что не по своей воле оставил служение отечеству. Сейчас, когда в Европе стало тревожно и неспокойно, генерал предчувствовал самое ужасное. И он затих, ожидая великих бед и приказав наймитам своим делать запасы на случай голода.

Харитину особо не волновали вести из-за границы, хотя она и слушала сообщения о захватнических планах германцев и что они могли покуситься на Украину и Польшу. А её родина, Внезапное, совсем рядом с границей Малороссии. Однако её надвигающаяся война заботила меньше, нежели новые фасоны платьев и входившие в моду велосипедные дамские брюки, которые она себе сразу же и заказала, причём тайно от отца, как только увидала новый модный каталог на будущую весну.

Отеческий дом заблестел окошками широкой застеклённой терраски из-за пары вековых лип, посаженных ещё прадедом. Прадед рассчитывал сделать каменный дом, но после передумал и заложил каменный только фундамент, а дом поставил дубовый, с пятью печами и в двенадцать комнат, не считая мезонина и цоколя, где располагались кухня и людская со множеством кладовочек, закутов и погребков.

Даже в жару в доме было благодатно и прохладно. Маленькая спальная Харитины Осиповны располагалась в углу дома, в первом этаже, и окошки выходили в запущенный яблоневый сад, который давно одичал столетними яблонями и не вырубался только в память о прадеде.

Всё в доме напоминало Харитине покойную мать, умершую шесть лет назад от простуды. Изящное убранство дома, множество деревянных резных фигурок, шкатулок, фарфора в старинных поставцах, лёгкие люстры и искусно кованные «фряжские» канделябры на каминах. Портреты матери были развешены по всему дому, но один висел в столовой и живо напоминал Харитине картину Брюллова, где дама в голубой амазонке едва придерживает горячего коня, а из-за балясин выглядывает удивлённо-восторженная девочка с чёрными кудрями.

Зайдя в дом, Харитина сразу пошла спать, запершись от назойливости отца и старой «экономочки» Полюшки, помогающей отцу много лет вести домашнее хозяйство. Её муж, Пров Игнатьевич, чернявый гуцул, похожий на цыгана мужик, почти не досаждал генералу ведением текущих дел усадьбы и полностью управлялся со всем, порою вызывая недовольство соседей слишком вольным исполнением «барской» воли.

В последние годы генерал стал налегать на крепкие напитки, и Пров Игнатьич в душе радовался наступавшему бессилию старика.

Харитина, подремав после дороги и порывшись в сундуках, оделась в местную одежду. Бордовая льняная юбка и полотняная кохта, перехваченная на талии тонким пояском с болтающимся на нём гаманочком, красная тканая полоска — намитка на голове, из-под которой кудрявились чёрные волосы, и чоботы с узенькой подковкой составляли её наряд, так отличавшийся от наряда столичной барышни, только недавно приехавшей к родным пенатам.

Отец, давно ожидающий дочку в столовой, привстал с кресла и смахнул слезу.

— Повечерять-то…— робко сказал он.

— Молока бы выпила,— сказала Харитина, лёгким и широким шагом постукивая по старому паркету.— С варениками.

На столе давно было всё накрыто. И малина, собранная часа два назад, ещё крепенькая, крупная, и вареники с маком, облитые маслом, и сыр с мёдом, и ржаные ковриги с повидлом. Полюшка, сухопарая женщина средних лет с бледным и морщинистым не по годам лицом, принесла тёплого молока в глечике.

— Вот, Харитина Осиповна, как пожелали, как пожелали…— сказала она едва слышно.— Малинку, варенички, пышечки, кровку печёную.

— Отвыкла я от вашей еды,— ответила Харитина, вскинув бровь.— Но с батюшкой отужинаю.

Генерал улыбнулся в усы особенной улыбкой, которую никогда никому, кроме дочки, не дарил.

За ужином он вёл себя стеснённо, теребя ворот халата, который редко когда снимал в доме. Харитина искоса бросала взгляды на отца, замечая про себя, как он постарел, как обрюзг, как опухли его красные веки. Ей было жалко старика, но она не могла усидеть на месте больше получаса. Докончив вареники и запив их молоком, Харитина, улыбнувшись, извинилась.

— Батюшка, я бы искупалась…

— Баньку уже истопили тебе.

— Я бы в речке сначала.

— Дак сходи. Возьми… возьми…— и генерал задумался.— Кого ж тебе взять с собою?

— Да я одна искупаюсь.

— Одной-то не можно. Ночь скоро уже.

— До темноты ещё долго, батюшка.

Генерал пожал плечами и, откашлявшись, плеснул себе наливки в хрустальную стопку.

— Ты тогда здесь купайся, недалеко, у проезда…

— Далеко уж не пойду.

Харитина поцеловала отца и почти выбежала из столовой.

Она миновала сад за домом, заросший высоченными травами, от которых шёл крепкий, душный и пряный дух, смешанный с ароматом близкого поля и высохшего, готового к жатве ячменя. За садом начиналась дорога вдоль леса.

Широкая улица и усадьба скоро остались позади. Ветер, едва заметно перелетая, шуршал ячменём. У Харитины подол юбки намок от росы и стал тяжёл. Наконец она вышла к дороге и пошла по ней быстрым шагом, постукивая по прибитому глинистому грунту, растрескавшемуся от жары. Кузница стояла на юру, а ниже виднелись двор и изба кузнеца. Когда Харитина подошла ближе, собаки во дворе подняли отчаянный лай. Тут же вышла из калитки мать Стёпки, круглолицая, беззубая, но ещё молодая женщина с красными и рябыми щеками.

— Харитина Осиповна, матушка! А мы вечеряем! Проходьте в хату!

Харитина погладила женщину по плечу и вошла в низкую избу, крытую очеретом. Полы в избе были земляные, но укрывались все половицами.

Кузнец встал из-за стола и покланялся. Харитина кивнула головой.

— Доброго вечера в вашу хату,— сказала она.

— Присядь с нами,— сказал хозяин отрывисто, вытирая крошки с бороды концом полотенца.— Повечерь.

Кузнец напоминал Харитине какого-то древнего богатыря, такой он был огромный мужик с острым крупным носом и зачёсанными назад волосами. Стёпка сильно походил на него статью и лицом.

— Я уж навечерялась с батюшкой. Ждал он меня очень,— сказала Харитина, но ради приличия отломила кусок лепёшки и приняла от хозяйки кружку с топлёным молоком.— Что у вас тут?

— Да что у нас тут будет? Дома пониже… навоз пожиже, чем в ваших столицах. А царя-то видала, панечка?

— Нет, не видала… не пришлось… Хотя царицу видала. Так она немного подстарувата стала,— ответила Харитина, улыбнувшись на свою шутку.

— О как!— удивилась кузнечиха.— Вон на карточках красивая.

— Да там же они только венчались. Бабка!— засмеялся кузнец.— И ты у меня девкой баская была.

— Да ну тя!— крикнула кузнечиха и зарумянилась.

— Миней Петрович сказал по дороге, что дружок мой занемог,— прервала их Харитина.

Хозяйка кивнула на окно.

— Занемог чутки. Но уже ничего, живой… Очунелся,— и кузнечиха подозрительно глянула на мужа.— Ото думали, что из-за тоего проклятого сватанья.

Кузнец кашлянул в кулак.

— Ну а нам и выбирать не приходится. Надо— стало быть, надо. Им хозяин нужен, а нам внучки.

Харитина, немного посидев и допив молоко, встала, поблагодарив за предложенный ужин. Стёпка обычно в это время лета спал в клети, на сундуке, и потому она знала, куда идти его навестить.

Пристроенная к дому клеть, где сушили травы и хранили всякое сыпучее съестное, запиралась на ветхую дверь, издающую страшный скрип. Когда Харитина вошла в полумрак, Стёпка сразу шевельнулся на своём сундуке, крытом волосяным матрацем и полосатой домотканиной. Харитина приблизилась, отпихивая от ног сразу вылезших из-под кутка паршивых котят, и села на край сундука.

— Стёпушка, голубчик…— сказала она нараспев.

Он, открыв глаза, нащупал её руку и крепко сжал запястье.

— Харитина Осиповна, барышня… А я уж думал, меня холера пробрала.

Глаза Стёпкины, в больных тенях, радостно сощурились. От улыбки его и Харитине стало легче.

— Не холера же ведь… Вот и я приехала, правда, поздненько, да пока табель получила…

— Небось, лучше меня учитесь?

— А ты что? Буквы научился складывать?

— Научился вот зимой. Взял у попа акахвист какой-то неседальный и по нему бегал. Так и научился. Теперь и писать, и читать научился.

— Надо бы тебе в школу,— вздохнула Харитина.

— Да кому тогда управляться, пороться? Да и в школу: быка отдай, мёду отдай, а так учить не станут у нас.

— Купаться-то когда?— спросила Харитина тихонько.

— Послезавтрева на выгоне уже буду. Приходьте.

— Приду.

— Там заместо меня брали лукашовского парня, дак вы не ходите на луг пока одна. Он там матюги гнёт— не разогнёшь…

— Напугал ты меня уж! Ладно… пойду я. Ты поправляйся. Я завтра заеду, привезу тебе порошков.

— Не извольте беспокоиться.

— Да уж соизволю.

Харитина поцеловала Стёпку в лоб и, хитро улыбнувшись, соскочила с сундука.

— Не то твои ещё там надумают всякого…

И вправду, у дверей клети, словно бы случайно, оказалась Стёпкина мать с полным решетом смородины. Только Харитина вышла, как та поднесла ей.

— Возьмить, матушка, а то ваш батюшка жаловался, что не уродила в энтом годе у вас смородинка.

Отказываться было бы неприлично, и Харитина взяла решето, попрощалась, вышла за калитку, а потом на пустую дорогу. Следом за ней вышел кузнец.

— Не провожайте, что там… дойти-то мне,— махнула она рукой кузнецу.

— А, матушка, ежели чего, буду я стоять у вереи, ты, коли что, зови меня,— сказал кузнец.
— Не трудись, Варфоломей Трофимыч, я скоренько добегу.

И Харитина, подоткнув концы намитки под две заплетённые косы, сорвала ветку полыни от комаров и пошла в сумрак.

Кузнец, ещё недолго постояв, дождался, когда она дойдёт до края леса и выйдет на ополье. К нему вышла супруга.
— Ну, перестанет она смущать нашего Стёпушку, курва такая?— спросила она словно сама у себя, утирая лоб передником.
— Да какая она курва?..— оглянулся на избу кузнец.— Барышня, и только того… барышня играется, а он в ум взял себе, что она его за что-то жалеет.
— Провалилась бы она… шоб гриц её взяв,— плюнула кузнечиха, сдвинув брови.
— Да гляди… можа, что и выйдет с того…— вздохнул кузнец.— Пошли, мать. Она уж далеко упорола.

На селе, растянувшемся вдоль реки, не слышалось ни звука, кроме дальнего лая собак. Сверчки перекрикивались в сухой, словно порох, траве. На смену дождям пришёл нестерпимый июльский зной, вынимающий зерно из колоса. Гудели комары, а Харитина ела смородину по ягодке и радостно вдыхала родные запахи. Только она подошла к полю, на дороге послышался далёкий топот лошадиных копыт. Глухих, неподкованных.

«Послали за мною…— подумала Харитина.— Не пойду подол мочить через сад». И она решила не ходить напрямки, а обойти сад вокруг и выйти к усадьбе через улицу.

Рваные облачка пропускали через своё волокно слабо мигающие звёзды, начинающие обсыпать небо. Ночь вызревала где-то позади, на востоке, а на западе ещё свинцовой сутеменью отливал горизонт.

Конский топот приблизился, и впотьмах Харитина едва распознала усадебного работного коня Белоуха, на котором Стёпка пас коров. Да только сидел на нём босой и незнакомый парень, белокожий и темноволосый, с голой грудью и заправленной за широкий кушак пугой.
— Барышня Харитина Осиповна?— спросил он.— Али ще девка какая?
— Барышня, барышня… Кто прислал тебя?

Харитина остановилась, упёрла кулак в бок и вскинула лицо на седока.
— Ты зачем этого коня-то взял? Он весь день работал.
— И я весь день работал. А тут Пров Игнатьич послал меня вас встренуть. И я Белоуха-то искупал и вот до вас доскочил.

Харитина потрепала уши узнавшего и фыркавшего ей в грудь коня, опустившего гривку.
— Вишь, узнал он меня! И что, едь теперь рядом. Сопровождай меня до дому.

Харитина пошла рядом с конём по дороге.

Всадник спешился и, подойдя к ней, протянул ей руку.
— Не побрезгуйте, барышня, седай верхом.
— Я без седла не буду седать,— сказала она, резко остановившись.— Свалюсь и убьюсь. А у меня, вишь, полное решето смородины.

И засмеялась тихим смехом.

Парень оказался очень пригож на лицо, а глаза его сверкнули, что те звёзды.
— Барышня ножку ушибёт по дороге.
— Не ушибёт. Я эту дорогу с детства пробегала.
— Дак я вас придержу,— не отставал парень.
— Да за что ты меня придержишь?— она махнула рукой.— Пойду уж.

Парень вздохнул.
— Ну, как ваша воля,— и взвился на коня, придерживая его от рыси.

Так дошли они до ворот усадьбы, где на широкой лавке, вкопанной в землю под жасминовыми кустами, сидели генерал и Пров Игнатьич с Полюшкой.
— Мы уж заждались тебя!— вскричал генерал, отводя трубку ото рта.— Ты никак в Лукаши ходила?
— Нет. Попроведать Степана Варфоломеича.

Генерал уже откушал наливки на радостях, что Харитина явилась, и видно было, что откушал ещё и хлебной слезы.
— Негоже девице молодой по ночи валандать. Или у вас там, в столице, так и делают?— спросил он, прихватывая Харитину за талию.

Сопровождающий её парень слез с Белоуха, поклонился и, что-то шепнув Прову Игнатьичу, удалился в темноту, попрощавшись с женщинами.
— А спать пойдём?— спросил генерал, усаживая дочку на лавку и пыхая ей в волосы трубкой.
— Да что там спать, коли я выспалась, так пойдёмте в шахматы задуем,— зевнула Харитина.— Только Полюшка мне кофею сварит.
— Ого!— обрадовался генерал.— Моя дочь. Видали? Вот! Кавалерист-девица.

Пров Игнатьич запер калитку, шикнул на собаку во дворе и шепнул Полюшке:
— Коньяку ей в кофей подлей.

К утру полил дождь. Ячмень, ржавый и тяжёлый, опустил усатые главки к сытой чёрной земле. Жнива сохла.

Харитина, привыкнув просыпаться в гимназию рано, вышла по росе на улицу. Шёл пятый час, и уже с конца села занимали коров. Вот-вот они покажутся справа. Старухи-коровы с полузганными рогами впереди, тёлки и молодь позади, а за ними — пастухи с бичами.

Не раз ловила себя Харитина в городе на том, что не хватает ей этой сельской музыки. Прогнали девки, кланяясь, стада гусей на реку. За ними

показалось на дороге стадо коровье, погоняемое пастухом.

Над головами коров возвышалась голова Белоуха. А на нём верхом, без седла, сидел всё тот же лукашовский вчерашний пастух.

Поравнявшись с Харитиной, он отвесил ей поклон и, улыбнувшись, показал белые свои зубы, яркие, как снег:

— Доброго здравия, барышня!

Харитина, смутившись, сильнее запахнулась в шаль и потупилась.

— А Стёпа ще не пасёт?

— Ще нет. Пробрала его холера.

— Да он дома ли? Может, за доктором?

— Отлежится. Дома остался.

— А ты, коли поедешь мимо, передай ему лекарство и накажи, что я написала, как принимать.

И Харитина подала пастуху полотняную сумочку со склянками и хинином.

— Не в трудность тебе станет?

— Я для барышни постараюсь.

Парень подхватил концом пуги сумочку и вдарил голыми пятками по белым бокам коня, нагоняя стадо.

— Чёрт лукашовский.— вздохнула Харитина.— Что ж ты такой пригожий?..

Пару дней страшная жара продержала Харитину взаперти. Она помогала отцу разобраться с бумагами.

— Ты у меня грамотная дивчина...— вздыхал генерал, жмурясь.— Всё разберёшь, что я не постигаю своим старым умом.

— Да что вы, батюшка...— отвечала Харитина, чихая от книжной пыли.— Вздор настоящий говорите.

Стёпкина мать принесла полный подол вишни, и Харитина от нечего делать села выколупывать косточки, чтобы сварить кисель.

Только вечерами спадал зной и можно было выйти на улицу. Но и тут донимали комары, а генерал разгонял их дымом, попыхивая трубкой.

— Ан в столице нет таких комарочков? Хоть и кусачие, а родные?— улыбался генерал и сжимал дочкину руку, словно не хотел её от себя отпускать.

Обычно они ужинали под сиренью во дворе, где лёгкая прохлада тянула рекой и славно обвевало свежестью, ползущей из дальнего лога. Ели из расписных турецких пиалок ревеневый кисель длинными серебряными ложечками.

Через три-четыре дня после приезда в родное гнездо Харитина уже захотела обратно. Право, с отцом мало о чём было поговорить, разве о хозяйстве, о пасеке, о лесных дачах выше по течению, откуда сплавляли лес в город.

Харитину по молодости лет не интересовали эти вопросы, и было скучно до того, что она позёвывала в кулачок и уходила, сославшись на то, что её разморил свежий воздух.

Наконец Степан выздоровел и снова вышел в поле. За время болезни он немного исхудал и, казалось, вытянулся. С утра, по туману, выгнал своего молодого жеребчика из сарая и, прежде чем первая хозяйка проводила за ворота корову, уже проехался мимо кованого забора усадьбы Осипа Марковича. Жеребчик, застоявшийся в сарае, весело кивал утреннему солнцу, только-только показавшемуся за грядой холмов на другой стороне Сны.

— Геть, геть...— сказал Стёпка и толканул пятками в бока каурого жеребчика.

Сегодня уже и Харитина знала, что Стёпка вышел на пастьбу. Она разнежилась и теперь просыпалась поздно, никак не заставала прогона стада мимо усадьбы, потому надеялась, что съездит на Ровец, на пастбище, где весь луг, покрытый солончаковыми бугорками, был вытоптан тропками и канавками лошадиных, овечьих и коровьих ног.

В перемётной суме у Стёпки лежали кусок ржаного хлеба, пять печёных яиц и две головки лука. Ключ с чистой водой бил из-под корня кривой ветлы, единственного большого дерева на берегу Ровца. Там можно было напиться в жару. Сегодня Стёпка стащил из дома ещё солёной гусятины: вдруг Харитина Осиповна придёт? Она страсть как любит гусятину.

Заняв коров от всех пяти концов села, Стёпка и лукашовский пастух Яша, который был гораздо старше и выше ростом, разделились и погнали стадо на пастбище.

Роса ещё серебрила травы, высохшие от вёдра. От этого казалось, что золото сверху присыпано росной пыльцою, а роса медленно испарялась и выдыхала саму себя в небо. Клочки тумана ползли друг к другу, соединяясь в вертикальные облака, и было видно, как дышит живая земля.

Мимо проходили косцы, молодые девки-жницы, проезжали телеги с вилами и граблями. Что там говорить—день сейчас год кормит, пока вёдро. Пока не пошли дожди, надо поспеть управиться с тяжкой рожью, с капризной пшеницей, с налитым ячменём.

Выгнав стадо на пастбище, Стёпка достал из сумы кусок хлеба и жадно куснул, чуя, что от голода начало уже подводить живот. Подъехал и Яша.

Яша был неплохой парень, весёлый, горевой, но больно брехливый, как думал Стёпка. В отличие от Стёпки, он происходил из непростой семьи. Его мать служила учительницей в городе и оттуда сбежала, нагуляв Яшу от своего хозяина.

Тут, в селе, откуда учительница была родом, её сразу же выдали замуж за старого купца третьей гильдии, Тимофея Варнавина, так как она обладала необыкновенной красотой. Мать Яши успела

родить ему ещё пятерых ребят, перед тем как купец, лет пять назад, умер от удара. Теперь вдова его держала маленький лабаз, торгуя бакалеей на краю базарной площади. Яша, считая себя старшим, помогал матери чем мог, а летом решил пойти внаймы и брался за любую работу.

Страсти к учению у Яши не было. Вообще он отличался вспыльчивостью и буйным нравом, отчего матушка его плакала, ругалась на него — правда, вяло и недолго. Видно, вспоминала своего городского хозяина.

Кем же на самом деле был тот хозяин и с кем состоял в родове, так никто и не узнал. А звали Яшу по-местному — Нинич, от имени его матушки, и не очень уважали.

Слишком сильно Яша отличался от других парней. И на лицо, и внутри. Надменность его не знала границ. Своеволие доводило до частых ссор. Мать обучила его с горем пополам арифметике и грамматике, но другие науки не пошли, и Яша бросил школу на третьем году.

Дьячок, что учил детей при приходе, журил матушку Яши, что та не может надавить на сына и заставить его учиться. Возможности его огромны, а ум скор. Мать только руками разводила. Яше по нраву только шалости да драки. Шкода он.

Стёпка не очень любил, когда его ставили пасти в пару с Яшей. Лучше с дедом Архипом Никандрычем. Тот хоть рассказывал сказки про старое время, про турку, про Крым, про крепость Баязет, где сидел в осаде и откуда чудом вышел живым.

Яша всё больше врал, у которой девки чего урвал. Стёпка потуплялся, стыдился и краснел. Сегодня деваться было некуда: вместе пасти им.

— Ну, белобрысая солома? Чего нуришься? — окликнул Яша, обогнув стадо на Белоухе. — Хороший у тебя конёк.

Стёпка сполз с жеребчика.

— Завтрева отдашь мне его. Он ко мне привык.

Яша вскинул русую голову, тряхнув неприглаженными красивыми кольцами волос.

— Ого! Отдашь! Пса тебе под хвост! Малолеток.

Подъехав ближе, Яша взвил Белоуха на дыбки и так, на дыбках, заставил его пройтись сажень десять. И хоть Белоух был сам себе на уме и борзый, но Яша так его водил, что ничего не оставалось, как покориться.

— Видал, что я его научил? Я научил.

И Яша, соскочив с Белоуха, отвёл его в сторону, сбатовал ему высокие ноги и пустил пастись.

Стёпка тоже пустил жеребчика пастись поодаль, привязав его за железный прут, вбитый в землю.

Стёпка и Яша легли на ещё влажную траву под ивой, откуда можно было обозревать коров, пятнистыми камушками видневшихся издалека на лоне пастбища. Как на ладони лежали сверкающий синей водой Ровец, и кольцо холмов, опоясывающих дальний край равнины, и далёкий-далёкий город в тридцати верстах, посверкивающий крестами соборных колоколен.

— В вёдро хорошо видать отсюда, — вздохнул Яша, доставая из кармана портов замашный кисет с табаком. — Курнёшь самосаду?

— Кто курит, Бога из себя турит, — буркнул Стёпка.

— Да ты, что ли, богоносец у нас? — хихикнул Яша, сощурив узкие зелёные глаза.

Стёпка отвернулся и, порывшись в суме, достал сетку от кимли, бечёвку и нож.

Яша замолк. Какое-то время он обозревал пастбище, потом что-то гудел про то, что местные сельские девки все чупахи и дуры, а лукашовские да ишимовские — все со своими нахабами да гонорами. И наконец, положив голову на согнутый локоть, задремал.

— Шоб тебя гриц взял, — чуть слышно сказал Стёпка. — Шоб тебя шлях трахив.

Яша дрогнул и, окончательно разморившись, заснул.

Ещё пару часов Стёпка наблюдал за коровами, шил сетку и вспоминал слоги, которые палочкой рисовал на штанине. Когда солнце поднялось в зенит, Стёпка стащил рубаху и пошёл с пугой повернуть коров от ишимовских прирезков.

Ходил он с полчаса, а когда вернулся, чуть не обмер.

На месте топтался белый конь Ледок, хорошо ему знакомый, конь Харитины Осиповны. А на коне — она. Она сама, в красной намитке, в полосатой цуканской юпке и вышитых черевичках.

Широкие рукава её кохты раздуваются от ветерка, и смеётся Харитина, болтая с Яшей, который сидит внизу и бает ей что-то весёлое!

Стёпка подошёл, хлыснув пугой. Харитина развернула Ледка к нему мордой, конь заржал и вскинулся.

— Стёпушка! Никак в город бегал! — задорно крикнула Харитина, и лицо её процвело возбуждённым румянцем. — Я заждалась тебя!

Стёпка, тая́ улыбку, помог Харитине слезть с коня и, подстелив свою рубаху, указал на неё.

— Не жарко вам по такой жарени? — спросил Стёпка, увидав обидно, что Харитина садится на рубаху Яши, давно постеленную меж корней ивы.

— По холодку, по тенёчку не жарко. Да я уже и искупалась в кущерях.

Харитина кивнула в сторону Сны.

— Вода — как парное молоко.

Стёпка ринулся за сумкой — искать угощение, но, кроме лука и хлеба, не нашёл ничего. Он пристально взглянул на Яшу, который гонял в зубах длинную гусиную косточку.

— Да я отдохну — и к батюшке. Чего у вас тут сидеть? Я тебя, Стёпа, проведать приехала, как ты.

— Добро. Добро, Харитина Осиповна, — заворчал Стёпка, глядя на отвернувшегося в сторону коров

Яшу.—Только угостить вас нечем. Вот разве хлебом, пробачьте меня.
— Поем я и хлеба,—оживилась ещё больше Харитина.—Коли больше нечего.

Стёпка вздрогнул и вытащил ржаной ломоть из сумы.
— Чего ж ты так хозяйку привечаешь?—вздохнул Яша.—Ничего не взял с собою, только хвалился, что-де угощу да угощу.

Стёпка закипел, но сдержался. Нарыв в суме черпак, он сбегал до ключа и принёс воды для Харитины.

Та смеялась как оглашенная на какие-то шутки Яши, неумные, но настолько уморительные, что даже сам Стёпка едва сдерживал смех.
— А чего у тебя коровы на залив подались?—вдруг крикнул Яша и вскочил.

Стёпка тоже вскочил, вдруг обнаружив, что коровы тишком-тишком, а идут себе на прирезки лукашовского помещика Сниткина.
— Ну, Харитина Осиповна,—досадливо вздохнул Яша и поправил плечами расшитую жилетку, наброшенную на голое тело,—ещё повидаемся.

Харитина уже больше не смотрела на Стёпку, спешно освобождающего коней от пут, а смотрела только на быстрого и отчаянного Яшу, прыгнувшего на Белоуха.

В голове Харитины всё смешалось. Её кинуло в пот, и она, резко поднявшись, оперлась на иву.

Стёпка и Яша умчались заворачивать коров.

Харитина отвязала коня, дала ему корку хлеба, которую он мягко сшамкал пушистыми губами, и направилась к реке, чтобы снова искупаться и смыть с себя жар, необычный и внезапный, которого ещё раньше не знала.

На другой день генерал обрадовал дочь за завтраком, что скоро ожидаются гости.
— И кто же приедет?—спросила Харитина, ловко расправляясь с синей лапой рябчика.—Думаете, батюшка, они меня после столицы развлекут?

Генерал, налив себе оранжевой рябиновой настойки, хмыкнул, поправил усы и опрокинул рюмку в рот.
— М-м-м… приедет князь Валерий Николаевич и сынок его, Павел.
— Этот, что рисует, да?—полуравнодушно спросила Харитина.—Он в кадетском корпусе учится.
— Да, да…— оживился генерал.—Он славный малый.

На том разговор и был окончен. Харитина, расстраиваясь тому, что отец с каждым разом не уменьшает порции наливок и настоек, потупившись, допивала кофий. Она хотела поговорить с Осипом Марковичем о том, что ей пора подумать о поступлении на Бестужевские курсы, ведь скоро экзамены в гимназии, и она уже определилась, куда ей пойти. Но генерал, что-то напевая себе под нос, только умилительно поглядывал на дочь. В конце концов Харитина, вспыхнув, стукнула донцем чашечки о блюдце. Генерал вздрогнул и перестал напевать.
— Что? Что случилось?—спросил он медленно, как ото сна.
— По делу приезжает князь с Павлушей? Или вы его нарочно позвали, чтобы я не скучала? Так я не скучаю. Мне довольно есть чем заняться.

Генерал смущённо забегал красными глазами.
— Н-не… м-мы… давно собирались. Собирались и решили, что раз Павлуша в отпуску да ты гуляешь, то вам будет о чём говорить…
— Смешно это всё,—бросила Харитина и, шумно поднявшись, быстро вышла из столовой.

Осип Маркович покачал головой.
— Охти, дурында ты, Осиповна…

Вечером вода на Сне стояла недвижно, как зеркальная гладь. Река отражала каждый листок склонённого над нею дерева, каждую ветлу в её истинном изображении. Облака, редкие и мягкие, окрашенные в самый нежный пурпур, туманное солнце, садившееся в марево, лодки рыбаков, заросли тростника и плывущие кошуры. Харитина любила такие редкие вечера, когда ни одно дуновение не тревожило рябью спокойных вод Сны.

Она взяла лодку у берега и нашла в лозе припрятанное весло. Столкнув лодку в воду и поддев платье, Харитина забралась на корму и медленно стала выгребать на середину Сны. Впереди, ниже по течению, Сна соединялась с Ровцом и принимала в себя вóды ещё нескольких малых речек, расширяясь и всё больше растекаясь по долине.

Харитина, не плеща веслом, умело управлялась с лодкой, знала на реке каждый омуток, каждую затоку, каждую излучину. Но теперь её так и поворачивало к Ровцу.

Медленно двигаясь по реке, она увидала на берегу Стёпку, купающего коня, и приблизилась.

Стёпка тоже увидал её. Прыгнул с коряги рыбкой и подплыл к борту лодки, стесняясь вылезти.
— А где порточки забыл?—улыбнулась ему Харитина.

Стёпка в ответ также улыбнулся. По лицу его стекали капли с мокрых волос.
— Я вас хотел позвать, Харитина Осиповна, раков половить. Сегодня лягушек на Ровце нажарил.

Харитина поморщилась.
— Ох, нет… Я покатаюсь да домой. Жара меня умучивает.
— Ночью прохладно будет. Я уж и пакли наготовил, и сеток. Поехали за раками, а?
— Нет. Стёпушка, езжай ты сам.
— Харитина Осиповна…
— Лодку можешь мою взять. Она легче вашей. Знаешь, где привязываю?
— Знаю,—буркнул Стёпка.

— Не грусти, Стёпушка,— сказала Харитина и провела белой рукой по выжженным Стёпкиным волосам.

Тот вскинул на неё прозрачные, зелёные, как цветущая речная вода, глаза и, оторвавшись от борта, махнул в глубину.

Когда Стёпка вынырнул под берегом, Харитина уже свернула на Ровец.

На мостках шумные сельские девки и несколько баб мыли бельё и половики. Их перехохатыванье было слышно издалека. Мелькали их толстые икры из-под подоткнутых понёв, девки, завязав косы на макушке, били и тёрли вальками тяжёлые простыни и набухшие полотенца. Увидав Харитину, они все разом замерли, всматриваясь, и как одна, разглядев, поклонились. Харитина тоже кивнула им и дальше, не будя воду, проплыла в узкое русло Ровца.

Течение Сны мешалось здесь с желтоватой водой Ровца, и чётко была видна граница смешения вод. Харитина даже задумалась о том, как чудно устроена природа. Воды сталкиваются, но словно стоят на месте, не наполняя друг друга.

У берега, вытоптанного коровами, был хороший и укромный заход в воду. Солнце едва село.

Харитина бросила лодку у берега, стащила с себя платье, слишком короткое для села, скинула с головы намитку и, оглядевшись, одна ли, забежала в воду.

Видно было до самого дна. На глубине желтели лопухи кувшинок, стебли лилий запутывали ноги. Харитина выплыла на глубину, нырнула несколько раз, но, испугавшись темноты, повернула к берегу.

Не очень-то радовал её будущий приезд Павлуши, которого пришлось бы развлекать. Да ещё сидеть с ним в гостиной, а вечерами ещё и заставят петь, играть на новых «пианинах». Пока Харитина думала про то, что ожидает её ещё большая скука и как от этой скуки скрыться, неслышно подъехал кто-то на берег. Харитина, спрятавшись за лодку, приподнялась до глаз. Это приехал Яша на Белоухе, которого, вероятно, навсегда уже присвоил.

Яша сразу заметил, что в лодке лежит не сельское платье, и красную намитку.

Белоух шумно влетел в воду, качнув лодку. Яша сверху уже приметил косу Харитины и её спину, опалово светящуюся в сумеречной воде, и, сделав круг по мелководью, выгнал коня на берег.

— Простите, буде ласка, паночка, никак мы не ожидали, что вы тут выбрали себе купальню,— сказал Яша громко, и голос его чуть задрожал.

— Да от людей нигде не скроешься,— ответила Харитина, с локтями вылезши из воды и повиснув на борту лодки, как давеча Стёпка.— Всё смотрите за мною.

— Как за вами шею не свернуть… за такою?..— осёкся Яша.

— Ты коли пришёл купаться, то айда, я выйду, а после того, как уплыву, купайся хоть до ночи.

Яша засмеялся, поднял Белоуха на дыбки и снова скакнул в воду, поднимая брызги.

— Да и я вам не помешаю. Сплаваю на той берег.

Вместе с Белоухом они вошли в воду и, держась от Харитины чуть поодаль, поплыли на другой берег. Конь оглушительно отфыркивался, Яша, держа его за уздцы, плыл рядом, прямо как был, в портах. Только рубаху скинул.

Харитина, прячась в тень, выбралась на берег и в тростнике оделась. Пока она путалась в платье, которое никак не желало налезать на мокрое тело, Яша вышел на супротивный берег в заросли вишенья и вывел за собою Белоуха. Харитина выжала косу, подол, обвязала голову и залезла в лодку. Белоух, ломая кусты, с Яшей на спине залетел в воду с крутого берега и поплыл к лодке. Харитина сперва испугалась, что конь перевернёт её, но Белоух, медленно перебирая ногами, подкатил к ней Яшу.

Яша, поравнявшись с Харитиной, хитро моргнул ей и, словив её ответный взгляд, протянул руку.

Харитина вздрогнула, но, заметив, что Яша протягивает ей что-то в горсти, наклонилась и дала свою ладошку.

Яша высыпал ей на ладонь несколько крупных вишен и продолжил свой путь до берега.

— Благодарю!— крикнула вслед Харитина и отложила весло в сторону.

— Поспели уже!— ответил Яша уже с берега.— Не стоит вашей благодарности!

Медленное течение меж тем стало тихонько уносить лодку в сторону Сны. Харитина радовалась, что Яша не видел, как она покраснела со стыда.

— В жару всё быстро поспевает! Особо вишенки!— Яша слез с Белоуха и, стоя по колено в воде, провожал взглядом Харитину.

— Да уж дождика бы!— сказала она, и её голос далеко разнёсся над зеркалом воды.

— Не зазнобитесь! А то ночью будет буря, а у вас окно раскрыто.

Харитинины брови прыгнули вверх от удивления, но Яша уже этого не видел. Видел только её ровную спину в светлом платье и чёрную голову, повязанную по-девичьи, над свинцовой гладью Ровца.

Ночью и вправду буря чуть было не побила окна. Полинушка, Пров Игнатьич и генерал, поднятые за полночь ударами ставен, забегали по дому. Одна только Харитина, уморившись катанием на лодке, мирно спала и ничего не слышала.

Наутро, по мороси, пришедшей на смену ночному ливню, Харитина вышла в освежённый сад.

Яблоки попáдали от ураганного ветра в траву, белели бочкáми из густой зелени. Малина вывернула листья исподками наружу и согнулась почти до земли. Харитина поела малины, намочив ноги в росе, побродила по саду, обувшись во дворе,

вышла за ворота, кутаясь в шаль. Хорошо, что она искупалась вчера. Погода, видно, испортится.

Шумно сорвавшись с укромной ветки, совсем рядом пролетела пёстренькая кукушка.

— Охти, зозуля полетела…— испугалась Харитина и задумалась ненадолго, стрясывая росу с чоботков.

Издалека, у края леса, слышались пуги пастухов: дождь им не мешал. Вскоре и сюда подъедут. Стёпка? Яша? Лучше бы Яша.

Первые коровы прошли, за ними и вправду ехал Яша, а следом Стёпка.

Яша, проезжая мимо Харитины, снова склонился и снова в протянутую руку положил ей вишен.

Стёпка, нагнав Яшу, недовольно сверкнул глазами. Харитина, улыбаясь, провожала взглядом Яшу, как когда-то его, Стёпку. Теперь уже нет… Нет, не провожает.

У Стёпки затрепетало сердце. Яшина гордая спина мелькала впереди. Стёпка стиснул в руке плетёную рукоять пуги и что было силы ляснул по бокам своего коня, вырываясь вперёд стада.

Яша оглянулся на звук пуги. Но взгляд его был не любопытный, а сальный, словно он только что миску сметаны опростал.

Вечером того же дня Харитина уже сидела на скамейке под сиренью с книжкой.

Книжка была дурная, про любовь. Ещё бабкина. С потрёпанными серыми страницами, с мелким шрифтом, и разваливалась на части. Потому Харитине вынесли маленький столик, на который она ставила чашку кофею и клала выпадающие страницы. Генерал поехал на станцию встречать князя с сыном, а Харитина уже не могла себя остановить перед желанием увидеть Яшу.

Благо путь его всегда пролегал через усадьбу, куда он загонял последних двух коров и двух телушек.

Вот и он, уже едет. Тихо едет, шагом. Полинушка и Нюшка открыли калитку и приняли напасшихся коров. Сейчас ещё есть полчаса посидеть одной, а потом позовут пить тёплое, пахнущее травой молоко с витушками.

Харитина, чуть прикрываясь книгой, приподняла глаза. Яша заметил, что сегодня она и одета по-городскому. В длинном голубом шёлковом платье. Гладко причёсана, коса заколота серебряными шпильками. Яша, остановившись возле скамейки, потрепал Белоуха по гриве.

— Наряжонка вы сегодня! Ждёте кого?—спросил Яша.

— Жду. Князь с сыночком приедут,—ответила Харитина печально и отвела книжку от дрожащих губ.

— Дак радоваться надо. Не будете теперь слоняться одна по кущерям.

— Мне бы лучше одной.

— Вишенка-то сладкая… была?..

— Сладкая,—выдохнула Харитина, словив на себе наглый взгляд Яши.

Яша выпрямился. Белоух встал на дыбки, попрыгивая, пошёл, заржал недовольно. Яша крепко держался коленками. Опустил коня, потрепал его по гриве узкой, некрестьянской рукой, покрутил рукоять своей плётки между пальцами.

— А Стёпка где?—спросила Харитина едва слышно.

— Дома уже. К нему сегодня будущая тёща в гости придёт с евоной невестой. Большие побалакают о чём-то. А дети в горелки посигают.

Харитина с усилием улыбнулась.

— Куда ж его женят? Он мал ещё.

— Ничего, не надорвётся. Найдёт ведро колодец.

Харитина вспыхнула.

— Будет и нам лясы точить. Пора мне пороться. Матушка заболела, а мои братья голодные сидят,— Яша чуть заметно поклонился и уже было поехал, но Харитина его остановила, привстав со скамейки.

— Может… погоди, погоди… я пойду соберу им гостинцев.

— Премного благодарен, но ждать мне нельзя никак.

— Погоди, Яша… мне всё равно… я не утруждаюсь этим…

— Смотрите. Харитина Осиповна, какая вы бледная… Вам надо раньше ложиться. А вы говорите— не утруждаетесь. Чем-то, видать, утруждаетесь, может, думаете много…

— Много, Яков,—ответила Харитина, отводя глаза.

— Так вы не думайте. Спать будете спокойнее…

— Да что-то не спится.

Яша снова нервно потрепал Белоуха.

— Коли не спите, приходите к нам на гулянки. Никто вас не тронет.

Харитина остолбенела.

— Куда же это?

— Гуляем мы на берегу. Картошку печём, голубей. Приходите. Там девки и парни. Все играют, песни поют, а когда и пляшут. А расходимся по темноте. Зимою-то в хатах собираемся, а летом на Ямине… В логу, у речки.

Харитина вскинула бровь.

— Яков… ну… я же… как я пойду?

Яша и сам понял, что болтнул лишнего.

— Харитина Осиповна, простите, коли я что не то сказал. Но мне, дураку стоеросовому, до́лжно простить. Я лучше вам сам принесу картошки и голубя. Не ходите. Там речи у нас не барские. И девки рыгочут громко, и парни всякую… всякую-разную чепуху несут.

И Яша, стукнув пятками Белоуха, прянул по влажной от недавнего дождя дороге.

Харитина проводила его долгим взглядом.

— А куда же вы после гимназии собираетесь?— спросил Павлуша, складывая ладони на коленях от смущения и робости.

Харитина, откинувшись в плетёное кресло, овеваемая сквозняком из открытого окна веранды, лениво повернула голову.

— Хотелось бы на Бестужевские. Я сильна в химии и биологии. Возможно, стану заниматься наукой.

Павлуша искоса глянул на выбившиеся из пучка волосы Харитины, пушистые и кручёные, как побеги мышиного горошка.

Ему было неловко, что его оставили наедине с тою, про которую он думал больше и чаще, чем про других знакомых девушек. Тут было совсем неудобно. Отец и генерал с вечера ушли на сомов, прихватив Прова Игнатьича, а его, Павлушу, оставили на растерзание Харитине.

Сначала она несколько часов заставляла его читать вслух «Братьев Карамазовых», потом мучила расспросами, что он думает по поводу судьбы братьев.

А Павлуша не любил и не понимал Достоевского с самого детства.

— Что мы сидим? Пойдём, я вас, Павлуша, научу по бутылкам стрелять,— внезапно сказала Харитина и хлопнула ладонями о подлокотники.— А? Как у вас с целкостью? Хорошо?

— Не люблю стрелять. Думаю, в мирные времена вообще нужно запретить брать людям оружие в руки,— проблеял Павлуша и мелко заморгал светлыми, почти невидимыми ресницами.

— А как тогда учиться защищать родину? Ежели вы стрелять не хотите, то какой вы кадет? Пойдёмте, я вам дам свой браунинг, и вы с него постреляете.

Павлуша замялся, поднял васильковые глаза на Харитину.

— А может, пойдёмте выпьем чаю? Сегодня хорошо пить чай. Не так жарко.

Харитина усмехнулась и встала, оправляя вышитый подол.

— Вы, Павлуша, как лён… Такой светлый, такой мягкий… Хорошо будет той, которой вы в руки придёте. Она из вас не нитки прясть, а верёвки вить будет.

Павлуша покраснел, как варёный рак, но Харитина уже вышла с веранды и позвала его в гостиную к чаю.

Через полчаса она всё-таки упросила его взять в руки браунинг, и они, выйдя в сырой сад в сумерках, с трудом сбили с деревьев несколько яблок.

Князь Маренич не очень любил генерала, хотя и служил с ним в одном полку по молодости. Они соседствовали поместьями, и, к сожалению, в последние годы генерал только и делал, что проигрывал в карты. Бóльшая часть имения Осипа Марковича была заложена. Дом также заложен. Самые большие страхи генерала заключались в том, что Харитина узнает об этом. Князь непосредственно взялся давать в долг старому другу. Но, как известно, долг платежом красен.

Кроме ларчика с бриллиантами и рубиновым материнским ожерельем, Харитина не получила бы в наследство ничего, разве если Павлуша не влюбится и не женится на ней.

Но Павлуша при честном раскладе не женится. Как бы ни хотелось этого генералу.

Однако нельзя было терять надежды. Хотя надежду на исправление своё генерал уже потерял.

Князь вёл себя панибратски. Он изо всех сил требовал к себе внимания, иногда капризничал. Словом, не считал генерала за человека своего ранга. Считал его обязанным, считал убогим, пропитым юродом уже называл.

В последние годы князь редко покидал поместье. Приезжали к нему гостить именитые друзья с жёнами и дочерьми, среди которых он разглядывал будущих невест для Павлуши. Жена князя Марфа Матвеевна, ещё красивая дама, больше жила в столице, только летом навещая мужа, а своё отдалённое от него бытьё объясняла тем, что за Павлушей нужен особый пригляд и для того она там.

Несколько раз Харитина была в гостях у Марфы Матвеевны в петербургском доме. Но присутствие Павлуши, который был несколько неприятной наружности, всегда смущало её.

«Tout dans les couleurs de l'amour (весь в «цветах любви»), как оранжерея»,— думала про себя Харитина и с грустью вспоминала Павлушины прыщи и засаленные волосы над воротничком форменного кителя.

И теперь отец хотел, чтобы она развлекала его.

Вечером, после пяти, Харитина, встревоженная чем-то, спустилась к полднику, и Павлуша, краснея и бледнея, предложил сделать её портрет. Он взял с собой краски и картон, собираясь к генералу.

— Хорошо. Но не долее чем час буду сидеть неподвижно,— гордо уронила Харитина и, усевшись на тахту в гостиной, оперлась на подушки.

— Чего же вы мне будете рассказывать этот час, чтобы я не заснула?— спросила она у Павлуши, который суетливо разводил краски и трясся в нетерпении начать.

— Расскажу вам про… про…— замялся Павлуша.— Хотите, что-нибудь про ботанику?

— Не хочу. Мне тут на природе много ботаники…

— Тогда давайте поговорим о политике.

Харитина закашлялась.

— Давайте лучше молчать. Рисуйте скорее, и мне нужно на прогулку.

Павлуша взял карандаш в руку, но карандаш плохо слушался.

— А можно, я с вами?— спросил он, спрятав глаза за картоном.

— Я верхом. Да и ненадолго.

Генерал и князь Валерий Николаевич вернулись около десяти вечера. Пров тащил на промокшей

спине огромную тушу сома, пуда в три весом. Валерий Николаевич, довольный, хмельной и краснощёкий, генерал с покрасневшим носом и глазами еле перебирали ногами.

Полинушка подала ужин в гостиной. Князь ржал басом. Генерал смеялся тенором. Раскатами и рокотанием. Увидав спускавшегося по лестнице Павлушу, оба смолкли.

— А где барышня?—спросил князь, мигнув Павлуше.—Спят?

— Поехала кататься,—вздохнул Павлуша, и углы его обмётанного прыщами рта обидно опустились.

— Куда? В ночь?—спросил генерал, перестав смеяться.

— Сказала, что всегда так по вечеру гуляет.

Пров, подающий тушёную утку на блюде, склонился к генералу:

— Осип Маркович, я пошлю за нею. Она, небось, в ближних полях.

— Да, голубчик… будь ласков, пошли. Пошли кого порасторопнее.

— Я пошлю Стёпку. Они поросёнка смолят с Архипом, сейчас пойду его кликну.

Генерал как будто сразу расплылся в кресле и не принялся за утятину, ограничившись капустой.

Князь, напротив, стал рассказывать Павлуше про то, как их лодка чуть было не перевернулась, когда взял сом.

— Видал, какая только ряха, а? Ширше, чем больше! Sale gueule! (Образина!)—засмеялся князь.

Стёпка никогда не отказывался, когда его звали пособить в усадьбу. Хотя там и было довольно работников да наймитов, Стёпка со своей сноровкой и силой всегда был к месту.

Сегодня резали свинью, и с вечера он пропадал на скотном дворе, помогая Архипу Никандрычу. Стёпка видел, как мимо него прошла скорым шагом Харитина за Ледком и как она сама его запрягла, не воспользовавшись помощью Мины.

— Да-й, ясно дело, генеральска донька,—сказал Архип.—Сама запряжёт, сама поедет… а то-й стрельнёт с маху…

Стёпка молча возился с тушей и, заметив проходящую обеспокоенную барышню, отошёл в сторону, чтобы его было не видно. Синие сумерки сделали Харитину ещё краше.

— Фу!—сказала Харитина, поморщив нос.—Эти ваши свиньи кругом…

Стёпка, от которого воняло свиными внутренностями и навозом, по которому долго пришлось ходить, пока ловили и резали свинью, застыдился чуть не до слёз.

Харитина же, оседлав Ледка прямо во дворе, выехала в ворота, открытые стариком Миной, и махнула рукой в чёрной кожаной митенке.

— Батюшка приедет, не сказывайте, что я кататься поехала,—приказала она кучеру.

Стёпка похолодел, догадавшись тому, куда она только могла заехать по темноте.

В то время позднее с Ямины уже разошлись и парни и девки. На высоком берегу Сны, прямо у песчаного скоса, только один Яша задумчиво жарил на углях линей и молодых налимов, похожих на жирных, огромных слизней. Свежий улов до сих пор бил хвостами в брошенной около костра кимле. Яша решил перепечь всю рыбу и подумать в тишине, а после отнести домой уже готовое, чтобы не разжигать очаг в летнике.

Огонь, слабый и синеватый, метался над поленьями, а Яша в свете этого костра выглядел золотистым и терракотовым, сплошного цвета, от волос до ног в закаченных портах. Уже два дня Яша не видел Харитину, и внутри него всё горело от неутишённого пламени неизвестности.

Что приехал князь с сыном, он знал. Да и мало ли кто из господ мог приехать… Но что там Харитина и как она занимается Павлом Валерьевичем, про то разве доймёшь? Скучно ли ей?

Вчера на пастбище и Стёпку пришлось чуток придавить Яше, потому что тот взял в голову, что Яша что-то замышляет.

Стёпка пообещал, что ни на шаг от него не отринет, что будет с ним ездить до самого дома и утром, и вечером. Скорее уж Стёпка задумал что-то.

Костёр издалека было не так видно, как душистый дым от него. Харитина, едущая по бледнеющей в темноте дороге, повстречала расходящиеся парочки, знакомых сельских девок, которые шумными стайками ворочались до домов, и провожальщиков-парней, идущих поодаль.

Кто-то играл на гармони, и девки, развеселённые и крашеные, как колядующие, в безвкусных пушках и монистах, заливисто смеялись.

Смех их будоражил Харитину. Она, сидя по-дамски, в тёмно-сером агатовом платье, неотличимом от темноты, только приближаясь, становилась видной и слышной встречным.

Но и парни, и девки свернули на село, а Харитина последовала дальше, к берегу, от которого доносился вкусный запах дыма.

Ледок, казалось, своей белой шкурой освещал ей темноту. Идя вдоль берега, Харитина только и надеялась, что конь, знающий дорогу, не оступится вниз. Издалека послышалось тихое ржанье. Ледок ответил утробно, почти рокоча.

— Белоух ржёт…— сказала Харитина.—Едем до него.

Тихой дорогой, по сырой полынной траве, Харитина шагом доехала до берега. Яша сидел спиною к ней, у костра, но ясно было видно, что он услышал и понял, кто приехал.

Харитина, держа Ледка под уздцы, подошла из темноты. Белоух, привязанный недалеко, закивал большой головой, увидав её и узнав.

— Не страшно барышне по темноте одной ходить? Тут же мужики, всякие чумаки ходют,— сказал Яша, не обернувшись.— Грех-то находите себе.

Харитина обошла костёр и села на брёвнышко, лежащее напротив Яши.

— Дома уж лучше не сидеть мне. Там точно хуже мне будет, Яша.

Яша, освещённый костром, крутил над пламешком рыбу, надетую на прут. Он был без рубахи и в одних портах, босой. Рубаха сохла, распяленная на ракитовом кусту.

— Рыбки вот поешьте,— тихо сказал Яша, глянув хитрыми глазами на Харитину.— Поешьте, да я вас домой провожу.

Харитина протянула руку, и Яша молча вложил ей в ладошку закопчённую ветку. В глазах его так и виделось удивление, но всё больше радость, которую он не мог скрыть. Голая грудь его часто поднималась от волнения.

— Ты вот один сидишь… А где твоя подруга?

— Нет у меня подруги. Разругались. Давно уже…

— Что же не поделили?

— Да подарков просила.

— Трудно, Яша, тебе. Жениться надо уже.

— Куда там «уже», пока не заматерел, барышня.

— Не спешишь, Яша?

— Коли ваш Стёпка не прибежит, то не спешу. А то прибежит.

— С чего он прибежит?

— Как обещался, что будет за мною ходить… Пришлось его умирить. Вот… даже об зуб его рассёк костяшку себе.

Харитина молча улыбнулась.

— Стёпка ваш дурак. Что ему говорить, коли он не понимает? Что он-то может понять?

Голос Яши задрожал.

— Не холодно вам?

Харитина замотала головой.

— Я бы искупалась даже.

— Ох… да вода-то…

— Вода хорошая. А я вот как раз купаться ехала.

— Купаться страшно. А ну как водяница в вир затянет?

Яша блеснул улыбкой, и Харитина застыдилась.

— Ну, я только воду пощупаю.

Яша встал и подошёл совсем близко, так, что она увидела его лихорадочно блестящие глаза и чуть подрагивающие губы.

Харитина взяла Яшу за руку, и они стали спускаться с берега по песчаному откосу, но, не удержавшись, или нарочно, или случайно, Яша соскользнул по влажному песку и повлёк за собою Харитину в какую-то пропасть, как ей показалось, без конца и без края. Падая на мягкий песок, она только и успела увидать взошедшую над далёкими холмами красноватую луну.

— Яша, Яша…— зашептала Харитина горячо и прерывисто.— Зачем же это?..

Яша, ухватив её за затылок, жадно и крепко целовал её лицо и шею, отплёвываясь в сторону песком. Его тонкие и сильные пальцы путались в завязках корсета и, не зная, как управиться с крючками, он разорвал их одним движением и беззвучно повалил Харитину на песок Ямины.

Стёпка первый узнал о том, что случилась беда. Он, объезжая округу и разыскивая Харитину Осиповну, издалека увидал дымы от костра и Ледка с Белоухом. Все на селе давно спали. Из травы доносился треск кузнечиков и саранчи. Летучие мыши низко и рвано летали над дорогой, стараясь вцепиться в белые пятна на шкуре Стёпкиного коня. Увидав знакомых лошадей, Стёпка потоптался на месте, но не стал подъезжать ближе. И так было ясно, что Харитина знала, куда едет.

Вернувшись, Стёпка передал Прову Игнатьичу, что Харитину нашёл, что она пошла до знакомой девки Палашки учиться вязать кружево и осталась у неё с ночёвкой, боясь ворочаться по темноте. Полинушка поднялась к генералу в спальню, но уже застала его спящим.

Стёпке, напротив, не спалось. Он приехал домой, бросил коня у повети, шатаясь от усталости, зашёл в свою клеть и лёг на сундук.

Мать оставила ему на столе глечик с молоком и миску с сыром. Стёпка, ещё недавно голодный, не стал вечерять. Всё существо его поглотил ужас. Он трясся от негодования и гнева до того, что пот на лбу выступил. Сейчас он готов был пойти и прибить Яшу голыми руками, придушить. И Харитину вместе с ним. Завтра им вместе с Яшей пасти. И снова Яша будет спать под ивой, как насытившийся кот. А Стёпка — сгорать от ненависти и тревоги.

До петухов Стёпка не сомкнул глаз и едва поднялся на работу. Вылив на себя ведро воды из колодца, он пофыркал и немного пришёл в себя. Конь, накормленный матерью, уже ждал его у калитки.

Вернувшись по утренним сумеркам, Харитина только и смогла, что зайти во двор и расседлать Ледка. Яша проводил её до усадьбы, поправил ей разметавшиеся волосы, стянул, как мог, завязки на спине платья и, поцеловав в лоб, отпустил, горюя, что ночь оказалась коротка.

Харитина, в полном изнеможении чувств, на цыпочках, по спящему дому, дошла до кухни, нашла на грубе горшок с разварной гречей, зачерпнула ложкой, но руки её не держали, и греча просыпалась на пол. Харитине хотелось смеяться от счастья, но она только закрыла рот рукой и пошла к себе, стараясь не шуршать платьем и не скрипеть полами.

Наутро, когда Полинушка позвала к завтраку, заглянув к ней, Харитина только сказала:

— Подай сюда.

Удивлённая Полинушка заметила и задёрнутые гардины, и брошенное возле постели платье, и башмачки, выпачканные серой береговой глинкой.

Но никому не сказала ни слова и вышла к завтраку, ложно сокрушаясь, что у барышни-де голова болит.

Никто ничего не сказал по поводу этого. Стёпка занял коров, только коротко спросив Полинушку, как Харитина Осиповна.

— Ещё почивает,— ответила та.

Стёпка хотел что-то сказать, но снова, злобно ляснув пугой, рванул вперёд. Яша пасти не пришёл, прислав младшего брата, десятилетнего Ефимку. Толку от него было мало, поэтому Стёпка, не спавший двое суток, так упластался, что, придя домой, еле добрался до своего сундука и уснул без снов.

Не более приятен, чем его сын, был и князь. Так же высок ростом и даже долговяз, с огромными залысинами на лбу и с длинным малоподвижным лицом, на котором редко можно было прочитать истинную эмоцию, покуда князь не выпивал рюмочку-другую горячительного. Тогда он преображался совершенно.

На обеде генерал нарочно посадил провинившуюся Харитину между князем и Павлушей, ровно держащим спину и слишком громко постукивающим приборами по тарелкам. Харитина, не выспавшаяся и взволнованная, почти ничего не съела.

Глаза её бегали, руки не слушались, раздражало каждое движение отца, особенно когда он тянулся к графинчику, чтобы налить себе и князю. Харитина слушала рассказ князя о юбилейном бале царствующей династии, на котором ему удалось побывать и на котором также побывал Павлуша, о нарядах, о великих князьях и княгинях, о Марии Фёдоровне и её попытках задержать уходящую молодость и красоту.

— Говорят, порезала себе за ушами кожу, чтобы натянуть её. Не понимаю, как не ясно, что это всё втуне, втуне, Осип Маркович? Наверное, её накачали хлороформом, чтобы ничего не чувствовала… Да и молодость эта бывает столь оказлива, столь надоедлива бывает, что кто-то и рад, когда она наконец освобождает сердце и ум для стóящих мыслей. Вот вы, Харитина Осиповна, mon cher, как считаете, должна ли долго длиться молодость?

— Je doute (Я сомневаюсь),— ответила Харитина тихо.— la jeunesse, le temps est court… (Время молодости быстро проходит…)

— Ах, ясно, что ничего короче нет. Но и ничего нет счастливее тех лет,— вздохнул генерал, вытянув сухие губы.

Харитина повернулась к Павлуше и завела выпавшую из пучка прядь волос, от которой предательски пахло Яшей, за ухо.

— Вы, Павлуша, ещё не понимаете нас. Но поймёте скоро.

Князь и генерал захохотали. Павлуша, который сидел, будто версту проглотил, надменно улыбнулся.

— О да, куда нам до вас…— сказал он словно про себя и хмыкнул.

Харитина вспыхнула. Щёки её стали похожи на две огромные пунцовые дикие гвоздики.

— Qu'est-ce qui est si drôle?— спросила она чуть хрипло.— Я смешна?

Генерал добродушно сощурил глаза и с усилием сдержал себя от смеха.

— Да, донечко, ты много смешного говоришь. Но ты не смешна, нет… Нет, ну что ты!

Харитина двинула стул и, выскочив из-за стола, убежала прочь из столовой.

— Зачем вы так грубо шутите? Видите же, что её что-то беспокоит,— сказал Павлуша, покраснев.— Не жалко… не жалко вам её.

Генерал откашлялся и перевёл разговор в политическое русло.

Вечером, когда село солнце, Стёпка поехал на Ямину. Там по-прежнему, сложенные шалашиками, чернели приготовленные парнями и девками хворост и дрова для посиделок, трава была истоптана, и серая зола кострищ подёрнулась росой. Стёпка с содроганием спрыгнул вниз, с откоса, на взбитый, мягкий песок и сел, зарыв ноги по щиколотки.

— Харитина Осиповна, душечка моя, раздушечка… дролечка моя милая, что же ты наделала, утица моя серая?.. Нет бы дождалась меня, ужо я тебя бы миловал, баловал…— зашептал Стёпка и гладил песок, пересыпая его меж пальцев, и горькие слёзы подступали к глазам.

Всё затуманилось кругом. И река, спокойно шедшая меж тихих берегов, и камыш, и летящие домой цапли. Всё превратилось в размазанные пятна, в смешение и беспорядок. Стёпка когда-то только и мечтал о том, что вырастет, что Харитина вечно будет юной, вечно его, а теперь её нужно делить, да ещё с кем… И тот, с кем придётся её делить, нисколько не ценит своего состояния, что свалилось на него случайно, обыкновенно… Страшно в своей случайности. Вспоминал Стёпка, как он и Харитина ещё только год назад ходили за рыбой, трясли сети. Купались вместе, не стыдясь друг друга, и спали в стогу, обнявшись. Харитина щекотала его нос травинкой, а он, обнимая её за талию, лежал и вдыхал весь её девичий аромат, её запах, напоминающий запах сухой кострики на гумне и полыни в поле или горьких вишнёвых листьев. Как она низко склоняла длинную тонкую шею, похожую на шею какой-то изящной птицы, уча его выводить буквы, как сама привозила в школу на двуколке, и все кланялись ей в пояс, а он не кланялся. Как они вместе ходили в церковь,

и он смотрел сколько хотел на её бледное узкое лицо с чёрными лоснящимися глазами, на брови, похожие на разбегающиеся спинки куниц, и тогда, когда она была только его, он был счастлив.

Но вдруг что-то больно кольнуло Стёпку в руку, и он, отдёрнув ладонь, снова погрузил её в песок. То была шпилька с крупным аметистом. Серебряная шпилька Харитины Осиповны. Стёпка похолодел, стал ползать по берегу и разрывать песок. Слёз и след простыл. Он искал, искал, рыл песок. Размётывал его и находил шпильки, крючки и кусочки агатового батиста. Так он нашёл целую горсть… Счастливая его нега сменилась на гнев, придавивший его, как тяжёлый мешок с известью. И такой же был он белый, жгучий, как известь. Стёпка нашёл три шпильки, пять крючков от корсета и два кусочка ткани. Он хотел было забросить всё это в Сну, потом — сохранить себе, но придумал, как укусить Харитину-предательницу. Он взбежал на откос, спрятал в гаман находки и ударил жеребчика пятками.

Через несколько минут Стёпка уже стучал в ворота усадьбы Осипа Марковича. Вышел Пров Игнатьич, дёргая себя за усы.

— Шо, малой? — спросил он грубо. — Шо тебя гриц носит по темени? Анчуто беспятое?

— Позовите Харитину Осиповну, барышню.

— Чего она тебе сдалась сейчас? Болеет она.

— Позови, Пров Игнатьич, Богом прошу, она только рада будет.

— Нет. Не стану беспокоить.

Стёпка задрыгал ногами.

— Пров Игнатьич, голубчик! Скажи, я приехал! Скажи, срочно!

— Мёду принесёшь? — лукаво спросил управляющий.

— Принесу.

— Тогда с барышней поговори и дуй за мёдом. Буду ждать.

Пров Игнатьич ушёл. Через несколько минут выбежала Харитина в домашнем платье, с распущенными волосами и в шали на плечах. Глаза её блистали, алые губы дрожали.

— Что? Стёпка? Что? Случилось что?

— Случилось, — злобно сказал Стёпка, бросив в руки Харитины тряпицу со шпильками. — Не думал я, барышня, что вы даром себя обесчестите. Пробачь мени, барышня.

Стёпка развернул коня и поехал в сторону дома бешеным аллюром. Харитина, побледнев, развернула тряпицу и, увидав шпильки, осела на траву и тихо заплакала. Но вскоре взяла себя в руки, вытерла лицо концом шали, огляделась и, шатаясь, пошла домой.

Далеко катила река Сна свои воды. Укромные затоны отходили в разные стороны от берегов, питая новой свежестью и чистотой старую реку. Недалеко от Ровца уютный затон скрывал свидания Харитины и Яши дремучими прибрежными зарослями. Только с воды можно было зайти сюда. И они вплывали на Яшиной лодчонке на самую середину, чтобы никто не смог увидеть их через сплошные зеленя разросшихся вётел и ив.

Стрекозы садились на борта лодки, хлюпала вода о дно, мимо пролетали лебеди, чуть не цепляя их крыльями. Харитина, одевшись по-селянски, каждый день в течение недели пропадала из дома.

Уже смеялись над нею в селе и смеялись в усадьбе. Тайно и несмело. Но разговоры было не унять. Стёпкина мать как-то сказала за столом, что Харитина Осиповна-де заигралась, чем забидела Стёпку, и тот две ночи ночевал на сеннике, пока его не позвали в дом.

Яша приезжал на луг сонный, с тенями под глазами, расстроенный и несобранный. Он долго смотрел вдаль, жевал стебель мятлика, тупо и безразлично, не обращая ни малейшего внимания на Стёпку, который, по сути, один пас и перегонял стадо. Яша отмахивался от Стёпки, материл его с загибами и ложился спать, подложив под голову драную на рукавах куфайку.

В середине дня, когда жара достигала своего пика, Яша шёл купаться, а сам уплывал куда-то на несколько часов и ворочался только к закату, когда приходила пора гнать стадо домой.

Стёпка не мог понять, зачем Яша играет с его чувствами, испытывает его терпение, рассказывая каждый день, как хороша Харитина Осиповна, что придёт то время, когда будут пастухи жениться на генеральских дочках и дочки те будут им ноги мыть и воду пить. Стёпка кипел, набираясь вредной злости, нетерпения, всего того, что портило его добрую душу. Червь ненависти разрушал его изнутри, свивал его кольцами.

Последней каплей было то, что Стёпка, не дождавшись Яшу из его отсутствия, поехал берегом Сны и услыхал тихий смех Харитины, разносившийся над затоном.

Клубилась мягкими облачками мошка, и слётки ласточек низко носились над серебром стоящей воды. Стёпка шикнул на коня и, наступив на его широкую спину, поднялся на ветлу и всё выше и выше стал забираться вверх.

Посреди затона на грузе, не колышась, чуть видно покачивалась лодка, а в ней лежала Харитина, обняв Яшу рукой под шею.

— А что, Яша, когда-нибудь и убежим мы с тобою, — говорила она таким нежным голосом, какого Стёпка никогда и не слышал.

— Куда же нам бежать, дроля моя, Харитина Осиповна? Разве нас нигде не настигнут?

И Яша перебирал согнутой рукою, жёлтыми от махры пальцами длинные распущенные косы Харитины, накручивая их кудерочками и снова распуская.

Стёпка так разозлился, что чуть не выдал своего присутствия, ударив кулаком в ствол ветлы. Ноги его одеревенели, пока он старался удержаться в пушистых ветках.

Наконец увиденное показалось ему столь постыдным, что он сам себя изругал и стал тихо спускаться. Яша, будто чувствуя что-то, сел, поцеловав долгим поцелуем Харитину в губы, и направил лодку к берегу, стараясь не плескать веслом.

Стёпка едва успел вывести коня из кустов и улепетнуть прочь.

— А что это ты, Харитина, всё ездишь одна, не наездишься? Бери с собою Павлушу, — сказал генерал как-то.

— А разве он скучает? Вы же вечерами в преферанс дуете.

— Что ты, мы в «гусарик» дуем.

— Брали бы Павлушу свои пульки расписывать.

— Лучше надвое. Мы уже такие с князем стали прожжённые, что Павлуша наслушается вредностей.

Харитина глубоко вздохнула. Нынче Яша отпросился съездить в город за покупками, потому как базарный день, и не будет сегодня встречи.

— Что же. Поехали, Павлуша. Ты на Ледке, я на Белоухе.

Павлуша скромно согласился, надел отцовские сапоги, генеральский мухояровый армяк, перетянулся кушаком и взял хлыст.

Харитина снова повязалась намиткой и села в седло по-дамски.

— Как есть паробок, — бросила она Павлуше презрительно и чуть слышно тронула Белоуха носочком ботика.

Харитина подумала, что ежели Яшу одеть в городское платье, то он будет краше любого княжонка. Но тому не бывать…

Они выехали в поля чуть раньше заката. Роса на траве уже блестела, выбитые тропки, будто посыпанные изморозью, вели в заросли сныти и болиголова. Мясистые шарики кровохлёбки, усыпанные будто чёрными пёрлышками травы кукушкиной слезы, разлетались в стороны от внезапного лома лошадиных ног, качались и снова вставали ровно, стеною. Шаг Харитина сменила на рысь, а рысь на галоп. Павлуша нагнал её галопом, напряжённо держась за седельную луку.

— И куда, Харитина Осиповна? — задыхаясь, спросил он, придерживая великоватый картуз.

— Не всё равно вам куда, Павел Валерьевич? Поехали до Лукашей.

Они прибавили ходу и понеслись по пойменному лугу до дровяного мостика, прошли, спешившись, по хилому, расшатавшемуся настилу через Ровец и поехали дальше на рысях.

Вскоре впереди показалась голубая лукашовская церковка, а за ней — просторная сторожка и ряды изб. Добротных, с каменными палатками перед дворами.

Харитина словно что-то искала. Она ехала, вглядываясь в каждую избу, посматривая на бедные окошки, на старух и стариков, пасших гусенят возле дворов.

Павлуша тоже заметил, что Харитина что-то внимательно разглядывает. Наконец дорогу им стала пересекать статная женщина с коромыслом, шедшая до журавля. Харитина остановила коня. Павлуша тоже пропустил женщину и заметил про себя, как она хороша собою.

Харитина сразу же догадалась, что это Яшина мать, по золотому отливу волос, видневшихся из-под хустки, и по чертам лица, и по городской одежде её. Вдруг Харитине стало не по себе, особенно когда женщина склонила голову, увидав её.

— Павлуша, поехали, до сумерек обогнём Лукаши да по большаку вернёмся, — сказала она расстроенно.

— Куда вы, туда и я, Харитина Осиповна.

Они перешли на галоп и по широкой улице понеслись к площади смотреть новую церковку.

В субботу уезжали князь и Павлуша. Харитина могла выдохнуть свободно, не убегать из дому под любым предлогом и ходить куда ей вздумается и когда захочется.

Поутру они договорились с Яшей встретиться дома. Чтобы он пришёл тихонько со стороны сада и зашёл к Харитине через окошко.

Как только Мина заложил возок и генерал засуетился, провожая князя и помогая привязывать багаж, Харитина коротко простилась с Павлушей, который подарил ей свой портрет, а её портрет взял себе на память.

— Надо было, наоборот, мой-то оставить, — раздосадованно сказала Харитина. — Зачем мне ваш?

Князь поцеловал её руку, обещая привезти как-нибудь Марфу Матвеевну.

Харитина махнула отцу, князю и Павлуше, постояла недолго у ворот и раззевалась.

— Спать уже охота… — сказала она Полинушке.

Полинушка закивала.

— Чтой-то я не привыкла так гостей принимать, барышня… ладно вы, родная наша, а тут услуживай ему весь день. Только чаю выдул на пять целковых. А уж кофею…

— Да не ворчите, Полинушка. Отец хотя бы развлёкся его обществом…

Харитина ушла к себе, ждать темноты и Яши.

До одиннадцати часов она не спала, прислушиваясь к каждому шороху. Наконец под окнами что-то зашуршало, стукнуло и заскрипело. Харитина дунула на свечку и в темноте раздвинула гардины.

— Яша… ты?

— А кого ты ждёшь?

— Тебя, любчик мой…

Харитина помогла Яше взобраться на подоконник и зажгла лампадку в углу.

Яша, стащив сапоги, мокрые от росы, босой и нервный, притянул к себе Харитину и обнял её.

— Ай, Харитина моя Осиповна, скажи кому, что задолго мы с тобою на постеле полежим…

— Что же, не в последний раз…

— Мабуть, и в последний… Когда ж ещё удастся? Скоро вам в школу, а мне и дальше батрачить. Бычков резать, коней валить… Богато вы живёте, барышня,— озираясь, сказал Яша.

— Что там…— удивлённо вздохнула Харитина.— Другие, что ли, хуже?

— Видали бы вы, как люди живут.

— А что люди? Все живут кто как может, Яша. Я такою родилась, ты другим.

— Лучше бы вы простой девкой родились.

— Чем это лучше?

Яша вздохнул, сел на постель и взял Харитину за обе руки.

— Не было бы тогда нам нужды ховаться. А то стыдно мне.

Харитина села к нему на колени. От Яши пахло табаком, кожей и по́том. Губы его было холодны, уши тоже.

— Замёрз, Яша?

— Не мёрз я, что ли?..

Харитина вдруг что-то вспомнила. Она вскочила с колен Яши и подбежала к комоду.

Сверху на комоде стоял ларчик. Харитине захотелось рассказать, что Стёпка её пристыдил шпильками и крючками, что негоже ему вмешиваться, попросить у Яши защиты. Но она не смогла.

— Яша, вот я взяла у отца одну вещь для тебя. Дарила я ему в тоем годе, особо заказывала. Но ему она не нужна. Смотри, покрылась цвелью цепочка.

Харитина дала Яше в руку маленький медальон со своим эмалевым портретом. Нажав на маленький круглый изумрудик в оправке из серебра сбоку медальона, издавался тихий треск, и овальная дверца открывалась, показывая портрет. Действительно, сверху драгоценный металл потемнел и почернел, но изображение внутри, написанное маслом, нисколько не испортилось. Смотрела из медальона Харитина Осиповна, как будто живая.

— Задарю тебе на память. Вдруг поеду надолго?.. Долго не увидимся.

Харитина задрожала, глаза её подёрнулись слезами. Яша надел на себя цепку и спрятал медальон на груди, под рубахой.

— Милая моя, ладушка моя, Харитина Осиповна, да разве я смогу тебя отпустить-то?— и Яша, стиснув Харитинину талию, потянул её на кровать, закиданную подушками.

Князь, пока генерал его провожал, все уши прожужжал Павлуше, чтоб он не упускал Харитину Осиповну.

— Вот тебе и невеста. Ничего, что старше тебя, это и хорошо. Марфа Матвеевна тоже меня старше, а ничего. Двадцать лет живём. А что? И вас поженим!

Генерал то краснел, то бледнел, то покрывался пятнами от смущения, слушая князя, но когда князь стал расписывать ум да красоту Харитины, не выдержал.

— Что вы, Валерий Николаевич, как продаёте её? Девица хороша, и то ясно. А остальное Павлуше решать.

— Да, мне решать, батюшка,— сказал Павлуша недовольно.

Проводились, однако, мирно, и князь поклялся, что до конца лета приедет с женою. Приглашал и он генерала, но тот, утомлённый, вяло простился с князем, предчувствуя уже, что скоро придёт тот день, когда нужно будет платить по долгам. А платить нечем.

Как говорят, человек от счастья теряется. Так и Яша потерялся. Возомнил он из себя. Почуял он другую почву под ногами. Посмотрел на себя, подумал, что в силе изменить кое-какой порядок жизни, да махнул через край, не удержавшись.

В Стёпке уже назрело столько горя, что он не мог спокойно смотреть на Яшу. Не спал он две ночи, похудел, потоньшел, как осенняя былка.

Мать с отцом решили, что снова ухватила Стёпку какая холера, но дело было куда страшнее. Вечерами Харитина уже не встречала Стёпку у ворот. Не смеялась ему. Всю её занимал Яша. А Стёпка словно умер. Не было больше радости встреч, не ходили они вместе.

Шушукались уже не только в селе, но и в Лукашах, что Яша какой не промах! Яша всегда не промах был.

Не было такой девки, которая бы не упала на Яшины золочёные русые кудри. Сколько их уже пострадало безвинно… Выбирал же Яша сироток, за которых некому было вступиться. Выбирал молодок незамужних, чтобы никто не мешал ему счастливиться с ними. Как такого Яшу наказать, как его приструнить?

Стёпка кто же против него? Как молодая осинка супротив дуба раскидистого, который впился корнями в почвы до самой подземельной воды.

Стёпка и ругал себя, что недоглядел позор Харитины Осиповны, и клял Яшу так и сяк, а ничего не мог поделать. Так и виделось ему, как голова в красной намитке льнёт к его, Яшиной, русой голове и свиваются руки вокруг его, Яшиной, шеи, коричневой от крепкого сельского загара.

Может, потому что Яша господский сынок, байстрюк, наполовину благородный? Потому и тянет к нему барышню?

Все мечты разом пропали. Рассыпалась вся Стёпкина жизнь.

Понравилось Яше ночевать у Харитины Осиповны. Впервые спал он в мягкой кровати, на чистом белье, а рядом любовалась его спящим лицом благородная барышня. Долго она любовалась, впустив сумеречный свет в полураскрытое окошко. Хотелось Харитине запомнить каждую черту лица Яши, безмятежно спавшего на расшитом батисте. Никогда, может, и не будет больше его слов, что он её никому не отдаст, что люба она ему, что уведёт он её у папеньки и будут они жить сами, тем, что руки наработают, и тем, что Бог пошлёт.

С трудом она отпустила его, а как обутрело, легла спать и забылась сладкими снами, словно они были в продолжение ночи.

Яша, позёвывая и потягиваясь, через сад пошёл в рощу, где был привязан Белоух. Мать навертела ему побольше сала и хлеба, потому что Яша сказал, что поедет надолго, с вечера. Мать не проведёшь, сразу догадалась, что едет Яша до зазнобы.

— Гляди, не то принесут мне в трёх подолах, и что ты делать будешь? — спросила она Яшу, провожая его накануне.

— Авось не принесут, — важничал Яша. — Дело мастера боится.

Мать сморгнула слезу и отпустила его. Так же, со слезами, но с лёгкими, с девичьими, как слепой дождь, проводила его и Харитина.

Яша занял коров, как всегда, поиграл хлыстом у усадебного дома, словно приветствуя барышню, и поехал на пастбище. Стёпка не отставал. Он был серьёзен и не проронил ни слова.

Под ивой развели костёр, наловили лягушек и с десяток нажарили, чтобы заправить кимлю и раколовки. Стёпка молчал. Когда солнце встало над лугом и оводняк начал донимать коров, Стёпка загнал их в Ровец и сам выкупался. Следом собрался и Яша, довольный, но бледный отчего-то.

— Эх, фофан ты, фофан, Стёпка… Не знаешь, чёрт, куда тебе бечь, — сказал Яша, стаскивая со смуглых плеч рубаху. — Я вот отхватил барышню. А ты что? Тумбу Маринку Самоедову, что в дверь не пролазит.

Стёпка отвернулся, чтобы не выдать своего гнева.

— Гляди, какую цацку она мне задарила, глянь только. А там она сама, её образчик. Понял, фофан? Чамар ты голоштанный.

И Яша помотал медальоном на цепке. Стёпка что-то промычал сквозь зубы и прыгнул в воду, чтобы охладиться.

Яша долго тёрся песком, чихал, сморкался. Он был счастлив, как молодой телок. Стёпка смотрел на него с презрением и не хотел вылезать из воды, пока не стал дрожать, замерзая.

Яша выкрутил порты, оделся и побрёл к иве, в тень.

Там он завалился на траву и, достав ломоть хлеба, посыпал его солью.

Стёпка пришёл следом. Ему не давал покоя медальон. Как же она так могла, не думая нисколько, подарить его?

— Теперя всё. Моя она, — сказал Яша, жуя хлеб. — Захочу, хоть на цепочке буду водить её. А цепочка-то уже есть. Разве кто теперь скажет, что она сама на меня не кинулась? Ещё как кинулась. Да, бабьё — оно всё такое, такова порода у них. Поманишь, оно и лезет. Она из тех.

Стёпка смерил взглядом Яшу.

— Не из тех она, — сказал он тихо.

— Из тех, из тех, кто за мужиком в огонь и в воду. Ты не знаешь ещё. А как разнюхаешь их, так сам поймёшь. Я вот думаю, не надо уже так её себе сажать на шею. Обнаглеет, станет цепляться. Любчик, любчик… а я что? И не отпряну, а терпеть придётся.

Стёпка порылся в суме и достал четверть бражки.

— Сегодня Архип придёт, к полдню, а мне надо будет к отцу сгонять. Просила Харитина Осиповна подковать Ледка, а то она часто стала по большаку ездить. Отдай ему бражку. А то он меня не заменит больше.

Яша оживился. Глаза его загорелись.

— Добро. Я посплю, а ты там смотри за стадом.

Доев хлеб с салом, Яша уснул. Стёпка уже понял, что его мысль верна, и, дождавшись, пока придёт Архип, спокойно уехал к отцу.

Пробыв в кузнице около двух часов, Стёпка думал вернуться к закату. Вернувшись, обнаружил Яшу спящим и отпустил Архипа.

— А что он опять спит? — спросил Стёпка Архипа.

— Да бражки наелся по жаре. Я не пил, я ж уже годов семь не пью, в бочине тянет от вина.

Стёпка улыбнулся.

— Ну пущай спит.

Архип надвинул свой валеный колпак по самые брови, поликовался со Стёпкой, как с родным сыном, и побрёл в усадьбу.

Никому не нравился Яша. Что дальше-то? Спит пьяный. Вот этот рот, открытый, из которого вылетает зловонный дух бражки, целовал его барышню. А ну как она приедет? Сейчас? Стёпка огляделся. Архип ушёл далеко. Стёпка подозвал сбатованного Белоуха. Тот, подпрыгивая, пошёл на зов, радостный и беспокойный от жалящих его бзыков.

Стёпка взял свою пугу в руку, сжал её и снова оглянулся.

— Прости меня, Господи… — сказал он. — Прости, Господи да пресвятая Царица Небесная.

Он накинул волосяной конец пуги на шею спящего Яши и покрепче завязал. Распутав Белоуха, Стёпка запрыгнул на него, обкрутив длинную гибкую рукоять вокруг конской шеи. Со всей силы вдарил Белоуха пятками в бока. Тот на радостях прыгнул галопом и рванул к реке. Он уже знал, что его в это время купают. Потащился и спящий Яша

с петлёй на шее следом за плывущим Белоухом, на самую глубину Ровца.

Оказавшись в воде, в самом глубоком месте, Стёпка отвязал пугу и пустил её на дно, вместе с Яшей, от которого на поверхность поднимались мелкие пузырьки, и один, последний, самый крупный, до ужаса напугал Стёпку, и тот скорее поплыл к берегу. Он боялся окрика, боялся оглянуться и выскочил на берег раньше коня, который, сделав круг над глубиной, поплыл следом за хозяином.

Преданный был конь Белоух, Стёпка его сам объезжал.

Прошло три дня. Одному Стёпке было трудно пасти, и дали ему в помощь Архипа Никандрыча. Со стариком они хорошо ладили и решили от Ровца перегнать стадо на лукашовские поймы. Харитина из дому не выходила, никого ни о чём не спрашивала. Что Яша… ушёл куда-то, а куда? Только после того, как пришла его мать из Лукашей и спрашивала, нет ли его где в селе, Харитина поняла, что не ушёл Яша, а пропал, и впала в такую жестокую тоску, что генералу пришлось везти её в город, в больницу.

После отъезда Харитины слёг генерал с сердцем и долго лежал, а после стали его донимать падучие припадки. Отослал он в столицу Полинушку с деньгами для Харитины, которая писала ему жалостные письма.

Приехала Полинушка весною, и летом на порог Стёпкиного дома подбросили ребёнка. Ребёнок оказался женского полу, и в записке, вложенной в пелёнки, значилось, чтобы назвали девочку Надеждой.

Маринка, Стёпкина жена, ещё не родила и даже не собиралась, потому и пришлось взять козу у соседей, чтобы выпаивать сиротку.

Один только Стёпка догадался, что за дитя подкинули и почему ему, а не кому другому.

Генерал вскоре умер. Харитина Осиповна приехала только на один день, чтобы похоронить отца и забрать материнский ларчик.

Пров Игнатьич и Полинушка остались на хозяйстве. Завещания нигде не нашли, и поэтому, когда приехал князь с расписками, сразу послали за стражником, а после за урядником.

От отцовской могилы сразу уехала Харитина в столицу и бесследно исчезла.

Пров Игнатьич и Полинушка так и остались жить в усадьбе, покуда туда не приехали Павлуша с отцом, и сразу стали они перестраивать дом.

Пришлось вскоре Павлуше, недолго пробыв во Внезапном, отправиться на фронт.

Стёпка вернулся с войны с двумя «Георгиями» и тут же уехал в Петербург. Отгремела уже и Гражданская, как явился он в село народным комиссаром и стал кроваво заводить во Внезапном новые порядки.

Как-то раз поймали четырёхпудового сома и приволокли в совдеп, где председательствовал Степан Варфоломеевич Кулишкин.

— Где поймали? — спросил он, приглаживая редеющие волосы рукой и выходя к ребятам, которые вчетвером тащили сома за постромку.

— На Ровце. Чуть лодку не перевернул, — ответили ему.

— Никак там у него телок в пузе, — сказал Степан.

Взрезали пузо в тенёчке за зданием совдепа, стали сдирать чешую да рубить тушу на куски.

Степан уже ушёл по своим делам, как к нему прибежали ребята и принесли что-то блестящее на листе лопуха.

— Чего это? Цепка какая-то!

Степан поглядел, поглядел и узнал медальон Харитины Осиповны. Бросило его в пот. Молча взял он лопушиный лист и пошёл в кабинет.

— Надо же… бывают же проглоты! — удивлялись ребята-рыбаки. — В мусей бы надо! Это сколько ж он лет лежал на дне? Ещё при Николашке лежал! Всего Николашку вылежал!

Степан вышел из совдепа к рыбакам.

— Не понесём в мусей. Это Надюшке отдам. Там девица какая-то нарисована, больно на неё похожая…

И, выкурив самокрутку на порожке, пошёл обратно работать.

Елена Костандис

Время четвёртой стражи

Мысли о Петербурге

Будет небо вымазано охрою,
Будет спать свинцовая вода.
Солнце вновь поднимется за Охтою,
Чтоб не закатиться никогда.

Будут сосны, камень, запах Балтики,
Плесень, позолота—всё равно.
Будет вечер. К чаю будут яблоки,
К рыбе будет белое вино.

Там, чтоб больше лишних слов не тратили,
Чтоб разбились годы о причал,
Образок Казанской Божьей Матери
Подарила мне моя печаль.

• • •

Ночь уходит на запад—
Время четвёртой стражи;
Время кратких снов
Стремится к концу. Нельзя же
Расплатиться за кров
Расплющенными медяками,
Преломляя хлеб
Забывшими боль руками.

Воплощай в стихе
То, что свято, забыто, скрыто;
Не сдавайся тем,
Кто кормит нас из корыта,
Словно скот,—огрызками слов
Лукавых и лицемерных,
Погребая зёрна между
Волчцов и терний.

Брат! Я знаю:
Нагими мы шли по жизни,
Не успев ни к брачному пиру,
Ни к тризне;
Не нажив мошны,
Дары сохранив иные,
Но не глупой Эрато—
Суровой Полигимнии;
Обуздав свой век
На самом его излёте.

И сгоревший в танке—
Не будет убит в пехоте.

• • •

Уйти туда, где неразрывен Бог
С твоей душой; туда, где до рассвета
Не гасят свет; туда, где на порог
Беда не сыплет снег; и если где-то
Лепечет дождь—то тёплый и грибной;
Где вдоволь мёда, винограда, хлеба;
Где сон протянется Орфеевой струной,—
Уйти туда, где ты ни разу не был.

Уйти туда—отсюда, где опять
Не помнят клятв и не прощают боли;
Уйти туда, а попросту—сбежать,
Как в поисках покоя или воли.
От волчьих ям, от лисьего «прости»,
От мёртвых снов, от квадратуры круга,
Уйти—сбежать… И всё-таки уйти;
Забыть себя. И что важней—друг друга.

Уйти, уйти туда, где колыбель
Качается на ветке вздохом ивы;
Где в тихий полдень в синюю свирель
Гудит сверчок; где все пока что живы
И молоды; где нежный хоровод
Из клевера, мелиссы, маргариток;
Где сумерки приветствуют восход.

Куда тебе—навек—пути закрыты.

Сочельник

Уже за полдень. Этот свет,
Входящий в дом по крестовине
Окна,—из дюжины примет,
Нам говорящих, что доныне
Ни от сумы, ни от тюрьмы
Не отреклись благоговейно;
Что станет идеал зимы
Пейзажем Харменса ван Рейна,
Тяжёлой нежностью в очах
Запечатлённого мгновенья—
Когда не угасал очаг
(Скрипит игла, трещат поленья);
Что, притормаживая бег,
Мы ощущаем вечность целью;
Что будет Бог. И будет снег
Младенцу первой колыбелью.

● ● ●

Такое удачное лето:
Хоть плакать, хоть печь пироги,
Пионы срезать для букетов,
Кутить, не считая долги;

Казаться надменным и дерзким,
Играть, не рисуясь ничуть;
Неспешно пройти Камергерским,
На Дмитровку чинно свернуть.

Здесь ночи светлы и невинны,
Здесь вечны средь мраморных глыб
Что белая прихоть жасмина,
Что мёд отцветающих лип.

А там—полыхают рассветы
Зарёй окровавленных ран,
Такое тяжёлое лето
Предрёк нам седой шарлатан,

Там степь выжигает пожаром,
Там встретятся плоть и свинец—
Недаром, недаром, недаром
Пророчат России конец…

Такое прекрасное лето.
Из рук упадёт на диван
Листок заграничной газеты:
«В Сараеве… Франц-Фердинанд».

● ● ●

Когда ты уезжаешь,
Город становится нем;
Невнимателен к памяти
Прожитых нами дней.
Расстоянием неба—
Лишь изредка, лишь во сне—
Прикоснуться к душе твоей
Или руке твоей…

Если ты замолкаешь,
Дом становится пуст,
Чист и выметен, как для поминок,
Для бремени вещих снов
Шелест крыльев над крышей
Или же холод уст—
Сотвори им память,
Пролистывая часослов.

Обернись, прошу!
Не уходи в никуда
От страны полночной,
Где нет надежды вздохнуть.
Этой ночью с неба,
Наверно, падёт вода,
Чтобы смыть следы
И торный открыть нам путь.

● ● ●

Ах, не въехать уже ни рысью, ни шагом, ни цугом;
Не смахнуть пылинку с любимых дорогой сандалий.
День прощается с ночью, и, словно дожди, друг за другом,
Настигают письма, которых больше не ждали.

День прощается с ночью, а сумерки вносят запах
Одинокой лепёшки с маслинами—весь твой ужин.
Кот свернётся клубком, затаив ожиданье в лапах.
Часослов прочитан, закрыт, когда ещё будет нужен…

Или камень до звона выбелен долгим летом?
(В поднебесье ангел персты воздевает, плача.)
Или память всё глуше—и колет в предсердье где-то
На чужом языке?.. Как всё это мало значит!

Нет, не въехать уже, не поспеть ни к похмелью, ни к пиру.
И в толпе не стоять ни Мессией, ни стражем, ни вором.
Ночь приходит с востока и льёт свою благость, как миро,
На любимый тобой—ненавидимый Понтием—город.

Август

Нынче ночи тяжелы и бездонны.
Ворон каркнет—и умолкнет, как совесть.
Дочитать бы хоть сейчас, если вспомним,
Эту повесть, эту горькую повесть.

Чем расплачивалась? Строчкой крест-накрест?
Хрипом в горле? Адресами любимых?
(Это август, дорогой, это август—
В нём тоска и сердце неразделимы.)

Заголовками в забытой газете,
Воплотившейся сквозь годы угрозой…
Это ветер, жизнь моя, это ветер.
Он и должен будет высушить слёзы.

● ● ●

Убежать бы с тобою на край земли,
Перепутав закаты, рассветы, дни,
Не смотреть на часы. Только там, вдали,
За рекою—опять загорались огни.

И кровавый стелется след по траве,
И заря догорает, пророча смерть.
Пуль в обойме—видишь?—осталось две:
По одной на каждого, лишь успеть.

Что гадалка врала о войне, о любви?
Воротился ветер—и всё сбылось.
Письмецо в конверте—постой, не рви.
Недописано, видишь: то вкривь, то вкось…

Убежать бы вместе в тот край тишины,
Где звезда над крышей, где моря синь,
Где забытые наши детские сны.
Только мы не сможем.
Аминь.

Алёна Бабанская

Рыбный четверг

• • •

Человеческая метрика проста:
Это рыба без чешуек и хвоста.
Вот таким он уродился на болоте.
Посмотри, как быстро ручками колотит!
Как полжизни он барахтается в тине—
Тот жирнее, тот немножечко спортивней.
Тот плывёт совсем уверенно! Потом
Всё равно всплывает кверху животом.

• • •

Волна, свинцовая, ночная,
Покоя ни на миг не знает.
На пристань дышит тяжело.
Ей сунешь под ребро весло—
Завязнет пёрышко стальное.
И остальное.
Дорожки тянут фонари.
Фигура чёрная, замри!
На острие тоски и фальши,
Не важно, чем ты станешь дальше.

Леер

Человек живёт как умеет.
Рыба плывёт где хочет.
Обернусь я бумажным змеем,
Полечу голубиной почтой.
На хвосте моём ленты алы,
И бамбуковый крест на пузе.
Я бы выше ещё взлетала,
Только леер меня не пустит.

• • •

Не ловится рыба.
И даже шевелится слабо.
Ловил бы кто-либо,
Да только не папа, не папа!
А он не внимает:
Взлетает податливый спиннинг.
И Лета немая.
И цвет удивительно синий.

• • •

И билась она, выгибаясь натужно,
И гасла, и цвет потеряла жемчужный.
А все причитали: скорей.
А все трепетали: форель!
И, даже кровя развороченным брюхом,
Она улыбалась от уха до уха,
Поскольку Господь не отверг
И на небе—рыбный четверг.

• • •

Шёлк облаков прожжён насквозь—
Солнечная дыра.
Ах, поматрось меня да брось.
Или уже вчера?
Лезет материя вкривь и вкось:
Вечный за ней покой.
Вместе не лучше, чем поврозь.
Разницы никакой.

• • •

Она в темноте находит его ладонь,
Переплетает пальцы:
Будто идёт за водой
И улыбается.
Он придвигается плотней,
Спокойно и ровно дышит.
Всё видит в глубоком сне
Одну из бывших.

• • •

Ценный воздух уворовав,
Ходят рыбы на головах.
Не плывут, а идут пешком,
Машут огненным гребешком.
Я ведь тоже—одна их них,
Перепутавших верх и низ.
В самой толще речной воды.
Не берут меня неводы.

Дарья Стаханова

Моя смель

Не смог

И потому что надо до снега встретиться, помолчать, проститься,
Посмеяться друг другу в опустошённые злые лица,
Поколоться хребтами, поупираться лбами, померяться ширью ран.
Я с тобой был собой, а теперь—обогащённый взрывной уран.

Я с тобой был глуп, аккуратен, приметлив и терпелив.
Я тебе нужен был на час, как дурак-калиф.
А теперь посмотри: у меня между язв проступает вязь,
Я лежу на земле в крови, даже не дерясь.

Посмотри, как меня не щадило лето, застав врасплох.
Я был твой любимый малыш-нарцисс, стал—чертополох.
А ты снишься мне ночью такая же точно, как в феврале,—
С этим взглядом впритык, от которого дрожь, будто ты желе.

Ты была благозвучней песен, наполненней всяких притч.
Ты ложилась в меня, словно каменщик клал кирпич.
А теперь в этой кладке дыры чернее самых глубоких шахт.
Где-то там, где, согласно легендам, живёт душа.

Я распорот по шву, словно заяц, и лезет вата.
Я тупой или острый угол внутри квадрата.
Я был к месту всегда, а теперь стал не вовремя, недосуг.
Я сухой и трухлявый спиленный мёртвый сук.

И потому что нам надо было встретиться и проститься.
Выпить наспех кофе. Тебе с молоком, корицей?
Я бы справился, сдюжил, выжил и пережил
Разлуку, затянутую бечёвкой из моих первоклассных жил.

Только ты порешила оставить сохнуть меня, как мох.
Кстати, если читаешь это, то я не смог.

Сага

И говорит со мной старый, седой, угловатый камень:
«Твоя Луна в Рыбах, Меркурий в Раке.
И голова в облаках, а сердце во мраке.
И, смотрю, все вокруг выглядят дураками.

А на заднем твоём дворе беспросветный вечер танцует сальсу,
И под ночь приплывают альвы с бутылкой хмеля.
Ты их кормишь щедро и мягко стелешь,
А они тебя просят: пусти до рассвета—сжалься.

И в рассвет обращаются в узкие, тесные гроты,
Бесконечной твоей печали немые своды.
Ты такой одинокий, убогий пастырь своей природы.
Кроме жизни, внутри у тебя ни одной заботы.

И дракон черноокий кружи́т над твоей черепицей,
И размах его крыльев приносит в Канзас торнадо.
У него меж людей ни отдушины, ни отрады,
Окромя тебя — безголосой, бескрылой птицы.

И сидит твой дракон на холме, непокорный своей кручине,
На твой дом неотрывно глядя — подёргивается спина.
И вдруг видит в твоём окне черновласого кабана
В медно-жёлтом свете погнутой твоей лучины.

На черничной поляне дракон кабана нагоняет.
Дело спорится скоро, и сговор предельно хорош.
В ожиданье гостей ты, как водится, дверь не запрёшь.
И кабан не запрёт её тоже, условия все исполняя.

В эту ночь упадут все деревья — земля станет ровной.
И нарушится ход колеса. И попрётся небесный закон.
Твоё сердце сожрёт черноокий коварный дракон,
А кабан пропитается весь твоей тёплой отравленной кровью.

Память

Просто здесь ничего не меняется, кроме названий и интерьера,—
Да и мы всё те же, сменились только тела.
Те же начальники НКВД, те же беспочвенные дела.
И Москва в тех же кольцах, древесных кольцах Гомера.
Каждое начинание кончается высшей мерой.

Это мы. Это нас кормили прогорклой кашей без молока.
Это мы вырастали врагами народа из октябрят.
Это с нас вы сдирали спесь, как кожу ножом с телят.
Это за нами всё время смотрят с той стороны замка:
Сначала соседи сквозь скважину, после — каратели у глазка.

Это в нас обратилась Цветаева за петлёй,
В нас перешёл Гумилёв где-то после четвёртой пули.
Это нас зачинали в Краслаге при карауле.
В нашу землю не вставить лопаты — артерии под землёй,
И не нефть, а кровавая жижа идёт струёй.

Это мы научились спать стоя, как скот в загоне.
И у нас не мимические морщины — история на лице.
И теперь в выходные мы ходим с семьёй в ТЦ,
Обыкновенный районный ТЦ
На расстрельном Бутовском полигоне.
И мы так спокойны, будто за нами и нет никакой погони.

Это нас посвятили в смотрителей пустоты,
Обязали вариться здесь вечности напролёт.
Верные узники прошлого, которое не пройдёт,
Полные кавалеры ордена Слепоты,
Каждую ночь оживающие кресты.
С безымянных братских могил обугленные кресты.

Моя смель

Ну посмей, моя смель, утянуть корабли на мель,
Обглодать до костей пустые морячьи тела.
Ты — скала, моя смель. Колючая сплошь скала,
Ибо некому стряпать снедь и стелить постель.

Над Москвой громоздятся тучи. И воздух сер,
Так что нечему проводить тут звуки и отблеск фар.
Будто что-то бормочет под нос себе лунный мольфар.
И бликует луна по его серпу и его косе.

Моя смель, мой махровый сгусток верховных сил,
Говори по делу. Иному не прорасти.
Только ты всё сжимаешь нервы свои в горсти:
«Посмотри: прояснилось. А ночью как моросил…»

И смеёшься, меж губ выпуская пар.
Штукатурка исходится на кракелюр.
И обои сжимаются в мелкий рубчик, такой велюр.
Ты кошмар, моя смель, круглосуточный мой кошмар.

Магазин за углом — как маяк для ночных бродяг,
Полигон для крестовых моих походов.
Моя смель, если что-то решишь менять — начинай с погоды.
Только небо предвосхищает: и смог, и сляк.

Моя смель, ну посмей, наконец, изжить меня из гостей,
Что приходят на редкость сердитыми и больными.
Ничего на земле мне не любо так же, как твоё имя,
Потому и его избегаю пуще, чем злых вестей.

Потому и тебя изгоняю. Утрами орёт петух
Из соседней квартиры, где спят в свитерах и джинсах.
Ну давай досмотрим друг в друга, докурим и разбежимся.
А пока помолчи со мной рядом. Табак-то ещё не потух.

Конец света

В наших угодьях всю ночь полыхали степи, и сумрак пал
Вперемешку с пеплом на эти пустые земли.
Ничего не осталось целым, помимо колючих скал,
Чей суровый вид для местности неотъемлем.

Мне пришлось разогнать табун, распустить свиней,
Оцепить поместье широкой полоской тины.
Приготовить себе отбивную и вместе с ней
Сесть и ждать пожар посреди гостиной.

Мне пришлось отбивать цыплят от орлов и лис,
Отгонять от дома крестьян, что пришли с разбоем.
Только солнце смеялось чуть слышно из-за кулис
Оттого, что случилось разом у нас с тобою.

В общем, в наших угодьях разор, беспредел и мрак.
Наш локальный Армагеддон, показательный конец света.
И я даже справляюсь. Но вот не пойму никак:
Почему ты не хочешь прийти и хотя бы взглянуть на это?

Дарья Верясова

Зверь человечий

* * *

Лотте Гесс

А в Питере дворы и переулки,
скрипят изголодавшиеся утки,
и сумерки городят огород
под фонарями. Женщина поёт,
и белым дымом оседают звуки

на эрмитажи и многоэтажи.
«Стояла между нами, как на страже,
слоистая и твёрдая вода».—
«Да, любимая, да!»

Я помню эту женщину земную,
звериную, звенящую, незлую,
застольную беседу о простом.
Спасёмся ли молитвой и постом,
как журавли на севере зимуют?

Что хлеба запах, что сегодня вторник,
что первый том пропал, а был двухтомник.
«Предчувствиям не верю, и примет…»—
«Нет, любимая, нет!»

А в Питере дорога стелет мелом
и музыкой. Не достигая тела,
проходит жизнь. И кажется, вот-вот
наступит сон, и женщина поёт,
как никогда до этого не пела.

* * *

Вот не станет тебе меня,
Переулочная семья,
И Москва моя золотая
Живо дырочку залатает.

Приголубит других за то, что
Прорастут, приберут, затопчут.
Север западный, юг восточный.

Ни заплаты по мне, ни штопки,
Просто так позабыли чтобы.

* * *

Бессмысленно и незаслуженно,
Но хорошо
Всё то, что на земле разбуженной
Произошло.

Рябит вода в осоке утренней.
Где дно темней,
Там рыба бьётся перламутрово
Среди камней.

Поют и лают твари парные.
С ягнёнком—лев.
Нет у земли могильной памяти,
Но зреет хлеб.

А яблоко, гнилое, позднее,
Пускает сок.
И больше ничего не создано,
И вышел срок.

* * *

Погляди повнимательней,
Зверь человечий:
Это горе не вечно,
Как город не вечен.

Всё, что в небо росло,
Голосило и пело,—
Старых зданий на слом
Обречённое тело.

Эта мука осенняя
Длится и длится,
И желтеют, как листья,
Оконные лица.

Окна знают, по ком
Загораются свечи
На земле упокоенной,
Зверь человечий!

* * *

Просыпается город заиндевевший,
И я, не последний в нём человек,
Собираю в рюкзак какие-то вещи—
Впрочем, может, они пригодятся в дальнейшем,—
А над городом снег, снег, снег…

Через полчаса отходит последний скорый
В тёплую южную сторону Абакана.
Этот город подарил мне столько любви и скорби,
Жажды столько же, сколько опустошённых гранёных стаканов.

А за окном поплывут такие чужие пейзажи,
Что мне до рези в пальцах захочется остановить поезд.
Только на этой железной дороге до сих пор не выдумали стоп-кранов, и даже
Пить и буянить—без пользы…

И кто-то много позже поймёт с непреодолимой чёткостью,
Что догнать меня уже не представляется возможным.
Как жаль, что через полчаса мой плацкарт не уйдёт порожним,
Соседей жаль, проводников, ну и ещё чо-то там.

А поезд почти равнодушно протарахтит по рельсам,
Потом достигнет дальнего перевала…
И через пару минут кто-то перестанет даже надеяться
На то, что я когда-то реально существовала.

Анатолий Янжула

И жили они долго и счастливо…[1]

Андрей ехал в «дальний огород». Так в семье звали дачный участок в сорока километрах от города, если, конечно, можно назвать дачным участком кусок поля с редкими деревцами. Много лет картошку сажали где попадя, и часто это превращалось в пустые хлопоты. И вот, когда появилась возможность взять участок, то, особо не раздумывая, взяли. Строить дачу, как это делают все новоявленные владельцы четырёх соток земли, не стали. Сыновья учились, не до этого было, а у Андрея Николаевича, после детства в деревне, тоже особого желания сливаться с природой не проявилось. Просто распахивали под плуг по весне и сажали картошку и другие долгорастущие овощи. Без машины там, конечно, делать было нечего, как-никак сорок километров, и на дорогу уходило около часа. На участке, кроме туалета и ящика под лопаты, строений не было. Сегодня поливочный день, всю неделю стояла дикая жара, и ехать надо, край как необходимо. По этому поводу и случился сегодняшний взрыв. Евгения вдруг заявила, что идея повесить ей на шею полгектара земли пришла в голову Андрею только для того, чтобы лишний раз продемонстрировать, что место женщины на кухне и в гряде, что женщина — курица, которая должна по зёрнышку пополнять запасы продуктов в доме. Недоуменное по поводу «полгектара» и возражения Андрея ещё больше подстегнули её, и она пошла вразнос. Истерика, слёзы…

После рождения второго сына Евгения из весёлой и жизнерадостной женщины как-то незаметно, но достаточно быстро превратилась в истеричку. Обыкновенную истеричку, со всеми присущими в таких случаях атрибутами. Психиатр сказал, что это возможная патологическая реакция организма на послеродовую гормональную перестройку. В основном женщины после родов становятся мягче, женственнее, но бывает и наоборот. Наоборот и случилось. Со временем всё вроде утряслось, Андрей всячески оберегал Женю от стрессов и лишних забот. Младший, Мишка, практически вырос на его руках. Назаров как раз писал диссертацию, почти постоянно было дома, вставал по ночам, когда он плакал, купал его. Молоко у Жени пропало почти сразу после родов, и Мишка вырос от молочной кухни. К нервным срывам Евгении Андрей приспособился, переходя при вспышках в глухую защиту, и это в некоторой степени спасало. То, что произошло сегодня, уже вышло за рамки привычного.

Воткнув в щель магнитолы диск с любимой Уитни Хьюстон, Назаров вздохнул и придавил педаль акселератора до полика. Всё! Состояние умиротворения закончено. Прошло уже полчаса драгоценного поливного времени, а поливальщик ещё в дороге. Время подачи воды на участки было расписано как в Центре управления полётами — с точностью до минуты. Участков много, а с водой, как и со всем, что надо людям, чтобы жить в нашей любимой Родине, напряжёнка. Садовые активисты, а это в основном пенсионеры, не успевшие реализоваться на службе, распределили время подачи так, что участки, где кучковались начальники, даже такие мелкие, как Андрей, зачастую оставались вообще без воды. Малая такая месть бывшим их отцам-командирам.

Андрей, развернув шланг, метался между грядок, пытаясь объять необъятное. Вода, в судорогах подёргав шланг минут двадцать, последний раз фыркнула-хрюкнула, и шланг вяло опал. Несмотря на ассоциативность ситуации, чувства удовлетворения у Андрея не появилось, так как остались не политыми две грядки и грязные по колено ноги. Плюнув от досады и бросив шланг на землю, Андрей взглянул в сторону соседа. Лёша тоже стоял в позе недоумения.

— Лёш, наших ещё минут десять должно быть.

— Как видишь… Финита ля комедиа. Звиздец, по-русски. Борьба за жизнь под солнцем принимает угрожающие формы.

Лёша подтолкнул вверх грязным пальцем вечно спадающие очки и покорно пошёл на другой конец участка. Андрей так и не удосужился завести на участке хоть какую, даже небольшую, ёмкость, даже просто пару бочек. Он на этом уже не раз попадался, а дураку всё урок не впрок. Оглядев себя и вспомнив общественность, распределяющую воду, словами непечатной формы, Андрей стал сматывать шланг. Грязный, весь в комьях земли, шланг для чистюли Назарова был ещё более

1. Начало. Окончание в №2/2019.

противен, чем немытые ноги. Пока укладывал его в ящик, измазался ещё больше. У соседа через дорогу можно было ополоснуться, бак стоял куркульский, кубов на пять, но пока шла поливка, Андрей слышал, как его визгливая жена орала, что у бака устроили болото. И орала явно в сторону соседа, тихого Коли Голованского.

«Ну её к чёрту. До озера так доеду, а там капитально помоюсь». Не надевая брюк и не обуваясь, Андрей отёр руки о траву и сел в машину.

Подъезжая к выезду на тракт, Андрей увидел на обочине одиноко стоящую девушку. Краем глаза он засёк, что она вяло махнула рукой и отвернулась. «Можно взять... Вид у меня... Да ну её... Нет, надо взять, чья-то же дочка». Пока боролся с собой, проехал метров пятьдесят. Резко затормозив, включил заднюю скорость. Машина, повыв коробкой, вильнула к обочине и остановилась напротив девушки. Девица, наклонившись к открытому окну и увидев сидящего без штанов Андрея, на секунду замешкалась, но всё-таки спросила:

— До города возьмёте?

— С одним условием.

— Каким?—в глазах плеснулся испуг.

— По дороге на двадцать минут завернуть на озеро. На участке внезапно закрыли воду, и вот... Сами видите.

— Не знаю...

Девушка выпрямилась и оглянулась на трассу в надежде остановить кого поприличней. По крайней мере, хотя бы в штанах. Андрей, глянув в зеркало, увидел пустынную трассу. В это время путные дачники ещё домой не едут. Андрей включил скорость и чуть тронул машину. Нет так нет.

— Постойте. Я согласна, если недолго.

— Недолго. Я только ополоснусь. Чтобы вас не смущать, сумку поставьте впереди, а сами на заднее садитесь.

Минут десять ехали молча.

Андрей краем глаза в зеркало посматривал на попутчицу. «Да пожалуй, и не девушка. Скорее молодая женщина... Лет двадцать пять—двадцать восемь». Попутчица смотрела в окно, думая о своём.

— Продукты от мамы?

— Да,—попутчица, очнувшись от своих мыслей, поправила причёску. Зевнув, прикрыла ладошкой рот и сказала, словно оправдываясь:—Косили уже вчера. Допоздна.

— Да, в этом году трава рано поднялась. Я тоже, пока институт закончил, много таких сумок перетаскал.

— Помогло в учёбе?

— Ещё как.

Андрей замолчал, и ещё минут пятнадцать ехали молча. Попутчица разговор поддерживала вяло, а навязываться не хотелось.

— А что, у вас уже нет родителей в деревне?

— Умерли. Я уже и сам старенький.

— Ну... не так чтобы уж очень,—попутчица, коротко взглянув в зеркало заднего вида и столкнувшись взглядом с Андреем, хмыкнула.—Какой же вы старенький? Старенький—это который с тросточкой у подъезда сидит. А вы... мужчина средних лет. Так, кажется, говорят в подобных случаях?

— Так говорят в подобных случаях, чтобы не обидеть. Вас как зовут?

— Наташа.

— А я—Андрей...—помолчал секунду.—Николаевич.

— Очень приятно, Андрей Николаевич.

— Вы учительница?

— Не-а. Не угадали, Андрей Николаевич.

— Да ну? У вас же на лбу написан факультет русского языка и литературы.

— Не-а. Плохой вы физиономист, Андрей Николаевич. Я—следователь.

— Ни фига себе,—Андрей присвистнул.—Как это вы умудрились из деревенской школы на юрфак втиснуться?

— А как вы на информатику?

— Да как... Знакомство хорошее было, вот и втиснули.

— А у меня знакомства не было. Просто школу с золотой медалью закончила.

— А... Ну, тогда молчу. Куда нам... И следователь вы, конечно, по особо важным делам. Важняк!

— Да. На данный момент в производстве дело по факту кражи бутылки водки из ларька и избиение женой мужа при помощи поварёшки методом по голове.

— Да... Не спорю, дела особой важности. Особенно этот, «методом по голове».

— А что? Голову пробила, могут и посадить.

— У нас уже прибывших с явкой с повинной и признавшихся киллеров не сажают, а вы...

— Вот злодей пришёл с явкой, а орудия злодейства нет—и вина его порой недоказательна. А тут всё в порядке. Вещдок у меня в сейфе. Как была в борще, так и лежит с прилипшей капустой. И ведь посадят глупую тётку, если у мужика с головой какой непорядок будет.

— Чего вы туда пошли? Марининой начитались?

— А куда?—усмехнулась.—После юрфака дорог много... Только в адвокатских конторах на десять лет все места забиты, а в серьёзную фирму юристов только со стажем берут. Остаётся одна дорога—в райотдел. От слова «рай».

— Слушайте...—Андрей повернулся, посмотрел на спутницу внимательно.—Как специалист скажите: в «Ментах» всё взаправду показывали?

— Более чем наполовину. Есть, конечно, фишки, но в основном... близко к истине.

— И так же часто пьют?

— Мужчины — да. Единственный способ остаться нормальным человеком.
— Не понял!
— А чего тут непонятного? Представьте себе, что человек бóльшую часть своей жизни видит эту жизнь с изнанки. То, о чём вот вы, — она на секунду задумалась, — стараетесь не думать. Или быстро забыть. Вы часто трупы видите?
— Да Бог миловал.
— Ну, если и видите, то, конечно, морщитесь и стараетесь быстрей забыть. А они видят их чуть не каждый день. Искалеченные трупы, пьянь всякая, наркоманы, ранее осуждённые, заключённые из СИЗО. Кстати, а что такое СИЗО?
— Следственный изолятор. Это где до суда сидят.
— Правильно. И, замечу вам, сидят годами. По сорок человек в камере. Вот приводят подследственного на допрос, и он смотрит на вас зверем. Вы для него сгусток зла, и он платит вам тем же. Так вот, чтобы не тащить всё это с собой в дом, они и расслабляются.
— А вы?
— А я ещё не научилась. Когда судили моего первого подследственного, он попросил меня, чтобы я пришла на суд. И я, дура, попёрлась.
— И проплакала всю ночь.
— А вы откуда знаете?
— Я знаю древнюю как мир истину о медиках, которые не должны умирать вместе с каждым пациентом.
— Истина банальная, согласна. Кстати медики тоже прилично расслабляются…
— …Тем более что расслабуха всегда под руками. На суды вы больше не ходите?
— Только если судья требует.
— А за что того, первого, посадили?
— За распространение наркотиков. Осудили по максимуму.
— В Китае их расстреливают прямо на площади. Вы вот о нём плакали, не думая о тех, кого он на иглу посадил.
— Не надо. Не так всё просто. И о тех я думала, — девушка вздохнула, замолчала, долго глядела в окно. — Давайте закроем эту душещипательную тему. Вы-то чем занимаетесь?
— Я — программист. Работал завсектором АСУ одного завода, пока он не почил, так сказать, в Бозе. Успел даже кандидатскую состряпать, но уже практически на вылете. Сейчас в шарашке, делаем программы под заказ. На сухую корочку зарабатываю.
— Ещё и на машину остаётся.
— Да нет. Она уже старушка. Просто я её очень люблю, хорошо за ней ухаживаю, вот она и смотрится как новая.
— Как можно любить железяку?
— Слова женщины. Вы не задумывались, почему моряки плачут о затонувшем корабле? Более или менее сложный механизм, будь то автомобиль, корабль или самолёт, так же одухотворён, как и человек. Он имеет свою, железную, душу. Вы не смейтесь, я это точно знаю.
— Ерунда. Железяка и есть железяка. Тем более изготовленная на конвейере. В механизм штучной работы я бы ещё поверила, а штампованные…
— Можете не верить, но я в этом уверен абсолютно. Вот моя ласточка не хочет выезжать из гаража в слякоть. Глохнет, не тянет, дрожит. Все водители знают, что чистая машина быстрей разгоняется. Машину нельзя материть, обязательно отомстит.
— Да ну вас, — Наташа неожиданно звонко рассмеялась. — Вы меня разыгрываете.
— Клянусь её аккумулятором. Она очень умная.
— Да ни за что не поверю. Я же говорю: железяка — она и есть железяка!

Вдалеке, километрах в двух, в плоской кустистой долине, сверкнуло под солнцем маленькое зеркало озера.
— Ну вот, скоро и озеро. Вы на меня не сердитесь, я быстро. Не ехать же в таком виде в город.
— Да уж… Вид у вас крайне несерьёзный.
— И он, надо сказать, вас смутил. Так?
— Нет, интересно, какая у меня могла быть реакция на водителя, сидящего за рулём без штанов? Нормальная реакция нормальной женщины.
— На своей работе вы, вероятно, видели картины и покруче.
— Мы же договорились закрыть эту тему.
— Виноват…

До озера ехали молча. Андрей решил в разговор больше не влезать. И так уже много наговорено. Молчком оно спокойнее. Сейчас быстро ополоснётся — и домой. Озеро распахнулось ширью, гладью и десятками машин на берегу. Андрей осторожно проехал вдоль всего автомобильного табора и остановился крайним. Вынул из багажника старое покрывало и расстелил его на траве.
— Вы тут немного позагорайте, а я быстренько.

Немного не дойдя до воды, Андрей остановился, обернулся:
— Следователь, там в кармане рубашки права. Приглядите, чтобы супостаты не умыкнули.
— Приглядим, — Наталья улыбнулась, покачала головой, махнула рукой. — Идите, идите…

«И не просто идите…» — договорил Андрей про себя и с шумом плюхнулся в воду. У берега ребятишки размешали воду до густоты городской сметаны. Андрей быстро заплыл подальше и с удовольствием наплавался до дрожи в ногах. Отряхиваясь, подошёл к машине, вытянул из пакета старое махровое полотенце. Попутчица, прикрыв глаза, сидела на покрывале и глядела в небо.
— Ну, как вода?
— Прекрасная вода. А вы что же? Сходите, окунитесь. Такая жара.

— Купальник не взяла.
— Так в чём дело? Идите вон туда, к кустам. Я там как-то карасей рыбалил. Заход в воду хотя и каменистый, но пройти можно. И вода там чище.

Наталья сняла тёмные очки и, приподнявшись, посмотрела в сторону кустов.

— Не знаю. Соблазнительно… Неудобно, подойдёт ещё кто.
— Да кто туда пойдёт? Рыбаки появятся только к вечеру. Идите, не пожалеете. У воды — да не искупаться. Или вы только на Канарах?
— Издеваетесь? Ладно, пойду. Только вы не смотрите в мою сторону.
— Так уж и быть, не буду на вас смотреть,— Андрей засмеялся и уже с интересом оглядел попутчицу, отчего она смутилась.— Да идите, идите… Не буду смотреть. Я пока полежу, обсохну.

Андрей зашёл за машину, накинул рубашку и, сняв мокрые плавки, надел брюки прямо на голое тело. Плавки выжал и сложил в пакет. Лёг на покрывало и зажмурился. Солнце пробивалось сквозь закрытые веки мягким розовым светом. Ему показалось, что он на минутку даже задремал, когда услышал шаги по траве. Его попутчица шла, сильно прихрамывая, кофточка местами прилипла к мокрому телу, джинсы висели на плече. Ладонь правой руки прижимала к бедру. Андрей быстро встал, шагнул навстречу.

— Что такое?
— Упала.
— Да где же там можно упасть?
— На камнях. Наколола ногу, неловко повернулась и упала на бок.

Наталья подошла и, повернувшись боком, отняла руку. Плавки чуть ниже резинки были разорваны углом, и по ткани расплывалось кровяное пятно.

— Ни фига себе искупалась. Ну как же вы так?
— Вот так. И нога…
— Покажите.

Наталья, опершись ему о плечо, подняла ступню. На подошве слегка кровоточила небольшая ранка.

— Ну, это ерунда. Опирайтесь об меня, и пойдём к машине.

Андрей вынул из салона аптечку, раскрыл её на капоте.

— На ноге ваша кровоточащая рана потерпит, давайте рану на…— показал на бедро.— Эту обработаем.
— Я сама…
— Как хотите. Просто вам будет неудобно.
— Удобно.
— Да ради Бога. Только минутку. У меня в бутылке чистая вода, давайте ополоснём,— Андрей достал бутылку, подошёл.— Вы только чуток резинку оттяните, а я полью.
— Сейчас! Может, вам их совсем снять?!
— Знаете! Да делайте вы со своими ранами что хотите!— Андрей сунул ей бутылку в руку.— Целомудренность… как у Агафьи Лыковой. Сомневаюсь, что вы в милиции работаете.

Андрей пошёл к багажнику, стал удобней укладывать разъехавшиеся пакеты с редиской и луком, искоса поглядывая на попутчицу. Ей действительно было неудобно, стоя на одной ноге, делать там что-то сзади. «Она сейчас точно навернётся и ещё себе что-нибудь расшибёт». Андрей решительно захлопнул багажник.

— Хватит дурака валять! Я вас послал в эти чёртовы кусты, я вас и лечить буду!

«Клиент» уже осознал всю меру своего упрямства, созрел и молча покорился.

— Держите резинку,— Андрей плеснул на рану чистой воды и промокнул бинтом.

Ссадина ещё кровоточила. Тогда он решительно потянул верх плавок вниз.

— Ой…— Наталья ухватила их рукой.
— Не ойкайте, совсем снимать не буду. Держите так. Знаете что?— Андрей взглянул на покрывало.— Ложитесь на живот, на покрывало. Мне так удобней. Я всё время боюсь, что, стоя на одной ноге, вы навернётесь ещё раз.
— Слушайте, как вас… Андрей Николаевич. Не командуйте. Я сама знаю, как мне лучше. И не навернусь я больше.
— Да… Много вы знаете. Чего тогда валитесь на камни? Ложитесь, лейтенант ранения бедра.
— Откуда вы знаете, что я лейтенант?
— От верблюда.

Андрей мягко, но настойчиво подтолкнул её к покрывалу. Наталья на одной ноге попрыгала и легла ничком. Подвернув верхний край плавок, Андрей, ещё раз промокнув рану бинтом, плеснул на ватку йода.

— А верблюд разве не сказал вам, что я старший лейтенант?
— А им, верблюдам, всё равно, что старший, что младший. Верблюды — они и есть верблюды. Сейчас будет больно, старлей, потерпите,— приложив ватку к ссадине, промокнул несколько раз.
— Ой…— зашипела Наталья.— Больно…
— Тоже мне — старший лейтенант… Женщина, а боли боитесь. Вся женская доля состоит из боли.
— Откуда это вы женскую долю знаете?
— Знаю.
— Ну что там у вас?— Наталья обернулась.
— Не у нас, а у вас, на… Не буду говорить «на где». Не спешите, пусть кровь совсем остановится. Ногу покажите.

Наталья подняла ногу, Андрей бинтом отёр ступню.

— Ну, это нам, народным лекарям, раз плюнуть.

Ранка была небольшой и почти не кровила.

— Залепим сейчас вашу болячку, как на собаке заживёт. В смысле… быстро.

Андрей ближе к берегу, куда не заезжают машины, выбрал небольшой, но сочный лист подорожника, размял его и туго прибинтовал к ноге.
— Ну вот, завтра и забудете, что тут зияла кровоточащая рана. Так что там у нас? Вернее, у вас, опять не буду говорить «на где»,— отнял тампон.— Порядок. Сейчас залепим пластырем, и первичная санобработка окончена. Будете жить, комиссар Мегрэ.
— И откуда вы знаете, как всё это делать?
— А я всё знаю. Я старый и мудрый. Как Акела.
— На Акелу вы не похожи. Вам ближе тип удава Каа.
— Обижаете, мадам. Тоже, сравнили со змеюкой.
— Змея — символ мудрости.
— Так, лейтенант Коломбо. Рану я залепил, но мочить её вашими безнадёжно испорченными, пардон, трусиками нежелательно. Изгиб вашего бедра, в связи с тем что я уже старый и мудрый, меня не совратит, так что полежите, пока не высохнет.
— И долго?
— А вы торопитесь? Вы не замужем, в городе вас ждать не кому — куда спешить?
— И почему вы так решили?! — Наталья, возмущённо сверкнув глазами, повернулась к Андрею.
— «Потому та», как говорит внук моего друга Воронцова.
— А может, ждёт?
— Ну, тогда подождёт. Полежите минут десять,— Андрей поднялся с травы и стал укладывать аптечку.— Хоть вы и шарахаетесь от моих советов, рискну дать ещё один.
— Какой? — Наталья опасливо посмотрела на Андрея снизу.
— Простой, как правда. Я открою дверку, вы на неё набросите покрывало и за этой ширмочкой снимете свои изодранные и мокрые. А джинсы надевайте прямо так, на голое тело. Иначе вы ими промочите тампон с пластырем, и рана может воспалиться. Представляете себе все неудобства расположения вашей раны?
— И всё-то вы знаете.
— Поживите с моё, помучайтесь. Кстати, я так уже сделал, чтобы не сверкать мокрым задом. И всегда так делаю! Я пойду погуляю, опять в вашу сторону смотреть не буду, а вы последуйте моему совету. Поверьте, хуже не будет.

Когда Андрей подошёл к машине, покрывало было аккуратно сложено на багажнике, а израненная попутчица сидела на заднем сиденье. Сидела, повернувшись на один бок.
— Ну что, можем ехать?
— Да.
— Мой совет пришёлся впору?
— Всё нормально. Послушайте, вы очень практичный человек. Вашей жене хорошо с вами. Всё вы знаете, всё умеете.
— Моей жене просто прекрасно со мной,— Андрей захохотал, вспомнив последнюю ссору.

Выезжая на тракт, на секунду задумавшись, повторил:
— Моей жене со мной просто здорово!
— А как вы угадали, что я не замужем?
— Да чего тут мудрёного? Дедуктивный мэтод. У вас нет обручального кольца. Всё элементарно, Ватсон.
— Это не факт, Холмс. Не все носят кольца.
— Ну, тогда у вас очень плохой муж, никудышный, надо сказать, муж, если позволяет вам таскать такие сумки. А никудышный муж — это ещё хуже, чем никакого.
— Вот в этом вы на все сто правы. Потому я и не замужем. Хороших разобрали, а никудышных нам и даром не нать.
— Принца ждала?
— В некоторой степени. Были и принцы в моём окружении — красотки расхватали.
— А я вот красоток боюсь. Это как дорогая машина: могут украсть, сглазить могут, если кто позавидует. Оправа ей, опять же, нужна хорошая, в смысле одежда. В общем, одни хлопоты.
— Это в вас уже жизненный опыт говорит. А они, прынцы, ещё молодые, глупые, вот и бросаются на крашеных блондинок.
— А вы чего же не покрасились?
— А мне это всё равно бы не помогло. Я — серая, незаметная мышь.

Андрей оглянулся, внимательно оглядел Наталью.
— Вы на дорогу смотрите… пожалуйста. Мышка я, мышка.
— Кто это вам сказал?
— Мне не надо говорить, у меня зеркало есть.
— Не то у вас зеркало. Помните: «Кто на свете всех милей…»?
— Мне и зеркала такого не досталось. Слушайте, мы снова влезли не в ту тему. Давайте и её закроем.
— Давайте и эту закроем. Ну что, больно?
— Немного.
— Завтра на работе можете рассказать, что вы преследовали банду кровожадных грабителей, а бандюганы отстреливались от вас из гранатомёта. Но вы ловко, как Джеймс Бонд, увернулись, и лишь маленький осколок слегка поцарапал вашу фигуру. Можете даже рану показать. В доказательство. Пусть попробуют не поверить.
— Да… Иронии не занимать. Рану я завтра обязательно покажу. На планёрке,— Наталья вздохнула.— Завтра у меня трудный допрос.
— Пытать будете? Калёным железом? Или на дыбе?
— Да ну вас… Вот по роже его вижу, что гад, а доказательств нет. Глухая несознанка.
— А что он наделал… этот, который гад?
— Пацанов на иглу сажал. Первых две-три дозы давал бесплатно, а когда капитально присядут — по три шкуры драл.

— А вы у него при аресте нашли наркоту?
— Нашли дозу. Говорит, для собственного употребления. Не распространял, не продавал.
— Ну вот взяли бы и забили ему куда-нибудь всё, что нашли.
— И рядом с ним на нары. Блестящая перспектива. Законы наши местами гуманны до глупости.
— Вам дай волю, вы всех пересажаете. Забыли товарища Берию?
— Но и от таких пользы никакой. Оперативники ноги стёрли, раскрыли целый завод по розливу палёнки, от которой мужики как мухи дохнут. Ну и что? Хозяина, как правило, нет, и никто его не видел. А тем, кто разливал,—копеечные штрафы.
— И этим надо в глотку всё пойло залить, которое они разводили.
— И ещё раз на нары. Так какие нужны законы?
— Умные. К городу подъезжаем. Вы, мадам, где проживаете?
— В Южном. Королёва, шесть.
— Ну, это почти по пути. Довезу до Королёва, шесть. Сам отправил на гибель, сам и буду исправлять свой проступок.
— Обвинение не возражает.
— А адвокат мне положен?
— Защита тоже не возражает.
— Вот с правосудием у нас идеально. И прикопаться не к чему.
— Наше правосудие надо заново создавать. Реформировать его бесполезно, ещё хуже получится.
— Правосудие—мера справедливости общества.
— Где это вы нахватались? На митинги КПРФ, наверное, втихушку с работы бегаете?
— А что, я не прав?
— Не надо высоких слов. В народе его не зря к дышлу приравнивают.
— Неужели всё так безнадёжно?
— Абсолютно. У нас бардак, а там…
— Да… У Каменской такой безнадёги не проскальзывало.
— Сравнили… Каменская—аналитик, гигант мысли. А я кто? Рядовой затурканный следователь.
— Ладно, рядовой-нестроевой, показывайте свой коттедж.
— Наш коттедж—«хрущоба», тысяча девятьсот шестьдесят второго года рождения, ни разу не ремонтированная. Вот сюда, направо, третий подъезд.

Наталья вытащила из салона сумку и протянула Назарову полсотни.
— Спасибо. Этого хватит?
— Этого мало.
— Мало?..
— Мало для компенсации за тяжкие телесные повреждения, полученные по моей инициативе и вине.
— Да ну вас… Вы всё шутите. Ну так возьмёте деньги?
— Я вашу сумку, пожалуй, возьму. Какой этаж?
— Пятый.
— Вот это и будет достойной компенсацией. Что по этому поводу имеет обвинение?
— Обвинение безмолвствует.
— Удивительный факт из истории отечественной юриспруденции.

Наталья долго ковырялась в замке.
— Как он мне надоел, проклятый. Вот так каждый раз. Входите. Не буду извиняться, что у меня не прибрано. У меня как раз прибрано. Ставьте сумку сюда.

Назаров поставил сумку в коридоре и, не входя в комнату, заглянул, опершись о косяк.
— Интересно, какие дают квартиры следователям нашей доблестной милиции?
— В нашей доблестной получишь… хлястик от шинели. Это квартира моей бабушки. В прошлом году умерла, вот я и осталась тут жить.
— А вы что же, единственная наследница?
— Да,—Наталья вздохнула.—У бабули было четверо сыновей, в живых остался только мой папа. Двое на фронте погибли, а один от болезни рано умер.

Назаров, ещё раз оглядевшись в коридоре, пошёл к выходу.
— По законам жанра, я должна вам предложить остаться и попить чаю. Но я не люблю штампов.
— По законам того же жанра, я должен у вас попросить отвёртку и лихо, одним касанием, отремонтировать ваш замок. Но я не буду этого делать. Во-первых, я тоже не люблю штампы, а во-вторых, я не умею ремонтировать замки. Абсолютный профан в этих делах,—Андрей, взявшись за ручку, обернулся.—Я скажу банальность, но у меня такое чувство, что я вас знаю уже давно.
— Конечно, давно. Уже два часа. Целая вечность.
— После того, что между нами произошло, я, как честный человек, должен…—Андрей выставил указательный палец пистолетом.—Спросить ваш телефон.
— Зачем он вам?
— А вдруг… а вдруг я попаду в дурную компанию?
— И что тогда?
— Вы меня выручите. Вы мне так красочно опишете все прелести пребывания в тюрьме, что я откажусь от своих преступных замыслов.
— Вы всё шутите,—Наталья вздохнула.—Ладно… Честно признаться, мне тоже было с вами интересно. Я дам вам свой, но ваш брать не буду.
— Вы плетёте интригу, Каменская? Или это принцип?
— Нет, Холмс. Никакого принципа. Я защищаюсь.
— Интересный способ защиты. Наверное, заимствовали у страусов.
— У меня тоже кое-какой жизненный опыт есть. Захотите—позвоните. Не захотите—значит, так должно и быть. Я первая звонить не буду.

— Значит, всё-таки принципы.
— Значит, всё-таки вы женатый мужчина. Сколько у вас детей?
— Двое.
— Вот видите. Двое детей и жена — это очень серьёзно.
— О-хо-хо-хо... Если уж вы меня не совратили своим оголённым бедром, хотя и покарябанным, то уж телефонным звонком...
— Тогда, значит, принципы. Оценивайте как хотите. Вот мои координаты.

Андрей взял листок с телефоном, медленно положил в водительское удостоверение. Открыл дверь.
— А может...
— Нет, Андрей Николаевич, извините. Для одного дня и так много событий. Спасибо вам.
— Вы правы, пожалуй. До свидания.

Компьютер завис. Второй раз за день. Приличный «Пентиум» как-то по-бараньи тупел и зависал мёртвым бревном. Такого с ним ещё ни разу не было. Администратор сети, Витя Воронцов, подошёл со спины, и, прихлёбывая чай из своей знаменитой полулитровой кружки, стоял и сопел.
— Ну и чего? Чего она у тебя взбесилась? Вырубай, пусть подумает о бренности бытия.

Компьютер он звал «она», то есть «железа». Компьютерщик до последней клетки своего могучего тела, он, конечно, как и все шизанутые на этом деле ребята, немного форсил, но это уж так положено в той среде.
— Слушай, Андрюха. У Маринки святая вода в банке стоит. Окропи её, выгони сатану. Она свою часто кропит. У неё со своей «железой» критические дни в одно время.
— А откуда ты знаешь, когда у Маринки...
— Ты поработай с бабами столько, сколь я, и не то знать будешь.
— Ты лучше за своими хакерами гляди. Опять, наверное, кто блохастый диск сунул.
— Не надо. Это не вирус. Сервер заразу не пустит. Она у тебя просто влюбилась.
— Брось ты. «Железа» — она и есть «железа», хоть и умная.
— Много ты понимаешь. Ты её не материл?
— Как ты можешь такое обо мне? Я интеллигентный человек, кандидат наук. Я себе такое не позволяю.
— Врёшь как сивый мерин и не подпрыгиваешь. Я слышал, как ты выражался, когда тебе стол на ногу поставили.
— Ну так стол...
— А вот... Значит, мог. «Железу» нельзя материть Ей это не нравится. Она всё понимает.

Компьютер перезагрузился и вновь невинно засветил монитором. Ничего страшного не произошло. Мощный сервер, как чуткая нянька, всё видел, всё знал и всё предупреждал. Андрей вновь вышел на исходный текст и удовлетворённо хмыкнул.
— Слушай, Андрюха. А может, ты эта... влюбился? «Железа» и это чувствует.
— Да иди ты со своей «железой». Не смеши старого.
— Самое время бесу в старое ребро, — Витя хлопнул Андрея по плечу. — Покайся перед «железой», легче будет.

Легче не будет. Андрей вздохнул. Две недели после той памятной поездки на огород, а попутчица не выходит из головы. Десять раз Андрей брал трубку телефона, чтобы позвонить ей, и десять раз думал при этом: зачем?

«Вот ты грамотный, с виду умный мужик, ответь самому себе: зачем тебе это надо? Полнейшая глупь, недостойная разумного человека! Сопливая девчонка! Да, да! Сопливая девчонка, на немного старше твоего сына. Посмотри на себя со стороны, дурень. Ты увидишь полного идиота с бараньими глазами!»

Андрей свернул неоконченную программу, открыл окно записной книжки. Последняя запись бесстыже лезла в глаза: «Следственный отдел, Коренко Наталья Максимовна».
— Коренко Наталья Максимовна, собственной персоной, — повторил вслух Андрей. — Наталья Максимовна... Наталья...
— Чего ты там бормочешь? — Витя выглянул из-за своего монитора. — Заговариваешься или опять завис?
— Заговариваюсь. А где Маринка?
— Ребёнок заболел. Ты хочешь спросить, где у неё святая вода стоит?
— Всё-то ты знаешь, Витя, — Андрей похмыкал, покрутил губами, присвистнул. — Просто хотел проконсультироваться по одному о-очень важному вопросу.
— Давай я проконсультирую.
— Это не про «железу».

Витя обиделся.
— Можно подумать, что я, кроме «железы», ни в чём не разбираюсь. Умник хренов.
— Не обижайся, брат Витя. Ты умный. Это я так...

На самом деле Андрей действительно хотел отхлебнуть святой воды, чтобы хоть как-то провентилировать мозги. Не говорить же об этом Витьке. У него ума хватит по Интернету растрепаться своим корешам-хакерам. Дома обстановка как при разминировании фугаса. Одно неосторожное слово — и всё может разлететься на кусочки. После ссоры по поводу поездки в огород жена не сказал ещё ни одного слова. Общение осуществлялось на уровне междометий: «угу», «ага», пожимание плечами. Андрей всё явственней чувствовал закипание внутреннего протеста. «Почему? Что я сделал плохого в этой жизни, чтобы меня тихо ненавидеть? Если она больна — надо лечиться.

Есть отличные антидепрессанты. Сколько я могу выполнять роль бесчувственного болвана? Сдерживать вспышки Евгении холодным равнодушием уже невозможно. Всё! Работать сегодня дальше — себе и фирме во вред».

Андрей щёлкнул мышью, и программа, словно обрадовавшись, что к ней больше не пристают, быстро свернулась.

— Витя, пойдём напьёмся как свиньи.

— А почему «как»? — любимая приговорка Вити при употреблении союза «как». — Люди-человеки от свиньи отличаются только уровнем интеллекта, да и то не все. А внутренние органы — один к одному.

— Это не всё. Свиньи ещё не пьют разную гадость. Они валяются в грязи совершенно трезвые.

— Это хрюше плюс. Отсутствие комплексов — признак раскованности мышления.

— Не умничай. Пить будешь?

— А работа? Я борюсь за звание ударника буржуинского труда.

— И как борьба?

— С переменным успехом. Иногда «совок» побеждает. Вот и сейчас ты предлагаешь смертный грех соцреализма — пить водку в рабочее время. Я думаю. Идёт борьба. Кстати, а по какому поводу запой?

— Без комментариев. И без повода. «Потому та» — как говорит один маленький замечательный человечек.

Андрей пришёл домой в три часа ночи на бровях и автопилоте. Как, где и сколько шёл, где пили, что — всё кануло в небытие. Почему менты не повязали гражданина, идущего в таком виде сквозь ночь, — тоже непонятно. Бог, однако, присмотрел. Он любит сирых и несчастных.

«А и пусть. Пусть бы и повязали, — мысли тяжело ворочались в чугунной голове. — Сидел бы сейчас, как макака, в „обезьяннике“, звал бы на помощь Наталью: „Натаха, ау-у... Спасай...“ Она пришла бы... и выручила меня. Вот она бы спасла... Натаха... Божья птаха... Непременно бы выручила...»

Осмотревшись в комнате, обнаружил белую стопку постели, аккуратно уложенную на край дивана. «Приготовилась к встрече. А вот Женечка не стала бы выручать. Ну и не надо». Мысли в голове, несмотря на выпитое количество огненной воды, были почти ровные и логичные, хотя с приличными тормозами. «А на фига ты, собственно, ей нужен, старый барбос? Выручила бы она его... Сейчас... Тебе хочется, чтобы тебя пожалели, к тёплой и мягкой груди прижали? Утри слюни, если ты мужик! Сам себя выручай, если тебе уж так хреново. А чего тебе хреново? Наверное, ты никому не нужен? Очень хорошо... Ты не нужен. Ты никому не нужен... А почему ты должен быть обязательно кому-то нужен? Живи сам себе, радуйся каждое утро, что проснулся и живёшь, носом сопишь. Всё! Спать! Завтра сразу всем будешь нужен, если вовремя программу не сдашь. Все тебя вспомнят добрым русским словом из трёх или, в крайнем случае, пяти букв. Они вспомнят, какой ты хороший».

И, как Штирлиц, давший себе команду, Андрей уснул, не расстилая постели, прямо на голом диване, тревожно дёргая головой во сне и тихо всхлипывая.

Райотдел сдержанно, но сладострастно шуршал в предвкушении сегодняшней зарплаты. Опера́, покидав свою агентуру и прочую шушеру, с коей им приходится иметь дело каждый день, дружно «общались», и было совершенно ясно, что ничем хорошим это не кончится. Хотя их понять можно. Работа у них пыльная, а если точнее — грязная у них работа. И в прямом, и во всяких смыслах. За что им многое и прощалось. А если учесть, что почти все начальники начинали с оперов и после третьей стопки любого застолья принимались рассказывать, какие они были лихие ребята в ту зелёную пору... то многое им прощалось. При удобном случае отцы-командиры учили молодых оперов так: «Самое главное, чтобы оперуполномоченный не упал на пол намоченный». При детальной расшифровке это в основном обозначало, чтобы оперок в поддатом виде не хватался за табельный ствол, не гонял принародно любимую тёщу и не орал на центральной улице города, что он «всех на кичу, всех замочит». А немного покуражиться в своём кругу — святое дело.

Наталья сидела в крохотном кабинете с майором Мицневичем, многоопытным и насквозь прокуренным Семён Семёнычем, которого по аналогии с героем «Бриллиантовой руки» иногда в шутку звали Семён Семёныч Горбунков. Он не обижался. Он за свою очень долгую ментовскую жизнь столько всего перевидал, что если на этих свистунов обижаться, обижалки не хватит. Семён Семёныч уже неделю как гриппует, и Наталья наслаждалась одиночеством и чистым воздухом. Майор курил непрерывно, и если бы ему пришлось выходить в курилку на лестницу, то проще было бы вытащить туда и его стол. Закуривая очередной раз, он, виновато поглядывая на Наталью и пожимая плечами, пускал струю дыма под стол, где она, завиваясь выплывала уже из-под стола Натальи. Мундир у неё был прокурен так, что ни отпаривание утюгом, ни проветривание на балконе не выводили стойкий табачный дух. Проще было начать самой курить, чтобы его не замечать. Но если бы людей пропускали через газовую камеру кабинета Семён Семёныча, то вряд ли бы они начинали сами курить. Иммунитет вырабатывается стойко отрицательный.

— Наташ...— дверь стремительно приоткрылась, и показалась шестимесячно завитая химическим способом голова.— Я в кафе. Идёшь?
— Иду.

Наталья захлопнула распухшее до ожирения дело за номером 3864 по обвинению в краже автомагнитолы Шкрабиным Эдуардом Митрофановичем, а попросту — пацаном по кличке Кося. Почему Кося? А Бог его знает. Пацанва-подельники зовут его то Костя, то Коля, а чаще — Кося. Но вот как его отцу, пьяни и мелкому ворюге Митрофану Шкрабину, пришло на ум назвать сына Эдуардом — вот это загадка.
— Иду,— Наталья положила папку в сейф и вышла в коридор.

Вызывающе кудрявая голова Катерины мелькала уже около лестницы. Коридор райотдела, где в одном крыле сидят следователи, а в другом опера́,— своеобразный многослойный культурно-социологический срез. Вот уж поистине блеск и нищета. Наркота, деляги с гайками на пальцах, стриженые качки, съёмные и притонные «девочки», а иной уже за сорок,— все в наличии. Посади хорошего артиста на неделю в конце коридора — на всю жизнь характерных образов наберёшься.

Обедали в паршивой кафешке через дорогу. Обед язвенника: булочка с пластмассовой сосиской и кофе. Не один следователь оставил свой желудок по таким забегаловкам.
— Натали, как домой съездила?
— Нормально, картошку окучили. Косить уже помаленьку начинают. Живёт деревня. Это мы тут... прозябаем.
— Ну а я ничего «прозябла». С Мишаней купаться на речку ездили,— понизила голос, наклонилась к уху Наташи.— Повлюблялись потом в машине, как стемнело. Интересно... я впервые в машине.
— Приобщаешься к цивилизованному сексу. В Америке, говорят, тридцать процентов детей в машинах зачаты.
— Типун тебе на язык. Наговоришь... Рано ещё.
— А чего рано? Хомутай своего Мишу. Надоешь ему, глядишь, он и другую в машину посадит.
— Ещё раз тебе типун. Чего ты сегодня раскаркалась? А ты как вроде прихрамываешь?
— Ерунда. Стукнулась.
— Автобус ждала?
— Нет. На тракте попутку останавливала.
— Много содрал?
— Нисколько.
— Добрый дядя попался? Или очаровала?
— Ну, сейчас. Буду я пролётных очаровывать.
— Из пролётных и прохожих судьбы складываются.
— Это не тот случай. Но мужик интересный.
— В смысле — красивый?
— Умный.
— Да...— Катерина вздохнула.— Если умный, то обязательно чужой. Всегда так.
— А твой Миша-Михаил что, глупый?
— Не знаю. Иногда бывает и глупый.
— Что имеем, не ценим...
— Ценю. Ох как ценю. Ну и чего твой умный? Уехал в неизвестность и ручкой не помахал?
— А ты хочешь, чтобы он меня с собой домой взял? А жене и детям сказал, что нашёл на дороге? Пусть, мол, поживёт Она такая хорошенькая. Мне «мой» ещё не встретился.
— Будешь так мелко сеять — никогда не встретится.
— Мне бабушка ещё в детстве нагадала, что муж у меня будет хороший, но моложе меня, и нарожаю я ему двух деток. Вот потому я на старых и не гляжу.
— Фи... молодому сопли подтирать.
— Это не хуже, чем за старым горшки таскать.

На «после обеда» был вызван несовершеннолетний гражданин Перепёлкин Н. К., ударивший соседа кулаком в глаз и подставкой под обувь по голове за то, что тот его якобы материл. Матерки к делу не пришьёшь, растворились в эфире времени и пространства, а на побои справочка имеется.
— Перепёлкин, так за что вы ударили гражданина Гаврилина?
— Ну дак я уже писал, что трубу у меня прорвало и его затопило, а он давай меня при девушках поливать-материть всякими грязными, заборными словами. Я и дал ему в глаз, чтобы, значит, заткнулся. А чтобы не материл, значит, при девушках, добавил полкой от обуви.
— Сосед пишет в своём заявлении, что у вас пьянки каждый день, оргии всякие с плясками и криком. Девушки вот. Много было девушек?
— Девушек было как раз. А пьянствовать каждый день не могу по причине слабого здоровья.

«Да... Парнишка на вид, конечно, хлипкий, не то что его сосед со справкой. А фингал пацан, надо сказать, классный приварил! Сосед этот говорит, что специально не стал сдачи давать. Пронёс этот фингал как знамя. Интересно, а если бы его жену ударили, стал бы драться? Правда, там жена — как борец сумо. Такую как раз ударишь».
— Он же такой здоровый. Перепёлкин, как вы насмелились его ударить? Он же вас мог по стене размазать.
— Он бы не стал. Он расчётливый. Он свою собаку, сучку породистую, руками задавил, когда узнал, что от неё щенков не будет. Удавил, чтобы за укол не платить. И у детской площадки закопал, чтобы далеко не ходить,— парнишка ухмыльнулся.— Он расчётливый... Вот я перед девчонками и выступил. Знал, что не ответит.
— Выпендрился ты, Перепёлкин, на «хулиганку». Два года припаяют, вот тогда повыпендриваешься на нарах.
— На нары не пойду, верняк. Условно могут дать. Я социально неопасный тип.

«Да уж… Тип ты неопасный. Грудь — как у воробья колено. Та рожа куда как опасней. Ты просто дурачок, Перепёлкин. Тебя осудят, а он будет смеяться».
— Идите, Перепёлкин. Советую на суде чистосердечно раскаяться и извиниться перед соседом.
— Сейчас. Буду я перед ним извиняться. Да пошёл он…
— Посадят ведь, дурачка. Могут посадить.
— А вы меня не обзывайте. Я не дурачок. У меня принципы.
— Извините, Перепёлкин. Вы свободны… пока. Подпишите протокол и идите.

«Принципы у него. На нары попадёт — забудет о принципах. Не палёный ещё». В протоколе допроса написала, что подследственный Перепёлкин Н. К. поясняет, что был вынужден ударить потерпевшего Гаврилина Ю. П., так как он обзывал его грязной бранью в присутствии друзей Перепёлкина Н. К. Если свидетели подтвердят, это хоть немного поможет молодому и принципиальному дурачку.

Наталья отложила протокол допроса, сладко потянулась. «Не позвонил Андрей Николаевич. Не позвонил… А может, зря я так категорична с мужиками? Даже с такими немолодыми, как он. Вон Маринка ухватилась за своего Мишу, клещами не оторвёшь. Губошлёп слюнявый. И как она с ним целуется?..»

Наталья открыла сейф, уложила папку с протоколом, достала кобуру с «макарычем», чтобы сдать в оружейку. Дежурство почти закончилось, и можно избавиться от ненужной железки. «На фига он мне нужен? — покачала на руке пистолет. — Никогда я не выстрелю в человека. Какой бы он ни был человечек, Бог ему жизнь дал. Вот пусть Он и забирает». На стрельбище она с трудом набирала норматив и потом весь день ходила контуженная грохотом и дымом. Опера ржали как кони, глядя на неё: «Робя, Натаха в коме, бери что хошь, пока не очнулась». Да, ментом надо родиться. Эта шкура по размеру, и если она тебе мала или велика — бросай это дело. Так и будешь болтаться до пенсии в вечных капитанах, как Семён Семёныч. Хорошо, если на пенсию дадут майора. А может, и не дадут. Кроме четырёх звёздочек да чахотки, ничего и не заработал.

«Да, Андрей Николаевич! Я серая мышь, не заслуживающая внимания таких мужчин, как вы. Серая, незаметная, безликая, тусклая, худая и некрашеная. Какая я ещё? А никакая!»

Резко зазвонил телефон.
— Наталья, как ты там без меня? — голос Семён Семёныча был хриплый и скрипучий.
— Честно, Семён Семёныч?
— Честно.
— Если честно — то хорошо. Дышу полной грудью.
— Скоро будет ещё лучше.
— Не поняла!
— Комиссуют меня. Стенокардия. Группу дают.
— Ни фига себе, — Наталья удивлённо присвистнула. — Семён Семёныч, а может, вылечиться можно? Это что, окончательно?
— Окончательней не бывает. Скажи там ребятам: отваливает, мол, Сёма.
— Ну, вы как помирать собрались, Семён Семёныч. Выходите скорей на работу, и киснуть некогда будет.
— Не, Натулька, отработался Сёма. Ну, привет. Дыши полной грудью. Грудь у тебя красивая, так что дыши.
— Вы скажете тоже, Семён Семёныч, — Наталья засмущалась.

Мицневич уже положил трубку. «Вот и накаркала, дура. Теперь и майора к пенсии не получит». Наталья подошла к тусклому зеркалу, бывшему вещдоку по какому-то очень давнему делу, критически осмотрела себя, расстегнула китель, повернулась боком. «Грудь как грудь. До девяносто-шестьдесят-девяносто о-очень далеко. Господи, да кому это всё нужно?!»

Евгения сегодняшний день могла бы и не жить, всё равно бесполезно. Если с утра день не заладился — добра не жди. Да что там день. От жизни проку нет совершенно никакого. Что уж о каком-то дне говорить? Евгения была твёрдо уверена, что живёт чью-то чужую жизнь, никчёмную, тягостную, и совершенно зря этим занимается. Она понимала, что это большой грех — судить, нужна тебе жизнь или нет. Раз родился — живи! Но… Жизнь последнее время лишь изредка, как скупое осеннее солнышко, согревала теплом. Она знала, что мать не хотела её рожать и родила только потому, что, по своему обыкновению, опоздала с абортом и ни один врач не захотел брать грех на душу. Нежеланный ребёнок обыкновенно несчастен в жизни, потому что ещё в утробе матери он уже нежеланен. Ему не говорят ласковых слов, его не гладят, когда он, уютно свернувшись в клубочек, ждёт своего выхода в жизнь. А человечек уже всё слышит и понимает.

Женя переболела всеми детскими болезнями, которые подкарауливают ребёнка за каждым углом. Она помнила тоску в материных глазах, когда они мотались по очередям в больницах, сдавая мыслимые и немыслимые анализы и высиживая на приёмы к разным врачам. Каждый из них обязательно находил что-то своё в истерзанном Женькином организме, выписывал лекарства, которых, как правило, не было в аптеках. Мать была вынуждена унизительно клянчить у своих знакомых, чтобы они доставали эти проклятые лекарства.

Только начиная осмысливать жизнь, Женька уже ненавидела себя за своё существование

в качестве нагрузки для матери и тех равнодушных людей, с коими ей приходилось общаться. Её убивали пустые глаза и вечно холодные руки участкового врача, санитарок в больнице, которые больно ставили укол, совершенно безучастно втыкая иголки. Мать не ругала её, не укоряла за постоянные болезни. Она так же равнодушно, как и те сонные санитарки, присутствовала в её жизни, не давая тепла. Взгляд её тоже был тусклый, как зимнее солнце.

Женя периодически впадала в сомнамбулическое состояние полуживого человека, иногда взрываясь приступами истерики, совершенно беспочвенными и бессмысленными. Мать уже поговаривала отдать её в психиатричку, но сердобольные соседки отговорили, вероятно, понимая, что это будет окончательный приговор для девочки. Умные тётки на вечной скамейке у крыльца понимали, что для женщины есть ещё один шанс, возрастной. Шанс перерождения девочки в женщину. И этот шанс сработал.

Женя, совершенно не подозревая о том, что природа приготовила ей приятный сюрприз, узнала об этом на выпускном вечере, когда одноклассник вдруг осыпал её жаркими поцелуями. Её, Женьку,— и целуют! Это было поразительным открытием. Других девчонок уже давно тискали по тёмным углам, и они с жаром и придыханием рассказывали об этом своим подружкам. Женя страшно завидовала им. И вот пришёл и её черёд. И не абы кто, не завалящий и сопливый пацан. Сам Володя Доронин, от которого девчонки тихо пи́сали кипятком. Придя наутро после традиционных шатаний по улицам, Женя всё забыла, что происходило на выпускном. Всё, кроме Володиных поцелуев.

Пока мать была на работе, Женя сняла с себя одежду и долго стояла перед зеркалом. Из глубины зазеркалья на неё глядело другое, совершенно не похожее на вчерашнее, симпатичное и стройное существо. И самое главное, у той девицы был уверенный, даже чуть нахальный взгляд женщины, знающей себе цену. Володины поцелуи совершили чудо. Родился новый человек! Человек, понимающий, что он личность! Женщина родилась!

Мать через некоторое время заметила перемены в дочери и не удивилась. Она сама в своё время пережила превращение мерзкой гусеницы в яркую бабочку. Женя без труда поступила в институт и сразу ушла в общежитие. Одним махом обрубила все концы. На четвёртом курсе появился Андрей, замужество, первый ребёнок. Но после рождения второго сына всё рухнуло. Рухнуло, как долго висевшая над пропастью лавина. Всё, что уснуло на короткое время расцвета, вновь проснулось, но в виде ещё более ужасном.

Евгения ненавидела утро. Ночью, забываясь сном, она уходила в свой, только ей принадлежавший мир. Зыбкость ощущений, их мимолётность и нереальность создавали в сознании хоть что-то близкое к тому наполнению, которое позволяло терпеть себя. Утро, врываясь грубыми реалиями шума, солнца, разговорами быта, теплом или холодом, безжалостно разрушало с трудом построенную за ночь защитную оболочку. Зачем всё это? «Всё это» раздражает, заставляет чувствовать обнажённой кожей колючий внешний мир.

Евгения давно уже нигде не работала и все навыки программиста утратила, надо сказать, без сожаления. От компьютера её воротило, как от источника мерзости. Подлая железяка, холодная, расчётливая и жестокая своей правильностью. Ей всё равно, кто заставляет её думать, принимать решения и делать выводы. Она равнодушна! Она равнодушна, как и всё окружающее.

Евгения долго и бессмысленно глядела в окно. Жизнь там, за стеклом, текла медленно и беспощадно-последовательно. Вчера, позавчера, сто и тысячу лет назад. Ничего в мире не меняется. Идут куда-то люди, бесшумно катят машины. Евгения включила чайник, бросила в пустой и холодный заварник щепоть чая. Замерла и долго стояла, подперев пальцем щёку. Евгения молчала уже больше двух недель. Молчание было своеобразным методом общения, когда не хотелось общаться. Методом, позаимствованным у полупроводников. Это когда поток чего-либо идёт только в одну сторону. Она слушала, смотрела, иногда кивала головой, соглашаясь или не соглашаясь, но сама при этом молчала. Так было проще. Общение ни к чему не обязывало, и можно было, когда это необходимо, уходить в глухую защиту. Андрей хотя и с трудом, но со временем принял этот метод и в длительные периоды депрессии считал его компромиссным. Последняя ссора по поводу поездки в дальний огород была столь бурной, что необходимость передышки была просто обязательна. Андрей до минимума сократил всякие контакты с женой и отдыхал, пытаясь восстановить внутренний баланс, хотя, надо было признать, получалось это с большим трудом. Перспектив на ближайшее будущее практически не просматривалось. Вариантов просвечивало не более двух: Евгению надо серьёзно лечить или… Или… Что было вторым «или», не хотелось думать. Возраст уже более чем, и ломать что-то в этот период жизни просто опасно.

В трубке долго молчало и сопело.
— Алё… алё, я слушаю. Кто это?.. Алё.
— Я это.
— Кто «я»?.. Андрей Николаевич? Вы?
— Угадала, «мы». Не ждали моего звонка?
— Как вам сказать…
— Честно.
— Если честно… думала. Думала, позвоните или нет.
— И к чему больше склонялись?

— Скорее, что «нет».
— А я — скорее, что «да».
— Сомнения долго грызли душу, прежде чем позвонить?
— Не без этого. Груз жизненного опыта обязывает.
— До истощения не дошло?
— Да что вы! Берегу себя. Домой собираетесь?
— А вы что, хотите меня подвезти?
— Хочу.
— Вообще-то собираюсь.
— А что так неопределённо?
— Не хочу быть вам обязанной. На автобусе проще.
— Очень жаль. Я сегодня вечером еду в дальний огород, могу подбросить. Мне вы ничем не будете обязаны.
— Хорошо… Я согласна. Как это всё будет выглядеть?
— Как в кино про шпионов. Вы сделаете вид, что идёте в баню, об этом будет говорить веник под мышкой. А я подойду и спрошу у вас, как пройти на Елисейские поля. Это будет являться паролем.
— Вам бы детективы писать.
— Я бы сейчас с удовольствием некролог написал. О себе.
— Шутки, однако…
— А я и не шучу. Это моё нынешнее состояние.
— Так плохо?
— Хуже некуда. В шесть вы будете дома?
— Буду.
— Жду вас у подъезда.
— Хорошо.

Когда Андрей Николаевич включил поворот, чтобы свернуть с дороги, то увидел стоящую на обочине Наталью. Выключив поворот, остановился напротив. Наталья быстро села на заднее сиденье.
— Вы и правда как в кино. Следы заметаете? А где ж тогда веник?
— Вы хотите, чтобы завтра бабушки у подъезда ехидно спрашивали, кто это меня подвозит? Не надо. А почему вы не спрашиваете, как пройти на Елисейские поля?
— А я и так знаю. Как зайдёшь, так и наискосок. Ну, как ваши шрамы? Сотрудники поверили, что они от гранатомёта?
— Настоящие герои обычно бывают скромными. Я скрыла свою доблесть.
— Зря. В газетке бы пропечатали.
— Фельетон о неуклюжих милиционерах.
— Вы занижаете свои достоинства. Очень даже уклюжий милиционер.
— «Уклюжий» — это как понимать?
— А как хотите. Красивый милиционер!
— Ой, не надо, Андрей Николаевич, смущать девушку. И вообще, созвучие «красивый милиционер» звучит нелепо.
— Но по сути.
— Вы на дорогу смотрите.
— Смотрю…
— А что, завтра апокалипсис ожидают?
— Не понял!
— У вас вид, говорю, такой, будто завтра конец света.
— А… Да нет. Я не верю в конец света в ближайшую тысячу-другую лет. Конец света может в душе наступить. Это пострашней.
— И в вашей душе…
— В моей душе — как в мусорном контейнере. Чего там только нет. Но всё дрянь. Жемчужных зёрен… увы.
— Если бы ещё и женщины были такими пессимистами — мир бы давно рухнул.
— Вы-то, конечно, оптимистка?
— Я — жизнерадостный рахит. Жизнерадостного рахита можно назвать оптимистом?
Андрей Николаевич рассмеялся.
— Представил себе рахитика: синюшный, ноги тонкие, кривые, башка здоровая — но улыбается, зараза! Извините, вы, конечно, не такая.
— Спасибо. Внешне. А внутри так оно и есть, как вы описали: синюшная… и всё такое. Но… пытаюсь улыбаться.
— А зачем пытаться, если не хочется?
— Жить разучишься. Вернее, радоваться жизни. Раз Бог дал жизнь — живи её качественно.
— Ну что, жизнерадостный… До дома вас везти или на тракте высадить? Для гарантии ненужных вопросов.
— Да уж везите до дома. В деревне люди добрее. Вопросы если и задают, то без подсмысла.
— Ну ладно, посмотрим, какие люди у вас в деревне.

Улицы Зубовки были пустынны и скучны, и редким старушкам, сидящим на скамеечках у ворот, не было никакого дела, кто, кого, куда и зачем везёт. По крайней мере, так казалось. Наталья показала на ворота, потемневшие от времени, и Андрей, аккуратно повернув, остановился на зелёной лужайке перед домом. Палисадник с неизменными кустами сирени почти затемнял небольшой, но по виду ещё крепкий дом. Наталья покрутила ручку калитки, постучала ею, но никто во дворе не откликнулся и калитка не отворилась.
— На огороде, наверное, — Наталья поставила сумку на скамейку, встала на край её и перешагнула на забор штакетника.
— Осторожно, вы опять навернётесь. Ваши раны ещё не зажили, — Андрей подошёл ближе. — Ну куда вас опять понесло?
— Андрей Николаевич, вы, пожалуйста, отвернитесь, а я перемахну через забор. Так мы можем здесь полдня простоять.
— Давайте я.
— Давайте. А там вас наш Джек встретит. Отвернитесь…

— Да пожалуйста.

Андрей демонстративно отвернулся, но через пару секунд не выдержал, повернул голову и наткнулся на взгляд Натальи. Укоризненно покачав головой, она перемахнула через забор, мелькнув стройной оголённой ногой перед самым носом Андрея.

— Держитесь… Лечи вас потом.

«Вот гимнастка». Андрей взял со скамейки сумку и пошёл к калитке. Внутри брякнул засов, но калитка не открылась.

— Вы там живы?

— Жива, жива. Что со мной сделается?—Наталья распахнула калитку.—Входите, я Джека привязывала. Какой вы неслух, однако. Я же просила вас отвернуться.

— Рисковая вы женщина, Наташа. Хотел подстраховать.

— Я через этот забор уже сто раз перелазила…

Под навесом стукнула калитка, и во двор вошла пожилая женщина, вытирая руки тряпкой.

— Это кто у нас тут хозяйничает? Привет, дочурка. Опять через заплот перемахнула?

— Опять… Вас разве докричишься?

— Проходите в избу.

Испытующе задержалась на Андрее. Наталья перехватила её взгляд.

— Это Андрей Николаевич, мой знакомый. Ехал на дачу в Веснянку, меня и подбросил. А это моя мама, Галина Михайловна.

— Андрей Николаевич, квасочку хотите? Из берёзового сока.

— Не откажусь.

— А батя где?

— С Маркушей поехали на птицефабрику, на бройлеров договариваться.

— Делать вам нечего.

Галина Михайловна достала из-под наличника крыльца ключ, отомкнула висячий замок.

— А чем летом заниматься? Бройлера быстро растут.

— А жрут… как крокодилы. Вот и будете всё лето валандаться.

— А что ж сделаешь? Зимой потом с курятинкой в супчике валандаться легче. Проходите.

В доме было прохладно, по всему полу разосланы плетёные самодельные дорожки. В комнате, в углу, стояла икона и горела лампада. Галина Михайловна, взглянув на Андрея, ответила на его немой вопрос:

— Чтобы в доме чище было и в голове ясней.

— Открытый огонь…

— Ни разу не слышала, чтобы от лампады что загорелось. От дури человеческой пожаров больше бывает.

— Да я что?.. Просто давно не видел горящей лампадки,—с минуту глядел на мерцающий огонёк.—А от неё и правда покой исходит.

— Благость для души от неё исходит.

Прошла на кухню, было слышно, как глухо стукнула крынка.

— Проходите сюда, Андрей… забыла, как вас по отчеству.

— Можно просто, без отчества.

Андрей прошёл на кухню, сел за стол. В большой фаянсовой кружке по самую кромку был налит квас. Холодный, приятно кисловатый, он совсем не походил на тот, что продают из бочек.

— Наташ… ты где?—Галина Михайловна выглянула в комнату.—Уметелила, коза, и гостя бросила. Так вы на дачу?

— В огород. Дачи у господ в Барвихе. А у нас огороды. В основном для прожору.

— А вы простой… Из деревни, наверное?

— Конечно. В городе коренных жителей, говорят, не больше двадцати процентов. Все остальные—деревенские. Вот и я деревенский. Институт закончил и остался в городе. А что с моей профессией в деревне делать?

— А чем вы занимаетесь?

— Компьютеры мучаю.

— Ну, что такое компьютеры, я знаю, не так уж дремуча. А вот как вы их мучаете…

— Программист я. Заставляю их работать. А они иногда не хотят. А я их заставляю. Выходит, что мучаю.

— Может, вы их учите?

— А вы насилия совсем не приемлете?—Андрей внимательно посмотрел Галине Васильевне в глаза.

Она спокойно и уверенно ответила ему взглядом.

— Силой даже подковы не гнут. Умом надо. На то и ум человеку дан.

— Ну, что вы тут? Как квасок?—Наталья вошла на кухню в лёгком халатике и белой косынке.

— Первый раз в жизни пью такой квас. Спасибо хозяйке,—Андрей встал.—Пора и честь знать. До свидания, Галина Михайловна, приятно было познакомиться. Искренне говорю, действительно было приятно.

— Спасибо. Заезжайте, квасу ещё целая бочка.

Наталья вышла за ворота проводить гостя. В халатике, по-домашнему, она была дивно как хороша. Андрей прошёлся взглядом по фигуре. «Да… Только вздохнуть и остаётся».

— А ваша мама мне очень понравилась. Скажите, Наташа, а как уживались социалистическая мораль, когда вы в школе учились, и икона?

— Нормально. Мама меру во всём знает. Она никогда не навязывала своё. Просто я твёрдо знала, что существует что-то такое, что я пойму позже, а она меня не торопила. У нас папа всю жизнь коммунистом был, так и он тоже был уверен, что моральный облик строителя коммунизма

из Евангелия переписан. А у вас не было такого подозрения?
— Я уже и забыл, что там, в моральном облике. Да ну его к чёрту. Вы лучше скажите, когда обратно хотите ехать.
— А вот этого не надо. Я, как и мама, тоже меру люблю.
— А я люблю делать, что мне приятно. Мне приятно быть с вами.
— Ого… Андрей Николаевич… Я уже вам говорила. Вы женатый человек, а я через чужую жену перешагивать никогда не буду.
— «Никогда не говори никогда». «Чужая жена» — это моя забота.
— Раз вам приятно со мной, то, выходит, и моя. Езжайте, Андрей Николаевич, не усугубляйте.
— Ладно, — вздохнул. — «Усугублять» не буду… — пошёл к машине. — А позвонить можно?
— Можно, — махнула рукой. — Езжайте, езжайте.

Машина, буксанув на траве, выехала на дорогу. Войдя во двор, Наталья натолкнулась на вопросительный взгляд.
— Мама… ничего не спрашивай. Я его знаю две недели и вижу второй раз. Всё. Это обычный знакомый.
— Обычные знакомые так глазами не липнут.
— Я вижу, что я ему нравлюсь, но это ещё ни о чём не говорит.
— Тебе не говорит. А мне говорит. Он женат?
— Да.
— Ну вот.
— Что «вот»?
— А ничего. Через чужую беду не шагай, на свою наступишь.
— Мама, я что, в чём-то виновата?
— Я тебя не виню — предостерегаю. Бабы, наверное, уже об заборы языки чешут, кто это Наташку привёз, — вздохнула. — Когда уж ты прибьёшься к своему мужику?.. Нам с отцом и внуков надо успеть понянчить.
— Да успеете… Батя, наверное, опять с Маркушей наклюкаются.
— Да и Бог с ними. Они если и выпьют капочку, так только на пользу. Пусть выпьют, — длинно вздохнула. — Ох-хо-хо… Пусть отец отдохнёт, лето ещё длинное, успеет наволохаться.

Максим Иванович действительно клюкнул с другом Маркушей. Всего-то по «мерзавчику», для настроения. Да для путных мужиков это так, только на один зубок. Марк Васильич даже песен не пел. А если он не поёт — значит, не достало до нутра. Максим Иванович вовремя тормознул друга Маркушу, обошлось без песен, и они прибыли по своим домам в добром здравии, хорошей памяти и на крепких ногах.
— Галина, ты где? — Максим Иванович по-хозяйски уверенно встал посреди двора.
— Я за неё, — Наталья вышла из летней кухни.
— А-а… дочурка. Привет! А где мать?
— В магазин пошла.
— А я знал, что ты приехала. Это кто же тебя привёз?
— Да так, знакомый.
— Бабка Васневых сказала, что гарный хлопец тебя притартал.
— Васневская бабушка сослепу в свою калитку-то с третьего раза только попадает. Какой там хлопец! А вы никак с Маркушей вмазали-таки по маленькой?
— Истину розумиешь, дочь моя, — Максим Иванович уселся в тенёчек, под крышу сараюшки. — Вмазали трошки, шоб цыпачки здоровее были. В прошлом годе мы с матерью ездили заказывать, сама понимаешь, всё прошло посуху, ну и что? — подняв скрюченный палец, сам себе и ответил: — Пять курят издохло. Потому как не обмыто было. Это ж народная мудрость. Понимать надо. Обмывка придумана не на баловство хозяину. Это прямая дорога новоприобретённому имуществу и оберег, так сказать. От сглазу и нечистой силы.
— Что-то ты, папка, сегодня разговорился. Иди лучше приляг в прохладке, полежи.
— И то правда. Намаялись сегодня с Маркушкой на жаре.

Вечером, подремав пару часов на диване, Максим Иванович хлебал на кухне холодную окрошку. Заправленная добротной домашней сметаной, окрошка стыло поблёскивала в тарелке. Галина Михайловна готовила мешанку корове.
— А кто это сегодня Наталку привёз? Бабка Васневка тренькала, что гарный хлопец.
— Ну, от хлопца он уже далеко ушёл. Лет около сорока тому «хлопцу», — Галина Михайловна сполоснула руки под умывальником и утёрла их фартуком. — А вот кто он Наталье, не знаю. Говорит, просто знакомый. «Просто знакомые» так не смотрят. Зенками лупал — как ел. Симпатичный мужик, ничего не скажешь, но что-то у него на душе неладно. Взгляд тоскливый, как у бездомной собаки.
— Ну, всё-то ты знаешь, — Максим Иванович с шумом выхлебал последнюю ложку. — Хороша окрошка. Можа, просто с похмелья мужик. Я когда с похмелья, какой у меня взгляд?
— Мутный. А у этого черти в глазах вешаются. Вроде пытается улыбаться, а глаза стонут.
— Э-э-э… Тебе бы вирши писать. Наташ… Наталья!
— Ты не брякай ей про мужика-то. А то начнёшь сейчас: ля-ля да ля-ля.
— Ладно. Наташ…

Наталья вошла с веранды.
— Чего, пап?
— А твой этот знакомый… это…

— Максим…
— Да ладно тебе,—отмахнулся.—Он, это… Он в машинах разбирается?
— Не знаю. Наверное, разбирается, раз своя есть. А чего?
— А пусть бы он нашу поглядел. Может, она ещё и годна. Я в ней ну ни бельмеса не соображаю.
— Неудобно. Что ему, больше и делать нечего?
— А ты его спроси. От знакомых иногда и польза есть. Наладит, вот и будешь сама ездить.
— Ну вот! Зря ты сегодня с Маркушей приложился! Ты на что дочку настраиваешь? Сам боится ездить, а дитё суёт. Не слушай его, Наташка. Ну её к чёрту, эту машину. Нас с отцом чуть не угробили, и ты хочешь? Максим… ну чего ты мелешь?
— Мама, да я ничего ещё и не хочу, что ты расшумелась? Хотя, в принципе, мысль дельная. В городе сейчас очень много женщин ездит. И автостоянка у меня около дома. Папа, я подумаю над твоим предложением.
— Я вам обоим подумаю. Сейчас вот возьму веник и обоим по головам «подумаю».
— Охолони, Галочка. В гневе ты страшна. Иди, доченька, иди.

Машина, о которой шла речь, уже давно стоит в сарае. «Жигуль», «семёрка», или «Семён», как его звал хозяин, пятнадцатилетней старости, досталась отцу за рекордный намолот зерна под самый занавес борьбы за светлое будущее всего советского народа. Максим Иванович, вечный механизатор, такую махонькую машину после «Кировца» или комбайна считал за баловство и ездил от случая к случаю. Да и где в деревне на машине раскатывать? Всё под рукой. В тот памятный день Галина Михайловна с трудом уговорила его скатать в город, походить по магазинам. Походили, называется… При выезде, на кольцевой развязке, лихой придурок на иномарке подрезал его так, что с визгом тормозов они вылетели на обочину, и только чудо спасло их от лобового удара в бетонное ограждение. Кое-как, с трясущимися руками, доехав до дома, Максим Иванович загнал машину в сарай и, войдя в дом, закинул ключи за шкаф. «Хай ей грець»,—только и сказал, вспомнив ридну украиньску мову. Больше за руль своего «Семёна» он не садился. Наталья в институте сдала на права и даже немного успела поездить под отцовским присмотром. Но после того как машину поставили на мёртвый якорь, езда закончилась. И вот отец, выпутываясь из сложной ситуации, куда сам себя и загнал, нечаянно подсказал дельную мысль. И правда, а почему бы не ездить?

В воскресенье, часов около трёх, коротко посигналив, на лужайку у ворот въехал синий «жигулёнок» Андрея. Через пару минут из калитки вышла Наталья, покачала головой и, пройдя к палисаднику, села на скамейку. Андрей Николаевич, смущённо улыбаясь, вышел из машины, встал, облокотившись о крышу.
— А вы настырный.
— Вот такой я,—Андрей захлопнул дверку и тоже пошёл к скамейке.—Вам неприятно, что я приехал?
— Вы меня компрометируете в глазах общественности. Бабушка Васневка уже говорила отцу, что его Наталку гарный хлопец привёз. Насчёт «хлопца»—это она сослепу, так что не обольщайтесь.
— А насчёт «гарного»?
— Это дело вкуса. Бабушке Васневке вы нравитесь.
— А вам?
— Я вас вижу третий раз. Вы не форсируете события?
— Наталья, не надо. Я смею надеяться, что я вам небезразличен.
— Даже если и так, то что из этого следует?
— Пока ничего. Раз я снова здесь, значит, вы мне тоже симпатичны.
— А вас не волнует, как со стороны будут выглядеть наши отношения, если вы будете так часто приезжать сюда?—Наталья помолчала, покусывая травинку.—Да и вообще…
— Ну, если вообще… Не знаю.
— А я знаю. Просто люди скажут, что я стерва, отбивающая чужого мужика. Я не хочу быть в глазах людей стервой.
— А что, между нами что-то было, дающее им право так говорить? Мне интересно с вами, вот и всё.
— А с женой вам не интересно?
— Нет. С женой мне уже давно не интересно.
— Она гадкая женщина, и она вам изменяет с первым встречным?
— Она больной человек.
— Тем более.
— Она психически больной человек.
— Я изучала в институте судебную психиатрию. По мнению психиатров, абсолютно здоровых людей практически почти нет. У основного большинства что-нибудь да не в порядке с головой.
— Не надо. Там всё не так. Это долгая история. Как-нибудь…

Стукнула калитка. Вышел Максим Иванович и неторопливо двинулся к скамейке.
— Так это и есть твой новый знакомый «хлопец»?—Подошёл, протянул руку:—Максим Иванович.
— Андрей… Николаевич.
— Андрей, слушай, а ты в «Жигулях» разбираешься? Это ничего, что я на «ты» и без отчества?
— Нормально. Я к этому равнодушен. В «жиге» немного разбираюсь. А что?
— У нас в сарае «жигуль» стоит. Давно уже. Ты знаешь, с меня ездок—шо с дерьма пуля. Там всё такэ маненько, шо я просто боюсь его ковырять. Вот если бы «Кировец»—да! О то ж машина. Может, поглядишь? А? Наталка бы и ездила на ней. А то мотается девка на попутках.

— У вас что, и права есть? — Андрей, удивлённый простецким натиском Максима Ивановича, посмотрел на Наталью.
— Та у неё всё есть. Она даже немного ездила, а потом меня один пёс… — Максим Иванович плюнул с досады. — Шоб ему, гаду, пусто было. Напугал, в общем. Я с испугу этого «жигуля» в сарай и заховал. Шоб, как говорится, от греха подальше. Вот и стоит без дела.
— Да какой разговор! Идём глядеть?
— Идём.
Войдя во двор, все натолкнулись на укоризненный взгляд Галины Васильевны. Она, конечно, слышала весь разговор на скамейке, ей это, конечно, всё не нравилось, и она смотрела строго.
— Здравствуйте, Галина Михайловна.
— Здравствуйте, Андрей. Эти авантюристы втягивают вас в нехорошее дело.
— Не пыли, мать. Всё будет нормально… если она, конечно, поедет.
Оттянув скрипучие створки двери сарая, Иван Максимович почесал затылок. Под слоем пыли даже цвет машины просматривался с трудом.
— Да… Застоялась карета. Ну, чего? Может, выкатим её во двор?
— Давайте, — Андрей открыл дверку, осторожно, чтобы не измазаться в пыли, отпустил ручник и выключил скорость. — Ну что, потянем?
Машину вытянули, и она, качнувшись, замерла посреди двора.
— Андрей, может, тебе шабур какой дать, а то уделаешься весь?
— Давайте.
Максим Иванович порылся на летней кухне и принёс старый халат Галины Васильевны.
— Это ничего, что женский?
— Максим, ну ты совсем сдурел, — Галина Михайловна попыталась отобрать халат. — Ты бы ещё чего моё принёс мужику.
— Да ладно, Галина Михайловна. Пойдёт.
Андрей натянул халат поверх одежды, подвязался пояском. Наталья прыснула со смеху.
— Да… видок. Серьёзный человек… программист. Хотите, сфотографирую?
— Наташка, Максим, ну что вы, ей-богу? Андрей, снимайте!
— Да ладно…
Оглядев себя и смущённо улыбнувшись, Андрей поправил полы халата и полез в мотор. Посмотрел масло, надел клемму аккумулятора, подкачал бензонасос, открыл крышку трамблёра. Всё вроде нормально. Повернул ключ зажигания. Аккумулятор, вяло мотнув пару раз, замычал. Андрей, посмотрев на Максима Ивановича, развёл руками. Тот понимающе чмокнул губами.
— Бобик сдох.
— Давайте от моего «прикурим».
— Давай. Заезжай во двор.
Прикуренный двигатель, пофыркав для приличия, завёлся и тихо заурчал на малых оборотах.
— Ну вот, ожила ваша карета, Наталья Максимовна. Грязь отмоете и можете форсить. Не знаю, как движок, но с виду машина ещё очень даже… вполне. Только аккумулятор.
— Спасибо, Андрей Николаевич. Сколько вам за работу?
— Бокальчик маминого кваса. Если можно, с горкой.
— Хоть три. Можете и халат её взять в качестве презента. На работе будете ходить.
— Язык у тебя, Наталья, — хоть брейся. Снимайте халат, Андрей, пойдёмте, я вас накормлю, — Галина Михайловна отодвинула Наталью, пытаясь помочь Андрею стянуть свой халат.
— А вы знаете, я не откажусь. У вас на кухне так уютно, я думаю, и готовите вы вкусно. Максим Иванович, машину так оставим или загнать?
— Да куда там загонять? — Максим Иванович замахал руками. — Перемажетесь весь. Наталка отмоет, тогда и загоню. Ездить я ещё не разучился. Идите, отобедайте.

Пока Андрей мыл руки, Наталья принесла ему свежее полотенце. Наклонилась к уху:
— Ох и жук вы, Андрей Николаевич. Втираетесь в доверие?
— Пытаюсь оставить хорошее впечатление.
— Ну-ну… Моя мамуля ситуацию насквозь видит, и у неё своё мнение по этому поводу. И я знаю, что достаточно резкое.
— Поглядим…
— Поглядим.
Все расселись за столом на просторной веранде, хозяйка принесла чугунок с томлёными в русской печи щами, разлила по тарелкам. Максим Иванович вопросительно и красноречиво взглянул долгим взглядом на жену.
— Андрею нельзя, он за рулём, а тебе и вчерашнего хватит.
Андрей, взглянув на разочарованную физиономию Максима Ивановича, засмеялся:
— Мне немного можно.
— А машина?
— Начальник гибэдэдэшного информцентра — мой хороший товарищ. А значит…
— А значит, Галочка, неси графинчик, — Максим Иванович азартно потёр руки. — За знаком-ство.
— Ну, смотрите, Андрей, дело ваше, — Галина Михайловна пошла в комнату и вернулась с графинчиком. — Смородинная наливка. Разливай Максим, только себе не ошибись.
— А то всегда в таких случаях выходит «ух ты», — Максим Иванович раскатисто захохотал. — Не боись, Галочка. Рука тверда, и глаз наш зорок!

Пока Наталья с матерью собирали сумки, Максим Иванович и Андрей вышли за ворота, на скамейку. Максим Иванович закурил.
— Хороший, я гляжу, ты мужик, Андрей. Простой, не заковыристый. Ты мне вот что скажи. Ты чего коло моей Наталки круги крутишь? Ты не обижайся на вопрос. Как мужик я тебя, может, и пойму, а вот как отец — нет.
— Я не обижаюсь. Я сам отец. Правда, у меня парни. Старший уже живёт своей семьёй, а младший учится в институте. Непросто ответить на ваш вопрос, Максим Иванович. В семье у меня сложно, в голове сложно, и вообще в жизни всё сложно.
— А когда было просто? Честно говоря, мне не хочется, шоб Наталка влезала в твои сложности. Ты сначала с ними разберись, а уж потом…
— А потом?..
— А потом пусть сама глядит. Она девица взрослая, тем более уже следователь, думаю, у неё ума хватит разобраться, что к чему.

По всему было видно, что настроение у Натальи плохое, и без разговоров проехали минут двадцать. Андрей, поглядывая в зеркало, видел её сердитые глаза, плотно сжатые губы и с разговорами не лез. Наталья, отвернувшись к окну, молча смотрела на мелькавшие вдоль дороги кусты, поля с зазеленевшей картофельной ботвой. Кое-где извилистыми линиями уже улеглись валки скошенной травы. Лето на самом взгорке. Быстро пролетает сибирское лето. Не успеешь оглянуться — вот уже и листья зажелтеют. Что за разговор был у Натальи с матерью — остаётся только догадываться. Похоже, что разговор не из простых. Андрей, взглянув ещё раз в зеркало, не утерпел:
— Наташа… Вы песню Шуфутинского о старом закройщике помните?
— Ну и что?
— Там слова есть… «Как сказал один еврей, так всё проходит…»
— Ну и что?
— И это пройдёт.
— Вот видите, вы уже меня «Наташа» называете. Андрей Николаевич, давайте прекратим всё это. Я вас прошу. У меня с мамой был очень нехороший разговор. Я не хочу быть стервой. Я не хочу, чтобы меня проклинали ваша жена и ваши дети. Честное слово, я этого не заслуживаю. Не приходите больше!
— Хорошо… Наташа. Обещаю вам, что пока я не урегулирую свои семейные вопросы, я к вам не приду. Но звонить буду, это я оставляю за собой.
— Знаете что! Не диктуйте своих условий! Я вам ничего не должна!
— Наташа, не надо. Конечно, вы мне совершенно ничего не должны, конечно, я не прав. Простите… И всё-таки можно я иногда вам буду звонить?
— Можно… но не нужно!
— Мне нужно. Вы для меня сегодня отдушина. Если вы закроете и этот кислород… В общем, мне будет совсем хана.
— Не жалобите. Вы поняли, что я совершенно безвольная и жалостливая, и уже пользуетесь этим.
— Да ничем я не пользуюсь… — Андрей вздохнул. — Всё, чем я хотел попользоваться в этой жизни, другие разобрали.
— Что же у вас забрали другие? И кто они, эти злыдни?
— Не знаю. Да не злыдни они. Наверное, по судьбе так, всё другим разошлось. Семейный уют забрали, тепло души. Любовь забрали! Этого мало?!
— Ну что вы на меня злитесь? Не хочу я ворованного счастья. Как вы не поймёте — оно добра не приносит.
— И что вы мне советуете?
— Вот уж тут я вам не советчик. Меня отец ещё в молодости остерегал давать в таких случаях советы. Такому советчику — первый кнут. Сами разбирайтесь.
Андрей резко затормозил, прижал машину к обочине. Повернулся к Наталье.
— Наташа, мне так уютно с вами. Может, вы и есть та моя половинка, которую Бог даёт каждому счастливому человеку. Я это почувствовал, когда прикладывал к вашей ступне подорожник, там, на озере. У меня возникло такое острое ощущение нежности к этой ступне с царапиной. Удивительное чувство… Вы знаете… — Андрей помолчал, жёстко помял подбородок. — Я тогда очень удивился этому. Я такого никогда не испытывал, даже когда дети были маленькие. Я не знаю, как это объяснить.
— Не надо ничего объяснять. Андрей… Николаевич, всё это слишком бурно. Давайте подождём. Возможно, всё уляжется и превратится в обычную дорожную встречу. Я вас очень прошу. Вы сейчас меня довезёте, и мы постараемся всё забыть. Договорились?
— Хорошо, — Андрей тихо тронулся, отъезжая от обочины. — Хорошо… так будет разумнее. Хотя, я думаю, мало что изменит — по крайней мере, с моей стороны.
— Ну что вы, право, как мальчишка?
— Возраст у меня такой… с ума сходить.
— Ай-я-яй… Компьютерщик, программист — и такие сантименты.
— Вот такой я…

В четверг в отделе отмечали уход на пенсию капитана Мицневича. Семён Семёныч, в сером гражданском пиджачке и клетчатой рубахе, сидел, ошарашенный неожиданностью происшедшего, потоком хороших слов о себе и выпитым почти без закуски стаканом тёплой водки. Его лучшие друзья, опера́, подарили ему «именное оружие пенсионера-мента» — кобуру с вставленными в неё

шкаликом водки и огурцом. Стесняясь неумения произносить поздравительные речи, они говорили, что метод поиска доказательной базы Семён Семёныча — это новое слово в следовательском ремесле и его надо изучать во всех ментовских школах, что его чутьё научно объяснить невозможно и что таких душевных следователей, скорей всего, больше в отделе не будет. Начальник отдела кадров майор Бахалов, войдя в кабинет для поздравлений, прежде всего позвонил дежурному и приказал шугануть всех посетителей от дверей отдела, чтобы не галдели там и не портили торжественность его речи, и только потом зачитал приказ со словами благодарности за верную службу. Отложив приказ в сторону и пытаясь придать лицу мягкость и демократичность, добавил своими словами, что без Мицневича отделу будет плохо.

— Мóлодежь, — он сделал ударение на первом «о», — ещё не прониклась.

При этом поднял указательный палец вверх и внимательно поглядел на него. Оперá тоже подняли глаза вверх и, ничего там не увидев, разом загоготали.

— Вот и я об этом! Не прониклись.

Так и не сказав, чем «не прониклись», Бахалов вновь сделал лицо казённым и демонстративно двинулся к двери. Публика провожала его разочарованными глазами. Взявшись за дверную ручку, майор оглянулся и, оглядев сидящих с постными лицами, сделал вид, что забыл какую-то мелочь.

— Да, извини, Семён Семёныч, забыл тут один пустячок, — майор вернулся к столу, долго шарился за пазухой кителя и вдруг резким движением, словно двумя тузами, шлёпнул о стол майорскими погонами. — С майором тебя, Семён!

Толпа дико взревела от восторга. Не зря предусмотрительный Бахалов разогнал публику от кабинета. Кого-нибудь точно бы кондрашка хватила. Все бросились поздравлять Мицневича, поднялся гвалт, и кадровик хотел под шумок улизнуть, но от наших оперов сложно сбежать. Майора отловили и налили гранёный стакан вровень с краями.

— Ребята, да вы что, сдурели? Я такими дозами уже лет десять не пил.

— Обижаешь, Михаил Евграфович, — Мицневич, с погонами в руках, стоял растерянный и смущённый до слёз. — Выпей уж, не обижай...

— А... ладно! За тебя, Семён, и пьяным с лестницы свалиться не стыдно, поймут важность момента.

Взял у Мицневича погоны, положил их на плечи клетчатого пиджака, пальцем брызнул водкой на каждый погон.

— Давай, Семён Семёныч, майорствуй. На все наши праздники приходи в форме. За тебя!

Бахалов мужественно выпил полный стакан, зажмурив глаза, помахал руками и, закусив наскоро, заторопился.

— Ну, всё, Семён, я пошёл. Пока не окосел, успею до кабинета добежать, а уж там пересижу. Давай отдыхай... пенсионер.

Начальник следственного отдела подполковник Смагин подошёл к Наталье, тихо тронул её за плечо и показал глазами на дверь. Когда Наталья вышла, он уже стоял у раскрытой двери своего кабинета. Наталья зашла, присела на крайний стул.

— Вот что, Наталья Максимовна, — Смагин помолчал, пожевал губами.

Он вообще никогда и никуда не торопился. Говорил медленно, думал тоже медленно, основательно. Когда был ещё молодым лейтенантом, его звали «мороженый».

— Бахалов чиновник опытный, и он сразу усёк обстановку в отделе. Много ещё «не проникнувшихся». Ты, я считаю, «проникнувшаяся». Так вот... — он замер секунд на пять. — К нам после юрфака приходит парнишка, бери его на стажировку. Приглядывайся к его способностям, учи всем премудростям, натаскивай, ставь ему нюх. Своей добросовестностью и тщательностью ты мне здорово напоминаешь Мицневича. Скорей всего, это результат его школы. Учи парнишку всему, что знаешь. За него с тебя спрос. Всё ясно?

— Ясно.

— Ну вот и молодец. Расширяй плечи под капитанские погоны. Свободна. Да... Вот ещё что, погодь минутку, — порылся на столе, вытащил из общей стопки тонкую папочку. — Дело тут одно завели, по факту самоубийства. Дежурный следователь недостаточно плотно поработал, и, на мой взгляд, тут здорово пахнет керосином. Ни с того ни с сего приличный мужик, как говорят, «без особых окружающих проблем», компьютерщик, умный, значит, и вдруг сигает в окно с седьмого этажа. Вроде как жена его что-то допекла, вроде как не совсем нормальная была, и он решил расстаться с ней таким образом...

Наталья почувствовала, как пальцы мелко и противно начали дрожать. «А как у Андрея фамилия?.. Я даже не знаю его фамилии... Господи, только не он... Да не он, конечно, не он...»

— Бери дело на себя, ознакомишься — приходи, помаракуем. Слушай... Чего-то ты неважно выглядишь. Бледная... Наталья Максимовна, слышь, что говорю?

Наталья медленно потянула по столу к себе папочку и, взглянув со страхом на корочку, облегчённо вздохнула. «Промахов Борис Петрович».

— Слышу я, Михаил Васильич, слышу. Давайте, я разберусь... Постараюсь разобраться. А где вам тут керосином пахнет?

— А ты описание места происшествия внимательно почитай. По своей практике знаю, что когда человечек на такое серьёзное дело решается, — Смагин пальцем продемонстрировал траекторию полёта потерпевшего, — он почти всегда

пытается за собой порядок оставить. Как правило, всё бывает прибрано. А тут по расположению вещей складывается предположение, что перед тем барахтались людишки, а уж потом кое-как, на скорую руку, пытались навести порядок,—Смагин на пару секунд затих в своих мыслях, но на этот раз вынырнул быстрей, чем обычно.—Домашний тапочек чего-то под диваном оказался. Заметь, не старый какой, завалящий и запылённый,—свеженький тапочек. А его родной брат в коридоре стоит, на месте. Значит, после шухера тапок в коридор пристроили, а пару ему не нашли, скорее всего, некогда было. У шторы на окне, опять же, два крючка оторваны, штора провисшая… Шпана эта, что по дури на мокруху прёт, обычно на мелочи внимания не обращает. Не уважает нас, мелкота поганая. На том и горит. Ты почитай внимательно, есть там ещё нюансики, есть. Мне предполагается, что помогли ему этот последний полёт совершить. Помогли… Так бы оно всё ничего, таких летунов сейчас много развелось. Неустроенность, безработица, ну и прочая социальная напряжёнка. Вот люди иногда и сигают в окошки. Всё дело в том, что родственничек его один мне не очень нравится. Сиделый родственничек. Шурин его, брат жены, значит. Это я уже сам по его родне прошёлся.
— А чего пострадавший этому сиделому поперёк стал?
— Всё просто, как лопата: квартиры сейчас в цене, у его жены с головой точно не в порядке, там справочка есть. Выходит, что этому родственничку муж сестры, Промахов, который «пострадавший», сильно в тягость был. Вот такой расклад.
— Хороший расклад. Промахова в могилку, сестру в дурдом, а квартиру… А он там прописан?
— Вот ты всё и узнай. Иди, Наталья, работай. Пацанок придёт—не пугай его сразу всякими мудростями, пусть осмотрится.
— Да сейчас такая молодёжь, их как раз напугаешь.
— А ты уже и не молодёжь? Рано состарилась.

На следующий день Наталья запланировала сходить в психушку. Очень уж хотелось поговорить с женой пострадавшего. Участковый доложил, что её туда упёрли сразу, как был обнаружен разбившийся Промахов. И ещё он сказал, что её брат, Чмаров Виктор Сергеевич, прописан в квартире, где ответственным квартиросъёмщиком считается уже покойный Промахов, ещё месяц назад, по заявлению хозяина квартиры, то есть всё того же несчастного Промахова. С утра Наталья разгребла в кабинете остатки вчерашнего пиршества, открыла все окна, чтобы хоть как-то выветрить табачный дух и запахи мужской крепко гуляющей компании. В дверь постучали, и вошёл парень. Джинсы, куртка, стрижка короткая.
— Наталья Максимовна?
— Слушаю вас.
— Меня к вам направили. Я Андрей Павловский.
«Господи, ещё один Андрей».
— Проходите, Андрей, садитесь вот сюда. Это будет ваше рабочее место. Чаю хотите?
— Хочу. Можно, я за пряниками сбегаю?
— Сбегайте. Только я пряники не ем.
— Фигуру бережёте?
— Как вам сказать. И фигуру тоже.
— Зря. Фигура у вас что надо.
— Шустрый вы парнишка, Андрей. Когда это вы всё успели увидеть?
— А я утром за вами шёл и про себя отметил все плюсы вашей фигуры.
— Говорила я Смагину, что наша молодёжь борзая.
— Это не борзота. Борзоту вы ещё не видели.
— Интересное дело. Так кто кого учить будет, вы меня или я вас?
— Вы меня. Я очень любознательный. В школе посещал кружок «Хочу всё знать». Мало что любознательный, так я ещё и очень скромный.
— Да? Интересно, и в чём это выражается? Я вот не заметила.
— Я скромно прошу вас обращаться ко мне на «ты».
— Ладно, скромник, идите… иди за своими пряниками. Чаю попьём, и я тебя в психушку свожу.
— А что, здесь всех в первый день проверяют в психушке?
— Нет. Только тех, кто посещал кружок «Хочу всё знать». Чтобы исключить рецидивы.

Психушка как психушка, Наталья бывала там уже не первый раз и особых волнений при посещении столь специфического учреждения не испытывала. Обычная больница, только на вахте сидит не ветхая бабушка-старушка, а здоровенный мужик, да окна деревянными решётками закрыты.
— Ты первый раз в этом заведении?
— А что, похоже, что я уже здесь лечился?
— Если ты не прекратишь отвечать вопросами на вопрос, я буду применять специальные меры перевоспитания. Усёк? Мне так трудно.
— Понял, отвечаю,—Андрей, похоже, немного обиделся столь резкому заявлению и неприятию его шутливой формы общения.—В этом заведении я ещё не был и надеюсь сюда никогда не попасть.
— «Никогда не говори никогда». Все под Богом ходим. Так… А у тебя ещё и удостоверения, наверное, нет?
— Обижаете, Наталья Максимовна. Всё у меня есть.
Вахтёр долго изучал красные корочки, сличая фотографию Натальи с натурой. Даже невооружённым глазом было видно, как медленно ворочаются мысли в его голове. Наталья была не в форме, и вахтёр решил, что ему можно покуражиться.
— По какому вопросу?
— Может, вам ещё автобиографию рассказать?
— Надо будет, и расскажете.

— Сейчас... разбежалась,— Наталья аккуратно, но сильно отодвинула квадратную фигуру вахтёра и взглянула ему прямо в глаза так, что мужик стушевался.
— Да я что... Я это так, для порядка... Проходите, вам всё можно, ежели вы оттуда...
— Всё не всё, но кое-что мы можем. Главврач на месте?
— Не выходил. А этот?..— кивнул на Андрея.
Андрей резко сунул под нос вахтёру свои корочки, и тот мотнул головой:
— Да я чего? Я ничего... Проходите.
Наталья знала, где находится кабинет главврача, и уверенно шла по длинному коридору. Андрей шагал чуть сзади, меняя ногу и пытаясь подстроится под её шаг.
— А вы женщина с характером.
— В нашем деле характер иногда нужен, не в детском саду работаем.
— А в остальное время?
— В остальное время надо пытаться оставаться человеком.
— А с характером, значит, не человек?
— Много вопросов задаёте.
Наталья остановилась перед дверью с надписью «Главный врач». Повернувшись, внимательно посмотрела Андрею в глаза.
— Твоя задача молчать, слушать и внимать. Это приказ.
— Слушаюсь и повинуюсь.
— Ну-ну...
Главврач сидел, заваленный бумагами, и, тыча одним пальцем в клавиатуру компьютера, печатал какой-то документ. Увидев входящих, мельком взглянул, затем, не отрываясь, долго искал нужную букву и, найдя её и с облегчением вздохнув, ткнул пальцем.
— Чтоб ты сдохла, проклятая! Заходите и не говорите, кто вы. Я вас узнал, премилая девушка. Представляете, какая-то скотина в бланке отчёта приписала строчку: «Направлять на магнитном носителе». Это значит...— он замахнулся рукой на компьютер.— Это значит, всю нашу лабуду надо прогнать через эту лихорадку. А медсестра, которая занимается статистикой, заболела. И на меня пала эта чума!
— Вы же врачи, быстренько вылечили бы свою медсестру.
— Я психиатр, а не гинеколог, и учить предохраняться и делать аборты не умею.
— Ну, тогда надо старушку на столь важный участок брать, чтобы по абортам не бегала.
— Наши старухи только клизмы умеют делать, а в этом деле ни бум-бум. Да я и сам... как дятел. Ну так что у вас на этот раз? Во, стихами уже говорю. Башня поехала.
— На это раз у нас Промахова Зоя Сергеевна.
— А... Интересный пациент.
— А что, у вас бывают и неинтересные?— Андрей налетел на негодующий взгляд Натальи и прикрыл пальцами себе рот.
— Бывают, молодой человек, очень даже бывают. Любая масса состоит из массы с вкраплением отличающихся частиц. Вы когда плов едите, вам что интересно— рис или кусочки мяса?
— Я не люблю плов.
— С вами всё ясно. Итак, ваша Промахова.
— Скорее ваша,— Наталья уселась напротив доктора, не предлагая Андрею сесть.
Он покрутился, но, несмотря на свободный стул, сам сесть не осмелился.
— Надеюсь ненадолго.
— Что так?
— За ней есть криминал?
— Да как вам сказать...
— Смею вас уверить, она адекватно оценивает обстановку, и если она совершила что-то противозаконное, то прикрываться своим психическим состоянием у неё нет ни морального, ни юридического права. Не так уж она и больна. Просто у неё очень слабая защита от агрессивной среды, и с таким событием, как смерть мужа, в одиночку она просто не справится.
— К вам её доставили по требованию брата?
— Да... Это как-то связано с вашими визитом?
— Вы общались с её братом?
— Накоротке. Очень специфичный субъект.
— Я хотела бы услышать вашу оценку ему.
— К сожалению, мою оценку нельзя принимать как абсолютную в связи с краткостью общения. Но если коротко...— главврач помычал, подёргал в разные стороны губами, закатив глаза к небу.— Мерзость, в общем... Глубоко, я бы сказал— до устойчивых рефлексов, развращённый зэковской средой психологический тип... Неадекватно хвастлив... Моральные ценности, скорей всего, утратили доминанту и могут вспыхивать только при очень ярких эпизодах... Употребляет или слабые наркотики, или фармацевтические средства. Вот, пожалуй, и всё. Ваш потенциальный пациент. Так сказать, от нашего стола— вашему столу.
— Немного подробнее о наркотиках.
— Скорее всего, «катает колёсики», таблетки то бишь... Явно проявляющихся симптомов наркомании не просматривается. Но я их нагляделся уже столько, что для меня и этого контакта достаточно. Но предупреждаю: для судебно-медицинской экспертизы этот вывод был бы скорее всего спорным и пошёл бы в его пользу. Это факт можно принимать только как субъективный.
— А Промахова?..
— А ваша, то есть наша Промахова через пару недель с диагнозом «вялотекущая шизофрения» будет выписана под наблюдение районного психиатра. С моей колокольни, если она криминально где и запачкана, то только с очень пассивной ролью.

На активные действия она абсолютно не способна. Кто ещё из наших пациентов вас интересует?
— Спасибо, к вам у меня вопросов нет. А вот с Промаховой я бы с удовольствием побеседовала.
— При условии, что вы не будете задавать ей вопросов о смерти её мужа.
— Хорошо… Я попытаюсь обойти эту тему.
— Скажите, сударыня, вы никогда не ремонтировали часы?
— ??
— Тут до вас много людей из всяких контор, типа вашей, побывало, и все рвутся с моими пациентами поговорить. Так вот, представьте себе, что я — часовой мастер. Я долго и очень осторожно, всякими тончайшими инструментами, ремонтирую часовой механизм и уже почти отремонтировал его. Приходите вы, берёте… ну, допустим, гвоздь, а то и гвоздодёр, и тоже пытаетесь там поковыряться. Как вы думаете, мне будет потом обидно глядеть, что́ после вас в этом тонком механизме останется?
— Я постараюсь без гвоздя, а тем более гвоздодёра. А мой коллега будет молчать и только слушать.
— Самое главное — говорите с ней непринуждённо, как бы между делом, без нажима. Создайте впечатление, что вам не очень и нужно то, что вы хотите от неё услышать, и она расскажет вам гораздо больше.

В вестибюле стоял продавленный диван-кровать, зачем-то разложенный и застеленный старым больничным покрывалом. Промахову вывела медсестра, усадила её рядом с Натальей и сказала, что у них десять минут для разговора, потому что больной необходимо идти на процедуры. Зоя Сергеевна, сравнительно молодая женщина с пропорциональной фигурой, сидела на диване бочком, напряжённо вглядываясь в лицо Натальи. Дождавшись ухода медсестры, испуганно оглянулась.
— Вы по поводу Бори? Вам что-то известно? Что с ним случилось? Почему он это сделал?
— Зоя Сергеевна, если вы будете волноваться, наша беседа сразу прекратится. Доктор меня предупредил. Успокойтесь, пожалуйста. Мы просто поговорим о разных вещах.
— Хорошо, я буду спокойна… — шёпотом, почти про себя. — Я буду спокойна… Всё… всё… тихо.
— Зоя Сергеевна, вы с братом часто видитесь?
— Что? С Витей? Нет, не часто. Он всё время куда-то уезжает надолго, говорит — в командировки… Но я не верю… не верю я ему. Он когда приезжает из своих командировок, от него так дурно пахнет, сыростью, землёй, как из старого склепа.
— А откуда вы знаете, как пахнет из старого склепа?
— Это так… образно.
— У вас с братом доверительные отношения?
— Он хороший… он добрый, он мне всё покупает…

Промахова на миг замерла, ушла в глубь себя, затихла, прикрыла глаза. Наталья, внимательно глядя на неё, сделал знак Андрею не шевелиться. Промахова вдруг открыла глаза и, словно что-то вспомнив, вздрогнула всем телом.
— Он страшный… тихий… страшный. Он мне говорил… — она вновь замолчала. — Он говорил, что любит смотреть, как голодный человек ест… А сам, когда он голоден, он тоже ест страшно… Давится… Он говорил… — Зоя Сергеевна вновь затихла, и пауза длилась больше минуты.
— Что он вам ещё говорил? Вспомните… Он говорил, что хочет жить с вами? Они ссорились? — Наталья преднамеренно не упомянула, с кем мог ссориться брат Промаховой. — У них была драка?
— Витька ни с кем никогда не дерётся. Он считает, что он сильный, а драка — удел слабых. За интересы сильных должны драться слабые. С Борисом они никогда не ссорились, а уж тем более не дрались. Они просто совершенно разные, и у них не могло быть поводов для ссор, — Промахова уже всплыла из своего зазеркалья, и глаза её вновь обрели осмысленность. Она прекрасно поняла, кого имела в виду Наталья. — Борис считал Витьку подонком. Маленьким и хищным зверьком. Он его при мне звал «Мангуст».

Медсестра показалась в дальнем конце коридора. Это означало, что у Натальи осталось не более минуты.
— Зоя Сергеевна, вас сюда Виктор определил?
— Да… Я, кажется, своим криком перепугала всех соседей, Он вызвал скорую… Меня… Скажите, Бориса уже похоронили?
— Зоя Сергеевна, простите, я не знаю. Я только начала заниматься этим делом. Вы выздоравливайте. Не волнуйтесь, всё образуется…
— Да, да… Всё образуется… Виктор как придёт… А впрочем…

Медсестра взяла Промахову за руку и повела по коридору. Она шла, оттягиваясь назад, как ребёнок, которого ведут за руку туда, куда он не хочет.

До автобусной остановки было метров пятьсот, и дорожка шла по ровной и довольно унылой аллее, засаженной хоть и подстриженной, но пыльной акацией. Как Андрей ни ёрничал, обстановка психушки достала его, и он молча переваривал компот впечатлений. Наталья, изредка поглядывая на стажёра, продолжала осмысливать сказанное, всё больше утверждаясь в мысли, что этого братца-родственничка надо крутить по полной программе. Чутьё Смагина, скорей всего, не подвело его и на этот раз. «…Он тихий… он страшный… он любит смотреть, как едят голодные…» Интересно, что́ это значит — «любит смотреть, как едят голодные»?
— Андрей, чего притих? Психушка давит?
— Если честно — да. Ощущение ужасное.
— На свежую голову скажи мне, почему человек может любить смотреть, как едят голодные?

— А чёрт его знает. Приколы у него такие. Шизанутый, наверное.
— Не хочешь думать.
— А чего тут думать? Человек когда сильно голоден, то не контролирует себя. Это как пьяный. Не контролирует — значит, поступает естественно, не притворяясь. Все правила приличия — это притвора. К примеру: все окружающие знают... предполагают, как я могу выглядеть без штанов, но я их всё равно надеваю, потому что контролирую себя и делаю так, как это угодно другим. Значит, я притворяюсь.
— Ну и что? Наплёл с три короба.
— Вы же сами попросили. Раз он любит смотреть на это, значит, хочет разглядеть человека без штанов. Образно говоря.
— А зачем ему это?
— Ну возьмите и спросите прямо у него. Он что, в бегах?
— Да вроде пока нет. Может, и рванёт, как зацепим. Сегодня он должен проживать по месту прописки, в квартире Промахова. Нет, Андрей, рано его ещё об этом спрашивать. Тут, может быть, какая-нибудь заковыринка, очень важная заковыринка. Спросишь, а он и затаится. Рано... Момент истины ещё не подошёл.
— Скрадываете.
— Да, Андрюша... Хватану я ещё горя с вами. Кстати, а как ваше отчество?
— Максимович.
— Ну вот...
— Но отчество-то вам чего не угодило?
— Ладно. Сегодня мне всё угодило. Давай быстрей, автобус подходит.

Судмедэксперт, порывшись в бумагах, нашёл копию заключения по Промахову.
— По какому поводу тревожим прах безвременно усопшего?
— Как прах выглядел при осмотре?
— Товарищ, пока летел до земли, неоднократно стукался о кромки балконов и ветки деревьев. Так что картина повреждений достаточно многогранная. А что, криминал засветился? Явных следов прижизненного насилия я не углядел.
— Родственничек засветился, которому ещё прижизненный пострадавший сильно мешал.
— А родственничек — с криминальным подкладом...
— Точно. Василий Семёнович, вспомните, может, вам что-то странным показалось при его осмотре? Что-то такое... что отличало бы его от банального самоубийцы. Не вписывается он в этот типаж.
— Да чёрт его знает... Обычный «летун». Сейчас таких много. Вы предполагаете, что его вырубили? А потом уже в полёт отправили?
— Предполагаю.
— Чёрт его знает...

Судмедэксперт в задумчивости сунул палец в рот, постукивая им по зубам. Наталья невольно сморщилась, подумав, где недавно побывал этот палец и мыл ли он после этого руки.
— Присутствовала у него на лбу небольшая... специфическая такая ссадинка... размытая такая. Как будто от удара чем-то недостаточно твёрдым...
— Вы имеете в виду — кулаком?
— Возможно. Но это предположительно. Я его осматривал как обычный суицид. Была бы наколка, можно было бы и поковыряться.
— Ну что, тогда — эксгумация. Труп наисвежайший.
— Дело ваше. Я — как юный пионер на клумбе, всегда готов. Прокурор скажет «надо» — мы ответим «есть».

Мишка, младший сын Андрея, с малого возраста отличался явно выраженной самостоятельностью. С шести-семи лет сам себе готовил завтраки, мог поджарить яичницу, сварганить простенький супец. И не потому, что некому было готовить. Характер такой удался. Когда позже мать стала болеть, всю заботу по кухне спокойно взял на себя. Компьютер одолел тоже практически самостоятельно. На все попытки отца помочь отвечал категорически: «Я сам». На втором курсе института, подрабатывая в салоне по продаже компьютерной техники, на пару с однокашником снял комнату. Собрав дома свои вещи, Мишка постоял минуту на пороге, оглядел квартиру, вздохнул и, сказав: «Всё, дорогие родители, дальше я буду жить сам», — ушёл. Приходил иногда, молча сидел на кухне, курил в форточку, односложно отвечал на материны вопросы и уходил. Евгения приняла его уход спокойно, считая, что только так ребёнок может познать суровые реалии окружающей жизни, а вот Андрей попереживал. Если старший, Славик, стал жить отдельно, уже женившись, и это было нормально, то с Мишкой получалось как-то не так. И вообще, Мишка тревожил... То ли своей замкнутостью, то ли желанием быть незаметным. Если уж быть честным до конца, то Андрея беспокоила схожесть характеров Мишки и жены. Что-то было в них общее. И это настораживало. После знакомства с Натальей у Андрея сложилось окончательное решение уйти из дома. Просто уйти и пожить отдельно. Слишком уж стал заметен контраст общения с этими двумя женщинами.

Андрей сидел на низком стульчике возле ворот гаража и бездумно смотрел на лежащее перед ним спущенное колесо. Выдернутый из колеса кривой гвоздь лежал рядом. Нормальные люди заезжают в шиномонтажку и решают такие проблемы за пять минут. Денег было в обрез, следующий заказ даже и не маячил на горизонте, и тратить полсотни выглядело бы фатовством. Колесо своим намертво присохшим к диску ободом смотрелось так противно — глаза бы не глядели. Неслышно

подошёл Григорий Федотыч, сосед через три гаража. Подошёл, присел на корточки, тоже стал внимательно разглядывать колесо.
— Дак гвоздь же! — Федотыч вдруг громко шлёпнул себя по лбу. — А я думаю: чего ты его снял? Ты ж его гвоздём проколол.

Федотыч слыл в гаражах большим оригиналом. Специалист на все руки, в периоды больших и малых запоев он, только повернув из-за угла крайнего гаража, громко кричал: «Выпить хочу!.. Рыбы хочу!..» Это обозначало, что Федотыч готов пойти на алкогольный контакт с любым желающим. И желающие, как правило, находились. Андрей поглядел на Федотыча, недоуменно пожал плечами.
— И правда! А я думаю: чего это я его снял?
— Ну и чего?
— А ничего. Перебортовывать надо.
— Ну и чего?
— А не хочется.
— А… А я думал…
— Да нет. Это другой случай.
— Понял, не дурак. А хошь, за пять минут перебортую?
— Ну да?
— А у меня приспособуха специальная есть.
— А… Ну, тогда оно конечно…
— А тебе слабó за пивком сбегать?
— Слабó. Денег нет.
— Какое совпадение — у меня тоже. А ты чего такой квёлый? Глисты завелись?
— В душе.
— Это хуже. Если бы в брюхе, тогда оно проще, а коль в душе… Много водки надо, чтобы вывести.
— Пробовал, не получается.
— Не то ты пил. Коньяк, наверное… Коньяк, он… — Федотыч закрутил палец в небо. — Он того… От коньяка на философию тянет, а это, я тебе скажу, чистая погибель. Надо веселуху, какую попроще, в таких случаях потреблять. Бражку там или самогонку.
— А что, есть разница, от чего дуреешь?

Федотыч встал, поглядел сверху вниз на Андрея, махнул рукой.
— Толкуй тебе. Ни хрена ты не понял. Сиди, сейчас принесу.

Федотыч принёс скобу для отжатия бортов колеса и полстакана водки, закрытой, натянутой поверху стакана резиновой перчаткой.
— Во, нз особого резерва, держу на случай предсмертных событий.
— Чего это ты меня хоронишь? Да и вообще…
— Выпей, Николаич, не кобенься. Я от души.

Андрей поглядел на Григория Федотыча, и в горле защипало от тихой нежности к этому чудаковатому и порой совсем непонятному мужику.
— Федотыч… ты…
— Пей, паря, пей…

Андрей медленно выпил тёплую, пахнущую резиной водку, занюхал рукавом.
— А перчаткой-то чего закрыл?
— Чтобы градус не уходил. Давно уже стоит.
— Спасибо, Федотыч. С меня бутылка.
— Ладно, на том свете угольками рассчитаемся. Пошёл я, дел у меня невпроворот.

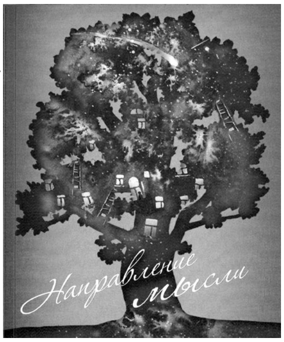
«Учреждение», так Андрей звал своё ООО «Файл», тихо, каждый сам по себе, сидело за своими компьютерами и творило. Кто что. «Учреждение» представляло собой уродливое сочетание советского АСУ в том понимании, которое в него заложили при зарождении этой отрасли, и фирмы, купленной богатым хозяином по случаю, как мы иногда покупаем на базаре что-либо для хозяйства, будь то картофелечистка или открывашка для бутылок. Хозяина никто ни разу не видел, и его эфемерный образ иногда только витал в разговорах, когда дело касалось подписания договоров. Некто Барсуков жил где-то в Москве, занимался большим бизнесом, и договоры на заказы отправляли ему по почте. На месте всеми делами заправлял маленький, тихий и картавенький еврей Модест Феоктистович Гроднянский, кандидат каких-то наук, пионер советской вычислительной техники. Вся его задача состояла в соблюдении сроков выполнения заказов. Чем занимались сотрудники в межзаказное время, его категорически не касалось. А сотрудники отчаянно калымили, кто на чём. В основном это были небольшие сетевые программы для всяких мелких шарашек, что развелось как нерезаных собак. Андрей работал «под крышей» Витали Воронцова, менеджера, предпринимателя, агента и программиста в одном лице и грузном теле. Виталины широкие связи позволяли иметь постоянную прикормленную клиентуру и почти стабильный приварок к основной зарплате.
— Витя, хочешь стандартную ситуацию?
— Если стандартную, то хочу.
— Можно, я у тебя на даче поживу?

Виталино удивлённое лицо показалось из-за монитора.
— Ни фига себе ситуация. А почему стандартная?
— Ну как почему?.. Человеку надо пожить одному, и он просит товарища разрешения пожить на его даче. Сто раз в литературе описано.
— В литературе, может, и… С женой поругался?
— Я же тебе сказал: хочу пожить один.
— Так… Не зря у тя «железа» зависала. Я всё чую. «Старый я уже…» Добрался-таки бес до твоего ребра. А что, у прекрасной Дульсинеи и крыши своей нет? Тю… Как Аркадий Велюров, в пэтэушницу влюбился?
— Господи, наговорил-то — сто вёрст до небес. Всего и дел, что пожить один хочу. Ты же знаешь, что у нас с Евгенией давно нелады.
— Андрей, — Маринка белочкой шустро вынырнула из-за своего монитора, — у тебя женщина?!

— Марина, я тебя умоляю…
— Мариночка, у каждого мужчины должна быть женщина, иначе он просто «голубой».
Марина обиделась.
— Интеллигентный ты человек, Витя, а логика у тебя кирпичная. «Должна быть, не должна быть». Любовь — это же порыв… страсть. Это неуправляемая энергия!
— Вот на твоего Лёшу налетит страсть, тогда посмотрим, что ты запоёшь.
— Чирей тебе на язык, Витюня. Мой Лёшка таким заболеваниям не подвержен.
— От этого ты и нюнишь иногда втихушку?
— Дурак ты, Витя, и не лечишься.
Маринка обиделась окончательно и спряталась за монитор. Витя попал в самое болючее место. Её Лёша, как бегемот, мог только жрать и спать сутками. К чужой женщине страсти его не обуревали, а если судить по тихим слезам Маринки, то и к своей тоже.

Окончание следует

ДиН ревю



Направление мысли

Сборник произведений участников
VIII Межрегионального совещания молодых писателей

Челябинск: ЧГИК, 2018

7-8 апреля 2017 года в Челябинском государственном институте культуры силами молодёжной литературной мастерской «Взлётная полоса» при поддержке областного общественного движения «За возрождение Урала» проведено VIII Межрегиональное совещание молодых писателей. В нём приняли участие более 80 авторов из Челябинска, Копейска, Миасса, Златоуста, Снежинска, Чебаркуля, Магнитогорска, Каслей, Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Кургана, Каменска-Уральского, Оренбурга, Новосибирска, Кемерова, Орска и Донецкой Народной Республики.

Руководили семинарами первый секретарь правления Союза российских писателей С. В. Василенко (Москва), сопредседатель Союза писателей России А. Б. Кердан (Екатеринбург), член правления и приёмной комиссии СПР В. Ю. Ерофеева-Тверская (Омск), редактор отдела прозы журнала «Наш современник» Е. В. Шишкин (Москва), секретарь Союза писателей России П. Н. Краснов (Оренбург), секретарь Союза писателей России, руководитель Совещания Н. А. Ягодинцева (Челябинск) и молодые авторы О. Ралкова, Е. Юркова, В. Литвиненко, Ю. Линникова, П. Карякин, Е. Тарасенко, В. Иванова, С. Янин. В работе Совещания участвовал руководитель Совета молодых литераторов СПР А. Тимофеев (Москва).

В сборник «Направление мысли» вошли лучшие стихи и рассказы, обсуждённые на творческих семинарах.

Наталья Тагорина

* * *

Е. Т.

Когда пишу кому-нибудь
«Ты» или «Вы» — как прикасаюсь, —
Мне слово проникает в грудь
И раздвигает чёрный хаос
В густой крови.
И это — вдох
Из безвоздушного сиянья…

И я люблю.
И Слово — Бог.
И нет меж нами расстоянья…

Валерия Литвиненко

* * *

Не привыкай к огню, к теплу,
К борщу с душистым белым хлебом.
Иди вперёд под сонным небом —
Босой, по битому стеклу.
Не плачь, что жизнь уже не та,
Что все слова давно не новы.
Не жди совета от шута,
От труса — помощи и крова
Не жди. Не бойся. Не проси.
И не надейся понапрасну.
В себе грядущее неси —
Запал души безумно-страстный.

Альбина Мамаева

Двенадцатая палата

Тили-тили-тесто…

Палагея третий день колола дрова. Третий день тюкалась.

Здумала сэкономить: мол, к зиме-то и сама тихоньку переколю. За перву чурку взялась прытко. До другой дело дошло толькя назавтре. Ну Пашка, ну племянник! Не паразит ли? Нарочи́ вить выбрал. Одне сучья! Да сырушши. Топор-от вязнет, выташшить неможнó. Кóлка подавалась туго. За три дни исколола шесь чурок. Осталась без рук и плюнула. Придётца раззори́тца на бутылку белой да позвать каково-нить тунеядца.

Сходить ли, чё ли, перехватить маленькя да отдохнуть?..

Лешай на, чайник-от на плите простыл. Придётца железну печку подтопить. Без горечево не вного набéгашь. И так уж ноги не носят.

Откинула пóлог, достала с печи лучину… В малировану чашку плеснула вчерашных штей, сунула на печку. Из битончика под столом зачерпнула сметанки. Отрушала краюху хлебца…

Докуль шапéрилась да направляла, бытто охота было поись…

Да, паря, давно ли челяди полна изба была?! За стол-то сядут, дак успевай подавай. Да все добры ребята-то, все работяшши. Куды бы ни отправил, бегут вперегонки́, не оговáриваютца. Жили бы дома, дак разе бы оне допустили мать ко дровам? Зá три-то дни не одну бы поленницу набýхали.

Чё бытто плáчу? Не сама ли заставляла учитца-то? Кажин день приговаривала: мол, мы с отцом всю жись в навозе копошимся, дак хочь вы учитесь ладóм. Можеть, не будете по-нашему-то мантýлить. Оне как словом, так и делом: школу кончили — толькя их и видела! И сам, Матвей-от, не обробéл, убрался в Монастырь. Двенадцатый годок в сырой земле лежит. Вот и договорила: сижу одна в избе, што бухретка. Кукýю. По-первости-то все глаза выплакала…

Вай! Хто это там мимо избы-то прошёл? Подбежала к окошку — паря, наш бригадир. Он это с кем идёт? Незнакомай… не наш чей-то… Но-ка я побегу, обревý их: не добрай ли какой мужик-от?.. Чё, што приежжай?

— Митрофанович, той-ка! Далёко идёшь?

Фёдор остановился:

— Да вот, в сельсовет направились. У тебя ничё не стряслось?

— Ничё не стряслось, слава Бох. Спросить хотела: у тебя слободных-ту мужиков нонче нету? Ну, таких, штоб не шибко вино пили?

Попутчик Фёдора ушагал вперёд, потом приостановился. А как увидал, што тот беседует, вороти́лся. Палаше он поглянулся ишшо сыздале. Ишь какой форсистый, сразу и не скажешь, што шарамыга сóсланный. Дак на это чё глядеть-то? Оне вить тоже всяки бывают. Она не успела ничё подумать, а язык вперёд мозгов выскочил:

— Фёдор Митрофанович, а этово ишшо никуды не определил? Давай ево мне дня нá два, нá три. Дрова расколоть. Эти дни и столовáтца у меня будет, — Палагея повернулась к незнакомому: — Не сумлевайся, я не обижу — кормить сытно буду и уплачу хорошо. Хоть деньгами, хоть вином.

Бригадир было отворил рот, да приежжий остановил:

— А я согласный. Докуль оформлять будут, тут и поживу. Как тебя звать-величать? Не выгонишь?

— Не выгоню. Постелю тебе в сенях, да и спи. Звать меня Палагея Ильинишна.

— Меня Игнатом зови. Ну вот и познакомились. Шшитай, што наняла меня. Еслив лопати́на подходяшша найдётца, дак счас и останусь, — подмигнул бригадиру: мол, не мешай.

Ударили по рукам. Фёдор собрался чё-то сказать, да Игнат перебил:

— Ну, хозяйка, кажи́ дрова.

— Нет уж, родимый, давай по-человечьи. Наперёд в избу зайди. Разболокайся, а я тебе штей подогрею, докуль печка не простыла. Ись-то будешь?

Игнат живо откликнулся из-за полога, видать, отошшал, горемыка, в дороге-то:

— Не откажусь. Штей-то, наипаче со сметанкой, я бы похлебал. Дома некому варить. В основном на сухом пайке, казённым питаюсь.

В две минуты всё со стола смёл! Ране хороший-то хозяин работников за столом и выбирал: ест хорошо — дак и работать будет в охотку.

Расси́живатца не стал, вышел и с ходу направился ко дровам.

Палаше охота поглядеть, как он работать будет. Выглянула в окошко. Гли-ка, в мужичьем-ту на

городсково нисколь не находит, мужик и мужик. Ноги ладно стоят, широко. И топори́шше в руке как влитое. Сам небольшой, сухошшавый, а поленья-то хорошо отлетают.

Неловко стало, вроде как подглядыват за нём. Отошла. Заглянула в чигун — штей ишшо на завтре хватит. В казёнке под рушником по́лон противень ша́нег. Третьёводни ишшо стряпалась, а всё це́ло — ись-то некому. В кобрегу́ всякой солени́ны полно́… Обшем, ужну направлять ни к чему… Пойду-ка я пособлю дрова складывать!

Двоём-ту работа скорей подаётца! Один колет, друга складыват. Дак он и ей успеват помогчи́. А Палаша к этому непривышна. За неё сроду нихто работу не делал. Неловко ей как-то стало, маленькя замешкалась, а тут Игнат передал ей полено. Палаша заторопилась да дёрнула на себя. Игнат охнул, схватился за руку:

— Ё-пэ-рэ-сэ-тэ! — из пальца торчала зано́зишша с полвершка.

Палаша заполошно бросилась выручать:

— Ой, лешай на! Меня хто гнал? Не шаве́ль рукой-то, не шаве́ль, я счас выташшу.

Отстегнула с фартука пинку, ловко поддела занозу и выдернула её. Игнат охнуть не успел. А она не переставала хлопотать.

— Я всё гляжу на тебя, Игнатий, да диву даюсь. Сунь я своёму Матвею эдак полено-то, дак он бы собрал всех богов с боженятами. Видать, ты не простой мужик-от, грамотный. Вишь как: п-р-с-т — и всё!

Так и пошло. Позавтрикают — идут на дрова. Пристанут — садятца тут же, на чурки. Разговаривают. Кому скажи, сроду не поверят, што Палашка по часу языком ме́лет. И вить нихто шибко не выпытывал, а она останови́тца не может. Так-то подумать: об чём ей рассказывать? Не хуже других жись прожила. Грех плакать.

— У мамы с тятей одна росла, боле ребят Бох не́ дал. Тятя, царство небёсно, хороший был. Не ругательный. Уж шибко чё не по нему, дак и то са́мо большо́ — закряхтит. А обо мне мря умирал. Отказу ни в чём не знала. Взамуж-от не голой выходила. Из скота с собой дали не́тель полуторогодовалу, свинку су́поросну да куриц десяток. Из обстановки — койку с периной, с подушками и со всёй постелей. А уж одёжи дак по́лон сундук. Шуба нова была, борча́тка, пальто с бобровым воротом, доха́ да две теплушки. На ноги катанки с галошами да на выход чёсанки белы. Платьёв было толькя буднишных пять ли шесть да два выходных. На́ голову надеть — не перешшитать кате́ток! И цветисты, и клетчаты, и с тистями. И полушалки. Да две кашемировы шали! К лету дак папенька из Кежем привёз босоножки да портсменки. И Матвею-то хромовы сабоги сшили. Это уж штоб мне с мужиком не стыдно было в люди вытти. Он вить сиротой рос. Маменька ево шибко жалела. А тятя никак не хотел за нево отдавать. Мол, бирюк бирюком — сперва молчит, а потом, глядишь, и поколачивать возьмётца. Слава Бох, не угадал — руку ни разу на меня не по́днял. Чево не было, тово не было. Можно сказать, што и не обижал, даром што молчун. А ребята ево побаивались. Он их в узде держал. Дак как не забоишься? Ему и ругатца не надо было, толькя начнёт сбу́ривать исподлобья — у них в голове все вши умрут, не то што чево. И бить не надо. Чё греха таить? Он и со мной не шибко ласковый был. Матвей-то, не тем будь помянут, всё молчком да молчком. И у нево штоб над ухом нихто не зудел. Другой раз увижу, чё-то он неладно делат, а подсказать боюся. К нему вить толькя сунься с советами, сразу заревёт как припадошный: «Тебя не спросили, как делать!» Раз сказала, два сказала — нет, он по-своёму делат! Ну и лешак с тобой, как знашь. А моё дело сторона. И перестала ле́зти.

А Игнат-то разговариват как с человеком. Ей скрывать нечево. Не заворова́лась — за́ руку нихто не поймал. Никому сроду не нага́дила. С однем мужиком век прожила. Хулить не за што.

Ей об Игнате-то тоже охота узнать, да как-то неловко. Думат: чё он расскажет? Как отправили на поселенне?

И вот сидят на чурочках. Разговаривают. Тут отворяютца ворота́, заползат Захариха. Доковыляла до дровеника, поздоровалась:

— Здорова, Палаша. И тебе, Игнат Ананьевич, доброво здоровья! Я вить к тебе, пособи, ради Христа. Не знаю, сколь ишшо в сельсовет ходить. Со снохой совладать не могу, выжива́т вить меня из избы, будь она трижды проклята́. Как посадили Илюху, она и задича́ла. Во́дит всяких, нажабаютца вина — дратца нады. А мине куды деватца? Ночами не сплю, караулю — хоть бы избу паперёсами не сожгли.

Палагея отворила рот. Вот дак здорово! Я ево на работу наняла, кормлю-пою как бездомново… нарядила в старьё, обула в ото́пченки. Дак он хто, Игнат этот?

— Ну-ка, баушка, давай начнём сначала. Рассказывай: как звать, где живёшь, хто обижат?

Захариха приободрилась, сяла против его на чурку.

— Дак ты чё, не признал меня ли, чё ли? Ты вить в Кежмах-ту черезь заулок от моёй сестры сро́дной жил, от Аришки-то. Я вить напрохот туды летала, всё у ней останавливалась. С тобой здоровались… Ну! Гляди пушше-то!

Игнат хлопнул себя по лбу:

— А я думаю: где видел?! Счас признал, тётка Надя. Дак это чё, твой Илья сидит?

— Не бай, скоро год как в каталажке. Люськю свою выгораживал, а сам сял…

— Дак с чево Люську-то? Я вить их обоих знал. Её не Раисой звали?

— Раиса-то у нево перва была. Тоже мир не брал… До драки не раз дело доходило. Сам виноватый, тунеядничал. А она на работу гнала́. Вынудил, паразит, разошлись. Ну и чё? Променял шило на мыло… Где он её надыбал, Люськю эту? Илюха до неё выпивать выпивал, ну не так штобы запивался, а она-то не пропускала! А пьяна баба — сам знашь: сказать ничё нельзя, всё ей не́любо. Мото́вка, даром што своими руками рубля не заработала. Ну и хлебнула я с ней! Она Илюшке-то незако́нна. Как ево посадили, её сразу с казённой фатеры и попёрли. Она ко мне явилась. Житья никаково не даёт! Пьёт как пропасти́на. Да всё с мужиками, у самой-ту деньжонок нету. Счас опеть с каким-то схлеснулась… Дак уж моё взяли́сь пропивать. Как руки не отсохнут, у старухи всё уташшили. Не поверишь, в кобрегу́ не то што нонешных — ланских́ запасов не остаётца! — тётка Настасья задрала подол, спустила чулок пониже колена. — Гли-ка, и коленка, и всё стегно синём-синё! Это вчерась. У ней вить у пьяной-то не все дома! А тут явилась, навеселе́, конешно, но не так штобы… Дай-ка я с ней поразговариваю. Должна же добры-то слова понять! Потерпи, говорю, маленькя, умру — мне с собой ничё не нады будет… Всё вам останетца. А она хохочет: дескать, ковды ты ишшо загнёшься, а мне сёдни опохмели́тца нечем. Вот вить кака́ курва! Подхватила стеклянку рыжиков солёных — и в дверь. Я хватилась — последни рыжики-то! Ты, говорю, много их собирала? Но-ка поставь счас же на место! Паря, она не долго поворачивалась: «Подавись ты своими рыжиками!» — да изо всёй силы как запузырит в меня стеклянкой-то! Спасибо, хоть не убила. Вот сволота́ навязалась на мою голову. Креста, говорю, на тебе нету. Отольютца тебе мои слёзы… Дак с грехом пополам вытурила её…

— Тётка Надя, а ты в милицию-то на неё заявляла?

— Я ково заявлю? Была бы грамотна, дак как бы не заявила. А ходить ходила, обсказывала минцанеру-то. Сроду бы не пошла, она меня вынудила. Дак я потом раздумалась: вот почево я её в избу-то пустила? Сама кругом и виновата. Милиция-то ни при чём…

— Как это ни при чём? Хто за тебя засту́питца, еслив не милиция? Люди специально на этом сидят, деньги получают. Давай договоримся: я с понедельника еслив дела прима́ть буду, тожно и к тебе заверну. Всё обскажешь. И не сумлевайся.

Захариха призадумалась, потом махнула рукой:

— А чё мне на людей глядеть? Утре и приду! У пьяниц-то одна шайка-лейка! У этих хватит совести, за бутылку родну мать не пожалеют… Печёнкой чую, што добром не кончитца.

Старуха хотела сунуть Игнату узелок с яичками (за то, што выслушал, да за совет), побоялась, што осе́рдитца. Заковыляла на выход. До самых ворот оглядывалась да кланялась.

А у Палаши язык к нёбу присох. Ради Христа, я на ково наячилась? Вот дак работник!

— Ну чё, Палагея Ильинишна, пошли чайку пошвыркам? — Палаша моргнула. — Мотри-ка, обыгалась…

— Ладны, Игнат Ананьевич. Почаёвничам.

Она и на своёво-то хозяина не ругалась, а на чужово мужика много не наревёшь, хоть сколь сердися… Весь вечер в молчанку играли. Спала тоже худо. Утром кое-как сползла с койки, выходит на́ избу, а Игнат уж за столом сидит. Чайник скипятил, чашки на столе стоят. Сам не пьёт, её дожида́т.

— Палаша, не сердись. Садись за стол. Спрашивай хоть об чём, всё обскажу, толькя не дуйся, — не выдержал, заулыбался.

Палаша-то если на ково и сердилась, дак на себя: пошто никово об нём не узнала у бригадира-то? Но всё же не удержалась:

— Ну и чё лыбишься? Э-э-э, смешно дураку, што рот на боку. Давай завтрикай. А потом потолкуем.

— Дак шибко и рассказывать-то нечево. В милиции всю жись отработал. С Татьяной разошлись. Давно уж… Ребёнка у нас не было. Счас отправили на пензию. Вот и потянуло в родны места. Думал-думал… Хто меня дёржит? Ни кола ни двора. Дай, думаю, съежжу — избушку присмотрю. В порту Федьку стретил. Он меня и сосватал к вам. А в самолёте всё плакал, што участкового у вас нету. Поработай, мол, хоть сколь-нить. Наготово-то без минцанера худо. А нового к осене́ послать обешшались, не раньше.

— Вай, а я-то, вся беспута, тебя вить за ссыльново приняла. Уж и так, и эдак крутила: што за мужик? Откуль взялся? Уж хто-то ангарский — дак у знакомых бы остановился… Так и утвердилась, што тунеядец сосланный!

Игнат расхохотался:

— Да, паря, надумала дак надумала… Не голова, а дом советов! Спросить-то чижало было? Давай садись чай пить. Да обговорим всё.

— Нам с тобой ково обговаривать? — тут Палагея подняла глаза. — А ты куды это подчепури́лся? Гли-ко, и бороду сбрел, и дикалоном набрызгался… Уежжашь куды?

— Дак я и говорю: присаживайся… Понимашь, я не люблю кругами-то ходить. Погляну́лась ты мне шибко. Три дни под одной крышей про́жили, а я бытто век тебя знал. Вот как скажешь — так и будет. В обшем, пошёл я в сельсовет. Еслив соглашусь поработать, жить всё лето буду на Болтурине. Дают мне там обчежитте на время. Ну и чё — соглашатца мне ли нет? Имей в виду: еслив согласье дам, у тебя до осени время будет. Посоветуешься с дитями, подумашь…

— Да… подумашь… Подумашь, да не скажешь.

— Ну, сразу не отказывашь, и то слава Бох… До Болтурина-то сколь кило́метров? Недалёко вить? По выходным на пироги бегать буду.

— Вай, с этими кило́метрами тоже закружа́лись. Сколь себя помню, сроду пять было. Чё это — пять-то? Рукой подать. Ни машину, ни коня сроду не просили. Кому в школу, кому в больницу — все пешком бегали. А летось наехали каки́-то… Однако, неделю по́лзали по дороге с инструментами. Дак намеряли семь! Счас из-за них лишных два кило́метра ходить приходитца.

Ушёл Игнат. А у Палаши — ни дела, ни работы. Эсколь годов об мужиках не задумывалась. Стыд сказать, грех утаить — а за нево бы пошла. За этим мужиком — и в огонь, и в воду! Ей-бох, пошла бы, хоть с закрытыми глазами. Увижу ево — сердце бу́хат, вот-вот выскочит. Кому скажи, дак засмеют. А с другово боку поглядеть — и худой мужичонка, да всё оборо́нка. А уж Игнат-то не какой-нить… Не чета нашим мужикам, нет, не чета! За чё ни возьмётца, ничё из рук не выпадат. Ну дак чё говореть — худово на работу в милицию работать не возьмут!

Всё бы ничё, да народ-от ково скажет? Скажут, Палашка ума решилась. Шестой десяток доходит — она взамуж засобиралась. Прославлюсь на всю деревню. Вай, каку задачу-то за́дал!

Опеть по-другому рассудить — работы в своём дому хватат. То крышу починить, то проконопатить… Дрова, да снег всю зиму чистить, воду таскать. Один огород сколь здоровья отымат! Плачешь, да делашь — исть-ту охота! Вёснусь эвот — гряды садить, а я с поясницей расклячилась! Люди полоть зачинают, а я ишшо не отсадилась…

Вай, дефка, ково делать-ту?! Откуль лешак выбросил этово Игната?

…Сбе́гаю-ка я к Устинье, пушай картишки раскинет. Хуже не будет. С мужиком сойтись — это тебе не лучину переломить.

Живо сгреблась, побежала.

— Как думашь, Устя? Мужик-от видать, што добрый. И ты гли-ка: давай, грит, жить вместе.

Та ополоснула руки, достала колоду карт, подсяла ко столу:

— А чё тут думать-то? Я тебе и без картов скажу: в шестьдесят годов не каждый день сватаютца. До меня доведись — не отказала бы.

Тут Палагея спомнила, как на той неделе Устинья отчехвостила её за то, што Палаша позвала Шурку направить крышу на бане. Думали, живо сделат, а он три дня прошепе́рился с этой крышей…

— Однако, здря я к тебе сунулась. Я вить знаю, из-за чево ты меня взамуж выпехнуть хошь… Всё за Шурку своёво трясёшся? Язык смузо́лила тебе говорить: не нужон он мне. Сошлась бы ты с ём, сколь народ-от смешить будете? Чё на меня пялишься? В карты гляди!

— Гляжу. Вишь, бубновый король выпал… А в голове у нево дама пикей. Это ты. И король этот к тебе со всёй душой. Сама гляди, а то скажешь, што вру. Гли-ка, гумага ложитца. И твой интерес. Это вить выпало тебе знашь чё? Взамуж звать будет. Всё честь по чести, распишетесь вы. Не тряси головой-то! Соглашайся!

— Так-то так рассказываш, да это всё на твой аршин. А нашим бабам толькя на язык попади! Завтре же в Кежмах услышат. Бо́ле-то боюся, што Васькя, меньшой-от, узнат. Сколь годов отца нету, а он всё меня к кажному мужику ревнует. Как дойдут слухи, сразу ко мне прилетит. Не здря третий день шшоки сара́паютца… это уж у меня ко слезам. А сёдни и́четца весь день. Точно, он помина́т!

— А ты на ребят не оглядывайся. Всех одна подняла, всех в люди вывела. Ишь, ревнует он! А чё тут не живёт? Пособлял бы мамке-то. Я думаю, это ево невеска науськиват. Штоб после тебя, не дай Бох, избу твою не́ с кем делить было. Ну-ну, перестань! Вот помело, ково-нить да сказану́! Иди лучче домой да подчепури́сь. Ты в девках-то у нас башше всех была! Одна коси́шша чё стоила. Все ребята на тебя за́рились. А наряжалась — как куколка. Я так и думала: мол, эта ни за што тут не останетца. Счас-то смешно, а товды всем рассказывала: мол, Палашка в Москву поедет, на Любовь Орлову учитца будет. Вот те крест! Не веришь — спроси у нашей ро́вни, всяк скажет. Тебя оболокчи́ в базарну одёжу — нихто тебе твоих годов не даст. Прямо девка!

Палаша подошла к зергялу, погляделась. Заправила под платок волосы, одёрнула юбку. Маленько подумала и сняла фартук.

— Дак мне перед кем выхвалятца-то? По всему дню в огородишке…

— Как перед кем? Счас жених из сельсовету явитца, а у невесты подол в саже.

Палагея было замялась, но всё же решилась:

— Знашь чё? Всё ж-ки как-то мне не по себе. Ладно — народ… я вить и сама-то не знаю, чё делать. До меня доведи́сь, тоже бы осуди́ла. Ну-ка, три дня мужика знаю — и на́ тебе: взамуж побежала. Скажут: это што за нетерпёж?!

— Оно конешно, на каждый рото́к не накинешь платок. А ты с другой стороны погляди. Наши-то матеря как взамуж выходили? Примерно, моя мамушка тятю первый раз увидала, как оне свататца к ней из Рожковой приехали. В другой раз — на венча́нне. А прожили всю жись душа в душу. И твои вить тоже из разных деревень были. И чё? Худо жили?

— Не бай, это счас завели моду по три года дружить.

— Вот-вот! Дак им куды торопитца, молодым-то? А наши года уж под горку покатились.

— Вай, Устя, дай тебе Бох здоровья! Правду што, побегу домой.

Игнат с журналом в руках сидел на крылечке. Её поджидал.

— Ты ково там чертишь? Журнал-от, однако, новый. Годный ишшо. Вай, весь лист исчертил!

— Вот, с судóку сижу. Не видел, как ты подкралась…
— Вóсподи, спаси и сохрани!.. Это што за судока? Ради Христа, где ково подцепил?
— Да это на наш ребус находит, толькя японскай…
— Тьфу ты! Испужал меня до смерти! Я уж думала, чем-то захворал,— Палаша пристроилась на ступеньку.— Ну, чё с Болтурином-ту надумал?
— Всё, Палаша! Отказался я. Ну их к лешему. Всех денег не заработашь. А нам вного ли надо? Две пензии, да на книжке есь, нá избу-то копил. Конешно — в шисьдисят годов жених из меня не первосортный… Чё молчишь? Уду проглотила? Можеть, я тебе не по нутру, дак ты скажи сразу…
— Нет, не скажу! Не скажу, што не по нутру. Я тоже не молодуха. Скажу как есь, а ты не перебивай. Сёдни весь день думаю. Врать не буду — поглянулся ты мне. Про любовь говорить — мы уж не в таких годах. А вот што доброво мужика в деревне с собаками не найдёшь, это верно. Я, примерно, всё лето спать ложусь — думаю, и с постели встаю — думаю: ково нанять огород загородить? Все столбы сгнили. А на задáх, видал, цело прясло упало. Поднять некому. В прошлом годе фулюганьё все огурешны гряды обчистили. Дак не столь съели, сколь истоптали. Не знаю, сеóгоды садить ли нет… А давай-ка, Игнат, сядем за стол. Я пива натцежу. Пьёшь пиво-то? Черёмушно-то?
— Я чё не пью-то? На нём вырос. Палаша, мне как-то неловко спрашивать, а мечтаю с первово дня. Как зашёл в деревню, сразу на ум пало. Сама знашь, как жили после войны. Пироги-то мама стряпала по большим христовым празникам, а в основном бурдуком питалися. Дак еслив ты знашь как, свари-ка мне бурдучкý…

Палагея цедила пиво, разливала по стаканам. Ставила на стол закуски. А сама приговаривала:
— И бурдукý наварю, и пирогов настряпаю. Я уж до чево истосковалась об семье-то! Будешь у меня как сыр в масле кататца. Присаживайся, Игнаша, ко столу.

Игнат взял стул в углу, Палаша остановила:
— Нет уж, садись суды. Хозяин у меня сроду на этом месте сидел.
— Ну, родна, выпьем с устáтку, даст Бох — не последню. Давно я домашно-то пиво нé пил.

Выпили. Съели по чашке пельменей.
— Вай, Игнаша, чё-то мне с одново стакану в голову ударило!
— Дак ты весь день крошки в рот не брала.
— Дак ты чё думашь? Испереживáлась вся… Уж и так, и эдак… А! Хоть как сделай, на каждый роток не накинешь платок. Так и так скажут: молоды бабёнки мужиков натти не могут, а старуха отхватила! Давай уж еслив сходúтца, дак сразу. Не молоденьки. Пó сердцу ты мне. Я не без глаз, вижу: смирный да работяшший. А я, спроси в деревне, счас бы хоть с каким ужилась. Ты, Игнат, не думай, я на твоё богатство не зарюсь. Сколь у тебя на сберкнижке лежит — не спрашиваю. Не машú руками, сама знаю, што с простым карманом не много наскáчешь. Ну вить и я не кака-нить. Изба своя, всё хозяйство есь. И хозяйка не из последних, дом вести — не хвостом трясти. Тратитца на меня не нады. У меня и на похороны отложено — и одёжа, и деньги. А как же? И схоронить, и на поминки…
— Я её взамуж зову, а она мне об поминках! Двоём-то, глядишь, подóле протянем. Мне вить тоже нелегко, шшитай, всю жись один. Тебя не обижу, не бойся. Вместе будем внучат рóстить. Ишшо и дедушкой поживу. Я уж об этим и не мечтал… Чё тебе рассказывать, как одному-то жить, наипáче старику? Случись чё — изголовье поправить некому. А с тобой-то я ишшо о-го-го! Так што тут и у меня свой интерес. Спасибо, родна, што в сéмью примáшь. Умру — можеть, и на мой гроб кто-нить слезу уронит…

Молитва на ночь

Свекровка испереживалась — давно не опровéдывали. Дак запереживашь — не молода уж, девятый десяток доходит. А чё сделашь? Мужик-от всю зиму дó дому не дотыкатца, из одной командировки в другу. Не до гостей.

А вчерась с вечера наказал, штоб никуды не убегала. Дескать, порáне с работы вырвусь, дак поедем к маме.

Сколь ни торопились, успело стемнять. Само-то основно — успеть посветлý чижолу дорогу проехать. По горам-то всё не слава Бох — то склизко, то мóкро. За два шага никово не видать — петля на петле. Я дак эту дивногорску дорогу и днём-то пóнага ненавижу, а ночью и дóсталь.

Да, паря, годá-то берут своё. Ране эти килóметры и за дорогу не шшитали. А счас едешь-едешь — конца-краю не видать. К ночé добрались. Мало-мало в баньке ополоснулись, поужнали — и на боковý. Баушка наша осталась давлення мерять да таблетки пить. Обшем, шапéрилась по избе да новости рассказывала. Я слушала-слушала и задремала…

Не знаю, сколь проспала, разбудилась — хто-то разговариват во весь голос. Тéмесь, хоть глаз выколи. Это хто чево? Неуж в кутé телевизер оставили?.. Дак голос чей-от знакомай… Вай, мы вить в деревне! Она, баушка-то, кому ково рассказыват? Прислушалась:
— …яко Спаса родúла еси душ наших…

Сообразила: молитву нá ночь творит.
— Восподи, за всех усопших молюся. За младенцев моих… видать, за мои каки-то грехи Ты им нисколь пожить нé дал, сразу прибрал. Чё уж я таково сделала? Ну да Тебе, Восподи, видней. За мужа, отца ребят моих, молюся. Прожила я за ним как у Христа за пазухой. Заздря ни разу меня не обидел. Сколь уж годов нету ево. Сама-то я давно хвораю, тоже бы уж пора… а вот живу… Обо всех

усопших молюся… Не знаю, Восподи, можеть, это и грех? Одново мнука схоронили, а другой-от на восемнадцатом году вышел и́з дому и с го́лком. Боле ево нихто не видел — ни живово, ни мёртвово. Вот я всё и думаю: ну как живой он? А я уж давно за упокой молюсь. Дак вить двадцать два года об нём ни слуху ни духу… За маминьку мою молюсь и за папу. За дядю Петю, што вырастил нас как своих. А ишшо за мамашу, свекровку мою. Всех челядят на́ ноги поставила, спасибо ей. За сестру мою молюсь. Бывало, што и стырили с ней, наипаче маленьки-то. Ну дак хто без этово вырос? Сёдни расстырили, назавтре опеть вместе.

Она перевела дух, помольчала.

— «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Восподь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоево, яко Спаса родила еси душ наших». Я, Восподи, хочу попросить у Тебя об живых. Сперва за сыновей моих. Один-от тут живёт. Жалко мне их. В деревне вить хто работяшший-то, тем отдыхать нековды. По всему лету треплютца в огородишке. Да избу ремонтировают да перестраивают. Изба-то матеру́шша, это вить толькя сказать — три этажа! Я говорю: вам почево этот сарай-от? Одной приборки — сколь време́шша нады! Нет — нисколь себя не жалеют! Как здоровья хватать не будет, хватятца — правильно мама говорила. У другово опеть работа шибко чижола. Вот и болит за них душа. Ты, Восподи, не думай, я бы за худых да беспутых просить не стала — уж никому не нага́дили, нигде ничем не замарались.

Оборвала себя:

— Вай, паря, нисколь памяти-то не стаёт. Я сколь раз молитву-то прочитала? Однако два раз… «Богородице Дево, радуйся, Благодатная Мария, Восподь с Тобою; благословенна Ты в женах и благословен Плод чрева Твоево, яко Спаса родила еси душ наших»… Мнучата вот тоже все далёко живут. В Красноярском-ту дво́и толькя осталися, спаси и сохрани их. Две в Ленинграде, одна в Новороссийском… (Уж поближе-то женихов не нашлось!) Ну да Бох с нимя, лишь бы всё ладно было. Из ребят меньшой-от опеть в Америках. Уж годов двенадцать, как не тринадцать… Де же он живёт-то? Вот лешакова память (прости, Восподи!). Записано вить у меня, листик на швейной машине лежит… Дак огонь-то как зажгёшь? Ребят разбужу… Ну ладно… Это вить шибко чижало в чужой стране-то жить. И люди-то все не наши… Спо́млила! Флорида! Это как всё равно у нас Красноярск, так у их Флорида. А город-от называтца Орландо. Ну, адрес-от, конешно, не знаю… Дак вот, Восподи, дай Ты ему хоть каплю разуменья, штоб на чужой-то стороне не пропал парнишка. Невесок всех тоже прости и не обойди своей милостью. А ишшо, Восподи, хочу попросить Тебя об Митрии Анатольевиче да Владимире Владимировиче. Оборони их ото всех болестей, Восподи, это наши президенты. Гли-ка, оне сколь работают — ночей не спят. Наставляй их на путь, а наказывать не наказывай. Ты не хуже меня знашь, как чижало со страной нашей развратной сладить. Пособи Ты имя, ради Христа. Не для себя прошу, для народу. Про всех ли, чё ли, спомлила? Вай, я про Колю-то помянула ли нет? Однако, забыла. Дак вот, меня вся деревня пужа́т: мол, почево с этим тюремшиком связалась? А мне чё, што он тюремшик? Свои пятнадцать годов он отсидел. В сиротском дому рос, ево хто добру-то учил? А счас здоровья-то не стало, он и вино бросил. Уж каждо утро ко мне зайдёт, опроведат. И дров натаскат, и снег вычистит, и в лавку по хлеб сходит. А главно, што чаю со мной попьёт и все новости перескажет… Ну вот, счас и спать можно. «В руце Твои, Восподи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой: Ты же мя бласлови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь».

Баушка наладилась поверну́тца на бок. Не с первово разу, но всё же перевалилась. Вздыхат. Видать, не спитца.

— Восподи, ишшо Тебя спросить-то забыла! Вот раздумаюсь я: а всё же Ты меня берегёшь. И парализовало меня, и в кобрег я падала, и с поветей обрывалась. А сколь раз я убивалась — не перешшитать! Потом мозгами пораскину: то ли берегёшь, то ли всё же наказывашь? Уж сколь годов я маюсь, свету белово не вижу с этим давленнем. Голова-то с ним отдыху не видит, день и ночь раскалыватца. Ноги парализованы были, тоже наготово отказываютца ходить. А счас ишшо одна не́мочь привязалась — вот болит у меня бок, никакой моченьки нету. Всем на свете лечу, нихто не берёт! За што всё же мне мученне-то это? Гли-ка, ста́ре меня в деревне уж никово не остаётца. Не то што старики, а и старушня вся вымерла. Никуды не годна стала, небо копчу́. Ишшо маленькя — придётца из-под меня горшки вытаскивать. Это вить не дай Бох никому. Так-ту самай бы раз убратца… Вай, Восподи, поторопилась я, чуть не забыла! Счас умирать никак нельзя. Деньги на похороны-то я уж было накопила, да пришлося внучке отправить. Я ей обешшалась помогчи на свадьбу, как взамуж засобиратца. А без копейки как умирать? Не дай Бох, осердятца: чё это мать не подумала, нечем и помянуть! Нады утре сошшитать, сколь осталось. Ну, месяца за три-четыре подкоплю… Можно и умирать будет.

Я так и не дождалась, ковды она уснула…

Наутро мужики убежали у́ды на налимов ставить, а мы остались домовни́чать. Чё-то наша баушка невесёла. Спрашиваю, не захворала ли, оборонишна мать.

— Я здорова-то не живу. Подумываю: не съехатца ли с ребятами? Дак не знаю, уживусь ли с невеской-то… Уж у ней карахтер, а у меня-то ишшо хле́шше… Хотя, конешно, недолго уж осталося…

— Ково думать-то? Собирайся, да поехали с нами. Уж шибко не поглянетца — обратно увезём.

Гляжу, баушка моя в лице переменилась, крéститца:

— Даже думать забудь. Не поеду я к вам!

— Ишшо не башше! Пошто не поедешь-то? Не к чужим зову, к родному сыну.

Мне бытто обидно показалось. Это уж какá такá? Сроду с ней не стырили ни об чём. Сам-то у меня трясётца над матерью, уж она отказу ни в чём не знат. Ково бы ни попросила, ково бы ни придумала — всё предоставит. Осердилась на ково-то?

Я какэсь растерялася. Сижу, молчу, перебираю в голове: чем не уноровили?

— Ты, родима, не думай, вы тут ни при чём. Я за эти года нагляделась. Отцель в город-от знашь сколь старух переехало?! Дак жива-то ни одна не воротилась. В городах-ту, родима, старухам подолгу не живётца. Сколь раз замечала: не успеют увезти — через месяц-два, глядишь, повернулась!.. Уж не знаю, то ли из-за климату, то ли от тоски. Вот и везут домой хоронить. Вишь, сколь канители с вашими переездами. Я уж тут, сколь Бох даст, ишшо поживу.

Двенадцатая палата

В палате лежало шесь баб. Четверых сёдни выписали. Остались двоём. Пóпили чайку, засобирались здремнуть. Слава Бох, тихо, и кровати не скрыпят…

Нет, не здря говорят: свято место пусто не быват. Привели под вечер старуху. С виду-то она ничё, сохранная. А до койки адва доковыляла. Сперва отдышалась, потом уж поднялась, слóжила все свои причиндалы в яшшик да в шкап…

— Ну чё, девки, будем знакомы. Как вас звать, с порогу я не запомлю, а меня зовите Зоей Матвеевной. Семьдесят семь годов. Привезли с пупочной грыжей, — она сидя стянула ботинки, поставила их в кошель, обула тапки. — Вы не поверите, делали уж мне эту грыжу. От силы годов пять прошло. Ну и чё? Кишку эту вытянули, мотали её, мотали… Замотали и воткнули обратно. Так и хожу с этим шишаком… Погодите, девки, манéнько — опóсле доскажу…

Ушла с телефоном в колидор, взялась всех обзванивать.

— Ну вот, дитям долóжилась. Остался дружочек. Этот обождёт.

Лида заинтересовалась:

— Это, што ли, мужик, или дружите просто?

— Дружу… Надоел с этой дружбой хуже горькой редьки! А попробуй не позвони — сам вить начнёт досажáть, отчёт спрашивать. Ну-у, што ты! Я ево вдоль и поперёк знаю, боле сорока годов вместе работали. Потом ево баба умерла, мой умер… царство им небёсно… А с этим стретилися в лавке незначай, поразговаривали. Стали в гости ходить по-стариковски: то он ко мне зайдёт, то я ево опроведаю. А счас обнаглел! Требует, штоб я к нему ходила да жрать таскала! А я ему: ты фигу не хошь? Вари сам! Дак ему ишшо нéлюбо. Ты, грит, молода-то уважительна была. Коне-е-ешно, ты же у меня начальник был! А счас я тебя кормлю — стало быть, я и начальник!

В дверь просунулась чья-то голова:

— Девочки, давайте по кроватям, счас принесу градусники, будем тинпературу мерить.

Зоя Матвеевна не обробела ответить:

— Чё её мерять-то? Нормальная тинпература…

Закончила с горем пополам разболокатца, уселась на койку.

— Я каково лешева сижу? Ково дожидаюсь? Кому нужна старуха, штоб с ходу к ней бежать? — кряхтела-кряхтела, всё же выцарапалась из ямы. — Вот почево он меня в приемной эдак лáпал? Всё брюхо болит! Ох ты, Восподи, как на этой койке спать-то? Вся скрыпит, тово гляди рассыплетца!

Сняла халатишко, улеглась.

В это время дверь отворилась, зашли три врача с медичкой.

— Баушка, не укладывайся. Я вить сказал, што придём тебя поглядеть. Как себя чуствуешь? Полегче стало ли нет?

— Ой, лешай на! Давеча ты один и то всю меня ошшýпал, а счас ишшо троих привёл… Ково-то не доглядел ли, чё ли?

Самый сурьёзный, с усами, видать, начальник ихный:

— Подымай подол-от, подымай! Да кажи своё брюхо, — полóжил руку, помял. — Вишь, баушка, мягче стаёт. Ничё, вылечим. Уберём грыжу, забéгашь как молода. А счас начнём с капельницы.

— Дак у меня её уж убирали так-то… Я думала, што грыжу вырежут — и у меня сразу брюха не будет. А оно, вишь, чуть не до коленок виситца. Не поверишь, я взамуж-от выходила — худушша была, в чём толькя душа держалась: вся одёжа на мне как на колý. Сабоги хлябают. А мужик всё нахвáливат: мол, до смерти люблю таких звонких. Смех и грех… Через год родúла, сразу стала толше в три раза. Ну всё, думаю, скажет: почево мне така корова? Он и тут вывернулся: дескать, на што мне худобá? Штоб в койке её граблями искать? Ну всё, поглядели, дак идите. Я сёдни из мóчи вышла, не успела легчú, вы уж тут как тут.

— Зоя Матвеевна, на эвот, выпей, — медичка сунула кружку. — Еслив чё на дне останетца, подлей туды водички, размешай и тоже выпей.

— А это чё? Не отравлюсь?

— Не должна. Это барий. Часа через полтора пойдём тебе кишки глядеть, после капельницы.

— Оне куды девáютца, кишки-то? Все тут. Хоть не ложись! Не успешь ноги вытянуть, оне опеть каку-нить лихоманку придумают!

Тут подскочил ишо один в халате:

— Ну-ка, подыми подол ишшо раз. Повыше-повыше… — ткнул пальцем в бок. — Так больно?
— Больно…
— А тут больно?
— Больно…
— И тут тоже больно?
— Вай, ради Христа, дак как не больно-то будет, ковды сёдни ты уж пятый мне в это место тычешь?!

Опеть в дверь заскочила медичка:
— Вот привела вам новеньку. Знакомьтеся, Алина. Она ненадолго. Обследуют и домой отпустят. Ты, Алина, ложись суды. А эта койка у вас вить тоже проста́? Девочки, постелите на неё клеёнку, к вам послеоперационную везут, — вильнула хвостом — только её и видели.

Посте́лю направить не чижало. Тут и с носилками явились. На них девчончишка — под простынёй не видать. Перевалили её на кровать. Скрючилась, бедна, лежит, не шевели́тца. А минуты черезь дветри как завоет! Да всё громче и громче, прямо навзрыд девка ревёт, слезами захлёбыватца, а сама спит. Да давай по койке кататца, тово гляди — голову об ставни́к зашибёт. Или, оборонишна мать, глаза себе выцарапат. А пушше-то испужались: мол, не дай Бох, еслив рану на живу́ нитку сшили, да она разойдётца. Дефка-то от наркозу ишшо не отошла, никово не понимат. Глядит на́дико. Давай мы с Лидой-то её держать, по голове гладить да уговаривать. Уж шибко нам её жалко, челядёнок ишшо — годов четырнадцати. Да без мамки, одна! Повести́ли медичку: мол, делай ково-нить. Она, правда, слова не сказала, прибежала с уколом.

Мы по своим койкам расходитца не стали — не дай Бох девка опеть би́тца начнёт. Нам не чижало. Покараулим.

Гляжу, Алинка с ума сошла, испужалась с непривычки.
— Чё, — говорю, — в больницах-то ишшо не бывала?
— Бывала. Мне в этой больнице операцию делали. Аппендицит вырезали. Четыре года прошло. У меня тут деда работат анестезиологом.
— Это, по-простому, наркозник ли, хто ли? А счас с чем попала?
— С аппендицитом.
— Ишшо не башше! Новый вырос? Свят дух Восподний, я таково ишшо не слыхивала.
— Так получилось. Когда мне операцию делали, деда уежжал. А тот дяденька, который выреза́л, был пьяный. И потом я долго болела. Сейчас говорят: мол, всё неправильно зашито, много спа́ек… А можно мне в розетку около вас зарядку включить?
— Чё нельзя-то? Она не моя, включай… Дак оне опеть операцию делать собрались?
— Не знаю… Вот сделают обследование, потом деда профессора привезёт. Скажут. А я эту палату знаю. Мне когда семь годов было, тут моя мама умерла. У ней сердце слабое было…
— Ох ты, ради Христа! Худо без мамки-то? Некому пожалеть. А папка?
— Есть. Хороший. Только он женился… И родили сестрёнку. А она такая ненавидная! Вся в свою мамочку. Всё время ябедничает. И я почти всё время живу у деды с бабой.
— Им годов-то полно?
— Да, совсем старенькие. Бабуле пятьдесят семь, а деду вообще скоро шестьдесят…
— Это разе старость? Оне ишшо твоих ребят помогут вырастить.

Ничё боле не успела нам обсказать, позвали на узи. Алинка всполошилась:
— Ой, а можно чуть-чуть попожже? Я только причешусь и ресницы подкрашу.
— Ишшо чё придумашь? На тебя там какой лешак глядеть-то будет? Собирайся живо!

Увели нашу девку на весь вечер. Я никак не думала, што врачи всю ночь вошкаютца с обследованьем-то. Ни днём, ни ночью спокою не видят.
— Ну, — говорю, — Лида, называтца — дали нам выспатца. Дело к ноче́, а мы всё девку оглаживам… Завтре, глядишь, ишшо каку-нить приго́нят… Опеть полна палата будет.

Как словом, так и делом… Идёт медичка, ташшит капельницу баушке и нову соседку ведёт. Сама занялась нашей Зоей Матвеевной. А девка-то сразу смекну́ла, ково мы там де́лам двоём у койки, напустилась на нас:
— Чё вы там делаете? Нашлись добреньки! Чё вы к девке лезете? Не видите, што она от наркозу отходит? Не мешайте ей, отойдите счас же, не лезьте! Всё равно она ничё не понимат!

Дак какэсь нас оттаскиват, ревёт лихоматом. Нам не до неё, а она ишшо тошней раззорятца:
— Я четыре операции перенесла, нельзя её шевелить. Пушай сама отходит. Лежит тут барыня, а вы скачете кругом! Думаете, она вам завтре спасибо скажет? Аха, держи карман шире, даже не подумат! Вот помяните моё слово!

Из своёво угла заревела старуха:
— Ва-ай, дефки, строчно бегите по медичку! Ой, тошно мне-ка, край-край приходит!

Я было сперва подумала, што она нарачи́ ревёт, штоб эту большероту заглушить. Потом оглянулась — она вся красна, жилы на шее надулись… Нековды переспрашивать, побежала! Тут уж фершалица с места врысью рванула:
— Ой, вы уже? Чё-то шибко скоро…
— Чё у тебя скоро? Убирай скорей эту городьбу́, а то все ваши шланги порву! Ради Христа, скорей! Вытаскивай меня из ямы-то! Да не пялься ты — в уборну нады строчно! Ой-ой-ой!.. ишшо и залихоти́ло… Это хто чево заспелось… ой, однако, конец мне…

Медичка струхнула, давай всё убирать:
— Дак мы вить не сами, нам дохтор сказал — простимулировать, вот мы и поставили…

Баушка хваталась руками за край матраса, за ставник, за медичку… никак не могла поднятца из корыта.
— Да штоб вам всем померéшшилось с вашей симуляцией!.. ташши хоть ведро ли, ково ли!..

Докуль та бегала, Зоя Матвеевна с Божьей помочью всё же сяла на край кровати, девки исхитрились подсунуть под неё утку… Она, бедна, наготово ослабела, вся побелела, пот ручьём… какэсь голова с плеч покатилась!..

Мы-то испужались не на белай свет, всех затрясло. И про девку забыли. Да она, видать, с укола, затихать стала. Только склыктывала, да нет-нет рукой дёрнет. Ну, слава Бох, хоть одна обыгалась. Фершалица пригнала уборшицу. Та явилась тоже с недобóром: старуху вить нады обихóдить, всё кругом прибрать, постелю переменить… Ты што! Зоя-то боитца слезть с судна: не дай Бох, мол, опеть погóнит в уборну. Уж лучше посидеть лишну минуту. А уборшица привязалась, давай поминутно заглядывать:
— Ну чё, можно уже убирать?

Куды тебе торопи́тца? Хто тебя гонит? Фершаличка всё же насмелилась, зашла:
— Как вы, Зоя Матвеевна, полéгчило? Простите, ради Христа! Мы-то чё, тоже подневольные. Врач назначил специально, штоб у вас всё нутро прочистить…

Зоя уж маленько оклемалась, но пошевели́тца пока не могла — руки висели плетьми. Всё же не вытерпела:
— Да ставь ты чё хошь! А мне-то пошто не обсказали? Собрались меня чистить, а я ни сном ни духом! У вас голова на плечах есть ли нет? С нонешными лекарствами и молодой-то не всяк успет до уборной добежать, не то што така колода, как я. Наипáче еслив вместе с поносом ишшо и залихоти́т! Ну-ка — из рóту бежит и отовсюль! По добрý-то пошто было заране на постелю клеёночку не полóжить? Под кровать бы судно поставили да ведёрко. Да каку-нить тряпи́цу на обтирку. Неуж чижало было? А вы гли-ка чё наделали! Старуха кругом всё облеквáсила, а счас посиживат на утке, меж ногами ведро дёржит. Уборшице работы на весь вечер хватит. А, не дай Бох, загляни хто добрый в палату, скажут: у старухи не все дома… Ну чесно слово, со стыда бы сгорела!

Наша новосёлка бросила свой кошель на пол, брякнулась на кровать, нога на ногу. Первым делом воткнула музыку, давай звонить по телефону. Да разговариват, видать, всё с мужиками. А сама хохочет, сама хохочет, какэсь закатыватца. И вить ишшо успеёт за всимя в палате глядеть! Всё заметит и замечанне сделат обязательно. Одна не так лежит: дескать, после операции не на том боку спать нады. Друга не таким мылом моетца — пахнет нескусно и кожу всю стянет. А баушка и овсе неправильно на утку устроилась! Как хошь, а я дак пóнага ненавижу, хто в кажду дыру с советами лезет! Ну, думаю, эта зараза даст нам тут всем прикурить, нервов не хватит — всё леченне насмарку…

Кончила она переговоры. Давай про себя рассказывать. Мужик у ей есть, двое челядят. Всё ладóм, живут хорошо. Сама она работат на автобусе. Да на большом. Да не билеты продаёт, а шофери́т! Дак мы и́здива вышли. Вот оно чё! С мужиками круглы сутки, вот она и базлáт. Мужичьё разе доброму научат? Пить, курить да материтца! Она и обличьем-ту мужик мужиком.

Рассказыват, а сама всё с напором, с напором! Да спомнила про бедну девчёнку, давай опеть нас отчитывать. До тово нас отвороти́ла от себя!.. Выключили электричество, легли. Ладно, лешак с тобой, хоть не болтай. Поглядим, как завтре после операции запоёшь.

Ишшо до завтрику врач зашёл, порасспрашивал, каки лекарства переносит, ково ей нельзя. Да как выспалась… Она и тут отличилась!
— Доктор, я вчерась забыла сказать, мне вить нады две операции сделать!
— Ну-ка, ну-ка, што за операции? Видать, я худо направленне прочитал, напомни.
— Дак у меня, вишь, — она откинула со спины свою копну, — маленько пониже плеча жировик растёт. Однако уж боле кулака. Чё-то всё бытто маленький был, а счас мешать стал.
— Ты, девка, не одичала ли? Тебя суды почево направили, не забыла? Желчный пузырь вырезать! Это вить разны операции-то!
— Да чё разны-то? Я всё натóдель продумала! Слушай сюда. Я за свои деньги обследованне прошла. У меня все гумаги с собой, — полезла в кошель, выташшила документы, суёт ему под нос. — На, погляди. Значит, так: сперва вы мне убираете этот жировик, потом переворачиваете нá спину да и делайте чё вам нады! Я вить не здря ума болтаю, это штоб лишный раз наркоз не ставить. И вобше, это у меня пятая операция, не нады меня учить!

У дохтура — глаза на лоб!
— Ну-ка, учёная, собирай манатки, ишши себе врача в другой больнице. Мы операции по заявкам не делам.

Как ни в чём не бывало сунула гумаги обратно в кошель, побежала догонять врача…

…Не было её без малово два часа. Чё-то долго её терюшили. Мы уж из терпенння вышли дожидать…

Услышали далёко! Голос-от мужи́чий, што тебе из трубы. Ревёт коровой на всю больницу!
— Я кому сказала, отпусти меня! Я кому сказала? Мне на воздух надо, дышать мне нечем! Отпусти, сволочь. Хошь, штоб я тут задóхлась?!
— Не реви ты, не реви… Приехали в палату, потерпи маленько…
— Не затыкай мне рот, коза малолетняя!

С телеги сама на койку ни за што переползать не хочет. А силкóм такý тушу стаскивать — мужиков

звать нады. Да кое-то как всё же свалили. Она и там не лежит, де́куетца!
— Отворяйте окошки, счас же отворяйте! Отойди с дороги, урод, ты ходишь! Вам всем надо, штоб я задо́хлась, а вот выкусите! Сама убегу!

Жаба в рот бабе! Ей по бокам-то у койки железны сетки по́дняли. Видать, тоже боятца: не дай Бох соскочит, её хто тогда удёржит? А она бьётца и бьётца, тово гляди, все загоро́дки вышибет. Санитарам-то чё? Привезли да ушли.

Остались одне бабёнки, совладать с ней никак не можем. Фершалица сбегала по сонный укол. Дак, дефка, она лежит, машетца руками и ногами, никак не даётца поставить! Медичку до слёз довела. Она, бедна, и так из мо́чи вышла.

Это вить не секрет, врачи-то и так днюют и ночуют на работе. Да если мы все начнём тут концерты ставить, их надолго ли хватит? У врачей нервы-то тоже не жалезны. Ты, погляди, думаю, фершалица к ней с добром, а она рожу воротит! Иди, грит, к такой-то матери! Вот кака́ страми́на! Тут, видать, фершаличка тоже осердилась, заревела:
— Но-ка замолчи! Думашь, от твоёво дичанья легче станет? Больно ей! А ну-ка разбереди́шь рану да завтре чистить придётца?! Чё потом делать будешь? Што за кругова́ баба!
— А ты хто така́, штоб мне указывать? Я сказала, уйду, лучше не лезь,— опеть замахала своими мотовилами.
— А я вот возьму да позову врача, пушай тебя, как умалишённу, ко кровате ремнём привяжут! Боро́нишь лежишь, слушать лихо!
— Ябеда-корябеда! Я вижу, што у вас тут одна шайка-лейка. Ну, я на вас найду управу! Быстро давай мой телефон! У меня сосед минцанером работат, вот вызову его, вы у меня тут попляшете! Посадит вас в каталажку, и Вася не чешись!

Уж ревела она, ревела, а потом ишшо и по-матерному всех отправила. А чё поделашь? Дуракам закон не писан.

Медичка-то молодец оказалась, успела ей укол в голяшку воткнуть!

Помаленьку-полегоньку стала затихать. Слышим, заскулила:
— Ради Христа, отворите хто-нить окошко… ой, задыхаюсь, воздуху мне не хватат… дайте хоть глоток воздуху свежево… вай, это што за народ? Вы пошто не подойдёте-то? Не видите, што умираю, дайте хоть раз питну́ть! Сидят как исусики… Дайте стакан соку яблочного…
— Дак тебе вить нельзя сразу-то после операции. Потерпи, не челядёнок.
— Вот мымры! Да заплачу́ я вам за сок, подави́тесь вы этими деньгами! Я вить если с койки-то подымусь, дак вам тут небо-то с овчинку покажетца, лучче дайте!— и давай опеть ругатца на чём белай свет стоит.

Сколь ни сердись, а жалко бабу. Окошко-то не отворить, на улице морозишша. Намочила салфетку, обтёрла ей рот. Потом, думаю, пообмахивать ли, чё ли, её, взяла полотенчишко. Стою, машу́. А она не перестаёт:
— Сердца у вас нету… фашистки навязались. Не видишь, худо мне,— и закатила глаза…

Я испужалась: лешак знат, чё с ней! А не дай Бох — сурьёзно? Побежала по медичку:
— Ково делать с фулюганкой-то? Соку просит.
— Сок нельзя, пушай воду хлеба́т. Глотка три можно.

Пришлось подержать ей голову, отхлебнула маленькя. Глаза вроде проясняютца, глядишь, перестанет буровить. Она и вправду полежала, открыла глаза, заговорила как человек:
— Если не обиделась, помахай ишшо. Пожалуйста.

Так и махала, докуль она не захрапела.

Наутро спрашивам:
— Ну как, поглянулось, как тебя в наркозе-то обмахивали? Или не нады было подходить? Ты вить какэсь дичала, подотти-то страшно, не то што чево. Или не помнишь?
— Простите меня, я не нарачи… Ну мне до тово то́шно было! Я прямо помню, что мне воздуху не хватало… дышать прямо нечем было…
— Во-о-от! А девка вечёр тоже не с добра плакала… Мы вить никак не хотели к тебе подходить, да пожалели… Не от ума, поди, ревела…
— Всё! Я поняла. Забыли, ладно? Меня Кристиной зовут.

Из уборной приковыляла Матвеевна:
— Девки, слыхали, чё мне сёдни врач-от сказал? Штоб я весь день голодовала! Я ему патро́шу: мол, у меня вить сахарна боле́сь, мне ись часто нады… А он слова до себя не допускат. Дескать, с утра брюхо набьёшь, мы тожно́ не найдём, чё у тебя болит. Уж если шибко чижало будет, воды в рот набери. Да не здумай проглатывать, пополошши́ во рту и выплюнь. Ну-ка! Я и так отошша́ла. Со́ свету сживают. От болести не загнусь, дак голодом заморят. Ва-ай, сижу на постеле, а в глазах какэсь тёмно, никово не вижу. Там, однако, обход начали. Скоро суды явятца.

Лида вставила:
— Я ишшо небольша была, лежала в больнице. Врач-от такой ста-а-аренький был, из ссыльных. Дак он нам сказывал, што голодом чуть ли не все болести вылечить можно. Станет середи́ палаты, палец в потолок, бороду задерёт и скажет: «Голод, холод и спокой! Будете соблюдать — сто лет проживёте…»
— Оп-па-на! Правильные речи! Давайте-ка быстро по местам. На што жалуемся? Как буйная наша ночевала?

Кристя сравнялась по цвету со своими рыжими волосами:
— Спасибо, дохтор. Всё ладно. Я уж на своих ногах ходила умыватца.

— Молодец. Сёдни суббота, по-доброму-то выходной. Шибко разглядывать вас не буду. Пробегусь по палатам, в основном поглядеть, хто после операции,— врач повернулся в мою сторону: — А вас погляжу. Счас увидал на истории: завтре именины ли, чё ли? Ну дак вчерашны анализы в порядке. Бóлей-то никаких нету?

— Дак, это самое, слава Бох! Нихто не болит.

— Тогда звони домой, пушай подъежжают. А я пока гумаги подпишу.

Ну вот.

Отлежала свой строк.

На врачей грех жаловатца, но попадать суды — не дай Бох никому!

*Ди*Н симметрия

Михаил Кульчицкий

Бессмертие

(Из незавершённой поэмы)

«Бывают странные сближения…» — некогда молвил поэт. А подразумевал Александр Сергеевич выход декабристов на Сенатскую площадь, совпавший с написанием им поэмы «Граф Нулин», а также с явлением того исторического зайца, который перебежал Пушкину, направлявшемуся из Михайловского в Санкт-Петербург, дорогу. «Странные сближения» всегда были, есть и ещё будут сопровождать людей и в целом человечество в индивидуальном и общем Времени. Очевидно, существует его своеобразная симметрия.

Чтобы убедиться в этом, вчитайтесь в строки другого — много обещавшего силою данного ему Божьего дара, а на тот момент 20-летнего поэта Великой Отечественной Михаила Кульчицкого, возникшие в 1939 году. Он, сложивший свою голову за Родину в 1943-м, уловил ту самую симметрию — в данном случае с 1919 годом. Как и самому Кульчицкому, нынче этой симметрии ровно 100 лет. Кстати, они явно рифмуются — премьера нашей рубрики и название неоконченной поэмы: симметрия — бессмертие.

Редакция «ДиН»

Далёкий друг! Года и вёрсты,
и стены книг библиотек
нас разделяют. Шашкой Щорса
врубиться в твой далёкий век
хочу. Чтоб, раскроивши череп
врагу последнему и через
него перешагнув, рубя,
стать первым другом для тебя.

На двадцать лет я младше века,
но он увидит смерть мою,
захода горестные веки
смежив. И я о нём пою.
И для тебя. Свищу пред боем,
ракет сигнальных видя свет,
военный в пиджаке поэт,
что мучим мог быть — лишь покоем.

Я мало спал, товарищ милый!
Читал, бродяжил, голодал…
Пусть: отоспишься ты в могиле —
Багрицкий весело сказал…
Одно мне страшно в этом мире:
что, в плащ окутавшися мглой,
я буду — только командиром,
не путеводною звездой.

Военный год стучится в двери
моей страны. Он входит в дверь.
Какие беды и потери
несёт в зубах косматый зверь?
Какие люди возметнутся
из поражений и побед?
Второй любовью Революции
какой подымется поэт?

А туча виснет. Слава ей
не будет синим ртом пропета.
Бывает даже у коней
в бою предчувствие победы…
Приходит бой с началом жатвы.
И гаснут молнии в цветах.
Но молнии — пружиной сжаты
в затворах, в тучах и в сердцах.

Уже опять к границам сизым
составы тайные идут,
и коммунизм опять так близок —
как в девятнадцатом году.

…И пусть над степью, роясь в тряпках,
сухой бессмертник зацветёт,
и соловей, нахохлясь зябко,
вплетаясь в ветер, запоёт.

Миясат Муслимова

«Про чёрствый хлеб и про вишнёвый сад…»

«В застенках рая» — так называется новая книга стихов Виктора Хатеновского, вышедшая в 2018 году в московском издательстве «Российский писатель». «Намеренный ли это вызов или привычный для эпохи постмодерна оксюморон?» — думала я, открывая эту книгу и вспоминая, как несколько лет назад у нас в Дагестане вышла философская поэма классика современной кумыкской литературы Бадрутдина Магомедова под названием «Муки рая». Название вызвало такую бурную реакцию со стороны духовенства, которое, не читая текст, попыталось устроить обструкцию автору, что в переиздании оно уже звучало иначе: «Меж двух миров». Так что можно только порадоваться за свободу художника в общероссийском литературном пространстве, не подверженного давлению со стороны. Впрочем, какая свобода, если даже рай пыточный? В современной поэзии всё труднее встретить чистые жанры (пейзажная, философская, социальная, любовная и так далее), и прозаизация лирики — факт, который отмечают критики, но творчество В. Хатеновского, раскольнический герой которого говорит от имени социальных низов, являет пример того, как под пером Мастера «непоэтическое» становится подлинно поэтическим. Любовная ли лирика, политическая, социальная, философская — всё одинаково сильно и цельно, интонационно богато, богато той экспрессией, когда за самым нежным и просветлённым чувством (чаще всего умело законспирированным) ощущается энергия взрыва и бунта. Диапазон жанров и чувств, доступных автору, кажется, безграничен, нет темы, перед которой он поставил табу, и эта свобода выражения, как смерч, проносится через книгу, нигде не переходя грань эстетической и нравственной меры. И это при том, что народная, площадная стихия языка пронизывает всё — так поразительны его естественность, органика, богатство. И самые смелые и горькие суждения лирического героя — это народная правда — о себе, о стране, о власти.

Сегодня вновь, как тридцать лет назад,
Мы будем петь дурными голосами
Про чёрствый хлеб и про вишнёвый сад,
Про заскорузлый быт в смердящем храме;
Про то, как сброд зажравшихся господ
Златым тельцом раздавлен и разрушен;
Про то, что русский коренной народ
Своей стране давно уже не нужен.

«Монолог русского радикала» — это название-вызов. Там, где власть, борясь с радикализмом, готова увидеть опасность в самом народе, в его боли, в его крике, в его отчаянии, там пропасть: «„Быть иль не быть?!“ Сатрапы у крыльца / Вердикта ждут кремлёвских чужестранцев». Это стихи человека, кровно связанного со своей землёй, а такие люди, как и народ в целом, не говорят пафосных слов о любви, но именно эта любовь и движет ими.

Пугачёвско-разинская смута давно канула в прошлое, но литература нередко обращалась к этим образам, воплощая в них стихию русского бунта. Его бессмысленность и беспощадность очевидна для почитателей классика, но такое утверждение, говоря о последствиях, снимает вопрос если не о причинах, то вообще о народе как таковом, его участи. Говорить о нём и от его имени как смысле деятельности великих мира сего и движущей силе истории легко, отражать светлую сторону его жизни, сарафанно-песенную, приятно, а вот всматриваться в его душу любителей мало: темно и страшно, а попристальней кто хочет вглядеться — ударит кипятком такой силы, что с ожогом этим жить уже пожизненно. В девятнадцатом веке Н. А. Некрасов смог гениально выразить эту тему, и это был взгляд человека, увидевшего боль и страдания другого как своё. Двадцатый век не взывал к состраданию, а заговорил в начале века голосом одного из этой народной стихии — голосом Хлопуши с гибельно-пугачёвским размахом, а на исходе столетия — голосом Высоцкого, которым рвал душу всё тот же многомиллионный народ. Времена менялись от очень тяжёлых до тяжёлых, спокойных и почти счастливых, как потом выяснилось. И песни, то есть поэтические голоса, по-разному об этом рассказывали. При определённой степени народности или стилизации, это были индивидуально авторские голоса, поэты писали о народе через призму собственной судьбы, сохраняя дистанцию между автором и героем. У Высоцкого её уже почти нет, при всём понимании индивидуальности

его авторства. Таков же характер соотношения между автором и героем в книге Виктора Хатеновского: это не о народе, это сам народ. Но позвольте, тогда фамилия должна быть знаменитая, в нашей стране такие поэты—уже классики, культивируемые сверху или признанные снизу. Однако нет, те времена ушли, поэзия сегодня—дело незнаемое или интересное самим пишущим. Симулякры сегодня востребованнее оригиналов. Виктор хорошо известен среди профессионально разбирающихся в литературе людей. Автор независимый, стоящий особняком. К модным постмодернистским течениям не примкнул, не ушёл, как во внутреннюю эмиграцию, в мир своего «я», найдя запоминающийся образ или войдя в литературный мейнстрим. И нельзя сказать, что он «ушёл в народ» за способом самовыражения. Нельзя, потому что это и биографическая природность («Батьке»), и органическая стихия собственной жизни, потому и пишется так, как дышится. И этому голосу веришь.

«Это настоящая мужская поэзия»,—пишут критики о поэте, меньше всего имея в виду и не самые цензурные выражения. Мужская по брутальности, энергии ритма, лаконичности. Излюбленная форма—восемь строк. Мужское не оттеняется женским—в книге «В застенках рая» тема любви не самая главная. И она интересна в той степени, в какой подчёркивает главное. Ключевые, сквозные темы книги—Жизнь, Смерть, Бог, Человек (юродивый), Народ. Жизнь и Смерть—вот важнейшие темы книги, причём тема смерти подчёркнуто доминирует, именно она интересует автора. Из всех ста семидесяти восьми стихотворений только семь получили название. Два из них—это «Диалог со Смертью» и «Диалог со Смертью-2». Никакого ореола таинственности, ничего зловещего. Смерть максимально очеловечена: обликом, поведением, отношением. Диалог грубовато-приятельский, обмен насмешкой, поддразниванием как приветствие: «„Эй, юродивый!“—О! Безносая?» И грубоватая забота о Смерти («Ты пошто стоишь в стужу босая?»), и грубое одёргивание («Что ты ластишься, рвань заборная?»). Но это по форме диалог, потому что первая строка первой строфы и последняя в заключительной строфе из семи и есть обмен приветствием, все остальные строки—это монолог юродивого. Интонационно, по экспрессии он другой, там нет насмешки, это скорее обличение, полное горечи и драматизма. Это яростный монолог, со злой иронией в свой адрес, иронией «исправившегося» человека: «Уж давно не лил водку в горло я». Нет, не ангел («Не пою, не пью—мясо кушаю»). И не с нечистью ведёт разговор: «Да из форточки Бога слушаю». Бытовая сниженность общения с Богом—это не просто отказ от молитвы. Это неприятие той жизни, которая за окном («А за стёклами—копоть, смрад и грязь»), и попытка низвержения несостоявшегося Отца. В обрамлении грубо-несуразного—сердцевина наболевшего, в котором исступлённость обличения кровавит состраданием и болью.

> Я кричу, задрав морду кверху:—Слазь!
> Погляди—с вином, с песней, с плясками
> Твой народ, как встарь, кормят сказками.

Крик—предельная степень отчаяния, бунт против Бога, равнодушного или бессильного перед народом. Не услышанные в храме, люди взывают к Господу на площади. Звон колокольный заглушает людские голоса, вера и отчаяние идут рядом, и ничего не меняется столетиями:

> Но, как встарь, на клич в небо:
> «Господи,
> Помоги *хоть Ты* жизнь не скомкати!»—
> Тишина в ответ, копоть, смрад и грязь,
> И плевать Ему—что кричу я:—Слазь

И дальше в трёх строках—вся бездна народной жизни и беспросветности:

> И с проклятьями да с молитвами
> Спим мы сутками, пьём мы литрами,
> Век на привязи ходим, бродим мы…

Это одно из пронзительнейших стихотворений книги. Все маски отброшены, и когда боль освобождается от глумливой иронии, когда душа перестаёт прятаться, она говорит не загадками метафор, а чистым голосом единственно человеческого чувства—сострадания к матерям, сёстрам, братиям, кто в церквах с колен смотрит на распятия:

> Сколько горечи в тех глазах больных,
> Сколько муки там, сколько веры в них…

Не пишут сейчас так о народе. Стихотворение написано в 1987 году—ещё ничего не предвещало разлома в стране, ещё лихие девяностые были впереди, но—пророческое ли, надвременное ли—слово было сказано. И Бог здесь—не заступник, а жест отчаяния: «Помоги *хоть Ты* жизнь не скомкати». «Жизнь не скомкати»—вот мольба. Вот диагноз, вот боль: жизнь. Не так прожитая и не так проживаемая… Не случилась жизнь. Жизнь проигрывает по всем статьям перед смертью. Она не знает причащения к святому (неумело молится), она не ценит сама себя, потому так быстр переход от жизни к небытию («Бутылка, хлеб… Надгробья»), она однообразно безлика и всегда словно находится перед лицом Смерти, взирающей за каждый действием человека и не доверяющей жизни.

Что такого есть в русской жизни, в её истории, что декорации меняются, время и содержание жизни, а экзистенциально—всё повторяемо? Время, история, народ—эти темы нередко получают ёмкое, афористичное звучание под пером автора.

Стихотворение 1983 года «Всё повторяется…» получает обобщённо-надличное звучание. Образ Времени как ещё одной ипостаси Бога и образ спящего народа, которому снится несбывшееся, символизируют фатальную непересекаемость стремящихся друг к другу начал. Предпоследняя строка переводит смысл из общефилософского в социальный контекст:

Но, как и встарь,—безмолвствует народ.
И Время крепом обрамляет лица».

При всём внешнем бесстрастии есть в каждом таком стихотворении строка, которая рушится, как тонкий лёд, когда прорывается скорбный вздох измученного и обречённого народа, прорывается, как горлом кровь:

Всё повторяется: пустых бутылок звон,
И —кафедральный разговор металла,
И запах хлеба, и со всех сторон—
Как горлом кровь: «Начать бы всё сначала!»

Взгляд на жизнь через смерть, на поверженную свободу через призму страха—это короткое прозрение и возвращение к привычной лжи. Чем чище был короткий свет, тем тяжелее возвращение в привычную тьму, и потому чистота должна быть отмщена и поругана, а жестокость ненасытна. Почему эту пустоту в душе легче заполнить злом, чтобы само понятие души уничтожить? И что делать с её способностью прорастать из уцелевшей малости? Всё повторяется, свобода сменяется ожесточённостью несвободы—и где мера личной и коллективной вины? И надо ли её искать? Не легче ли нарождающиеся проклятые вопросы бытия растаптывать с тем, кто их задаёт, и дать волю демонам в себе?

Кто ещё здесь не распятый?
Всех возьмём на абордаж!

Власть—всегда нелюбимая, преступная, глумливая. Свобода ответит за их грехи:

Вырвавшись из волчьей пасти,
Ты нам лучше расскажи,
Как в подвалах на Лубянке
Расчленяют, под «Ура!»
Сжав сапёрные лопатки,
Дел заплечных мастера;
Как в любое время года
С громким чавканьем сапог
Вперемешку с кровью рвота
Бьёт струёй под потолок…»
*(«Взгляд на поверженную свободу
через призму страха»)*

Жёстко, жестоко, без прикрас. Ради правды, которая на время снимет боль, хлынет горлом. О титулованной мрази, балующейся раем, об убийстве под колокольный звон, о мужиках, развязывающих злые языки после запредельно выпитого, «забыв о рудниках, сбив со рта запоры», об ожесточении как уродливой форме протеста и попытке спрятать истинное, человеческое…

Такие стихи, как у В. Хатеновского, оставляют долгое эхо. Тревожный гул тектонических сдвигов эпохи или скоморошья чудинка, хриплая ярость или смех, бунтарство, вызов или пророческая горечь—за ними всегда бесстрашие и мужество много пережившего, передумавшего человека; но чуткий читатель всегда уловит и отзвуки потаённой и надёжно укрытой от других жизни ранимого, гордого и нежного сердца, лик Человека, посвятившего удивительные строки Марине Цветаевой:

За неженскую
Мощь и силищу
Твоим словом я
Воздух вымощу.
За талант в крови—
На глазах толпы—
Я слезами Вам
Ноги вымыл бы.

Он разный, герой В. Хатеновского, но когда сквозь органичную стихию живой, богатой народной речи проступают молитвенные строки:

Господи, каясь—приветствую тлен…
Только б—достойно дойти до могилы
И—умереть у любимых колен

Когда читаешь классически-прекрасные строки стихотворения «Не потому, что я тебя люблю», восхищаешься удивительно точными и неожиданными образами («Зима ребёнком просится на руки», «Душа… над бездной чуть дыша, стихами греет руки…»), понимаешь, что это Поэт милостью Божьей.

стр. 151
Бабанская Алёна
Москва

Родилась в подмосковном городе Кашира. Окончила филологический факультет Московского педагогического государственного института имени В. И. Ленина. Работает в банковском журнале. Публикации в журналах «Дети Ра», «Интерпоэзия», «Крещатик», «Арион», «День и ночь» и др. Автор книги «Письма из Лукоморья» (издательство «Водолей», 2013).

стр. 36
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Родился в городе Чусовом Пермской области. Окончил филологический факультет Пермского госуниверситета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всесоюзный фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрально-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), имени Алексея Решетова (2013), общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (США), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени. Член редколлегии журнала «День и ночь».

стр. 130
Блынская Екатерина Николаевна
Москва, 1979 г. р.

Поэт, прозаик, литературный критик. Окончила ГИТИС, ВЭГИ (экономико-гуманитарный институт, юрфак, гражданское право). Работала в газете «Время и жизнь» (город Осинники Кемеровской области). Студентка ВЛК (Литературный институт имени Горького, семинар С. С. Арутюнова). Лауреат международного литературно-музыкального конкурса «Фермата». Автор трёх поэтических сборников (2000, 2001, 2012). Член Союза писателей Кузбасса, Союза писателей XXI века.

стр. 17
Бондаренко Алексей Маркович
Енисейск, 1946 г. р.

Родился селе Маковском Енисейского района. Окончил Подтёсовское ГПТУ-5 (радист-электрик), Абаканский политехникум (плановик-экономист лесной и деревообрабатывающей промышленности), в 1980 году — факультет журналистики Хабаровской высшей партийной школы. Вернувшись в Енисейск, работал заместителем редактора газеты «Енисейская правда», заведующим Енисейского районного отдела культуры, председателем исполкома Озерновского сельского совета, а позже — стал простым охотником. Первый рассказ Алексея Бондаренко был опубликован в журнале «Дальний Восток» в 1978 году, затем выходили публикации в журналах, районных, городских, краевых, центральных газетах. Первый сборник «Мужская трава» вышел в 1994 году, предисловие к книге написал В. П. Астафьев, который назвал рассказы автора «россыпью зёрен». Выход книги стал для писателя не только началом его большого творческого пути, но и большой дружбы с В. П. Астафьевым. В 2002 году Алексей Маркович был принят в Союз писателей России. Является руководителем литературного объединения «Истоки» в городе Енисейске. В 2006 году Алексей Бондаренко награждён знаком «Почётный гражданин Енисейского района».

стр. 11
Брянцева Елена Георгиевна
Владикавказ, 1956 г. р.

В 1973 году окончила среднюю школу №15 города Орджоникидзе с золотой медалью. С 1973 по 1978 год обучалась и окончила Северо-Кавказский горно-металлургический институт по специальности «инженер-строитель», в эти годы участвовала в выпуске институтской газеты «Комсомолец СК ГМИ». С 1972 по 1978 год была внештатным корреспондентом газеты «Молодой коммунист». В 1978 и 1979 годах работала в Москве на строительстве олимпийских объектов (стадион «Лужники»). В 1978 году поступила в МГУ имени Ломоносова (Москва) на факультет журналистики, но диплом не защитила по семейным обстоятельствам. С 1980 по 1989 год жила в Норильске. Периодически печаталась в газете «Заполярная правда». В 1989 году

вернулась в Осетию после смерти мужа. Работала в различных строительных организациях начальником ПТО и главным инженером реставрационных мастерских, принимала участие в строительстве крупных объектов. Работала в министерстве культуры СО АССР главным специалистом по реставрации, реконструкции и строительству объектов культуры и храмов республики. Стихи и проза публиковались в журналах «Дарьял» и «День и ночь».

стр. 41

Валеев Марат Хасанович

Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Краснотурьинске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятерыжск на Иртыше, в целинном Казахстане. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе ЖБИ, призвался в СА. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики КазГУ имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Публикации в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», газетах «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси — 2008» (номинация «Юмор»), Общества любителей русского слова (номинация «Проза», 2011), «Рождественская звезда — 2011» (номинация «Проза»). Член Союза российских писателей.

стр. 27

Васильев Геннадий Михайлович

Красноярск, 1959 г. р.

Журналист, поэт, исполнитель авторской песни. Родился в Томске. Отслужил в армии, потом по комсомольской путёвке оказался на КАТЭКе, в Шарыпово. Учился заочно в Иркутском университете на факультете журналистики. Работал в газетах «Красноярский комсомолец», «Свой голос», «Евразия», «Деловая Сибирь», вёл еженедельную программу на красноярской студии «Авторадио», участвовал во всевозможных медиапроектах. Участник Всероссийского совещания молодых литераторов в Ярославле в 1996 году.

стр. 155

Верясова Дарья Евгеньевна

Москва, Абакан, Красноярск, 1985 г. р.

Родилась в Норильске. Жила и училась в Красноярске, позже окончила Литературный институт в Москве. Работала журналистом, руководителем литературно-драматической части в театре. Лауреат Илья-Премии 2009 года, премии «Пушкин в Британии» 2013 года. В 2016 году стала лауреатом литературной премии В. П. Астафьева за повесть «Похмелье», которая ранее была напечатана в журнале «День и ночь». Участвовала в ликвидации последствий наводнения в Крымске в 2012 году, на основании этих событий написана документальная повесть «Муляка», опубликованная в журнале «Волга» и вошедшая в лонг-лист премии «Повести Белкина» в 2012 году и в шорт-лист премии «Дебют» в 2015 году. Публиковалась в журналах «День и ночь», «Октябрь», «Дружба народов», альманахе «Пятью пять». Автор нескольких книг стихов.

стр. 68

Зозуля Василий Анатольевич

Нижневартовск, 1969 г. р.

Родился в станице Павловской Краснодарского края, в семье рабочих и служащих. В 1986 году с родителями переехал в Нижневартовск Тюменской области. Работает в нефтегазовой отрасли. В 2010 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького, семинар поэзии Эдуарда Балашова и Алексея Тиматкова. Публиковался в региональной и столичной печати.

стр. 23

Козловский Алексей Дмитриевич

Хакасия, 1947 г. р.

Родился в селе Строганово Минусинского района Красноярского края. Окончил географический факультет Красноярского государственного педагогического института и с 1970 года работает учителем в Новотроицкой средней школе Бейского района Хакасии. Автор нескольких поэтических сборников, первый из которых, «Дни осени», вышел в Красноярском книжном издательстве в 1977 году. В последние годы А. Козловский стал известен читателю и как автор сборников прозаических произведений. Его творчество широко представлено в различных сборниках и периодических изданиях. Член Союза писателей России, заслуженный учитель Республики Хакасия.

стр. 149

Костандис Елена

Москва

Родилась в городе Тбилиси. Училась в Тбилисском государственном университете (филологический факультет) и в Еврейском университете в Иерусалиме (славистика и сравнительное религиоведение). Аспирантка кафедры философии Российского православного университета. Лауреат литературной премии «Слово-2016».

стр. 75 Кузнецова Зинаида Никифоровна
Зеленогорск Красноярского края

Родилась в Воронежской области, в большой крестьянской семье. В Красноярск-45 (ныне Зеленогорск) приехала в 1966 году. Работала электромонтёром связи на Красноярской ГРЭС-2, в течение 37 лет была секретарём высших руководителей города. Литературным творчеством занимается с 25 лет. Автор нескольких поэтических сборников и сборников рассказов, многочисленных публикаций в газетах, в журналах «День и ночь», «Енисей», «Светлица», «Совершенно открыто», «Молодая гвардия», «Новый Енисейский литератор», в коллективных сборниках «Поэзия на Енисее», «Поэтессы Енисея», «Антология поэзии закрытых городов» и др. Руководитель литературного объединения «Родники» города Зеленогорска, составитель и редактор коллективных и авторских сборников городских поэтов. Член Союза российских писателей, член правления Красноярской писательской организации.

стр. 12 Кузнечихин Сергей Данилович
Красноярск, 1946 г. р.

Родился в посёлке Космынино под Костромой. После окончания химфака Калининского политехнического института уехал в Свирск, потом перебрался в Красноярск. За 20 лет работы инженером-наладчиком изъездил Сибирь от Урала до Дальнего Востока, от Тувы до Чукотки. Печатался в журналах «Предлог», «Коростель», «Арион», «Дальний Восток», «Литературная учёба», «Сибирские огни», «День и ночь», «Огни Кузбасса», в альманахе «День поэзии 1986», в коллективных сборниках. Автор книг стихов «Жёсткий вагон» (1979), «Соседи» (1984), «Поиски брода» (1991), «Похмелье» (1996), «Ненужные стихи» (2002), «Местное время» (2006), «Дополнительное время» (2010), «С точностью до шага» (2012), «Уходящее время» (2016). Выпустил книги прозы «Аварийная ситуация» (Москва, «Советский писатель», 1990), «Омулёвая бочка» (Красноярск, 1994), «Где наша не пропадала» (Красноярск, 2005), «Забавный народ» (Красноярск, 2007), «Бич-рыба» (Москва, «Эксмо», 2014). Член Союза российских писателей.

стр. 191 Кульчицкий Михаил Валентинович
1919–1943

Родился в Харькове, в семье адвоката, бывшего офицера 12-го драгунского Стародубского полка, Валентина Михайловича Кульчицкого, автора нескольких книг стихов и прозы. Первое стихотворение было опубликовано в 1935 году в журнале «Пионер». Учился в школе №1 восемь классов. Окончив десятилетнюю школу №30, работал плотником, чертёжником на Харьковском тракторном заводе. Поступив в Харьковский университет, через год перевёлся на второй курс Литературного института им. Горького (семинар Ильи Сельвинского). Учась, давал уроки в одной из московских школ. В 1941 г. Кульчицкий уходит в истребительный батальон. В середине декабря 1942 года окончил пулемётно-миномётное училище, получил звание младшего лейтенанта. 19 января 1943 года командир миномётного взвода младший лейтенант Михаил Кульчицкий погиб в бою под селом Трембачёво Луганской области при наступлении от Сталинграда в район Харькова (Юго-Западный фронт, 6-я армия, 350-я СД, 1178-й СП). Захоронен в братской могиле в селе Павленково Новопсковского района Луганской области. Имя поэта выбито золотом на 10-м знамени в Пантеоне Славы Волгограда.

стр. 15 Лузан Сергей Иванович
1946–2018

Родился в Благовещенске. Вырос в городке Мукачево на Западной Украине. Работал матросом промыслового флота на Камчатке. Учился в Москве, был членом «СМОГ» — «самого молодого общества гениев» в 1960-х. В 1970 г. приехал в Норильск. Работал охотником-промысловиком на Таймыре, заведовал красным чумом. Исходил пешком весь Таймыр — от Ледовитого океана до эвенкийской тайги. Был проходчиком на норильских рудниках, обходчиком на газопроводе, диктором, журналистом, редактором издательского центра. Работая на телевидении, снял несколько фильмов. С 2000 по 2005 год — председатель Таймырского регионального отделения Союза писателей. Член правления Союза российских писателей, член Союза журналистов. Сергей Лузан — лауреат международных журналистских конкурсов в Болгарии и Китае. Лауреат премии «Вдохновение» города Норильска за 1996 год, литературной премии Огдо Аксёновой за 1997 год. Публиковал стихи в краевой и местной печати. Автор поэтических сборников: «Волчьи звёзды» (1996), «Долина семи солнц» (1997), «Дикоросы» (2003), «Седина» (2006); сборника прозы «Кубок ветра» (1998). Стихи и рассказы печатались в сборниках «Встреча» (1982), «Белый олень Сэреко» (1994), «Гнездовье вьюг» (1994), «Мою весну не заметёт пурга» (1995), «На поэтическом меридиане» (1998), «Стая» (2001), «Дух зимовья» (2004), «В наших северах» (2005), «Да не покинет вас любовь» (2006). В последние годы Сергей Лузан проживал в Новом Изборске на Псковщине.

стр. 89 Лузин Олег Алексеевич
Назарово, 1972 г. р.

Родился в городе Джезказган Карагандинской области (Казахстан). Семья переехала жить в Сибирь, в город Назарово Красноярского края. Здесь окончил школу. Учился в Кемерово в институте культуры, получил высшее образование

по специальности «Культурно-просветительная работа». Работал в клубе, на телевидении, сейчас работает в системе образования города Назарово. Участник литературного конкурса имени И. Рождественского.

стр. 181
Мамаева Альбина Романовна
Красноярск

Родилась на Ангаре, в деревне Дворец Кежемского района Красноярского края. Долгое время работала в Туруханске. Публикации в журнале «День и ночь».

стр. 192
Муслимова Миясат Шейховна
Махачкала, 1960 г. р.

Родилась в селении Убра Лакского района. В 1982-м окончила филологический факультет, в 1999-м — юридический факультет ДГУ. Заслуженный учитель Республики Дагестан, почётный работник высшего профессионального образования РФ. Проректор по научно-методической работе Дагестанского института развития образования. Поэт, переводчик, литературный критик. Член Союза журналистов РФ. Номинант Всероссийского конкурса имени А. Сахарова «За журналистику как поступок». С 2004 года по настоящее время — член жюри Всероссийского конкурса журналистов имени А. Сахарова. Лауреат премии Союза журналистов РД «Золотей орёл» в номинации «Защита прав человека». Лауреат премии «Золотое перо России». Член Союза российских писателей. Председатель Дагестанского отделения Союза российских писателей. Лауреат литературной премии имени Расула Гамзатова. Победитель международного литературного конкурса «Золотая строфа 2010». Дипломант международного литературного конкурса имени Я. Корчака (Иерусалим). Лауреат литературных премий имени М. Волошина в номинации журнала «День и ночь», всероссийской премии «Поэт года 2013», дипломант международного литературного конкурса «Русский стиль» (Германия, 2013), финалист национальной литературной премии «Поэт года 2013» и др. Обладатель титула от мэрии Тбилиси «Посланник грузинской культуры». Автор сборника публицистики «Испытание свободой» и поэтических сборников «Диалоги с Данте», «Ангелы во крови», «Ангел на кончике кисти», «Наедине с морем», «Камни моей родины», «За словом, за дыханьем, за любовью», «Мамины сны». Автор книги переводов лакского эпоса «Парту-Патима» на русский язык.

стр. 34
Парсанова Татьяна
Наро-Фоминск

Родилась в хуторе Рябовском Волгоградской области. Автор сборника стихов «В унисон с дождями» (Редакционно-издательский дом «Российский писатель», 2018). Стихи опубликованы в интернет-альманахах и журналах: «45-я параллель», «Сетевая словесность», «День литературы», «Артбухта», «Топос», «Великороссъ» «Дарьял», «Зарубежные задворки» (Германия), «Новый Континент» (США), «Созвучие», «Новая Немига литературная» (Белоруссия) и др.

стр. 57
Русаков Эдуард Иванович
Красноярск, 1942 г. р.

Писатель, журналист. Родился в Красноярске. Окончил Красноярский медицинский институт (1966) и Литературный институт имени А. М. Горького (1979). Работал врачом-психиатром (1966–1981), редактором на Красноярской студии документальных фильмов (1981), руководителем литературной студии при Красноярском Дворце культуры (1982–1991), корреспондентом газет «Евразия», «Вечерний Красноярск» (1991–1998), обозревателем газеты «Красноярский рабочий» (с 1998). Печатается как прозаик с 1966 года. Автор нескольких книг прозы. Произведения переводились на азербайджанский, болгарский, венгерский, казахский, немецкий, словенский, финский, французский, японский языки. Член Союза писателей России, Международного ПЕН-клуба (Русский ПЕН-центр, Сибирский филиал), Экспертного совета благотворительного общественного фонда имени В. П. Астафьева. Живёт в Красноярске.

стр. 93
Слюсарева Наталия Сидоровна
Москва, 1947 г. р.

Родилась в городе Дальнем в Китае, в семье генерала ВВС СССР, Героя Советского Союза Сидора Васильевича Слюсарева. Окончила факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Работала в редакциях нескольких журналов. Переводчица с итальянского языка. Дружески и творчески была связана с неформальной литературной группой СМОГ. Публиковаться начала после распада СССР. Автор трёх изданных книг прозы и нескольких неизданных книг прозы и пьес. Печаталась в журналах «Крещатик», «Дети Ра», «Волга», «День и ночь».

стр. 152
Стаханова Дарья Владимировна
Москва, 1987 г. р.

Родилась в городе Туле. Окончила Российский государственный социальный университет по специальности «переводчик». Работала в Агентстве по проведению церемоний на Олимпийских играх в Сочи, работает в оргкомитете Военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Начала писать стихи с 10 лет, публиковалась с 13 лет, в том числе в региональных газетах. В возрасте 19 лет выпустила первый сборник стихов «Шаг и Мат» (2007), тираж которого полностью распродан. В 2013 году вышел второй поэтический сборник — «Nota Bene». Поэтические подборки издавались в таких

литературных журналах, как «Дальний Восток», «Север», «Слово\Word», а также в антологии современной поэзии «Живые поэты» (издательство «Эксмо»). Лауреат литературной премии имени В. П. Астафьева в номинации «Поэзия» (2016). Финалист Фестиваля поэзии и драматургии имени Леонида Филатова.

стр. 30

Степанов Евгений Викторович

Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института (1986) по специальности «Французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве (1992), экономический факультет Чувашского государственного университета (2004) по специальности «Финансы и кредит», аспирантуру факультета журналистики МГУ (2004). Кандидат филологических наук. Докторант РГГУ. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран. Генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель — главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона ПЛЮС». Соиздатель и заместитель главного редактора журнала «Крещатик». Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка и международного фестиваля «FEED BACK» (Румыния). Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция» (М., 2006). Переведён на английский, французский, немецкий, румынский, болгарский, венгерский языки. Президент Союза писателей XXI века, член президиума МГО СП России, Союза писателей Москвы, ПЕН-клуба, правления Союза литераторов России.

стр. 50

Щербаков Александр Илларионович

Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий, возглавлял Красноярское отделение Союза писателей России. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

стр. 3

Ягодинцева Нина Александровна

Челябинск, 1962 г. р.

Родилась в Магнитогорске. Выпускница Литературного института имени А. М. Горького, член Союза писателей России с 1994 года. Кандидат культурологии, доцент кафедры режиссуры театрализованных представлений и праздников Челябинской государственной академии культуры и искусств. Автор поэтических книг, цикла учебников «Поэтика», монографий, электронной книги литературной критики, переводов с азербайджанского и башкирского языков, а также более 500 публикаций в литературной и научной периодике. Лауреат всероссийских литературных премий имени П. П. Бажова (2001, за книгу «На высоте метели»), имени К. Нефедьева (2002, за рукопись книги «Теченье донных трав»), имени Д. Мамина-Сибиряка (2008, за книгу «Поэтика: принципы безопасности творческого развития»), Сибирско-Уральской литературной премии в номинации «Поэзия» (2011, за рукопись книги «Листая пламя»), Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга — 2007» (за монографию «Русская поэтическая культура: сохранение целостности личности»), литературной премии Уральского федерального округа (2012, за электронную книгу литературной критики «Жажда речи», в соавторстве с А. П. Расторгуевым). Член жюри Всероссийской литературной премии имени П. П. Бажова, председатель жюри Южно-Уральской литературной премии.

стр. 157

Янжула Анатолий Андреевич

Красноярск, 1947 г. р.

Окончил железнодорожный техникум. Начал писать во время службы в армии, будучи внештатным корреспондентом газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта». С 1995 года — постоянный автор журнала «День и ночь». В альманахе «Енисей» напечатана повесть «Миг войны». Отдельными книжками выходили повесть «Дядька Фёдор» и сборник рассказов «Обстоятельства жизни». В 1999 году принят в Союз писателей России. Работал в Управлении Федеральной почтовой связи по Красноярскому краю. Член правления КРО СП России.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
М. О. Наумова

ЗАМ. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
В. Н. Наговицын

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ
Иса Айтукаев
Андрей Бардаков
Ольга Ермакова
Валентина Ерофеева-Тверская
Ольга Карлова
Татьяна Савельева
Михаил Тарковский

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК
Олег Наумов

КОРРЕКТОР
Андрей Леонтьев

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Галина Кошкина

Учредитель: Агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края. Адрес: 660009, г. Красноярск, ул. Красной Армии, д. 22.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Издание осуществляется при финансовой поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Александр Астраханцев — Красноярск
Наталья Ахпашева — Абакан
Юрий Беликов — Пермь
Светлана Василенко — Москва
Вера Зубарева — Филадельфия
Александр Кердан — Екатеринбург
Сергей Кузнечихин — Красноярск
Валентин Курбатов — Псков
Андрей Лазарчук — Санкт-Петербург
Евгений Минин — Иерусалим
Виталий Молчанов — Оренбург
Миясат Муслимова — Махачкала
Анна Сафонова — Южно-Сахалинск
Евгений Степанов — Москва
Вероника Шелленберг — Омск
Владимир Шемшученко — Санкт-Петербург
Нина Ягодинцева — Челябинск

Журнал издаётся с 1993 года.

16+

В оформлении обложки использована картина Ольги Ильиной.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

Журнал выходит 1 раз в 2 месяца.

ИЗДАТЕЛЬ
ООО «День и ночь».
ИНН 246 304 2749
Расчётный счёт
4070 2810 8006 0000 0186
в «Сибирском» филиале
банка ВТБ ПАО
в г. Новосибирске
БИК 045 004 788

Корреспондентский счёт
3010 1810 8500 4000 0788

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции и издателя: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 3, т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.02.2019
Дата выхода в свет: 28.02.2019
Тираж: 1200 экз.

Цена свободная

Отпечатано ИП Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт»
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10, т. +7 904 895 0340
эл. почта: 2007rex@mail.ru

Борис Ряузов (Красноярский край) | 1628 год. Землепроходцы у Красного Яра | 80 × 100 | 1976

Сергей Писарев (Иркутская область) | Вид на реку Ангу | 100 × 115 | 2016

Александр Кобыльцов (Республика Хакасия) | Острова | 80 × 199 | 2017

Татьяна Коваль (Республика Хакасия) | Поздняя осень. Кизир | 90 × 120 | 2016

На обложке: *Ольга Ильина* (Иркутская область) | Дорога к Храму | 100 × 85 | 2018